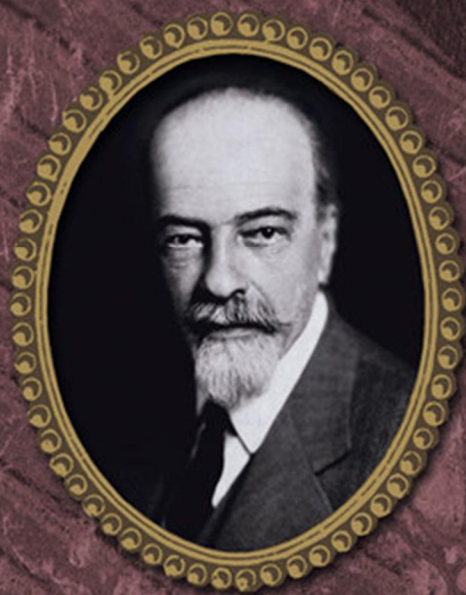




ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
ВОСПОМИНАНИЯ



ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ВОСПОМИНАНИЯ

В ДВУХ КНИГАХ



УДК 82-94

ББК 84(2Рос=Рус)1

В 27

Великий князь Александр Михайлович

В27 Воспоминания в двух книгах / Великий князь Александр Михайлович.
— М. : «Захаров», 2014. — 528 с. : илл.
ISBN 978-5-8159-1261-8
© Е. и П.Степанцовы, перевод с английского, стр. 321-524, 1998
© «Захаров», 2014

Содержание

От издателя

Книга первая

Глава I

14 Декабря 1825 года

Глава II

Мое рождение

Глава III

Моя первая война

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

Глава IV

Княгиня Юрьевская

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

Глава V

Император Александр III

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

Глава VI

Юность и совершеннолетие

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

Глава VII

Плавание великого князя

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

Глава VIII

Женитьба

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

Глава IX

Царская фамилия

[1](#)

[2](#)

Глава X

Царские миллионы

[1](#)

[2](#)

[3](#)

Глава XI

Император Николай II

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

Глава XII

Оловянные боги

[1](#)

[2](#)

[3](#)

Глава XIII

Гроза надвигается...

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

Глава XIV

Тысяча девятьсот пятый год

1

2

3

4

5

6

Глава XV

Рикошет

1

2

3

4

5

6

Глава XVI

Накануне

1

2

3

4

5

Глава XVII

Война и революция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Глава XVIII

Бегство

1

2

3

4

5

6

7

8

Глава XIX

После бури

1

2

3

4

5

Заключение

Книга вторая

Предисловие

Глава I

Воскрешение Лазаря

1

2

3

4

5

Глава II

Пребывание в «Ритце»

1

2

3

4

Глава III

Нумизмат платит по счетам

1

2

3

4

Глава IV

Россия на сене

2

3

4

5

6

Глава V

Случай в Биаррице

1

2

3

4

5

Глава VI

Наши любящие кузены

1

2

3

4

5

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Глава VII

Кирилл и его невидимая империя

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Глава VIII

Эфиопская интермедия

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Глава IX

Пузыри земли

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Глава X

Повесть о двух сестрах

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Глава XI

Anima naturaliter christiana

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Глава XII

Потсдам в США

- 1
- 2

3
4
5
6
7

Глава XIII

Лектор видит все

1
2
3
4

Глава XIV

Обретение

1
2
3
4

От издателя

Первая книга воспоминаний великого князя Александра Михайловича была издана в США в 1932 году на английском языке с таким авторским предисловием:

История последних пятидесяти бурных лет Российской империи — только фон, а не тема этой книги.

Составляя отчет о развитии великого князя, я полагался только на свою память, ибо все мои письма, дневники и другие документы были либо сожжены мною, либо конфискованы революционерами в 1917 и 1918 годах в Крыму.

Естественно, я уделяю больше места тем, кто сыграл важную роль в моей личной жизни: Императору Александру II, Императору Александру III, последнему Царю Николаю II, моей теще, вдовствующей Императрице Марии Русской, моей жене, Великой Княгине Ксении, и моим родителям и братьям. Другие — генералы, министры и государственные деятели — и так, кажется, не остались без изрядного внимания как в своих собственных мемуарах, так и в многочисленных томах, посвященных Русской Революции.

У меня нет желания вскрывать трупы, и я сделал все, чтобы мои пристрастия и предрассудки не влияли на мои суждения. На самом деле, горечи не осталось в моем сердце.

Александр, Великий Князь Русский.

Париж.

Осень 1931 года.

В 1933 году в Париже был опубликован русский текст первой книги воспоминаний со следующим предисловием «От автора»:

Моя Книга воспоминаний впервые увидела свет на английском языке в Нью-Йоркском издании Феррер и Рейнхерт.

Теперь я с удовольствием иду навстречу желанию издательства «Иллюстрированной России» познакомить с моим трудом русского читателя,

предоставив право издания книги на русском языке в виде приложения к журналу в 1933 году.

Я написал эту книгу, не преследуя никаких политических целей и никаких общественных задач.

Просто в соответствии с пережитым я захотел рассказать, что память сохранила, а главное, отметить этапы того пути, который привел меня к мысли, что единственное ценное в нашей жизни это работа духа и освобождение живительных сил нашей души от всех пут материальной цивилизации и ложных идеалов.

Я верю, что после тяжелых испытаний в России зародится Царство Духа, Царство освобождения души человека.

Не может быть Голгофы без Воскресения. А более тяжелой Голгофы, чем Голгофа Великомученицы России, мир не видел.

Будем верить в Царство Духа.

Вот что я хотел сказать моим русским читателям.

Великий Князь Александр Михайлович.

Париж.

Июнь 1932 г.

Позднее, в 1980 и 1991 годах, этот же русский текст воспоминаний публиковался еще дважды, в Париже и в Москве.

Однако сравнительный анализ английского и русского вариантов, сделанный мною при подготовке этого издания, показал:

1. Русский текст почти наверняка является переводом с английского.
2. Переводчик и/или редактор этого текста хорошо знал русскую историю, но хуже — английский язык. И еще хуже — русский!
3. В русском тексте сделаны значительные сокращения явно цензурного характера.

Вот почему в этом издании русский текст первой книги воспоминаний Александра Михайловича восстановлен по американскому изданию, а наиболее вопиющие цензурные вмешательства и другие расхождения отмечены прямо в тексте — курсивом и сносками.

Вторая книга воспоминаний великого князя публиковалась только на английском языке — в 1933 году в Нью-Йорке — и переведена на русский язык специально для этого издания.

В новом, втором издании текст еще раз сверен с оригиналом и отредактирован. Добавлено много редких фотографий.

КНИГА ПЕРВАЯ



Глава I

14 Декабря 1825 года

Высокий, с военной выправкой человек торопливо пересек залитый дождем дворик в Таганроге около дворца и вышел на улицу.

У ворот часовой отдал ему честь, но незнакомец его не заметил. Еще миг, и высокий человек исчез во тьме ноябрьской ночи, окутавшей, словно пеленой, туманом этот южный приморский городок.

— Это кто был? — спросил сонный гвардейский капрал, возвращающийся с кругового обхода.

— Его Императорское Величество вышли на раннюю прогулку, — ответил часовой, но голос его звучал как-то неуверенно.

— Да ты с ума сошел, — напустился на него капрал, — разве ты не знаешь, что Его Величество тяжело болен, что доктора потеряли всякую надежду и ждут конца государя до рассвета?

— Оно может так, — сказал часовой, — но ни у кого другого нет таких сгорбленных плеч, как у Государя. Я его знаю ведь. Каждый день в течение трех месяцев вижу его.

Разговор замолк. Часовой опять замер на своем посту.

Несколько часов спустя глухой звон колоколов, разносясь в воздухе на далекие версты вокруг, возвестил русским людям, что император и самодержец всероссийский, победитель Наполеона, Александр I в Бозе почил.

Несколько фельдъегерей были срочно отправлены в С.-Петербург, чтобы сообщить о происшедшем правительству и законному наследнику, брату почившего царя, великому князю Константину Павловичу.

Офицеру, пользовавшемуся особым доверием, был отдан приказ доставить царские останки в столицу. В течение следующих десяти дней русский народ, затаив дыхание, смотрел на бледного, изможденного человека, сидевшего позади запечатанного гроба на траурной колеснице, которая мчалась со скоростью, напоминавшей атаку французской кавалерии. Ветераны Аустерлица, Лейпцига и Парижа, стоявшие вдоль длинного пути, в недоумении качали головами и говорили: какой странный конец царствования, не превзойденного никем великолепием и славой побед!

Правительство дало краткий приказ не выставлять тела усопшего императора для поклонения народа.

Тщетно иностранные дипломаты и придворные старались постичь причину таинственности. Спрошенные отговаривались незнанием и только разводили руками.

Но тут произошло событие, заставившее все взоры отвернуться от царского катафалка к площади Сената. Наследник престола великий князь Константин отрекся от своих прав на престол в пользу своего младшего брата Николая Павловича. Счастливо женатому морганатическим браком на польке Грудзинской Константину не захотелось променять мирную семейную жизнь в Варшаве на превратности венценосца. Он просил его не винить и выразил уверенность, что все подчинится его воле. Гробовым молчанием встретил Сенат чтение собственноручно написанного отречения великого князя Константина.

Имя нового наследника, великого князя Николая, было мало знакомо. У императора Павла I было четыре сына, и трудно было предвидеть, что красавец Александр I умрет бездетным и что мужественный Константин поразит Россию неожиданностью отречения. Будучи на несколько лет моложе своих братьев, великий князь Николай до декабря 1825 года проходил обычную строевую карьеру, а потому лишь военные круги могли судить о способностях и характере нового императора.

Хороший и исполнительный строевой офицер, великий князь Николай привык к дисциплине и провел немало часов своей жизни в приемных высших сановников Империи. У него было много высоких качеств и никакого знакомства с государственными делами; он никогда не принимал участия в заседаниях Государственного совета. К счастью для России, он мог положиться

на знания и опыт любивших родину сановников империи. Эта последняя мысль ободрила тех министров, которые отправлялись представляться юному правителю России.

Однако некоторая холодность омрачила первое представление. Новый император заявил прежде всего, что он желал бы лично прочесть письмо Константина Павловича. Как человек военный, великий князь Николай опасался интриг со стороны гражданских сановников. Ему дали письмо. Он внимательно его прочел и осмотрел подпись. Ему все еще казалось невероятным, чтобы наследник русского престола мог послушаться приказа свыше. Во всяком случае Николай считал, что Константин Павлович должен был заблаговременно предупредить о своих намерениях покойного императора, чтобы Николай Павлович имел возможность и время несколько подготовиться к правлению государством.

Он сжал кулаки и поднялся со своего места. Высокий, красивый, атлетически сложенный Николай был образцом мужской красоты.

— Мы исполним волю нашего покойного брата и желание великого князя Константина, — объявил он, и то, что он сказал «мы», было отмечено министрами. Этот молодой человек заговорил как монарх. Мог ли он так же и действовать? Доказательство представилось гораздо раньше, чем можно было ожидать.

На следующий день, 14 декабря, когда армия должна была присягнуть новому государю, тайное политическое общество, во главе которого стояли представители родовитой молодежи, решило воспользоваться случаем, чтобы поднять открытое восстание против престола и династии. Даже теперь, по прошествии столетия, очень трудно составить определенное мнение о политической программе тех, кого история назвала «декабристами». Гвардейские офицеры, писатели, интеллигенты — они подняли восстание не потому, что у них была какая-то общая идея, но, по примеру Французской революции, в целях освобождения угнетенного народа. Между ними не было единомыслия по вопросу о том, что будет в России после падения самодержавия. Полковник Пестель, князь Трубецкой, князь Волконский и другие члены Петербургской организации декабристов мечтали создать в России государственный строй по примеру английской конституционной монархии. Муравьев-Апостол и декабристы провинциальных кружков требовали провозглашения республики в духе Робеспьера. За исключением Пестеля, человека с математическим складом ума, взявшего на себя подробную разработку проекта будущей русской конституции, остальные члены организации предпочли направить свою энергию на внешнюю сторону переворота. Поэт Рылеев видел себя Демуленом, произносящим пламенные речи и прославляющим свободу. Жалкий, неуравновешенный юноша Каховский проповедовал необходимость идти по стопам «благородного Брута».

Среди многочисленных сторонников декабристов, привлеченных громкими именами отпрысков лучших русских родов, были Кюхельбекер и Пущин, двое школьных товарищей Пушкина. Сам Пушкин, получив известие о происходящих в столице событиях, покинул свое имение и поспешил в Петербург. Когда он выехал на петербургскую дорогу, испуганный заяц

перебежал его путь у самого экипажа. Суеверный поэт остановил ямщика и велел повернуть назад.

Об этом он рассказал своим друзьям-заговорщикам и написал прекрасную поэму, посвященную декабрьским дням.

Хотя организация декабристов была создана еще в 1821 году, деятельность ее ничем не проявилась, кроме тайных заседаний и жарких споров, которые велись на квартирах Пестеля, Рылеева и Бестужева-Рюмина. Принимая во внимание русскую страсть к спорам, легко предположить, что декабристы ни до чего определенного и не договорились бы, если бы таинственная смерть Александра I и отречение от престола великого князя Константина не дали резкого толчка к восстанию.

— Теперь или никогда! — воскликнул Каховский, потрясая огромным пистолетом.

Полковник Пестель колебался, но большинство заговорщиков присоединились к Каховскому.

Вечером 13 декабря, не придя к общему решению, они отправились по казармам и провели всю ночь в переговорах с солдатами гарнизона столицы. Их план, если у них вообще был какой-либо план, состоял в том, чтобы вывести несколько полков на Сенатскую площадь и заставить императора принять их требования установления в России конституционного образа правления. Задолго до рассвета стало ясно, что заговор не удался. Солдаты не понимали ни пламенного красноречия декабристов, ни длинных цитат из Жан-Жака Руссо. Единственный вопрос, поставленный солдатами заговорщикам, был о значении слова «конституция». Солдаты спрашивали, не была ли «Конституция» именем польки, супруги великого князя Константина Павловича.

— Еще есть время, — предложил Пестель, — все отменить!..

— Слишком поздно, — ответили его соратники, — правительству уже известно, что происходит в гарнизоне. Нас все равно арестуют и предадут суду. Лучше умереть в борьбе!

На рассвете два батальона под командованием офицеров-заговорщиков решились выступить. Их продвижение по улицам по направлению к Сенату не вызвало никакого сопротивления. Правда, военный губернатор С.-Петербурга, герой Отечественной войны граф Милорадович выставил на Сенатской площади полк преданной правительству кавалерии и одну батарею артиллерии, но допустил мятежников построиться перед Сенатом.

В это утро тяжелый туман поднимался с берегов Невы над Петербургом. Когда к полудню он рассеялся, то смятенные толпы народа увидели на Сенатской площади батальоны мятежников и верные правительству полки, стоящие друг против друга на расстоянии трехсот шагов.

Время шло. Солдатам захотелось есть. Главари тайной организации чувствовали себя жалкими и беспомощными. Они готовы были пожертвовать своими жизнями, но правительство, как было видно, не хотело кровопролития. Со стороны декабристов было бы сущим безумием атаковать имевшимися в их распоряжении батальонами пехоты соединенные силы кавалерии и артиллерии.

— Стоячая революция! — раздался чей-то голос сзади. И эта ставшая исторической фраза была встречена взрывом смеха.

Внезапно по рядам пронесся шепот.

— Молодой император! Молодой император! Посмотрите — вот он верхом рядом с Милорадовичем!

Вопреки уговорам приближенных и свиты не рисковать своей жизнью, император Николай Павлович решил лично принять командование верными ему войсками. Окруженный группой военных, верхом на громадной лошади, он представлял собой хорошую мишень для мятежников. Даже плохой стрелок не мог бы промахнуться!

— Ваше Императорское Величество! — взмолился испуганный Милорадович, — прошу вас вернуться во дворец!

— Я останусь здесь, — последовал твердый ответ, — кто-нибудь должен спасти жизнь этих сбитых с толку людей!

Милорадович прищепил своего коня и поскакал в противоположный конец площади. Как и его монарх, генерал не боялся русских солдат. Они никогда не решились бы выстрелить в генерала, который еще так недавно вел их против старой гвардии Наполеона.

Остановившись против мятежников, Милорадович произнес одну из тех речей, которые в 1812 году вдохновляли не один геройский полк на боевые подвиги. Каждое слово генерала попадало в цель. Солдаты улыбались шуткам генерала, и их лица светлели. Еще минута, и они последовали бы его «братскому совету старого солдата» и вернулись бы в свои казармы...

Но в эту критическую минуту темная фигура встала между солдатами и Милорадовичем.

Бледный, растрепанный, пахнувший винным перегаром, с утра так и не расставшийся со своим пистолетом, Каховский прицелился и выстрелил в упор в Милорадовича. Генерал зашатался в седле. Негодующие крики слышались и с той, и с другой стороны. Император Николай нахмурился и бросил быстрый взгляд в сторону батареи. Раздались выстрелы, эхо разнесло их по всему городу...

«Стоячая революция» кончилась. Несколько солдат были убиты, и все главари мятежа до полуночи арестованы.

«Я никогда не забуду наших друзей четырнадцатого декабря», — сказал неделю спустя император и подписал приговор, отправлявший Пестеля, Каховского, Бестужева-Рюмина, Рылеева и Муравьева-Апостола на виселицу, а остальных участников — в Сибирь.

И не забыл. Позже, во время одного из своих путешествий по Сибири, император расспрашивал о мельчайших подробностях жизни сосланных им представителей аристократии, которые, сами того не подозревая, сделались предшественниками движения, достигшего цели девятью годами спустя.

Также выразил он желание побеседовать со старцем, известным под именем Федора Кузьмича, и сделал большой крюк, чтобы посетить его убогую хижину в глуши Сибири.

Свидание произошло без свидетелей. Император оставался с глазу на глаз со старцем более трех часов. Он вышел от него в глубокой задумчивости. Свите показалось, что на его глазах были слезы.

«Может быть, — писал впоследствии один из свиты, — есть доля правды в легенде, которая говорит, что в Петропавловском соборе погребен простой солдат под видом Александра I, а подлинный император скрывался в Сибири под именем старца Федора Кузьмича».

Мой покойный брат, великий князь Николай Михайлович, работая несколько лет в наших семейных архивах, старался найти подтверждение этой удивительной легенды. Он верил в ее правдоподобие, но дневники нашего деда Николая I, как это ни странно, даже не упоминают о посещении им старца Федора Кузьмича.

Началом легенды было слово часового Таганрогского дворца; это слово подхватила народная молва, упорно говорившая, что сибирский старец Федор Кузьмич был не кто иной, как император Александр I, скрывшийся в ночь своей мнимой кончины. Неопровержимым фактом также остается мистическая настроенность императора Александра I в последние годы его царствования, которая давала историкам основание верить в легенду.

Утомленный продолжительными войнами с Наполеоном и потеряв всякую веру в немецких, английских и австрийских союзников, мой царственный внучатый дядя любил месяцами жить в провинциальном захолустье своего Таганрогского дворца, читая Библию вместе со своей грустной и прекрасной женой, оплакивавшей долгие годы свою бездетность.

Император Александр, страдая бессонницей, часто вставал ночами, стараясь рассеять думы, полные видений прошлого. Две сцены преследовали его постоянно: граф Пален, входящий в его комнату 11 марта 1801 года с вестью об убийстве его отца, императора Павла I; и Наполеон в Тильзите, обнимающий его и обещающий поддерживать вечный мир в Европе. Оба эти человека лишили его юности и обагрили ему руки кровью.

Без конца перечитывал он слова Библии, подчеркнутые его карандашом: «Видел я все дела, какие делаются под солнцем: и вот, все суета».

Глава II

Мое рождение

— Ее Императорское Высочество великая княгиня Ольга Федоровна благополучно разрешилась от бремени младенцем мужеского пола, — объявил 1 апреля 1866 года адъютант великого князя Михаила Николаевича, тогдашнего наместника на Кавказе, вбегая в помещение коменданта Тифлисской крепости.

— Прошу произвести пушечный салют в 101 выстрел!

— Это даже перестает быть забавным, — сказал старый генерал, сумрачно глядя на висевший перед ним календарь. — Мне уже этим успели надоесть за все утро. Забавляйтесь вашими первоапрельскими шутками с кем-нибудь другим, или же я доложу об этом Его Императорскому Высочеству.

— Вы ошибаетесь, Ваше Превосходительство, — нетерпеливо перебил адъютант, — это не шутка. Я иду прямо из дворца и советовал бы вам исполнить приказ Его Высочества немедленно!

Комендант пожал плечами, еще раз кинул взор на календарь и отправился во дворец проверить новость.

Полчаса спустя забухали орудия, и специальное сообщение наместника оповестило взволнованных грузин, армян, татар и других народностей Тифлиса о том, что новорожденный великий князь будет наречен при крещении Александром в честь его царственного дяди — императора Александра II.

Второго апреля 1866 года, в возрасте 24 час. от роду, я стал полковником 73-го Крымского пехотного полка, офицером 4-го стрелкового батальона императорской фамилии, офицером гвардейской артиллерийской бригады и офицером кавказской гренадерской дивизии. Красавица мамка должна была проявить всю изобретательность, чтобы уgomонить обладателя всех этих рангов.

Следуя по стопам своего отца, императора Николая I, человека исключительной прямолинейности и твердости взглядов, отец мой считал необходимым, чтобы его дети были воспитаны в военном духе, строгой дисциплине и сознании долга. Генерал-инспектор русской артиллерии и наместник богатого Кавказа, объединявшего до двадцати разных народностей и враждующих между собой племен, не разделял современных принципов нежного воспитания. Моя мать, до брака принцесса Цецилия Баденская, выросла в те дни, когда Бисмарк сковывал Германию железом и кровью.

Поэтому не было ничего удивительного в том, что радости беззаботного детства внезапно оборвались для меня в тот день, когда мне исполнилось семь лет. Среди многочисленных подарков, поднесенных мне по этому случаю, я нашел форму полковника 73-го Крымского пехотного полка и саблю. Я страшно обрадовался, так как сообразил, что теперь сниму свой обычный костюм, который состоял из короткой розовой шелковой рубашки, широких шаровар и высоких сапог красного сафьяна, и облекусь в военную форму. Мой отец улыбнулся и отрицательно покачал головой. Конечно, мне иногда позволят, если я буду послушным, надевать эту блестящую форму. Но прежде всего я должен заслужить честь носить ее прилежанием и многолетним трудом.

Лицо мое вытянулось, но худшее было еще впереди.

— С завтрашнего дня, — объявил мой отец, — ты уйдешь из детской. Ты будешь жить с братьями Михаилом и Георгием. Учись и слушайся своих учителей.

Прощайте, мои добрые нянюшки, мои волшебные сказки! Прощайте, беззаботные сны! Всю ночь я проплакал в подушку, не слушая ободряющих слов моего доброго дядьки казака Шевченки. В конце концов, видя, что его обещания навещать меня каждое воскресенье не производят на меня должного впечатления, он стал нашептывать испуганно:

— Вот будет срам, если Его Императорское Величество узнают и отдадут в приказе по армии, что его племянник, великий князь Александр, отрешается от командования 73-м Крымским полком, потому что плачет, как девчонка!

Услышав это, я вскочил с постели и бросился мыться. Я пришел в ужас, что чуть не обесчестил всю нашу семью в глазах императора и России.

Еще одно событие, большей важности, совпало со днем моего рождения. Я нахожу, что оно явилось для меня прямо откровением, настолько сильно была

потрясена им моя юная душа. Я говорю о первой исповеди. Добрый батюшка, отец Георгий Титов старался всячески смягчить мое потрясение.

Впервые в моей жизни я узнал о существовании различных грехов и их определение от отца Титова. Семилетним ребенком я должен был каяться в своей причастности к делам дьявольским. Господь Бог, который беседовал со мной в шепоте пестрых цветов, росших в нашем саду, внезапно превратился в моем сознании в грозное, неумолимое существо.

Не глядя в мои полные ужаса глаза, отец Титов поведал мне о проклятиях и вечных муках, на которые будут осуждены те, кто утаивает свои грехи. Он возвышал голос, а я, дрожа, смотрел на его наперсный крест, освещенный лучами яркого кавказского солнца. Могло ли так случиться, что я вольно или невольно совершил какой-нибудь ужасный грех и утаил его?

— Очень часто дети берут без спроса разные мелочи у своих родителей. Это воровство и большой грех, — говорил батюшка.

Нет, я был совершенно уверен в том, что не украл даже леденца из большой серебряной вазы, что стояла на камине, хотя она меня соблазняла не раз. Но я вспомнил о прошлом лете, которое провел в Италии. Будучи в Неаполе в саду при нашей вилле, я поднял под одним из фруктовых деревьев блестящее красное яблоко, которое издавало такой знакомый аромат, что я сразу задрожал и загрустил по далекому Кавказу.

— Отец Титов, скажите, я попаду в ад, потому что подобрал чужое яблоко в Неаполе? — спросил я.

Отец Титов успокоил меня и обещал научить, как искупить этот грех, если я ему обещаю никогда не делать ничего подобного.

Эта его готовность идти на уступки придала мне храбрости. Заикаясь, бормоча и проглатывая слова, я выразил удивление и сомнение по поводу существования ада.

— Вы здесь говорили, отец Титов, когда приходили к нам завтракать во дворец, что Господь Бог любит всех — мужчин, женщин, детей, животных и цветы. Так как же Он может допустить существование всех этих мук ада? Как может он одновременно любить и ненавидеть?

Теперь пришла очередь отца Титова ужасаться.

— Не повторяйте этого никогда! Это грех, кощунство. Конечно, Господь Бог любит всех. Он полон благости. Он не может ненавидеть.

— Но, батюшка, вы же мне только что сказали о тех ужасных мучениях, которые ожидают в аду грешников. Значит, Бог любит только хороших людей и не любит грешников.

Батюшка глубоко вздохнул и положил на мою голову свою большую мягкую руку.

— Мой дорогой мальчик, вы поймете это со временем. Когда-нибудь, когда вы вырастаете, вы меня поблагодарите за то, что я воспитал вас в духе истинного христианства. Теперь не спрашивайте много, но поступайте так, как я говорю.

Я ушел из церкви с чувством, что потерял что-то необычайно ценное, чего никогда не смогу приобрести вновь, даже если сделаюсь императором всероссийским.

— Ты простился со своими няньками? — спросил меня отец, когда я взобрался к нему на стул, чтобы пожелать спокойной ночи.

Не все ли было равно и чем мне могли помочь няньки, когда мы все попадем в ад?

С этого дня и до пятнадцатилетнего возраста мое воспитание было подобно прохождению строевой службы в полку. Мои братья Николай, Михаил, Сергей и Георгий и я жили, как в казармах. Мы спали на узких железных кроватях с тончайшими матрацами, положенными на деревянные доски. Я помню, как много лет спустя, уже после моей женитьбы, не мог привыкнуть к роскоши широкой кровати с двойным матрацем и полотняным бельем и потребовал назад мою старую походную кровать.

Нас будили в шесть часов утра. Мы должны были сейчас же вскакивать, так как тот, кто рискнул бы «поспать еще пять минут», наказывался самым строжайшим образом.

Мы читали молитвы, стоя в ряд на коленях перед иконами, потом принимали холодную ванну. Наш утренний завтрак состоял из чая, хлеба и масла. Все остальное было строго запрещено, чтобы не приучать нас к роскоши.

Затем шел урок гимнастики и фехтования. Особое внимание было обращено на практические занятия по артиллерии, для чего в нашем саду стояло орудие. Очень часто отец без предупреждения заходил к нам на занятия, критически наблюдая урок по артиллерии. В возрасте десяти лет я мог бы принять участие в бомбардировке большого города.

От 8 часов утра до 11 и от 2 до 6 мы должны были учиться. По традиции, великие князья не могли обучаться ни в казенных, ни в частных учебных заведениях, а потому мы были окружены целым штатом наставников. Наша учебная программа, разделенная на восьмилетний период, состояла из уроков Закона Божьего, истории православной церкви, сравнительной истории других исповеданий, русской грамматики и литературы, истории иностранной литературы, истории России, Европы, Америки и Азии, географии, математики (заключавшей в себе арифметику, алгебру, геометрию и тригонометрию), языков французского, английского и немецкого и музыки. Сверх того, нас учили обращению с огнестрельным оружием, верховой езде, фехтованию и штыковой атаке. Мои старшие братья Николай и Михаил изучали также латинский и греческий языки, нас же, младших, освободили от этой пытки.

Учение не было трудным ни для меня, ни для моих братьев, но излишняя строгость наставников оставила в нас всех осадок горечи. Можно с уверенностью сказать, что современные любящие родители воспротивились бы, если бы их детей воспитывали так, как это было принято в русской императорской семье эпохи моего детства.

Из-за малейшей ошибки в немецком слове нас лишали сладкого. Ошибка в вычислении скоростей двух встречных поездов — задача, которая имеет для учителей математики особую притягательную силу, — влекла за собою стояние на коленях носом к стене в течение целого часа.

Однажды, когда мы были доведены до слез какой-то несправедливостью педагогов и попробовали протестовать, последовал рапорт отцу с именами зачинщиков, и мы были сурово наказаны.

Для меня навсегда останется непостижимым, как такая давящая система воспитания не притупила наши умы и не вызвала ненависти ко всем тем предметам, которым нас обучали в детстве.

Должен, однако, добавить, что все монархи Европы, казалось, пришли к молчаливому соглашению, что их сыновья должны быть воспитаны в страхе Божьем для правильного понимания будущей ответственности перед страной. Много лет спустя, делаясь воспоминаниями с германским императором Вильгельмом, я оценил сравнительную мягкость наших тифлисских учителей. Его наследник, германский крон-принц, женатый на одной из моих племянниц, сухо добавил, что количество наказаний, полученных в детстве отцом-монархом, не смягчает тропы испытаний, по которой идет его сын.

Завтраки и обеды, столь приятные в жизни каждой семьи, не вносили разнообразия в строгую рутину нашего воспитания.

Наместник Кавказа должен быть представителем государя императора в сношениях с миллионами верноподданных, живущих на юге России, и за наш стол садилось ежедневно не менее 30 или 40 человек. Официальные лица, прибывшие на Кавказ из Петербурга, восточные властители, отправлявшиеся представиться царю, военачальники подчиненных наместнику губерний и областей, общественные деятели с женами, лица свиты и придворные дамы, офицеры личной охраны и наши наставники — все пользовались случаем, чтобы высказать свои политические взгляды и ходатайствовать о различных милостях в Тифлисском дворце.

Мы, дети, должны были во время завтраков и обедов очень следить за собой и отнюдь не начинать разговаривать, пока нас не спрашивали. Как часто, сгорая от желания рассказать отцу о том, какую замечательную крепость мы построили на вершине горы или же какие японские цветы посадил наш садовник, должны были мы сдерживаться, молчать и слушать важного генерала, который разглагольствовал о нелепости последних планов Дизраэли.

Если же к нам обращались с каким-то вопросом, что конечно же делалось из чувства подобоострастия перед наместником Его Величества, то мы должны были отвечать в тех рамках, которые нам предписывал строгий этикет. Когда какая-нибудь дама, с приторно сладкой улыбкой на губах, спрашивала меня о том, кем бы я хотел быть, то она сама прекрасно знала, что великий князь Александр не может желать быть ни пожарным, ни машинистом, чтобы не навлечь на себя неудовольствия великого князя — отца. Выбор моей карьеры был весьма ограничен: он лежал между кавалерией, которой командовал мой дядя, великий князь Николай Николаевич-старший, артиллерией, которая была в ведении моего отца, и военным флотом, во главе которого стоял мой дядя — великий князь Константин Николаевич.

— Для такого мальчика, как вы, — обыкновенно говорила улыбающаяся дама, — самое лучшее следовать по стопам вашего августейшего отца.

Что другое можно было ответить на подобный вопрос, если принять во внимание, что в это время двенадцать пар глаз моих наставников впивались в меня, стараясь внушить мне достойный ответ?

Брат Георгий как-то робко высказал желание сделаться художником-портретистом. Его слова были встречены зловещим молчанием всех

присутствующих, и Георгий понял свою ошибку только тогда, когда камер-лакей, обносивший гостей десертом, прошел с малиновым мороженым мимо его прибора.

Порядок распределения мест за столом исключал для нас, детей, всякую возможность посмеяться над теми или иными странностями гостей или же пошептаться между собой. Нам никогда не позволяли сидеть вместе, а размещали между взрослыми. Нам было объяснено, что мы должны себя вести в отношении наших соседей так, как бы вел себя наш отец. Мы должны были улыбаться неудачным остротам наших гостей и проявлять особый интерес к политическим новостям.

Кроме того, мы должны были всегда помнить, что в один прекрасный день нас повезут в Россию, которая находится за хребтом Кавказских гор. Там, в гостях у нашего царственного дяди, говорили нам, мы с признательностью вспомним наших наставников, которым мы обязаны нашими хорошими манерами. Иначе наши кузены будут указывать на нас пальцами и называть «дикими кавказцами».

Встав из-за стола, мы могли играть в кабинете отца в течение часа после завтрака и двадцати минут после обеда. Кабинетом была огромная комната, покрытая удивительными персидскими коврами и украшенная по стенам кавказскими саблями, пистолетами и ружьями. Окна кабинета выходили на Головинский проспект (главная улица Тифлиса), и из них можно было наблюдать интересные картины восточного быта. Мы не могли насмотреться на высоких, загорелых горцев в серых, коричневых или же красных черкесках, верхом на чистокровных скакунах, с рукой на рукояти серебряных или золотых кинжалов, покрытых драгоценными камнями. Привыкнув встречать у отца представителей различных кавказских народностей, мы без особого труда различали в толпе беспечных персов, одетых в пестрые ткани и ярко выделявшихся на черном фоне одежд грузин и простой формы наших солдат. Армянские продавцы фруктов, сумрачные татары верхом на мулах, желтолицые бухарцы, кричавшие на своих тяжело нагруженных верблюдов, — вот главные персонажи этой вечно двигавшейся панорамы.

Громада Казбека, покрытого снегом и пронизывавшего своей вершиной голубое небо, царила над узкими красивыми улицами, которые вели к базарной площади и были всегда наполнены шумной толпой. Только мелодичное журчание быстрой Куры смягчало шумную гамму этого вечно кричащего города.

Красота окружающей природы обыкновенно накладывает отпечаток грусти на склад юного характера. Но мы все были беспечно счастливы в те короткие минуты, которые оставались в нашем распоряжении между строевыми занятиями и учебными классами.

Мы любили Кавказ и мечтали остаться навсегда в Тифлисе. Европейская Россия нас не интересовала. Наш узкий кавказский патриотизм заставлял нас смотреть с недоверием и даже с презрением на расшитых золотом посланцев С.-Петербурга. Российский монарх был бы неприятно поражен, если бы узнал, что ежедневно от часу до двух и от восьми до половины девятого вечера пятеро его племянников строили на далеком юге планы отделения Кавказа от России. К

счастью для судеб империи, наши гувернеры не дремали, и в тот момент, когда мы принимались распределять между собой главные посты, неприятный голос напоминал нам, что нас ожидают в классной комнате неправильные французские глаголы.

Ровно в девять мы должны были идти в нашу спальню, надевать длинные белые ночные рубашки (пижамы тогда еще не были известны в России), немедленно ложиться и засыпать. Но и в постелях мы оставались под строгим надзором. Не менее пяти раз за ночь дежурный наставник входил в нашу комнату и окидывал подозрительным взглядом кровати, в которых под одеялами лежали, свернувшись, пятеро мальчиков.

Около полуночи нас будило звяканье шпор, возвещавшее приход отца. На просьбы моей матери нас не будить отец отвечал, что будущие солдаты должны приучаться спать, несмотря ни на какой шум.

— Что они будут делать потом, — говорил он, — когда им придется урывать несколько часов для отдыха под звуки канонады?

Никогда не забуду я его высокой фигуры и серьезного красивого лица, склоненного над нашими кроватками, когда он благословлял нас широким крестным знаменем. Потом, прежде чем покинуть нашу спальню, он молился перед иконами, прося Всевышнего помочь ему сделать из нас добрых христиан и верноподданных государя и России. Никакие религиозные сомнения не омрачали его твердых убеждений. Он верил каждому слову Священного Писания и воздавал Богу богово, а Кесарю кесарево.

В глазах наших родителей и воспитателей мы были здоровыми, нормальными детьми, но современный педагог нашел бы в нас неудовлетворенную жажду к большой ласке и к проявлению привязанности. Мы страдали душой от одиночества. Наше особое положение отделяло нас от детей нашего возраста. Нам не с кем было поговорить, и каждый из нас был слишком горд, чтобы делиться своими мыслями с братьями.

Одна мысль о том, чтобы явиться к отцу и утруждать его неопределенными разговорами без специальной цели, казалась просто безумием. Мать наша, со своей стороны, направляла все усилия к тому, чтобы уничтожить в нас малейшее внешнее проявление чувства нежности. В свои юные годы она прошла школу спартанского воспитания в Германии, в духе того времени, и не порицала ее.

Будучи в полном смысле этого слова демократами в наших отношениях к прислуге, мы должны были тем не менее помнить, что великий князь никогда не должен проявлять ни малейшей слабости в присутствии посторонних. Он должен выглядеть всегда довольным, скрывая свои чувства под маской официальной холодности.

Особое положение в семье занимала наша сестра Анастасия Михайловна. Мы все обожали эту высокую темноволосую девушку, она была любимицей отца. Когда мы говорили с нею, то воображали себя ее верными рыцарями, готовыми исполнять все приказания нашей дамы сердца и повергнуть к ее ногам всю любовь, накопившуюся в душе неделями и месяцами скучного учения. Мы страстно ревновали ее друг к другу, и у нас заняло сердце, когда в Тифлис прибыл герцог Мекленбург-Шверинский, чтобы познакомиться со своей

будущей невестой. Наша инстинктивная неприязнь к нему и его лихой манере щелкать каблуками достигла пределов настоящей ненависти, когда наш брат Николай открыл истинную цель его визита. Его появление грозило лишить нас существа, на которое мы изливали всю нашу душевную нежность. После отъезда сестры чувства эти обратились в сторону природы, которая была неизменно ласкова и поддерживала в наших сердцах надежду.

Зимой нам разрешали выходить на двор только на один час, так что мы с нетерпением считали дни, оставшиеся до весны. Наши каникулы продолжались всего шесть недель, и мы проводили их либо в Боржоме, либо на Крымском побережье Черного моря, в имении государя императора.

Я буду всегда с благодарностью вспоминать мою болезнь scarlatina, так как из-за нее мне удалось провести самое счастливое лето в моей жизни. Мне было тогда девять лет.

Я заболел и впал в бессознательное состояние в Боржоме, откуда мои родители собирались ехать в Петербург для свидания с императором Александром II. Доктора сразу же определили scarlatina, и меня оставили в Боржоме на попечении графини Алопеус, гофмейстерины моей матери, адъютанта кн. Меликова и лейб-медика Альбануса. В течение шести недель, проведенных мною в постели, они все меня баловали, и я чувствовал себя центром всеобщего внимания.

Каждый день военный оркестр играл вблизи нашего дома мои любимые мотивы. Множество людей, проезжавших Кавказ, посещали Боржом, чтобы навестить больного сына наместника, и большинство из них приносили мне коробки с леденцами, игрушки и книги приключений Фенимора Купера. Доктор, графиня Алопеус и кн. Меликов охотно играли со мной в индейцев. Вооруженный шашкой адъютанта, доктор пытался скальпировать объятую ужасом придворную даму, которая, исполняя порученную ей роль, призывала на помощь бесстрашного «Белого Человека Двух Ружей». Последний, опершись на подушку, прицеливался в ее мучителей, и его пули одна за другой попадали в их лбы.

Время моего выздоровления ознаменовалось рядом пикников, с поездками в лес и в горы. Уроков не было, все наставники были в С.-Петербурге. Мы выезжали утром в открытом экипаже, запряженном четверкой крепких горных лошадей. Дух захватывало, когда эти маленькие животные с легкостью брали самые крутые подъемы на горы. Воспоминание о горных поездках воскрешает в моей памяти один эпизод, случившийся за год до моей болезни, во время визита шаха персидского в Тифлис. Этот большой восточный человек, сидя в одном экипаже с моей матерью, во время подъема в горы так испугался, что выскочил из экипажа и в ужасе закричал моей матери: «Mourez seule!» (Умри одна!)

Были счастливые для меня дни в Боржоме, когда мы собирали чернику или играли в домино и слушали рассказы о старом Кавказе. Я едва удержался от слез, когда доктор объявил мне, что я поправился и пришла телеграмма, сообщавшая о скором прибытии моих родителей и братьев. Я сознавал, что первый и последний раз в моем детстве я пожил в дружеском общении со взрослыми, которые оказали мне, одинокому мальчику, немного внимания и дали ласку, не видя в этом ничего предосудительного.

Возвратившись в Тифлис, я рассеянно слушал оживленные рассказы моих братьев. Они наперебой восхищались роскошью императорского дворца в С.-Петербурге, но я не променял бы на все драгоценности российской короны время, проведенное в Боржоме. Я мог бы им рассказать, что в то время, как они должны были сидеть навтыжку за высочайшим столом, окруженные улыбающимися царедворцами и подбострастными лакеями, я лежал часами в высокой траве, любуясь цветами, росшими красными, голубыми и желтыми пятнами по горным склонам, и следя за полетами жаворонков, которые поднимались высоко вверх и потом камнем падали вниз, чтобы посмотреть на свои гнезда.

Однако я смолчал, боясь, что братья не оценят моего простого счастья.

Тысяча восемьсот семьдесят пятый год полон большого значения в моей детской жизни. Вскоре после Рождества родился мой брат Алексей, а летом я встретил двух людей, которым суждено было сделаться моими лучшими друзьями на всю жизнь.

Родители прибегали ко всяческим предосторожностям, чтобы скрыть от нас тайну рождения брата. Очевидно, мы должны были сочетать в себе основательное знание артиллерии с искренней верой в аиста.

Пальба 101 орудия очень удивила нас.

— Господу Богу было угодно, — возвестил нам наш воспитатель, — даровать их императорским высочествам сына.

На другой день нам разрешили войти в покои матери и посмотреть на новорожденного брата. Все улыбались и думали, что мы, мальчики, будем ревновать его к матери. Братья молчали, я же был преисполнен самых нежных чувств по отношению к маленькому. Я тайне надеялся, что к тому времени, когда он вырастет, все наши наставники уже закончат на земле свое брренное существование. Глядя на красное, сморщенное лицо новорожденного, я чувствовал к нему жалость.

Три недели спустя состоялось таинство крещения. Ему предшествовал большой парад войск гарнизона. Играла музыка, толпа кричала «ура», в то время как старая придворная дама несла ребенка на руках в церковь в сопровождении целого штата военных и гражданских чинов в полной парадной форме.

Маленький Алексей тихо лежал на шелковой подушке в длинной кружевной рубашке, перевитой голубой лентой ордена Св. Андрея Первозванного. Когда его окунали в воду, он жалобно закричал. Архиепископ читал особую молитву. Потом в том же порядке Алексея понесли обратно в покои матери. Ни мать, ни отец, согласно обычаю православной церкви, не могли присутствовать при крещении. Брат Алексей умер двадцати лет от роду от скоротечной чахотки. Хотя я и был близок к нему более остальных членов нашей семьи, я не жалел о его кончине. Высоко одаренный юноша, с чуткой и свободолюбивой душой, он страдал в обстановке дворцовой жизни.

Той весной мы покинули Тифлис ранее обычного, чтобы провести шесть недель в крымском имении нашего дяди. На пристани в Ялте нас встретил сам государь император, который, шутя, сказал, что хочет видеть самого дикого из своих кавказских племянников. Он ехал в коляске впереди нас по дороге в

знаменитый Ливадийский дворец, известный своей роскошной растительностью.

Длинная лестница вела от дворца прямо к Черному морю. В день нашего приезда, прыгая по мраморным ступенькам, полный радостных впечатлений, я налетел на улыбавшегося мальчика моего возраста, который гулял с няней, державшей ребенка на руках. Мы внимательно осмотрели друг друга. Мальчик протянул мне руку и сказал:

— Ты, должно быть, мой кузен Сандро? Я не видел тебя в прошлом году в Петербурге. Твои братья говорили мне, что у тебя скарлатина. Ты не знаешь меня? Я твой кузен Ники, а это моя маленькая сестра Ксения.

Его добрые глаза и милая манера обращения удивительно располагали к нему. Мое предубеждение в отношении всего, что было с севера, внезапно сменилось желанием подружиться именно с ним. По-видимому, я тоже понравился ему, потому что наша дружба, начавшись с этого момента, длилась сорок два года. Старший сын наследника цесаревича Александра Александровича, он взошел на престол в 1894 году и был последним представителем династии Романовых, который правил Россией.

Я часто не соглашался с его политикой и хотел, чтобы он проявлял больше осмотрительности в выборе высших должностных лиц и больше твердости в проведении своих замыслов в жизнь. Но все это касалось «Императора Николая II» и совершенно не затрагивало моих отношений с «кузеном Ники».

Ничто не может изгладить из моей памяти образа жизнерадостного мальчика в розовой рубашке, который сидел на мраморных ступеньках длинной Ливадийской лестницы и следил, жмурясь от солнца, своими удивительной формы глазами за далеко плывшими по морю кораблями. Я женился на его сестре Ксении девятнадцать лет спустя.

На десятом году жизни я вступил в третий год моего учения, что означало, что новый курс наук и строевых занятий будет прибавлен к моим прежним обязанностям. Оставаясь все время в обществе взрослых и слыша от них постоянно о тяжелой ответственности, ожидающей великого князя, я стал рано задумываться над вопросами, являющимися уделом более зрелого возраста. Как это ни покажется странным, но мое эмоциональное, духовное и умственное развитие на несколько лет опередило период сексуального пробуждения. Оно дало себя почувствовать только в 1882 году, когда мои родители переехали в С.-Петербург окончательно и я начал посещать балет. До того времени, быть может, вследствие строгого воспитания я был целомудрен и в желаниях, и в помыслах. Изучение Ветхого Завета, так легко поражающего воображение ребенка, имело на ход моих мыслей совершенно обратное действие. Абсолютно не сознавая сексуального смысла некоторых событий, я испытывал величайшее волнение по поводу грехопадения Адама и Евы, не уясняя себе его строго легального значения. Я находил страшной несправедливостью изгнание этих двух невинных людей из рая. Во-первых, Господь Бог должен был повелеть дьяволу оставить их в покое, а во-вторых, для чего он сотворил этот злополучный плод, причинивший всему человечеству такие муки?

Отец Титов, относившийся несколько подозрительно ко мне со дня моей первой исповеди, напрасно старался защитить в моих глазах Ветхий Завет. Он

оставил меня временно в покое, молясь о спасении моей души от тьмы неверия, но, в конце концов, потерял терпение и пригрозил доложить обо всем моему отцу. Последнее убило во мне всякий интерес к урокам Закона Божьего, и я перенес весь арсенал моих вопросов и сомнений на уроки географии и естественной истории.

Как большинство моих сверстников, я мечтал о побеге в Америку и выучил наизусть названия всех штатов, городов и рек Соединенных Штатов. Я не давал ни отдыха, ни срока адмиралу Веселаго, которого считал экспертом по американским делам, так как он принимал участие в русской морской демонстрации, проведенной по повелению императора Александра II в 1863 году в американских территориальных водах как протест по поводу вмешательства Англии в американскую гражданскую войну. Меня более всего интересовало, мог ли мальчик без особого вооружения безопасно разгуливать по улицам Нью-Йорка.

Полвека спустя, обмениваясь воспоминаниями детства с моим покойным другом Майроном Герриком, я был глубоко тронут его рассказами о том впечатлении, которое произвело на общественное мнение Западной Америки появление в американских водах русской эскадры.

— Я знаю, — рассказывал Геррик, — что это был самый трагический момент в истории нашего союза. Я был слишком молод, чтобы сознательно следить за политическими событиями, но помню, как мать моя ходила с глазами, полными слез. Так как все молодые люди ушли на войну, матери было трудно из-за недостатка рабочих рук на ферме. Однажды я играл на заднем дворе нашей фермы и вдруг услышал крик матери: «Майрон, Майрон, поди сюда сейчас же!». Я бросился на ее зов, думая, что произошло нечто ужасное. Мать стояла посреди комнаты с газетой в руках. Слезы радости катились по ее щекам, и она беспрестанно повторяла: «Майрон, мы спасены! Русские прибыли! Майрон, мы спасены!». В то время я очень мало знал о народах, живущих вне Соединенных Штатов. Существовали коварные англичане, которых надо остерегаться, еще были французы, написавшие те гадкие книжки, о которых часто говорили у нас в универмаге. Но кто такие русские? «Мама, — спросил я, — они похожи на индейцев? Скальпируют ли они людей?»

— Очень жаль, — заключил свою беседу Геррик, — что вам не удалось бежать в Америку. Если бы вы добрались благополучно до Огайо и застали меня на ферме, мы могли бы рассказать друг другу массу интересных вещей.

Начиная с осени 1876 года центром разговоров за нашим обеденным столом была неизбежность войны с Турцией. Все остальные темы были позабыты, так как каждый сознавал, что близость к турецкой границе поставит нашу кавказскую армию в необходимость действовать быстро. Приезжавшие из Петербурга гости в ярких красках описывали зверства турков в славянских странах. Несколько офицеров из свиты моего отца просили разрешения зачислиться добровольцами в болгарскую армию.

Наши средневековые военные упражнения получили для нас новый смысл. Мы обсуждали, как бы нам пришлось действовать, если бы турки осадили Тифлис и дворец наместника. Мы завидовали брату Николаю, потому что ему исполнилось восемнадцать лет — возраст, когда он мог вступить в

действующую армию и покрыть себя славой героя. Нам же внушали, что война и слава — это одно и то же. Никто не говорил нам о страданиях нашей Родины во время Отечественной и Крымской войн. Мы наизусть знали имена генералов, награжденных орденами Св. Георгия Победоносца, и дрожали, слушая повествования о героизме защитников Севастополя. Наши наставники не считали при этом нужным сообщать нам о страданиях раненых в госпиталях, о нужде в перевязочном материале, о тяжких людских потерях нашей армии, об умерших от тифа. Тема смерти никогда не обсуждалась в нашем присутствии. Наши царственные предки никогда не «умирали». Они «почивали в Бозе».

В это время в Тифлисе произошло дерзкое убийство. Обоих бандитов, виновных в этом преступлении, быстро поймали, судили и приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение на пригорке, недалеко от дворца. Войдя в утро казни в нашу классную комнату, мы увидели всех наших наставников, которые в крайнем возбуждении смотрели на что-то из окна. Вместо того чтобы приказать нам удалиться, они подозвали нас к окну. Не сознавая, в чем дело, мы подошли к окну и увидели это страшное зрелище.

Густая толпа окружала виселицу, глядя на палача, занятого последними приготовлениями. Затем появились две бледные фигуры, которых подталкивали сзади. Мгновение спустя в воздухе мелькнули две пары ног. Я закричал и отвернулся.

— Великий князь Александр никогда не будет хорошим солдатом! — строго заметил наш воспитатель.

Мне хотелось закричать, броситься на него и избить, но отвращение сковало все мои чувства.

Прошло несколько дней, прежде чем эта ужасная картина перестала меня преследовать. Я ходил, как в дурмане, боясь смотреть чрез окна, чтобы не увидеть снова двух повешенных. Я готовил уроки, отвечал на поставленные вопросы, но не мог собраться с мыслями.

Мне казалось, что в душе моей пронесся ураган, который оставил мне обломки всего того, что было в ней посеяно тремя годами упорного труда и учения.

Глава III

Моя первая война

1

Январь 1877 года принес с собою давно ожидавшееся объявление войны между Россией и Турцией. События 1877—1878 гг. кажутся теперь, по прошествии пятидесяти лет, совершенно непонятными: восхищаться ли предусмотрительностью Дизраэли или же сожалеть о простодушии русского правительства? Быть может, было бы правильнее, если бы мы не вмешивались в балканские дела, но какие темные побуждения руководили лордом Биконсфилдом, что он не поверил в искренность всеобщего возмущения в России по поводу поведения турок? Ведь одного слова из Лондона было бы

достаточно, чтобы прекратить ряд убийств, подготовленных турецким правительством в славянских странах. Ведь простая предусмотрительность, предвидение ближайшего будущего показали бы английскому правительству те ужасные последствия, которые явились результатом английского участия в балканской неразберихе! При сложившихся обстоятельствах император Александр II считал своим долгом принять вызов Англии, хотя он был и душой, и светлым своим разумом против войны.

Медленно продвигаясь в течение почти двух лет через полудикие балканские земли, русская армия в действительности вела жесточайшую кампанию против Британской империи. Турецкая армия была вооружена отличными английскими винтовками новейшей системы. Генералы султана следовали указаниям английских военачальников, а флот ее величества королевы английской угрожающе появился в водах Ближнего Востока в тот момент, когда взятие Константинополя русской армией являлось вопросом нескольких недель. Русские дипломаты еще раз подтвердили свою репутацию непревзойденной глупости, уговорив императора Александра II принять так называемое дружественное посредничество Бисмарка и тем самым покончить с русско-турецким конфликтом на конгрессе в Берлине.

«Der alte Jude, das ist ein Mann» (Старый еврей — большой человек), — сказал Бисмарк, восторгаясь Дизраэли, когда последнему удалось заставить русскую делегацию принять условия мира, позорные для России, которые впоследствии неизбежно влекли за собой мировую войну. «Старый еврей» в своем желании сохранить в Европе Турецкую империю поднял престиж Берлина в глазах Стамбула и, таким образом, заложил фундамент для происков императора Вильгельма на Ближнем Востоке. Тысячи британских солдат погибли тридцать семь лет спустя в Галлиполи только потому, что Дизраэли хотел причинить неприятности С.-Петербургу в 1878 году. Однако нет оправдания и русской дипломатии, которая, вместо того чтобы нейтрализовать шаг Дизраэли русско-германским союзом, стала способствовать бессмысленному, даже фатальному сближению России с Францией и Великобританией.

2

Мне было в те дни одиннадцать лет, и я переживал все волнения моей первой войны.

Отца назначили Главнокомандующим русской армией, и Тифлис — мирная столица Кавказа — сразу же принял грозный облик стратегического центра.

Мобилизованные солдаты, которые должны были перейти пешком горный хребет, отделявший Европейскую Россию от Южного Кавказа (в то время не было прямого железнодорожного сообщения между Тифлисом и Москвой), ежедневно получали пищу в большом парке нашего дворца, а в его нижнем этаже был открыт госпиталь.

Каждое утро мы сопровождали отца во время его обхода войск, с замиранием сердца слушая его простые, солдатские слова, обращенные к войскам, по вопросу о причинах войны и о необходимости быстрых действий.

Потом настал великий день и для меня, когда мой шефский 73-й Крымский пехотный полк проходил через Тифлис на фронт и должен был мне представиться на смотру.

В шесть часов утра я уже стоял перед зеркалом и с восторгом любовался своей блестящей формой, начищенными сапогами и внушительной саблей. Вокруг себя я чувствовал зависть и недоброжелательство братьев, завидовавших моему торжеству. Они проклинали свою судьбу за то, что движение их шефских полков задерживалось на севере. Они боялись, что каждая победа нашей армии на Балканах будет ставиться в заслугу «полка Сандро».

— Кажется, твои солдаты здорово устали! — сказал мой брат Михаил, глядя через окно на четыре тысячи людей, вытянувшихся фронтом пред дворцом вдоль всего Головинского проспекта.

Я не обратил внимания на его колкое замечание. Мне мои люди показались замечательными. Я решил, что следовало произнести перед своим полком речь, и старался вспомнить подходящие выражения, которые вычитал в истории Отечественной войны.

— Мои дорогие герои!..

Нет, это звучит как перевод с французского.

— Мои славные солдаты!..

Или еще лучше: мои славные братья!

— В чем дело? — спросил отец, входя в комнату и заметив мои позы.

— Он старается воодушевить свой полк, — ответил Михаил.

Нужна была сильная рука моего отца, чтобы остановить справедливое негодование шефа 73-го Крымского пехотного полка.

— Не ссорьтесь, дети! Не дразните Сандро! Никто не ожидает от него речей.

Я был разочарован.

— Но, папа, разве я не должен обратиться к солдатам с речью?

— Пожелай им просто Божьей помощи. Теперь пойдем и помни, что, как бы ты ни был утомлен, ты должен выглядеть веселым и довольным.

К полудню я понял предупреждение отца. Понадобилось четыре часа, чтобы осмотреть все шестнадцать рот полка, который весь состоял из бородатых великанов, забавлявшихся видом своего молодого, полного собственного достоинства шефа. Шестнадцать раз я повторил «Здорово, первая рота!», «Здорово, вторая рота!» и т. д. и слышал в ответ оглушительный рев из двухсот пятидесяти грудей, которые кричали «Здравия желаем!». Я с трудом поспевал за огромными шагами своего отца, который был на голову выше всех солдат, специально подобранных в шефский полк за свой высокий рост. Никогда в жизни я еще не чувствовал себя таким утомленным и счастливым.

— Ты бы отдохнул, — предложила мне мать, когда мы вернулись во дворец.

Но разве я мог думать об отдыхе, когда четыре тысячи моих солдат шли походным порядком прямо на фронт?

Я тотчас же подошел к рельефной карте Кавказа и начал внимательно изучать путь, по которому пойдет 73-й Крымский пехотный полк.

— Я никогда не слыхал, чтобы так звенели шпорами, — воскликнул брат Михаил и с презрением вышел из комнаты. Хоть он и был на три года старше меня, я тем не менее перерос его в эту зиму на полтора дюйма, и это его очень беспокоило.

3

Неделю спустя отец уехал на фронт. Мы завидовали отцу и не разделяли горя плакавшей матери. Мы очень гордились им, когда он сидел в широкой коляске, запряженной четверкой лошадей, с шестью казаками, скакавшими сзади, и тремя спереди. Один из них держал в руках значок наместника Кавказского, с большим православным крестом на фоне белых, оранжевых и черных цветов и надписью: «С нами Бог!». Древяно было также украшено массивным золотым крестом. Бесчисленное количество экипажей с генералами и чинами штаба следовало за коляской отца под охраной сотни конвоя. Величавые звуки национального гимна и громовые приветствия толпы усиливали торжественность минуты.

Мы, конечно, не могли и думать о рутине наших ежедневных занятий. Мы интересовались только войной. Нам хотелось говорить только о войне. Строя планы на будущее, мы надеялись, что если война продлится еще два года, то мы сможем принять участие в боевых действиях.

Каждое утро приносило захватывающие новости. Кавказская армия взяла турецкую крепость. Дунайская армия под командованием нашего дяди, великого князя Николая Николаевича-старшего, переправилась через Дунай и двигалась по направлению к Плевне, где должны были произойти самые кровопролитные бои. Император Александр II посетил главную квартиру, раздавая боевые награды многочисленным генералам и офицерам, имена которых мы хорошо знали.

Первая партия турецких пленных прибыла в Тифлис.

Имена многих сподвижников моего отца, в особенности имя генерала Лорис-Меликова, повторялись беспрестанно. Было приятно сознавать, что все эти генералы, бывшие нашими близкими друзьями, вдруг стали национальными героями. С радостью расстались мы с нашим военным воспитателем, который вскоре после объявления войны должен был выехать на фронт, вследствие чего наступило значительное смягчение режима нашего воспитания. Как это ни стыдно признавать, но я втайне надеялся, что шальная турецкая пуля освободит нас навсегда от этого жестокого человека. Однако совесть моя может быть спокойной: он возвратился с фронта целым и невредимым, украшенный боевыми отличиями, но его место при нас уже было занято воспитателем с менее суровым характером.

Была установлена связь при помощи особых курьеров между дворцом наместника и ставкой командующего фронтом в Александрополе, что позволяло нам быть всегда в курсе всех военных новостей. Ежедневно, по прибытии сводки, мы бросались к карте, чтобы передвинуть разноцветные флажки, обозначающие положение на фронте. Сводка не щадила красок, чтобы описать подвиги нашей армии и дать подробные цифры убитых и пленных турок. Турецкие потери звучали в наших ушах сладкой музыкой. Много лет спустя,

командуя русским воздушным флотом во время мировой войны, я постиг не совсем обычный механизм издания официальных военных сводок и уже не мог вновь пережить энтузиазма одиннадцатилетнего мальчика, с блеском в глазах следившего за передвижениями русской армии в Турции, не думая о тех гекатомбах человеческих жизней, которые она оставляла на своем пути продвижения. В 1914—1917 гг. я понял, что «тяжелые потери», которые понес «быстро отступающий противник», неизменно сопровождались еще более тяжелыми потерями нашей «славной победоносной армии». Мне кажется, что никто не в состоянии изменить оптимизма официальных реляций, а также психологии военных, способных смотреть хладнокровно на горы трупов в отбитых у противника окопах. С другой стороны, следует признать, что этика войны значительно изменилась за последние сорок лет. Тот налет рыцарства, который был еще замечен в действиях противников в войне 1877—1878 гг., уступил место зверскому взаимоистреблению людей. Достаточно вспомнить Верден с его 400 тыс. убитых! Читая описания кошмарных условий, в которых протекала жизнь военнопленных во время мировой войны, я всегда вспоминал о той симпатии и том уважении, с которыми мы, русские, обращались в 1877 году с турецкими пленными. Александр II считал долгом дать личную аудиенцию Осману-паше, командиру турецкой армии под Плевной, возвратил пленному паше его саблю и самым высоким образом оценил его мужество и военный гений.

Тридцать семь лет спустя генералу Корнилову, взятому в плен австрийцами, был оказан прием, достойный лишь мелких воришек и обычных преступников.

4

Относительная свобода, которой пользовались я и мои братья за время пребывания наместника на фронте, дала нам, наконец, возможность ознакомиться с различными классами тифлисского населения и их социальным бытом.

При наших посещениях госпиталей, а также на прогулках по улицам мы сталкивались с ужасающей нуждой. Мы видели нищету, страдания и непосильный труд, притаившиеся около самого дворца. Мы слышали рассказы, которые разрушали все наши прежние иллюзии и мечты. То, что я носил голубую шелковую рубашку и красные сафьяновые сапоги, казалось мне теперь постыдным в присутствии мальчиков-однолеток, у которых были рваные рубашки, а ноги — босы. Многие из них голодали; все они проклинали войну, которая лишила их отцов. Мы рассказали о наших впечатлениях воспитателям и просили, чтобы нам дали возможность помочь этим бедным подросткам с изнуренными, серыми лицами. Нам ничего не ответили, но вскоре наши прогулки опять ограничились пределами дворцового парка, хотя эта мера и не стерла в нашей памяти тяжести пережитых впечатлений. Наше сознание вдруг проснулось, и весь мир принял другую окраску.

— Вам, сыновьям великого князя, хорошо живется, — сказал один из наших новых знакомых, — вы все имеете и живете в роскоши.

Мы запомнили эту странную фразу и удивлялись, что такое роскошь? Разве это правда, что мы имеем все, а те, остальные, — ровно ничего?

Перед нашим дворцом мы часто видели одного часового, красивого, веселого парня, который приветствовал нас по утрам широкой улыбкой, как-то не соответствовавшей серьезности момента отдания чести. Мы привыкли к нему, и его внезапное исчезновение заставило нас призадуматься, не послали ли его на фронт? Как-то во время завтрака мы услышали разговор двух офицеров свиты: молодой часовой покончил самоубийством, и найденное при нем письмо с известием о смерти жены явилось единственным объяснением его смерти.

— Вы ведь знаете этих деревенских парней, — говорил один из адъютантов, — они всегда хотят присутствовать при похоронах своих близких, и если им это не удастся, то на них нападает тоска.

Это все, что было сказано про улыбающегося солдата, стоявшего на своем посту в далеком Тифлисе и считавшего дни, которые отделяли его от свидания с женой. Но эта одинокая смерть поразила меня более, чем гибель десятков тысяч русских и турок, о которой говорила официальная сводка. Я постоянно ходил к тому месту, где солдат стоял на часах. Его преемник — ветеран средних лет, чью грудь украшали медали, с любопытством посмотрел на меня. Он взглянул сперва на свои сапоги, затем начал считать пуговицы на мундире, подозревая, что в его форме одежды что-либо не в порядке. Мне хотелось поговорить с ним и спросить, когда он в последний раз видел свою жену. Я знал, что с часовыми разговаривать не полагается, а потому молча стоял пред ним, и мы оба старались прочесть мысли друг друга. Я старался разгадать его горе, он же терзался мыслью о том, не оторвалась ли у него на мундире пуговица. Я уверен, что если бы мне теперь удалось каким-нибудь способом попасть в Тифлис, я бы без труда нашел то место, где русский солдат-часовой в 1878 году оплакивал потерю своей жены.

5

Мир был подписан летом 1878 года, а осенью мы отправились в С.-Петербург на свадьбу моей сестры Анастасии Михайловны с великим герцогом Фридрихом Мекленбург-Шверинским.

Так как это было мое первое путешествие в Европейскую Россию, я волновался больше всех. Не отрываясь от окна вагона, я следил за бесконечной панорамой русских полей, которые показались мне, воспитанному среди снеговых вершин и быстрых потоков Кавказа, однообразными и грустными. Мне не нравилась эта чуждая мне страна, и я не хотел признавать ее своей родиной. Я видел покорные лица мужиков, бедные деревни, захолустные, провинциальные города, и спустя сутки после того, как наш поезд выехал из Владикавказа (до которого мы добрались в экипажах), меня стало неудержимо тянуть обратно в Тифлис. Отец заметил мое разочарование.

— Не суди обо всей России по ее провинции, — заметил он, — вот скоро увидишь Москву с ее 1600 церквями и Петербург с гранитными дворцами.

Я глубоко вздохнул. Мне пришлось уже столько слышать о храмах Кремля и о роскоши Императорского дворца, что я заранее был уверен, что они мне не понравятся.

Мы остановились в Москве, чтобы поклониться чудотворной иконе Иверской Божьей Матери и мощам святых Кремля, что являлось официальным долгом каждого члена императорской фамилии, проезжавшего через Москву.

Иверская часовня, представлявшая собой старое, маленькое здание, была переполнена народом, который хотел посмотреть на наместника и его семью. Тяжелый запах бесчисленных свечей и громкий голос диакона, читавшего молитву, нарушили во мне молитвенное настроение, которое обычно навевает на посетителей чудотворная икона. Мне казалось невозможным, чтобы Господь Бог мог избрать подобную обстановку для откровения своим чадам святых чудес. Во всей службе не было ничего истинно христианского. Она скорее напоминала мрачное язычество. Боясь, что меня накажут, я притворился, будто молюсь, но был уверен, что мой Бог, Бог золотистых полей, дремучих лесов и журчащих водопадов, никогда не посетит Иверскую часовню.

Потом мы поехали в Кремль и поклонились мощам святых, почивавших в серебряных раках и закутанных в серебряные и золотые ткани. Пожилой монах в черной рясе водил нас от одной раки к другой, поднимая крышки и показывая место, куда надлежало прикладываться. У меня разболелась голова. Еще немного в этой душной атмосфере и я упал бы в обморок.

Я не хочу кощунствовать и тем более оскорблять чувства верующих православных. Я просто описываю этот эпизод, чтобы показать, какое ужасное впечатление оставил средневековый обряд в душе мальчика, искавшего в религии красоты и любви. Со дня моего первого посещения Первопрестольной и в течение последовавших сорока лет я по крайней мере несколько сот раз целовал в Кремле мощи святых. И каждый раз я не только не испытывал религиозного экстаза, но переживал глубочайшее нравственное страдание. Теперь, когда мне исполнилось шестьдесят пять лет, я глубоко убежден, что нельзя почитать Бога так, как нам это завещали наши языческие предки.

Линия Москва — Петербург, протяжением в 605 верст, была оцеплена войсками. В течение всего пути мы видели блеск штыков и солдатские шинели. Ночью тысячи костров освещали наш путь. Сперва мы думали, что это входило в церемониал встречи наместника Кавказского, но потом мы узнали, что государь император предполагал в ближайшем будущем посетить Москву, а потому правительством были приняты чрезвычайные меры по охране его поезда от покушений злоумышленников. Это несказанно огорчило нас. По-видимому, политическая обстановка принимала крайне напряженный характер, если для поезда императора необходимо было охранять каждую пядь дороги между двумя столицами. Это было так непохоже на то время, когда Николай I путешествовал почти без охраны по самым глухим местам нашей необъятной империи. Отец был очень огорчен и не мог скрыть своего волнения.

Мы приехали в Петербург как раз в период туманов, которым позавидовал бы Лондон. Лампы и свечи горели по всему дворцу. В полдень становилось так темно, что я не мог разглядеть потолка в моей комнате.

— Ваша комната приятна тем, — объяснил нам наш воспитатель, — что, когда туман рассеется, вы увидите напротив через Неву Петропавловскую крепость, в которой погребены все русские государи.

Мне стало грустно. Мало того, что предстояло жить в этой столице туманов, так еще в соседстве с мертвецами. Слезы показались у меня на глазах. Как я ненавидел Петербург в это утро. Даже и теперь, когда я тоскую по родине, то всегда стремлюсь увидеть вновь Кавказ и Крым, но совершенно искренно надеюсь никогда уже более не посетить прежнюю столицу моих предков.

Мне вспоминается, как я спорил на эту тему с родителями. Они любили Петербург, где провели первые счастливые годы своей супружеской жизни, но не могли вместе с тем порицать и моего пристрастия к Кавказу. Они соглашались с тем, что, в то время как Кавказ своей величавой красотой успокаивает и радует душу, Петербург неизбежно навевает давящую тоску.

6

Все большие семьи страдают от чрезмерного честолюбия их мужских представителей. В этом отношении русская императорская семья не являлась исключением.

Во время моего первого пребывания в Петербурге в 1879 году она насчитывала почти два десятка молодых людей мужского пола.

У императора Александра II было пять сыновей: Александр (будущий император Александр III), Владимир, Алексей, Сергей и Павел.

Его брат, великий князь Михаил Николаевич (мой отец), имел шестерых сыновей: Николая, Михаила, Георгия, Александра, Сергея и Алексея Михайловичей.

Его второй брат, великий князь Николай Николаевич, имел двух сыновей: Николая (Николая Николаевича-младшего, ставшего в 1914 году верховным главнокомандующим) и Петра Николаевичей.

Его третий брат, великий князь Константин Николаевич, имел четырех сыновей: Константина, Дмитрия, Николая и Вячеслава Константиновичей.

Два старших сына императора: наследник цесаревич и великий князь Александр Александрович и великий князь Владимир Александрович, женились рано, и у каждого было по три сына. У наследника: Николай (Ники) — будущий император Николай II, Георгий (Жорж, умерший в июне 1899 г. в Аббас-Тумане) и Михаил — от брака с принцессой Дагмарой Датской. У великого князя Владимира Александровича от брака с Марией, герцогиней Мекленбург-Шверинской: Кирилл, Борис и Андрей. Это были представители молодого поколения династии.

За исключением наследника и его трех сыновей, наиболее близких к трону, остальные мужские представители императорской семьи стремились сделать карьеру в армии и на флоте и соперничали друг с другом. Отсюда существование в императорской семье нескольких партий и, несмотря на близкое родство, некоторая взаимная враждебность. Вначале мы, «кавказцы», держались несколько особняком от «северян»: считалось, что мы пользовались особыми привилегиями у нашего дяди — царя. Мы же обвиняли «северян» в смешном высокомерии. У нас пятерых были свои любимцы и враги. Мы все любили будущего императора Николая II и его брата Георгия и не доверяли Николаю Николаевичу. Вражда между моим старшим братом Николаем Михайловичем и будущим главнокомандующим русской армии Николаем Николаевичем —

вражда, начавшаяся со дня их первой встречи еще в детские годы, — внесла раздор в отношения молодых членов императорской семьи: им приходилось выбирать, кого они поддерживают и с кем дружат — с высоким Николашей или с начитанным Николаем Михайловичем.

Хотя я и был новичком в области придворных взаимоотношений, еще задолго до нашей встречи, которая произошла в 1879 году, я начал относиться неприязненно к врагу моего старшего брата. Когда же я его увидел впервые на одном из воскресных семейных обедов в Зимнем дворце, то не нашел причины изменить свое отношение к нему. Все мои родные без исключения сидели за большим столом, уставленным хрусталем и золотой посудой: император Александр II, мягкость доброй души которого отражалась в его больших, полных нежности глазах; наследник цесаревич — мрачный и властный, с крупным телом, которое делало его значительно старше своих тридцати четырех лет; суровый, но изящный великий князь Владимир; великий князь Алексей — общепризнанный повеса императорской семьи и кумир красавиц Вашингтона, куда он имел обыкновение ездить постоянно; великий князь Сергей, сноб, который отталкивал всех скукой и презрением, написанным на его юном лице; великий князь Павел — самый красивый и самый демократичный из всех сыновей государя.

Четыре Константиновича группировались вокруг своего отца великого князя Константина Николаевича, который из-за своих либеральных политических взглядов был очень непопулярен у старших членов семьи.

И наконец, наш «враг» Николаша. Самый высокий мужчина в Зимнем дворце, и это действительно было так, ибо средний рост представителей царской династии был шесть футов с лишком. В нем же было без сапог шесть футов пять дюймов, так что даже мой отец выглядел значительно ниже его. В течение всего обеда Николаша сидел так прямо, словно каждую минуту ожидал исполнения национального гимна. Время от времени он бросал холодный взгляд в сторону «кавказцев» и потом быстро опускал глаза, так как мы все как один встречали его враждебными взглядами.

К концу этого обеда мои симпатии и антипатии установились: я решил завязать дружбу с Ники и с его братом Георгием, с которым был уже знаком во время нашего пребывания в Крыму. Точно так же я был не прочь избрать товарищами моих игр великих князей Павла Александровича и Дмитрия Константиновича. Что же касается остальных великих князей, то я решил держаться от них подальше, насколько мне позволят этикет и вежливость. Глядя на гордые лица моих кузенов, я понял, что у меня есть выбор между популярностью в их среде и независимостью моей личности. И произошло так, что не только осенью 1879 года, но и в течение всей моей жизни в России я имел очень мало общего с членами императорской семьи, за исключением императора Николая II и его сестер и моих братьев. Бедный Георгий умер от скоротечной чахотки у нас под Боржомом. Великий князь Павел (отец великой княгини Марии Павловны-младшей) заключил в 1902 году мorganатический брак и должен был покинуть пределы России. Что же касается великого князя Дмитрия Константиновича, то в нем с ранних лет развился интерес исключительно к лошадям и к военной службе, что не могло способствовать

установлению между нами близких отношений, хотя мы и были хорошими друзьями.

Когда-нибудь романист, обладающий талантом Золя, который не побоится потратить долгие годы на архивные изыскания, изберет историю последних Романовых в качестве сюжета для большого романа-хроники, и это будет произведением не менее замечательным, чем «История Ругон-Маккаров». Отцы и сыновья, кузены и братья, дяди и племянники — мы были между собой так непохожи характерами, наклонностями и интересами, что почти невозможно поверить, что всего какие-нибудь сорок лет и два царствования прошли между смертью железного правителя Европы Николая I и вступлением на престол его несчастного правнука, последнего русского царя Николая II.

7

Брак моей сестры Анастасии послужил как бы прологом к расколу нашей семьи. Три старших брата начали службу в гвардии, нужно было принять решение и о моей дальнейшей судьбе. Во всяком случае, мне стало ясно, что мы скоро все будем друг с другом разлучены. Анастасия первая начала взрослую, самостоятельную жизнь. Высокая, стройная и темноволосая, в тяжелом платье из серебряной парчи (традиционном для великих княгинь), она была изумительно хороша, когда император Александр II повел ее во главе свадебного шествия, в котором приняли участие представители всех царствующих домов Европы, через сады Зимнего дворца в дворцовую церковь. Сейчас же вслед за венчанием по православному обряду состоялось второе — по протестантскому. Таким образом были удовлетворены и русский, и германский императоры, а их родственники, великая княжна Анастасия Михайловна и герцог Фридрих Мекленбург-Шверинский, были дважды в течение сорока минут соединены брачными узами.

Семейный завтрак, поданный после второй брачной церемонии, и большой торжественный обед заполнили программу дня. Следующее утро было посвящено приему иностранных дипломатов, придворных и представителей духовенства. Потом состоялся еще один семейный обед. Только к концу второго дня жених и невеста могли сесть в специальный поезд, который должен был доставить их в Германию. Раздался свисток, почетный караул отдал честь, и мы потеряли из виду нашу Анастасию. Мать плакала, отец взволнованно теребил перчатку. Суровый закон, предписывающий членам царствующего дома вступать в браки с равными по крови членами иностранных династий, впервые поразил нашу семью. Этот закон тяготел над нами вплоть до 1894 года, когда я первый его нарушил, женившись на великой княжне Ксении, дочери моего двоюродного брата, императора Александра III.

Брак сестры Анастасии был поводом для отъезда моей матери весною за границу. Официальным предлогом этой поездки было ее желание, чтобы мы познакомились с ее братом, великим герцогом Баденским, неофициальным — мать мечтала повидать свою любимую дочь. В течение четырех месяцев тысячи верст будут отделять нас от нашего любимого Кавказа. Напрасно я пробовал прибегнуть ко всевозможным хитростям, чтобы остаться в Тифлисе, — родители не хотели считаться с моими желаниями. Так, летом 1880 года в

Бадене я впервые встретил представителей нации, которым было суждено занять такое значительное место в моей жизни. Невдалеке от герцогского дворца, в парке, играли в теннис две хорошенькие молодые американки. Я влюбился в обеих сразу и не мог решить, которая из них мне больше нравится. Однако это не могло ни к чему привести, так как мне было строжайшим образом запрещено разговаривать с кем-либо из американцев, и за этим строго следил адъютант великого герцога. Девушки заметили мои влюбленные взгляды и, не имея представления о суровом приказе моей матери, решили, что я или застенчив, или же глуп. Каждый раз, когда они оканчивали трудный сэт, они садились на скамейку неподалеку от того места, где я стоял. Громко разговаривая, они делали замечания, которые мало щадили мое мужское самолюбие.

— Что такое с этим мальчиком, — говорила более высокая из них, — неужели он глухонемой? Может быть, нам придется изучить язык глухонемых?

Я молил Бога, чтобы этот проклятый адъютант оставил меня хоть на минуту в покое, дабы я мог опровергнуть убеждение этих прелестных барышень в отсутствии у меня дара речи, но немецких офицеров учат в точности исполнять приказания. В случае надобности он был способен простоять около меня, не отходя, круглые сутки. Мои робкие попытки улыбнуться незнакомкам стали вскоре известны во дворце и явились поводом к тому, что два моих брата и немецкие кузены, под предводительством будущего рейхсканцлера Макса Баденского, стали меня беспощадно дразнить. Я начал находить под подушкой коротенькие записки, написанные рукой Михаила или Георгия, но подписанные «Любящие вас американские девушки». Маленькие американские флажки втыкались мне на пальто или же, когда я входил в гостиную, меня встречали звуками популярного американского марша, который играл один из моих мучителей на рояле. Только после двух недель молчаливой борьбы я уступил и стал держаться подальше от теннисной площадки в течение всего остального нашего пребывания в Баден-Бадене.

К началу осени мы возвратились в Тифлис.

Глава IV

Княгиня Юрьевская

1

Зимой 1880 года, в один из туманных, тихих вечеров сильный взрыв потряс здание Зимнего дворца. Было повреждено помещение, которое занимал караул л.-гв. Финляндского полка; было убито и ранено 40 офицеров и солдат. Это произошло как раз в тот момент, когда церемониймейстер появился на пороге столовой и объявил: «Его Величество!»

Маленькая неточность в расчете адской машины, помещенной в фундаменте дворца, спасла личные покои царя от разрушения. Было разбито только немного посуды и выбито несколько стекол в окнах.

Судебное расследование обнаружило совпавшее со взрывом внезапное исчезновение из дворца одного недавно нанятого камер-лакея. Последний, по-видимому, принадлежал к партии, которая получила название партии нигилистов — людей, задавшихся целью уничтожения, ниспровержения существующего строя и форм жизни и являвшихся, в сущности, зародышем будущего большевизма. Партия эта начала свою террористическую деятельность в семидесятых годах и значительно усилила ее после введения императором Александром II суда присяжных, который почти всегда заранее обеспечивал этим господам полное оправдание за их преступления и убийства. Так и после покушения Веры Засулич, пытавшейся убить в 1878 году петербургского генерал-губернатора Трепова, русское общество впервые услышало, как представитель судебной власти в своем резюме произнес красноречивую речь в защиту нигилизма.

Писатели, студенты, доктора, адвокаты, банкиры, купцы и даже крупные государственные деятели играли в либерализм и мечтали об установлении республиканского строя в России, стране, в которой только девятнадцать лет пред тем было уничтожено крепостное право.

Восемьдесят пять процентов русского народа было еще неграмотно, а наша нетерпеливая интеллигенция требовала немедленного всеобщего избирательного права для созыва Учредительного Собрания. Готовность монарха пойти на уступки еще более возбуждала аппетиты будущих «премьер-министров», а пассивность полиции поощряла развитие самых смелых революционных планов.

Идея цареубийства носилась в воздухе. Никто не чувствовал ее острее, чем Ф.М.Достоевский, на произведения которого теперь можно было смотреть, как на удивительные пророчества грядущего большевизма. Незадолго до смерти, в январе 1881 года, Достоевский в разговоре с издателем «Нового Времени» А.С.Сувориным заметил с необычайной искренностью:

— Вам кажется, что в моем последнем романе «Братья Карамазовы» было много пророческого? Но подождите продолжения. В нем Алеша уйдет из монастыря и сделается нигилистом. И мой чистый Алеша — убьет царя...

2

При известии о покушении в Зимнем дворце отец сразу собрался в Петербург. В такое время он не мог оставаться вдали от своего любимого царственного брата. Нам было велено готовиться провести эту зиму в столице.

Тяжелые тучи нависли над всей страной. Торжественные встречи, устроенные нам властями по пути нашего следования на север, не могли скрыть всеобщей тревоги. Все понимали, что покушения на государя, ставшие хроническим явлением, прекратятся лишь тогда, когда более твердая рука станет у власти. Многие предполагали, что мой отец должен взять на себя полномочия диктатора, ибо все уважали в нем твердость убеждений и бесстрашие солдата.

Но мало кто из русского общества сознавал, что даже самые близкие и влиятельные члены императорской семьи должны были в то время считаться с влиянием на государя посторонней женщины. Мы, дети, узнали о ее

существовании накануне прибытия нашего поезда в Петербург, когда нас вызвали в салон-вагон к отцу.

Войдя, мы тотчас же поняли, что между нашими родителями разногласие. Лицо матери было покрыто красными пятнами, отец курил, размахивая длинной, черной сигарой, что бывало чрезвычайно редко в присутствии матери.

— Слушайте, дети, — начал отец, поправляя на шее ленту ордена Св. Георгия Победоносца, полученного им за покорение Западного Кавказа, — я хочу вам что-то сказать, пока мы еще не приехали в С.-Петербург. Будьте готовы встретить новую императрицу на первом же обеде во дворце.

— Она еще не императрица! — горячо перебила моя мать. — Не забывайте, что настоящая императрица умерла всего только десять месяцев тому назад!

— Дай мне кончить... — резко перебил отец, повышая голос. — Мы все — верноподданные нашего государя. Мы не имеем права критиковать его решения. Каждый великий князь должен также исполнять его приказы, как последний рядовой солдат. Как я уже начал вам объяснять, дети, ваш дядя государь удостоил браком княжну Долгорукую. Он пожаловал ей титул княгини Юрьевской до окончания траура по вашей покойной тетушке императрице Марии Александровне. Княгиня Юрьевская будет коронована императрицей. Теперь же вам следует целовать ей руку и оказывать то уважение, которое этикет предписывает в отношении супруги царствующего императора. От второго брака государя есть дети, трое: мальчик и две девочки. Будьте добры к ним.

— Вы, однако, слишком далеко заходите, — сказала матушка по-французски, с трудом сдерживая свой гнев.

Мы пятеро переглядывались. Тут я вспомнил, что во время нашего последнего пребывания в Петербурге нам не позволили подходить к ряду апартаментов в Зимнем дворце, в которых, мы знали, жила одна молодая красивая дама с маленькими детьми.

— Сколько лет нашим кузенам? — прервал вдруг молчание мой брат Сергей, который даже в возрасте одиннадцати лет любил точность во всем.

Отцу этот вопрос, по-видимому, не понравился.

— Мальчику семь, девочкам шесть и четыре года, — сухо сказал он.

— Как же это возможно?.. — начал было Сергей, но отец поднял руку:

— Довольно, мальчики! Можете идти в ваш вагон.

Остаток дня мы провели в спорах о таинственных событиях в Зимнем дворце. Мы решили, что, вероятно, отец ошибся и что, по-видимому, государь женат на княгине Юрьевской значительно дольше, чем 10 месяцев. Но тогда неизбежно выходило, что у него были две жены одновременно. Причину отчаяния моей матери я понял значительно позже. Она боялась, что вся эта история дурно повлияет на нашу нравственность: ведь ужасное слово «любовница» было до тех пор совершенно исключено из нашего обихода.

3

Сам старший церемониймейстер был заметно смущен, когда в следующее после нашего приезда воскресенье вечером члены императорской семьи собрались в Зимнем дворце у обеденного стола, чтобы встретиться с княгиней Юрьевской.

Голос церемониймейстера, когда он постучал три раза об пол жезлом с ручкой из слоновой кости, звучал неуверенно.

— Его Величество и светлейшая княгиня Юрьевская!

Мать моя смотрела в сторону, а моя будущая теща, жена наследника престола Мария Федоровна, потупилась...

Император быстро вошел, ведя под руку молодую красивую женщину. Он весело кивнул моему отцу и окинул испытующим взглядом могучую фигуру наследника. Вполне рассчитывая на полную лояльность своего брата (нашего отца), он не имел никаких иллюзий относительно взгляда наследника на этот второй его брак. Княгиня Юрьевская любезно отвечала на вежливые поклоны великих княгинь и князей и села рядом с императором в кресло покойной императрицы. Полный любопытства, я не спускал с княгини Юрьевской глаз. Мне понравилось выражение ее грустного лица и лучистое сияние, идущее от светлых волос. Было ясно, что она волновалась. Она часто обращалась к императору, и он успокаивающе поглаживал ее руку. Ей, конечно, удалось бы покорить сердца всех мужчин, но за ними следили женщины, и всякая ее попытка принять участие в общем разговоре встречалась вежливым, холодным молчанием. Я жалел ее и не мог понять, почему к ней относились с презрением за то, что она полюбила красивого, веселого, доброго человека, который, так получилось, был императором?

Долгая совместная жизнь нисколько не уменьшила их взаимного обожания. В шестьдесят четыре года Александр II держал себя с нею, как восемнадцатилетний мальчик. Он нашептывал слова одобрения в ее маленькое ушко. Он интересовался, нравятся ли ей вина. Он соглашался со всем, что она говорила. Он смотрел на всех нас с дружеской улыбкой, как бы приглашая радоваться его счастью, шутил со мною и моими братьями, страшно довольный тем, что нам, молодым, княгиня, по крайней мере, понравилась.

К концу обеда гувернантка ввела в столовую их троих детей.

— А вот и мой Гога! — воскликнул гордо император, поднимая в воздух веселого мальчугана и сажая его на плечо. — Скажи-ка нам, Гога, как тебя зовут?

— Меня зовут князь Георгий Александрович Юрьевский, — ответил Гога и начал возиться с бакенбардами императора, теребя их ручонками.

— Очень приятно познакомиться, князь Юрьевский! — шутил государь. — А не хочется ли вам, молодой человек, сделаться великим князем?

— Саша, ради Бога, оставь! — нервно сказала княгиня.

Этой шуткой Александр II как бы пробовал почву среди родственников по вопросу об узаконении своих морганатических детей. Княгиня Юрьевская пришла в величайшее смущение и, в первый раз забыв об этикете двора, во всеуслышание назвала своего супруга уменьшительным именем.

К счастью, маленький Гога был слишком занят исполнением роли парикмахера Его Величества, чтобы задумываться над преимуществами императорского титула, да и царь не настаивал на ответе. Одно было ясно: император решил игнорировать неудовольствие членов императорской фамилии и хотел из этого первого семейного обеда устроить веселое воскресенье для своих детей. После обеда состоялось представление итальянского фокусника, а

затем самые юные из нас отправились в соседний салон с Гогой, который продемонстрировал свою ловкость в езде на велосипеде и в катании на коврике с так называемых русских горок. Мальчуган старался подружиться со всеми нами и в особенности с моим двоюродным племянником Ники (будущим императором Николаем II), которого очень забавляло, что у него, тринадцатилетнего, есть семилетний дядя.

На обратном пути из Зимнего дворца мы были свидетелями новой ссоры между родителями:

— Что бы ты ни говорил, — заявила моя мать, — я никогда не признаю эту авантюристку. Я ее ненавижу! Она достойна презрения. Как смеет она в присутствии всей императорской семьи называть твоего брата Сашей.

Отец вздохнул и в отчаянии покачал головой.

— Ты не хочешь понять до сих пор, моя дорогая, — ответил он кротко, — хороша она или плоха, но она замужем за государем. С каких пор запрещено женам называть уменьшительным именем своего законного мужа в присутствии других? Разве ты называешь меня «Ваше Императорское Величество?»

— Как можно делать такие глупые сравнения! — сказала моя мать со слезами на глазах. — Я не разбила ничьей семьи. Я вышла за тебя замуж с согласия твоих и моих родителей. Я не замышляю гибель империи.

— Я запрещаю, — он делал при этом ударение на каждом слове, — повторять эти позорные сплетни! Будущей императрице вы и все члены императорской семьи, включая наследника и его супругу, должны и будете оказывать полное уважение! Это вопрос конченный!

Где я видел княгиню Юрьевскую? — спрашивал я себя, прислушиваясь к разговору родителей. И в моей памяти воскресла картина придворного бала в один из прошлых наших приездов в С.-Петербург.

Громадные залы Зимнего дворца были украшены орхидеями и другими тропическими растениями, привезенными из императорских оранжерей. Бесконечные ряды пальм стояли на главной лестнице и вдоль стен галерей. Восемьсот служащих и рабочих две недели трудились над украшением дворца. Придворные повара и кондитеры старались перещеголять один другого в изготовлении яств и напитков.

Мне разрешили надеть на бал форму 73-го Крымского пехотного полка, шефом которого я состоял от рождения, и я важно выступал между кавалергардами в касках с двуглавым орлом, которые стояли при входе в зал.

Весь вечер я старался держаться подальше от родителей, чтобы какое-нибудь неуместное замечание не нарушило моего великолепия.

Высочайший выход открыл бал. Согласно церемониалу, бал начинался полонезом. Государь шел в первой паре рука об руку с цесаревной Марией Федоровной, за ним следовали великие князья и великие княгини в порядке старшинства. Так как великих княгинь, чтобы составить пары, было недостаточно, младшие великие князья, как я, должны были идти в паре с придворными дамами. Моя дама была стара и помнила детство моего отца. Наша процессия не была, собственно говоря, танцем в совершенном значении этого слова. Это было торжественное шествие с несколькими камергерами впереди, которые возвещали наше прохождение через все залы Зимнего дворца.

Мы прошли три раза через залы, после чего начались танцы. Кадриль, вальс и мазурка были единственными танцами того времени, допущенными этикетом.

Когда пробила полночь, танцы прекратились, и государь в том же порядке повел всех к ужину. Танцующие, сидящие и проходящие через одну из зал часто поднимали глаза на хоры, показывали на молодую, красивую даму и о чем-то перешептывались. Я заметил, что государь часто смотрел на нее, ласково улыбаясь. Это и была княгиня Юрьевская.

Граф Лорис-Меликов часто покидал залу. Возвращаясь, он каждый раз подходил к государю и что-то докладывал ему. По-видимому, темой его докладов были те чрезвычайные меры охраны, которые были приняты по случаю бала. Их разговор заглушался пением артистов Императорской оперы, которые своей программой, составленной из красивых, но грустных мелодий, усиливали напряженность атмосферы и навевали тоску. Как бы то ни было, но низким басам и высоким сопрано не удалось согнать бодрой улыбки с лица государя.

Государь удалился сейчас же после ужина. Танцы возобновились, но моя дама заснула. Я пробежал по залам, чтобы поговорить по душам с бывшим адъютантом моего отца, только что прибывшим из Тифлиса. Я жаждал услышать новости о милом Кавказе, где можно было спать спокойно. Двухмесячное пребывание в С.-Петербурге приучило меня слышать взрыв в каждом подозрительном шорохе.

4

Губительное влияние княгини Юрьевской явилось темой всех разговоров зимою 1880/81 года. Члены императорского дома и представители петербургского общества открыто обвиняли ее в намерении передать диктаторские полномочия ее любимцу графу Лорис-Меликову и установить в империи конституционный образ правления.

Как всегда бывает в подобных случаях, женщины были особенно безжалостны к матери Гоги. Руководимые уязвленным самолюбием и ослепленные завистью, они спешили из одного великосветского салона в другой, распространяя самые невероятные слухи и поощряя клевету. Факт, что княгиня Юрьевская (Долгорукая) принадлежала по рождению к одному из стариннейших русских родов Рюриковичей, делал ее положение еще более трудным, ибо неугомонные сплетники распространили фантастические слухи об исторической вражде между Романовыми и Долгорукими. Они передавали легенду, как какой-то старец 200 лет тому назад предсказал преждевременную смерть тому из Романовых, который женится на Долгорукой. В подтверждение этой легенды они ссылались на трагическую кончину Петра II. Разве он не погиб в день, назначенный для его бракосочетания с роковой княжной Натальей Долгорукой? И разве не было странным то, что лучшие доктора не могли спасти жизнь единственному внуку Петра Великого?

Напрасно наш лейб-медик старался доказать суеверным сплетникам, что медицинская наука в восемнадцатом столетии не умела бороться с натуральной оспой и что молодой император умер бы так же, если бы обручился с самой счастливой девушкой на свете. Сплетники выслушивали мнение медицинского авторитета, но продолжали свою кампанию.

Начало романа государя с княжной Долгорукой общественное мнение связывало с выступлениями нигилистов.

— Мой милый доктор, — говорила одна титулованная дама с большими связями, — при всем моем уважении к успехам современной науки я, право, не вижу, как ваши коллеги могли бы воспрепятствовать нигилистам бросать бомбы в направлении, указанном нашим великим диктатором?

Последнее относилось к графу Лорис-Меликову, примиренческая политика которого вызывала бурю негодования у сановников без постов и у непризнанных спасителей отечества. Карьера и деятельность Лорис-Меликова являлись неисчерпаемой темой для разговоров в светских и политических салонах. Храбрый командир корпуса и помощник моего отца во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг., граф Лорис-Меликов, по мнению своих врагов, стал послушным орудием в руках княгини Юрьевской. Назначенный на пост канцлера империи, Лорис-Меликов пользовался полным доверием царя, и его глубокая привязанность к монарху была очевидна. В смертельной схватке с террористами пред его глазами часто возникал образ двух влюбленных из Зимнего дворца, которые молили не нарушать их идиллии. Классическая фраза про человека, который знает хорошую дорогу, но предпочитает идти по плохой, как нельзя более подходила к этому честному солдату. После долгих колебаний он решил внять мольбам влюбленной женщины и протянуть руку примирения революционерам, что и ускорило катастрофу. Революционеры удвоили свои требования и стали грозить открытым восстанием. Люди, преданные престолу, возмущались и уклонялись от деятельности. А народ — эти сто двадцать пять миллионов крестьян, раскинутых по всему лицу земли русской, — говорил, что помещики наняли армянского генерала, чтобы убить царя за то, что он дал мужикам волю.

Удивительное заключение, но оно представлялось вполне логичным, если принять во внимание, что, кроме С.-Петербурга, Москвы и нескольких крупных провинциальных центров, в которых выходили газеты, вся остальная страна питалась слухами.

Правитель страны, обладавший известным политическим цинизмом, мог бы легко использовать эти народные настроения для поддержания принципа абсолютной монархии, но питомцы военной академии никогда не изучали тонкое искусство политического цинизма. Накануне нового, 1881 года Лорис-Меликов представил на утверждение Александра II проект коренной реформы русского государственного устройства, в основу которого были положены принципы английской конституции.

5

Было бы слишком слабым сравнением, если бы я сказал, что мы все жили в осажденной крепости. На войне друзья и враги известны. Здесь мы их не знали. Камер-лакей, подававший утренний кофе, мог быть на службе у нигилистов. Со времени ноябрьского взрыва каждый истопник, входящий к нам, чтобы вычистить камин, казался нам имеющим при себе адскую машину.

Ввиду значительности пространства, занимаемого Петербургом, полиция не могла гарантировать безопасности всем членам императорской семьи за

пределами их дворцов. Великие князья просили государя переселиться в Гатчинский дворец, но доверчивый Александр II, унаследовавший от своего отца его храбрость, наотрез отказался покинуть столицу и изменить маршрут своих ежедневных прогулок. Он категорически настаивал на неизменности обычного образа жизни, включая прогулки в Летнем саду и воскресные парады войск гвардии. То, что мой отец должен был неизменно сопровождать государя во время этих воскресных парадов, приводило мою матушку в невероятный ужас, а отец подсмеивался над ее страхами, ссылаясь на непоколебимую верность армии. Но женский инстинкт оказался сильнее логики.

— Я не боюсь ни офицеров, ни солдат, — говорила мать, — но я не верю полиции, в особенности в воскресные дни. Путь к Марсову полю достаточно длинен, чтобы все местные нигилисты могли видеть ваш проезд по улицам. Я ни в коем случае не могу рисковать жизнью детей, они должны оставаться дома и не ездить на парады.

В воскресенье 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться с Ники и его матерью кататься на коньках. Мы должны были зайти за ними во дворец после трех часов дня.

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва.

— Это бомба! — сказал мой брат Георгий.

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. Мы кинулись на улицу, но были остановлены воспитателем. Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей.

— Государь убит! — крикнул он. — И великий князь Михаил Николаевич тоже! Их тела доставлены в Зимний дворец.

На его крик мать выбежала из соседней комнаты. Мы все бросились к стоявшей у подъезда карете и помчались в Зимний дворец. По дороге нас обогнал батальон л.-гв. Преображенского полка, который, с ружьями наперевес, бежал в том же направлении.

Толпы народа собирались вокруг Зимнего дворца. Женщины истерически кричали. Мы вошли через один из боковых входов. Вопросы были излишни: большие пятна черной крови указывали нам путь по мраморным ступеням и потом вдоль по коридору в кабинет государя. Отец стоял там в дверях, отдавая приказание служащим. Он обнял матушку, а она, потрясенная тем, что он невредим, упала в обморок.

Император Александр II лежал на диване у стола. Он был в бессознательном состоянии. Три доктора суеились около него, но было очевидно, что государя нельзя спасти. Ему оставалось несколько минут жизни. Вид его был ужасен: правая нога оторвана, левая разбита, бесчисленные раны покрывали лицо и голову. Один глаз был закрыт, другой — смотрел перед собой без всякого выражения.

Каждую минуту входили один за другим члены императорской фамилии. Комната была переполнена. Я схватил руку Ники, который стоял близко от меня, смертельно бледный, в своем синем матросском костюмчике. Его мать, цесаревна, была тут же и держала коньки в дрожащих руках.

Я нашел цесаревича по его широким плечам: он стоял у окна.

Княгиня Юрьевская вбежала полуодетая. Говорили, какой-то чрезмерно усердный страж пытался задержать ее при входе. Она упала навзничь на тело царя, покрывая его руки поцелуями и крича: «Саша! Саша!» Это было невыносимо. Великие княгини разразились рыданиями.

Агония продолжалась сорок пять минут. Все, кто тогда там был, никогда не могли ее забыть. Из всех присутствовавших никого, кроме меня, теперь не осталось в живых. Большинство из них погибли 37 лет спустя от руки большевиков.

Комната была убрана в стиле ампир, с драгоценными безделушками, разбросанными по столам, и многочисленными картинами по стенам. Над дверями была повешена увеличенная фотография моих братьев Николая, Михаила, Георгия и меня, снятых на уроке артиллерии у орудия в Тифлисе. Вид этой картины разрывал мое сердце.

— Спокойнее держись! — прошептал наследник, дотрагиваясь до моего плеча.

Прибывший градоначальник сделал подробный рапорт о происшедшей трагедии. Первая бомба убила двоих прохожих и ранила казачьего офицера, которого злоумышленник принял за моего отца. Император вышел из экипажа невредим. Кучер умолял его вернуться боковыми улицами обратно во дворец, но государь стал оказывать помощь раненым. В это время какой-то незнакомец, который все время стоял на углу, бросил вторую бомбу под ноги государю. Это произошло менее чем за минуту до появления моего отца; его задержал визит к великой княгине Екатерине Михайловне. Задержка спасла ему жизнь.

— Тише! — возгласил доктор. — Государь кончается!

Мы приблизились к умирающему. Глаз без всякого выражения по-прежнему смотрел в пространство. Лейб-хирург, слушавший пульс царя, кивнул головой и опустил окровавленную руку.

— Государь император скончался! — громко промолвил он.

Княгиня Юрьевская вскрикнула и упала как подкошенная на пол. Ее розовый с белым рисунком пеньюар был весь пропитан кровью.

Мы все опустились на колени. Слева от меня стоял новый император. Странная перемена произошла в нем в этот миг. Это не был тот самый цесаревич Александр Александрович, который любил забавлять маленьких друзей своего сына Ники тем, что разрывал руками колоду карт или же завязывал узлом железный прут. В пять минут он совершенно преобразился. Что-то несоизмеримо большее, чем простое сознание обязанностей монарха, осветило его тяжелую фигуру. Какой-то огонь святого мужества загорелся в его спокойных глазах. Он встал.

— Ваше Величество, имеете какие-нибудь приказания? — спросил смущенно градоначальник.

— Приказания? — переспросил Александр III. — Конечно! Но, по-видимому, полиция совсем потеряла голову! В таком случае армия возьмет в свои руки охрану порядка в столице! Совет министров будет собран сейчас же в Аничковом дворце.

Он дал рукой знак цесаревне Марии Федоровне, и они вышли вместе. Ее миниатюрная фигура подчеркивала могучее телосложение нового императора.

Толпа, собравшаяся перед дворцом, громко крикнула «ура». Ни один из Романовых не подходил так близко к народным представлениям о царе, как этот богатырь с русой бородой.

Стоя у окна, мы видели, как он большими шагами шел к коляске, а его маленькая жена еле поспевала за ним. Он некоторое время отвечал на приветствия толпы, затем коляска двинулась, окруженная сотнею донских казаков, которые скакали в боевой готовности, и их пики ярко блестели красным отблеском в последних лучах багрового мартовского заката.

Из комнаты почившего вынесли бесчувственную княгиню Юрьевскую в ее покои, и доктора занялись телом покойного императора.

Где-то в отдалении горько плакал маленький Гога.

Глава V

Император Александр III

1

Бесчисленные огни высоких свечей. Духовенство в траурном облачении. Хоры придворных и митрополичьих певчих. Седые головы коленопреклоненных военных. Заплаканные лица великих княгинь. Озабоченный шепот придворных. И общее внимание, обращенное на двух монархов: одного, лежащего в гробу с кротким, израненным лицом, и на другого, стоящего у гроба, сильного, могучего, преодолевшего свою печаль и ничего не страшящегося.

В течение семи дней мы присутствовали два раза в день на торжественных панихидах в Зимнем дворце. На утро восьмого дня тело торжественно перенесли в собор Петропавловской крепости. Чтобы дать возможность народу проститься с прахом царя-освободителя, был избран самый длинный путь, и, таким образом, траурная процессия прошла по главным улицам столицы.

Нервы наши были напряжены до последней степени. Физическая усталость в соединении с вечной тревогой довела нас, молодежь, почти до истерического состояния. Ночью, сидя на кроватях, мы продолжали обсуждать катастрофу минувшего воскресенья и спрашивали друг друга, что же будет дальше? Образ покойного государя, склонившегося над телом раненого казака и не думающего о возможности вторичного покушения, не покидал нас. Мы понимали, что нечто несоизмеримо большее, чем наш любимый дядя и мужественный монарх, ушло вместе с ним невозвратно в прошлое. Идиллическая Россия с царем-батюшкой и его верноподданным народом перестала существовать 1 марта 1881 года. Мы понимали, что русский царь никогда более не сможет относиться к своим подданным с безграничным доверием. Не сможет, забыв цареубийство, всецело отдаться государственным делам. Романтическая традиция прошлого и идеалистическое понимание русского самодержавия в духе славянофилов — все это будет погребено вместе с убитым императором в склепе Петропавловской крепости. Взрывом в минувшее воскресенье был нанесен смертельный удар прежним принципам, и никто не мог отрицать, что будущее зависело теперь от

исхода неминуемой борьбы между новым русским царем и стихиями отрицания и разрушения.

2

К счастью для России, император Александр III обладал всеми качествами крупного администратора. Убежденный сторонник здоровой национальной политики, поклонник дисциплины, настроенный к тому же весьма скептически, государь вступил на престол предков, готовый к борьбе. Он слишком хорошо знал придворную жизнь, чтобы не испытывать презрения к бывшим сотрудникам своего отца, а его основательное знакомство с правителями современной Европы внушило ему вполне обоснованное недоверие к их намерениям. Император Александр III считал, что большинство русских бедствий происходило от неуместного либерализма нашего чиновничества и от исключительного свойства русской дипломатии поддаваться всяким иностранным влияниям.

Через 24 часа после погребения Александра II Александр III особым манифестом дал перечень намеченных им реформ. Многие подлежали коренному изменению: методы управления, взгляды, сами сановники, дипломаты и прочее... Граф Лорис-Меликов и другие министры были уволены в отставку, а их заменили люди дела, взятые не из придворной среды, что вызвало немедленное возмущение в петербургских аристократических салонах.

— Наступили дни «черной реакции», — уверяли безутешные сторонники либеральных реформ, но биографии новых министров, казалось бы, опровергали это предвзятое мнение. Князь Хилков, назначенный министром путей сообщения, провел свою полную приключений молодость в Соединенных Штатах, работая в качестве простого рабочего на рудниках Пенсильвании. Профессор Вышнеградский — министр финансов — пользовался широкой известностью за свои оригинальные экономические теории. Ему удалось привести в блестящее состояние финансы империи и немало содействовать промышленному развитию страны. Заслуженный герой русско-турецкой войны генерал Ванновский был назначен военным министром. Адмирал Шестаков, высланный Александром II за границу за беспощадную критику нашего военного флота, был вызван в Петербург и назначен морским министром. Новый министр внутренних дел граф Толстой был первым русским администратором, осознавшим, что забота о благосостоянии крестьян России должна быть первой задачей государственной власти.

С.Ю.Витте, бывший скромным чиновником управления Юго-Западных железных дорог, обязан был своей головокружительной карьерой дальновзоркости императора Александра III, который, назначив его товарищем министра, сразу же признал его талант.

Назначение Гирса, тонко воспитанного, но лишенного всяческой инициативы человека, на пост министра иностранных дел вызвало немалое удивление как в России, так и за границей. Но Александр III только усмехался. Охотнее всего он предпочел бы самолично быть русским министром иностранных дел, но так как он нуждался в подставном лице, то выбор его пал на послушного чиновника, который должен был следовать намеченному им,

монархом, пути, смягчая резкие выражения русского царя изысканным стилем дипломатических нот. Последующие годы доказали и несомненный ум Гирса. Ни один «международный властитель дум и сердец», ни один «кумир европейских столиц» не мог смутить Гирса в его точном исполнении приказаний императора. И, таким образом, впервые после вековых ошибок Россия нашла свою ярко выраженную национальную политику по отношению к иностранным державам.

Сформировав Совет министров и выработав новую политическую программу, Александр III обратился к важному вопросу обеспечения безопасности царской семьи. Он разрешил его единственным логическим способом — переехав на постоянное жительство в Гатчинский дворец. Гордость царя была задета: «Я не боялся турецких пуль и вот должен прятаться от революционного подполья в своей стране», — говорил он с раздражением. Но император Александр III осознавал, что Российская империя не должна подвергаться опасности потерять двух государей в течение одного года.

Что же касается его государственной работы, то она только выиграла от расстояния, отделявшего Гатчину от С.-Петербурга. Это расстояние дало Александру III предлог для того, чтобы сократить, сколько возможно, обязанности по представительству, а также уменьшить количество визитов родственников. Император томился на семейных собраниях. Он находил бесцельной тратой времени бесконечные разговоры со своими братьями, дядями и двоюродными братьями. Он не имел ничего против самых маленьких — Сергей и я почти ежедневно посещали Ники и Жоржа (Георгия Александровича), но для взрослых, осаждавших его вечными проблемами, у царя не было ни терпения, ни времени.

В продолжение царствования Александра III Гатчинский дворец стал наконец тем, чем он должен был быть, — местом трудов самого знатного человека России.

3

Мы обязаны британскому правительству тем, что Александр III очень скоро выказал всю твердость своей внешней политики. Не прошло и года по восшествии на престол молодого императора, как произошел серьезный инцидент на русско-афганской границе. Под влиянием Англии, которая со страхом взидала на рост русского влияния в Туркестане, афганцы заняли русскую территорию по соседству с крепостью Кушка. Командир военного округа телеграфировал государю, испрашивая инструкций. «Выгнать и проучить как следует», — был лаконический ответ из Гатчины. Афганцы постыдно бежали, и их преследовали несколько десятков верст наши казаки, которые хотели взять в плен английских инструкторов, бывших при афганском отряде. Но те успели скрыться.

Британский посол получил предписание выразить в С.-Петербурге резкий протест и потребовать извинений.

— Мы этого не сделаем, — сказал император Александр III и наградил генерала Комарова, начальника пограничного отряда, орденом Св. Георгия 3-й степени. — Я не допущу ничьего посягательства на нашу территорию, — заявил государь.

Гирс задрожал.

— Ваше Величество, это может вызвать вооруженное столкновение с Англией.

— Хотя бы и так, — ответил император.

Новая угрожающая нота пришла из Англии. В ответ на нее царь отдал приказ о мобилизации Балтийского флота. Это распоряжение было актом высшей храбрости, ибо британский военный флот превышал наши морские вооруженные силы по крайней мере в пять раз.

Прошло две недели. Лондон примолк, а затем предложил образовать комиссию для рассмотрения русско-афганского инцидента.

Европа начала смотреть другими глазами в сторону Гатчины. Молодой русский монарх оказался лицом, с которым приходилось серьезно считаться Европе.

Виновницей второго инцидента оказалась Австрия. Венское правительство противилось нашему «непрерывному вмешательству в сферу влияния Австро-Венгрии» на Балканах, и австро-венгерский посол в С.-Петербурге угрожал нам войною.

На большом обеде в Зимнем дворце, сидя за столом напротив царя, посол начал обсуждать докучливый балканский вопрос. Царь сделал вид, что не замечает его раздраженного тона. Посол разгорячился и даже намекнул на возможность, что Австрия мобилизует два или три корпуса. Не изменяя своего полунасмешливого выражения, император Александр III взял вилку, согнул ее петлей и бросил по направлению к прибору австрийского дипломата.

— Вот что я сделаю с вашими двумя или тремя мобилизованными корпусами, — спокойно сказал царь.

— Во всем свете у нас только два верных союзника, — любил он говорить своим министрам, — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас.

Это мнение Александр III выразил однажды в очень откровенной форме на обеде, данном в честь прибывшего в Россию князя Николая Черногорского, в присутствии всего дипломатического корпуса. Подняв бокал за здоровье своего гостя, Александр III провозгласил следующий тост:

— Я пью за здоровье моего друга, князя Николая Черногорского, единственного искреннего и верного союзника России вне ее территории.

Присутствовавший Гирс открыл рот от изумления; дипломаты побледнели.

Лондонская «Таймс» писала на другое утро «об удивительной речи, произнесенной русским императором, идущей вразрез со всеми традициями в сношениях между дружественными державами».

Но в то время как Европа все еще обсуждала последствия инцидента под Кушкой, русское императорское правительство сделало новое заявление, заставившее лондонский кабинет запросить по телеграфу Петербург о достоверности полученной в Лондоне ноты. Не признавая условий позорного Парижского мира 1855 г., по которому России запрещено было иметь на Черном море военный флот, Александр III решил спустить на воду несколько военных кораблей именно в Севастополе, где коалиция европейских держав унизила русское имя в 1855 году. Царь выбрал для этого чрезвычайно благоприятный

момент, когда никто из европейских держав, за исключением Англии, не был склонен угрожать войною России. Франция злилась на Англию за ее невмешательство в войну 1870—1871 годов. Турция еще помнила урок 1877—1878 годов. Австрия была связана политикой Бисмарка, который мечтал заключить с Россией союз. Проект «Железного канцлера» был бы несомненно осуществлен, если бы Александр III не чувствовал личной неприязни к молодому неуравновешенному германскому императору, а Вильгельм II и Бисмарк не могли понять характера русского императора. Во время их визита в С.-Петербург они оба вели себя совершенно невозможно. Вильгельм II держал громкие речи, а Бисмарк позволил себе прочесть Александру III целую лекцию об искусстве управления империей. Все это окончилось плохо. Бисмарка поставили на место, а Вильгельма высмеяли. Оба монарха — русский и германский — представляли своими личностями разительный контраст. Вильгельм — жестикулирующий, бегающий взад и вперед, повышающий голос и извергающий целый арсенал международных планов; Александр III — холодный, сдержанный внешне, как бы забавляющийся экспансивностью германского императора, но в глубине души возмущенный его поверхностными суждениями.

Те из нас, которым пришлось быть свидетелями событий 1914 года, склонны упрекать Александра III в том, что в нем личные чувства антипатии к Вильгельму II взяли перевес над трезвостью практического политика. Как могло случиться, что русский монарх, бывший воплощением здравого смысла, отклонил предложения Бисмарка о русско-германском союзе и согласился на рискованный союз с Францией? Этому можно найти очень простое объяснение. Не будучи провидцем ошибок, допущенных в иностранной политике в царствование Николая II, и последствий неудачной русско-японской войны и революции 1905 года, Александр III, кроме того, переоценивал наше военное могущество.

Он был уверен, что в Европе воцарится продолжительный мир, если Россия морально поддержит Французскую республику, предостерегая таким образом Германию от агрессивности 1870 г. Возможность вмешательства Франции в решительную борьбу между Англией и Германией за мировое владычество на морях просто не приходила царю в голову. Если бы он остался долее у власти, то с негодованием отверг бы роль франко-английского парового катка, сглаживающего малейшую неровность на их пути, — каковая роль была навязана России в 1914 году.

Он жаждал мира, сто лет ненарушимого мира. Только открытое нападение на Россию заставило бы Александра III участвовать в войнах. Горький опыт XIX века научил царя, что каждый раз, когда Россия принимала участие в борьбе каких-либо европейских коалиций, ей приходилось впоследствии лишь горько об этом сожалеть. Александр I спас Европу от Наполеона I, и следствием этого явилось создание на западных границах Российской империи могучих Германии и Австро-Венгрии. Его дед Николай I послал русскую армию в Венгрию для подавления революции 1848 г. и восстановления Габсбургов на венгерском престоле, и в благодарность за эту услугу император Франц Иосиф потребовал себе политических компенсаций за свое невмешательство во время

Крымской войны. Император Александр II остался в 1870 году нейтральным, сдержав таким образом слово, данное императору Вильгельму I, а восемь лет спустя на Берлинском конгрессе Бисмарк лишил Россию плодов ее побед над турками.

Французы, англичане, немцы, австрийцы — все в разной степени делали Россию орудием для достижения своих эгоистических целей. У Александра III не было дружеских чувств в отношении Европы. Всегда готовый принять вызов, он, однако, при каждом удобном случае давал понять, что интересуется только тем, что способствует благосостоянию 150 миллионов населения России.

4

Двадцать шесть месяцев, протекших между убийством Александра II и коронацией Александра III, отмечены прямо магическим улучшением международного положения России. Мудрый гатчинский самодержец нанес сокрушительный удар. Большинство русских революционеров были арестованы и понесли наказание. Другие спрятались в подполье или же бежали за границу. «Новая эпоха для крестьян», провозглашенная с высоты трона, означала, что царь понимал необходимость тесного общения с русским народом. Учреждение должности земских начальников в 1882 году заполнило пробел, оставленный освободительной реформой. Действуя в качестве представителей власти на местах, земские начальники значительно способствовали упорядочению русского крестьянского быта. Они разрешали споры по вопросам крестьянского землевладения и землепользования, отправляли функции судей первой инстанции по маловажным делам, способствовали переселению малоземельных в Сибирь и в Туркестан и содействовали развитию сельской кооперации. Но самое главное — это то, что они повели беспощадную борьбу с подсознательным духом анархии среди крестьянства, являвшимся последствием исторических процессов — как-то: татарского ига, пугачевщины и крепостного права.

Чтобы оценить эту реформу Александра III, нужно иметь в виду, что русское крестьянство любило монарха, а к правительству относилось с недоверием. Еще не сознавая государственной необходимости какого бы то ни было правительства, наша деревня взирала на власть, как на аппарат принуждения, высасывающий из народа соки и ничего не дающий взамен. Правительство требовало рекрутов, взимало подати, поддерживало авторитет запретительных мер и мало поощряло народные массы. Пока русские крестьяне находились в крепостном состоянии, они сознавали, что помещики, как бы плохи они ни были, охраняли их от нажима власти. Получив в 1861 году вольную, русские крестьяне не могли больше надеяться на опеку своих прежних господ и сделались добычей революционных агитаторов, обещающих золотую эру свободы и безначалия по ниспровержении самодержавия.

Вполне понятно, что вначале введение института земских начальников было встречено в левых русских кругах враждебно. Русское «общественное мнение» находило, что правительство в лице земских начальников учредило на местах должности правительственных шпионов. К тому же задача новых должностных лиц оказалась непосильно тяжелой: кроме больших знаний и

опытности должность земского начальника требовала от вновь посвященных большого такта и даже дипломатических способностей. Шаг за шагом должны были земские начальники завоевать доверие крестьян.

Император Александр III с большим интересом следил за успехами своих посланников, аккредитованных при «их величествах мужиках». Конечной целью задуманной реформы было увеличение площади крестьянского землевладения. К сожалению, преждевременная кончина государя помешала ему осуществить его заветную мечту: создание в России крепкого класса крестьян — мелких земельных собственников. Тем не менее введение института земских начальников имело для сельского населения России положительное значение, лучшим доказательством чему явилась та враждебность, с которой отнеслись к реформе революционные круги. Разговаривая с делегацией крестьян во время коронационных торжеств в мае 1883 года в Москве, царь просил их высказать свое откровенное мнение об учреждении должности земских начальников. В этой делегации участвовало свыше десяти тысяч крестьян со всех концов необъятной России. И старые, и молодые — все высказались единогласно в пользу новых царских чиновников, которые относились к сельскому населению с большой заботой и дружелюбием, причем крестьяне даже просили, чтобы судебные функции земских начальников были по возможности расширены.

5

Ни один очерк царствования императора Александра III не в состоянии дать более яркой характеристики новой эпохи русского самодержавия, чем описание коронавания их величеств в 1883 году.

Иностранные гости, проводившие в Москве незабываемую неделю с 10 по 17 мая, почувствовали, что они присутствуют при том, как создается история новой России. Казалось, что новая Россия, со всеми ее неограниченными возможностями, выявила свой полностью новый облик в древней столице русских царей. С конца апреля прилив сотен тысяч приезжих из различных губерний и областей, а также из-за границы почти утроил население Первопрестольной. Экстренные поезда прибывали в Москву почти каждый час и доставляли коронованных особ Европы, членов царствовавших домов и представителей иностранных государств. Министр императорского двора, бывший председателем комитета по приему высоких гостей, буквально разрывался на части, с трудом поспевая с вокзала на вокзал, следя за последними приготовлениями и за строгим исполнением сложного церемониала. По установившемуся обычаю, прибывавших высочайших особ должны были встречать на вокзале и сопровождать повсюду лица, по положению равные, а это означало, что мы, великие князья, должны были все наше время уделять прибывшим высоким гостям. Я должен был оказывать знаки гостеприимства эрцгерцогу Карлу-Людвигу[1] Австрийскому и его поразительно красивой жене Марии Терезии. Мы очень быстро подружились, хотя меня и утомляло сопровождать их повсюду, давая бесконечные объяснения относительно церквей, музеев, исторических зданий и святых Кремля. Должно быть, я хорошо справился с моей не слишком завидной миссией, так как к концу

празднеств мои высокие гости выразили желание посетить С.-Петербург и просили царя, чтобы я сопровождал их в столицу.

Коронационные празднества открылись торжественным въездом государя и его семьи в Москву. В половине девятого утра великие князья и иностранные принцы ожидали верхом на конях у крыльца Троицкого дворца выхода Александра III, чтобы сопровождать его при въезде в Кремль. Ровно в 10 час. утра царь вышел из внутренних покоев, сел верхом на коня и подал знак к отбытию. Он ехал впереди нас всех, эскадрон кавалергардов ехал впереди кортежа и возвещал его приближение народу и войскам, которые стояли шпалерами вдоль всего пути следования. Длинный поезд золотых карет следовал за нашей кавалькадой. В первом экипаже сидела императрица Мария Федоровна с восьмилетней великой княжной Ксенией и греческой королевой Ольгой. В остальных разместились великие княгини, принцессы королевской крови и заслуженные статс-дамы.

Громовое «ура» сопровождало нас по всему пути следования до Иверской часовни, где император сошел с коня и в сопровождении императрицы вошел в часовню, чтобы поклониться иконе Иверской Божьей Матери. Мы въехали в Кремль через Спасские ворота и подъехали к Архангельскому собору. Официальная программа дня закончилась молебствием, отслуженным митрополитом Московским при участии хора Придворно-певческой капеллы. Вторая половина дня 12 мая и весь следующий день были заняты обменом визитами между членами императорской фамилии и иностранными высочайшими особами, а также различными развлечениями, данными в их честь. 15 мая началось салютом в 101 выстрел со стен Кремля. Мы собрались в зале Большого дворца. На этот раз мы представляли собой очень живописную группу, так как каждый из великих князей и иностранных принцев был одет в форму своего полка. Вспоминаю герцога Эдинбургского, младшего сына королевы Виктории, чрезвычайно элегантного в форме адмирала британского флота. Русские великие князья надели, ради торжественного случая, цепи ордена Св. Андрея Первозванного, украшенные бриллиантами, с бриллиантовыми же двуглавыми орлами. На великих княгинях и иностранных принцессах были великолепные драгоценности, и я думаю, что ни я, ни кто другой не видал такого количества роскошных украшений, как в этот день 15 мая 1883 года.

В зале царя полная, как бы священная тишина. Все замерло в течение нескольких минут до выхода государя и государыни. Мы все находились под впечатлением предстоящего таинства и понимали, что слова излишни в такой день, когда русский самодержец получает благословение Всевышнего и помазание на царство. Конечно, последняя фраза может показаться наивной многим убежденным демократам, но многочисленные сцены «народных вотумов», которые мне приходилось наблюдать в демократических странах, заставляют меня относиться с большим недоверием и к демократии, и ко всем ее формам.

Государь и государыня появились, когда часы пробили девять. Привыкнув к скромной жизни Гатчинского двора, Александр III был явно недоволен окружавшей его пышностью. «Я знаю, — говорило выражение его лица, — что

мне через это надо пройти, но чем скорее все это будет окончено, тем для меня будет приятнее». Императрица, по-видимому, наоборот, наслаждалась. Ей было приятно видеть своих родных. Она любила торжественные церемонии. Миниатюрная, по сравнению с великаном царем, она расточала всем присутствующим свою ласковую чарующую улыбку. Залитая драгоценностями, как некое восточное божество, она двигалась вперед маленькими шагами, и четыре камер-пажа несли ее длинный, вышитый золотом и отороченный горностаем шлейф. После традиционного целования руки, в котором приняли участие все присутствовавшие, и дамы в том числе, во время которого государь стоял посередине зала и наблюдал за происходящим из-под своих густых бровей, гофмаршал объявил, что все готово к выходу. Государь подал руку императрице, и шествие двинулось к выходу через залы, наполненные придворными, дипломатами, министрами и военными.

Следуя церемониалу, императорская чета вышла на Красное Крыльцо и, по старинному обычаю, трижды земно поклонилась многотысячной толпе, стоявшей в Кремле. Оглушительные крики «ура» встретили высочайший выход. Это был самый лучший момент коронационных торжеств, заставивший нас вспоминать о древних русских царях: начиная с Ивана III все русские цари выражали свою готовность служить народу этими тремя земными поклонами со ступеней Красного Крыльца. Затем шествие двинулось на специально сооруженный деревянный помост, покрытый красным сукном, который вел в Успенский собор. Со своего места я видел российские императорские регалии, которые важно несли высшие сановники двора: государственное знамя, меч, скипетр, щит и замечательно красивую императорскую корону.

Восемь генерал-адъютантов держали над государем красный с золотом балдахин; восемь камергеров держали такой же балдахин над императрицей, два фельдмаршала — мой отец и мой дядя Николай Николаевич — шли непосредственно за государем, остальные члены императорской фамилии, а также иностранные принцы и принцессы следовали за императрицей.

Дворцовые гренадеры в формах 1812 года и в медвежьих шапках стояли вдоль пути царского следования. С колокольни Ивана Великого раздался тяжелый удар большого колокола, и тотчас же вслед за ним сорок сороков московских храмов начали торжественный перезвон. Раздались величавые звуки народного гимна, который исполнял хор в пятьсот человек. Глядя с высоты вниз на океан мелькающих рук и непокрытых голов, я видел лица, мокрые от слез. Я сам старался проглотить слезы, волнение сдавило мне горло — Россия в эту минуту во мне победила кавказца.

Три митрополита и сонм архиереев и епископов встретили их величества при входе в собор и проводили к тронам, сооруженным посреди храма. Большая ложа направо была предназначена для царской фамилии и иностранных принцев, ложа налево — для высших сановников империи, военных и иностранных дипломатов.

Я с нетерпением прослушал длинную торжественную службу, которую служил Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит С.-Петербургский, как старший по посвящению митрополит.

Когда, наконец, наступил долгожданный момент, митрополит взял с красной подушки императорскую корону и передал ее в руки царя. Александр III возложил собственноручно корону на свою голову и затем, взяв вторую корону — императрицы, повернулся к коленопреклоненной государыне и надел ей на голову корону. Этим обрядом символизировалась разница между правами императора, данными ему свыше, и прерогативами императрицы, полученными от императора.

Императрица поднялась с колен, и царская чета повернулась лицом к нашей ложе, олицетворяя собою гармонию сурового могущества и грациозной красоты.

Затем император подошел к иконостасу, чтобы принять Св. Причастие. Так как русский монарх является главою Русской православной церкви, то, причащаясь в день коронации, он берет чашу из рук митрополита и причащается сам. После этого причастили императрицу, и коронование закончилось. Шествие в том же порядке возвратилось во дворец, колокола опять звонили, послышался пушечный салют, и народ выражал криками еще больший восторг при виде коронованных государя и государыни. Достигнув Красного Крыльца, царь и царица еще раз трижды земно поклонились народу, после чего направились в самую древнюю часть дворца, в так называемую Грановитую Палату, где на высоком помосте состоялась высочайшая трапеза.

Остальные три дня празднеств оставили во мне только чувство приятной усталости. Верная традициям гостеприимства, Москва и на этот раз поразила всех своим хлебосольством. Мы танцевали на балу, данном московским дворянством. Мы были в числе восьми тысяч приглашенных на балу в Большом Кремлевском дворце. Мы завтракали в городской думе, обедали у земства и ужинали в офицерских собраниях. Мы разъезжали по улицам, на которых раздавались непрерывно музыка и пение. Мы смотрели на раздачу подарков 500 000 рабочих и крестьян на Ходынском поле. Мы отдали должное талантам повара митрополита Московского, известного искусным приготовлением постного стола. Мы принимали делегации, присутствовали ежедневно на представлениях Императорского балета, провожали иностранных принцев и принцесс при отходе их экстренных поездов, причем гости и гостеприимные хозяева еле держались на ногах от усталости.

Восемнадцатого мая император отправился отдохнуть в свою резиденцию под Москвой — Нескучное, расположенную на берегу Москвы-реки под сенью векового парка.

Лежа в высокой, сочной траве и слушая пение соловьев над нашими головами, мы четверо — Ники, Жорж, Сергей и я — делились между собою тем совершенно новым, поразительным чувством спокойствия, полной безопасности, которое было у нас в течение всех коронационных празднеств.

— Подумай, какой великой страной станет Россия к тому времени, когда мы будем сопровождать Ники в Успенский собор, — мечтательно сказал брат Сергей.

Ники улыбнулся своей обычной мягкой, робкой, чуть-чуть грустной улыбкой.

Глава VI

Юность и совершеннолетие

1

Десяти лет от роду я начал задумываться над своим будущим.

— Что касается меня, то я бы хотел, чтобы мои дети были хорошими артиллеристами, — говаривал отец каждый раз, когда я начинал строить планы на будущее, — но, конечно, каждый из вас должен следовать своему призванию.

«Призвание» — это звучало великолепно и означало, что в день моего производства в первый офицерский чин мне будет позволено сделать самому окончательный выбор среди «подходящих» полков Императорской гвардии! Одна мысль о том, что один из нас мог бы избрать какую-нибудь другую карьеру, кроме военной, могла бы показаться нашим родителям полным абсурдом, ибо традиции дома Романовых требовали, чтобы все его члены были военными; личные вкусы и склонности никакой роли не играли.

Мысль о поступлении во флот пришла мне в голову в 1878 году, когда, по счастливому недоразумению, в число наших наставников попал веселый и покладистый лейтенант — Николай Александрович Зеленый. Совершенно неспособный к роли преподавателя или воспитателя, он позволял нам делать все, что угодно, и мы проводили наши обычно столь унылые утренние часы, слушая рассказы Зеленого о привольной жизни, которую вели моряки русского военного флота. Если верить всем словам этого восторженного моряка, создавалось впечатление, что флот его императорского величества переходил от одного блестящего приключения к другому, и жизнь, полная неожиданностей, выпадала на долю каждого, кто был на борту русского военного корабля.

— Вот слушайте, — начинал обычно Зеленый, — случилось это в Шанхае...

Дальше он не мог говорить, так как его упитанное тело начинало вздрагивать от взрывов безудержного смеха. Но когда, насмеявшись вдоволь, он рассказывал нам, что же такое случилось в Шанхае, наступала наша очередь, и мы буквально катались по полу от смеха, а Зеленый хохотал до слез.

Заражающая веселость Зеленого определила мой выбор. Я начал мечтать о таинственных женщинах, разъезжающих на рикшах по узким улицам Шанхая. Я жаждал видеть волшебное зрелище индусских фанатиков, которые на заре входили в священные воды Ганга. Я горел желанием посмотреть на стадо диких слонов, которые неслись по непроходимым дебрям цейлонских лесов. Я окончательно решил сделаться моряком.

— Моряком! Мой сын будет моряком!

Матушка в ужасе смотрела на меня.

— Ты ведь еще дитя и не понимаешь того, что говоришь. Твой отец тебе этого никогда не позволит.

Действительно, отец, услышав о моем желании, сильно нахмурился. Флот не говорил ему ничего. Единственные два члена императорской фамилии, служившие во флоте, не сделали в нем, по мнению отца, никакой карьеры. На его брата-моряка Константина Николаевича смотрели как на опасного либерала. Его племянник Алексей Александрович слишком увлекался прекрасным полом.

Не имело никакого значения, что русский флот ни в малейшей степени не был виноват ни в либерализме Константина Николаевича, ни в развитии романтических наклонностей Алексея Александровича. Мои родители хотели, чтобы их сын ничем не походил ни на одного из этих родственников, служивших во флоте!

Но эти мнения родителей не изменили моего решения. В моем характере заложено значительное упорство. В конце концов, родители сдались и обещали разрешить этот сложный вопрос в течение нашего осеннего пребывания в С.-Петербурге. Они полагали, что жизнь в атмосфере двора и великолепных воскресных парадов преисполнит мое сердце желанием носить блестящую форму. Они забывали о петербургских туманах, унылых сумеречных днях, о вечной сырости и о напряженности политической обстановки. Северная столица возымела на меня как раз обратное действие, более чем что-либо обращая все мои упования в сторону моря. То, что на Кавказе являлось плодом мечтательности маленького мальчика, в С.-Петербурге сделалось необходимостью для юноши, решившего вырваться на свободу. И все же я очень сомневаюсь, удалось ли бы мне осуществить мой морской план, не явись неожиданная помощь мне со стороны нового государя. В противоположность своему отцу, император Александр III считал, что поступление его двоюродного брата на морскую службу явится хорошим примером для русской молодежи. Его дружеское вмешательство спасло меня от прозябания в душной атмосфере столицы. Я обязан Александру III самыми большими радостями моей служебной карьеры и до сих пор содрогаюсь при мысли, что я мог бы сделаться одним из тех самовлюбленных гвардейских офицеров, которые взирали на мир чрез стекла бинокля, наведенного на прелести балерин.

2

По логике и здравому смыслу, я должен был поступить в Морской корпус. Но, по заведенному обычаю, великие князья не могли воспитываться вместе с детьми простых смертных. Вот почему я стал учиться дома, под наблюдением наставника-специалиста, вероятно, самого мрачного, которого только могли разыскать во всей России. Его пригласили, чтобы подготовить меня к экзаменам, которые я должен был держать у целой комиссии профессоров. Мой наставник имел очень низкое мнение о моих умственных способностях и каждый день в течение четырех лет предсказывал мне верный провал.

— Вы никогда не выдержите экзаменов, — стало излюбленным припевом моего флотского наставника.

И как бы добросовестно я ни готовил уроки, он только качал головой, и его усталые, измученные глаза отражали тоску. Иногда я сидел ночи напролет, стараясь вызубрить каждое слово своих учебников. А он все-таки не сдавался:

— Вы только повторяете слово в слово то, что другие нашли ценою долгих исканий, но вы не понимаете, что это значит. Вы никогда не выдержите экзаменов.

Четырехлетняя программа, выработанная им, включала астрономию, теорию девиации, океанографию, теоретическую и практическую артиллерию, теорию кораблестроения, военную и морскую стратегию и тактику, военную и морскую администрацию и уставы, теорию кораблевождения, политическую экономию, теоретическую и практическую фортификацию, историю русского и главнейших из иностранных флотов... Мои преподаватели, все выдающиеся специалисты, не разделяли мнения неумолимого наставника. Поощренный ими, я заинтересовался новыми предметами. Теоретические занятия дома сопровождались посещением военных судов и портовых сооружений. Каждое лето я проводил три месяца в плавании на крейсере, на котором плавали кадеты и гардемарины Морского корпуса. Мои родители все еще надеялись, что железная дисциплина, царившая на корабле, заставит меня в последний момент переменить решение.

Ясно помню, как я покинул нашу летнюю резиденцию в Михайловском дворце, чтобы отправиться в первое плавание. Маленькая дворцовая церковь была переполнена нашими родными, лицами свиты и дворцовыми служащими, и, когда священник по окончании молебна дал мне приложиться ко кресту, моя мать заплакала. Слова особой молитвы «о плавающих и путешествующих» преувеличивали в ее глазах те опасности, которые ожидали ее сына.

«Ну, пойдемте», — нервно сказал мой отец, и все мы поехали в Петергофский порт, откуда яхта герцога Лейхтенбергского должна была доставить меня на борт «Варяга». Ощущая на лице трепетание лент матросской фуражки и любуясь своими широкими черными штанами, я кое-как попрощался с родителями. Мои мысли были далеко, лица родителей и братьев казались неясными и отдаленными. Еще здесь, в Петергофском порту, они впервые как бы отошли из моей жизни и никогда уже не играли в ней прежней значительной роли.

Я был весел, как узник в последний день тюремного заключения. И даже присутствие моего мрачного воспитателя, сопровождавшего меня во время первого плавания, не могло помешать моему счастью.

К вечеру мы прибыли в Тверминэ — маленький портовый городок на побережье Финляндии, где эскадра Морского корпуса встала на якорь. Адмирал отдал приказ, и на «Варяге» спустили паровой катер, управляемый кадетами моего возраста. Они с любопытством смотрели на меня, видимо, раздумывая, принесет ли пребывание высочайшей особы на борту их корабля лишние хлопоты и нарушение заведенного распорядка жизни. Адмирал Брилкин обратился ко мне с несколькими словами приветствия, и затем меня отвели в мою каюту.

Моим мечтам не суждено было целиком осуществиться: хотя с этого момента я и вступил в состав русского флота, меня все же отделили от остальных кадет и не позволили спать вместе с ними на нижней палубе. Вместо того, чтобы есть вместе с кадетами в их общей кают-компании, я должен был завтракать и обедать в обществе адмирала и его штаба. С точки зрения

образовательной это, конечно, было преимуществом для меня, так как, бывая постоянно в обществе старших офицеров, я мог многому полезному научиться, но тогда мне это очень не понравилось. Я боялся, что кадеты будут коситься на мое привилегированное положение и не захотят со мною дружить.

Первый обед прошел напряженно. Присутствующие предпочитали молчать и бросали друг на друга предостерегающие взгляды. Прошло несколько недель, прежде чем мне удалось убедить своих подозрительных менторов, что у меня нет намерений доводить до сведения царя их обычные застольные разговоры. Я сознавал, что мне предстояла серьезная борьба. После обеда, вернувшись в свою каюту, я нашел на койке большого толстого кота. Он довольно мурлыкал и ожидал, что его приласкают. Безошибочный животный инстинкт подсказывал ему, что он встретит во мне друга, и мое сердце наполнилось бесконечной благодарностью. Эту первую ночь на «Варяге» мы провели на койке вместе, свернувшись калачиком. В моей каюте пахло свежей смолой. Плеск волны, которая ударялась о корму, действовал успокаивающе на натянутые нервы. Я лежал на спине, прислушиваясь к перезвону склянок на окружавших нас судах. Время от времени я слышал сонный голос вахтенного, кричавшего в темноту: «Кто гребет?». Я думал о новой жизни, которая начнется завтра. Я вспоминал лица кадет, которых увидел в катере, и строил различные планы о том, как бы их расположить к себе. Широкие железные перекладки над моей головой напоминали о суровой дисциплине во флоте, но детство уже приучило меня повиноваться и не ожидать поблажек. Я встал с койки, открыл чемодан и вынул иконку Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского, моего святого. Теперь два друга должны были охранять мой сон — молчаливый бородатый святой и кот-мурлыка.

3

Шум уборки палубы разбудил меня на рассвете. Сперва я удивился, но потом вспомнил, что нахожусь на палубе корабля. Выглянув в иллюминатор, я увидел многочисленные катера, бороздившие поверхность моря, и вскочил с койки. Начинался интересный день. Палуба блестела, вычищенная песком и камнем, и было просто грешно ступать по ее еще не высохшей поверхности. Пробираясь на цыпочках, у кормы я наткнулся на группу кадет на утренних занятиях. Я остановился, придумывая соответствующее приветствие...

— Эй, вы, — крикнул мне стройный белокурый мальчик, — хорошо выспались?

Я ответил, что никогда еще в жизни я не спал так хорошо. Кадеты мало-помалу приблизились ко мне. Лед был сломан.

Меня засыпали вопросами: до которого часа мне позволяли спать дома? Сколько комнат в нашем дворце? Правда ли, что я собираюсь сделаться моряком? Часто ли я вижу государя? Правда ли то, что говорят о его физической силе? Собираются ли и другие великие князья поступить во флот?

Они жадно ловили мои ответы. Очень удивились, а потом обрадовались, узнав, что сам наследник вставал в шесть часов утра. Оказалось, что известие о моем поступлении во флот произвело в Морском корпусе сенсацию, и кадеты «Варяга» считали особой честью, что я буду плавать именно на их судне.

— Это заставит умолкнуть тех гвардейских офицеров, которые до сих пор всегда хвастались, что все великие князья служат в их полках, — веско заключил высокий кадет. — Отныне флот будет иметь своего представителя в императорской семье.

Я покраснел от удовольствия и заявил, что очень сожалею, что мне не позволили спать и есть вместе с остальными кадетами. Они уверили, что никто даже не обратил на это внимания. По их мнению, вполне понятно, что адмирал предпринял особые меры для моей безопасности.

Последовали новые вопросы:

— Сколько прислуги в Гатчине? Сколько человек обедает с императором за столом?

До восьми часов я старался удовлетворить любопытство моих новых товарищей, пока не раздался сигнал к поднятию флага.

Мы стояли в строю с непокрытыми головами, пока белый флаг с Андреевским крестом поднимался на гафеле. На безразличном лице адмирала заиграл румянец, а по моей спине пробежал холодок. В течение долгих лет службы во флоте я никогда не мог остаться равнодушным к этой красивой церемонии и не переставал во время ее волноваться. Я часто вспоминал красивые слова лаконической надписи, выгравированной французами на братском памятнике французских и русских моряков, сражавшихся в 1854 г.: «*Unis pour la gloire, réunis par la mort, des soldats c'est le devoir, des braves c'est le sort*»^[2].

После церемонии поднятия флага был отдан приказ: «Всем на шлюпки!» Я был назначен на шлюпку с корвета «Гиляк» вместе с кадетами моего класса. В течение часа мы плавали под парусами, и нас учили грести. Несколько раз мы должны были пройти пред адмиралом, который за нами внимательно наблюдал. Нашим следующим уроком было поднятие парусов на корвете, причем на фок-мачте и грот-мачте работали матросы, а на бизани — кадеты. Наконец, от 10 до 11 часов был урок практического мореходства. После завтрака и короткого отдыха следовало еще четыре часа занятий. Обед подавался в 6 часов вечера. В восемь часов мы должны были быть уже в койках.

Во время занятий я не имел какого бы то ни было преимущества. Когда я делал что-нибудь неверно, мне на это указывалось с той же грубоватой искренностью, как и остальным кадетам. Объяснив мне раз и навсегда мои обязанности, от меня ожидали чего-то большего, чем от остальных кадет, и адмирал часто говорил мне, что русский великий князь должен быть всегда примером для своих товарищей. Это равенство в обращении мне очень нравилось. Я учился легко. Мое непреодолимое влечение к морю усиливалось с каждым днем. Я проводил на вахте все часы, назначенные нашей смене, находя лишь приятным провести четыре часа в обществе мальчиков, ставших моими друзьями, в непосредственной близости моря, которое катило свои волны в таинственные страны моих сновидений.

Мне никогда не разрешали сходить на берег без моего воспитателя, так как матушка дала строжайшие инструкции относительно сбережения моей нравственности. Мне очень часто хотелось удрать от него и последовать за

моими друзьями в те таинственные места, откуда они возвращались на рассвете, пахнувшие вином, с запасом впечатлений о своих похождениях.

— Как вы провели увольнительную? — спрашивали они меня с многозначительной улыбкой.

— Очень скромно. Просто погулял с воспитателем.

— Бедняга! Мы провели время гораздо лучше. Если бы вы знали, где мы были!

Но интересоваться, где они были, — мне было также строго запрещено. Адмирал строжайше воспретил кадетам употреблять в моем присутствии «дурные слова» или же описывать соблазнительные сцены. Но мне было тогда шестнадцать лет, и природа наделила меня пылким воображением.

В течение трех месяцев мы крейсировали вдоль берегов Финляндии и Швеции. Затем мы получили приказ принять участие в императорском смотре, и это вознаграждало меня за все мои усилия. Я несказанно радовался случаю предстать в роли моряка пред государем, государыней и моими друзьями: Ники и Жоржем. Они прибыли к нам на крейсер с большой свитой, среди которой были великий князь Алексей Александрович — морской министр и будущий непримиримый противник моих реформ во флоте. Стоя в строю на своем месте, я с благодарностью смотрел на государя. Он улыбнулся: ему было приятно видеть меня здоровым и возмужавшим. За завтраком Ники и Жорж, затаив дыхание, слушали мои бесконечные рассказы о флотской жизни. Поклоны, переданные ими от моих старших братьев, которые служили в гвардии, оставили меня равнодушным. Я жалел несчастных мальчиков, запертых в стенах душной столицы. Если бы они только знали, что потеряли, отказавшись от карьеры моряков!

4

Так провел я четыре года, чередуя свое пребывание между Михайловским дворцом в С.-Петербурге и крейсерами Балтийского флота. В сентябре 1885 г. в газетах было объявлено о моем производстве в чин мичмана флота. К большому удивлению моего воспитателя, я получил высшие отметки на экзаменах по всем предметам, за исключением судостроительства; я до сих пор не вижу смысла в желании делать из моряков военного флота инженеров-судостроителей. Поэтому я не был особенно огорчен своим скромным баллом по судостроению.

Наконец, я был предоставлен сам себе. Впервые в жизни я не смотрел на свет Божий глазами воспитателей и наставников. Однако матушка все еще продолжала считать меня ребенком, хотя самый значительный день в жизни великого князя — день его совершеннолетия — приближался.

Первого апреля 1886 года я стал совершеннолетним. В восемь часов утра фельдъегерь доставил мне форму флигель-адъютанта свиты его величества. В Петергофском дворце состоялся прием, на котором присутствовали их величества, члены императорской фамилии, министры, делегации от гвардейских полков, придворные чины и духовенство. После молебствия на середину церкви вынесли флаг Гвардейского экипажа. Государь подал мне знак. Я приблизился к флагу, сопровождаемый священником, который вручил мне два текста присяги: первый — присяги для великого князя, в которой я клялся в

верности основным законам империи о престолонаследии и об учреждении императорской фамилии, и второй — присяги верноподданного. Держась левой рукой за полотнище флага, а правую подняв вверх по уставу, я прочел вслух обе присяги, поцеловал крест и Библию, которые лежали на аналое, подписался на присяжных листах, передал их министру императорского двора, обнял государя и поцеловал руку императрице. Вслед за этим мы возвратились во дворец, где нас ожидал торжественный завтрак, данный в мою честь для ближайших членов императорской семьи.

Традиции нашей семьи исключали мелодраматические эффекты, а потому никто не стал объяснять мне значения данных мною присяг. Да в этом и не было надобности. Я решил в моей последующей жизни в точности исполнять все то, чему присягнул. Тридцать один год спустя я вспомнил это решение моей юности, когда большинство из моих родственников подписали обязательство, исторгнутое у них Временным правительством, об отказе от своих прав. Я родился великим князем, и никакие угрозы не могли заставить меня забыть, что я обязался «служить Его Императорскому Величеству, не щадя живота своего до последней капли крови».

В своих очень интересных мемуарах племянник мой, германский кронпринц, рассказывает об одном чрезвычайно характерном разговоре, происшедшем 9 ноября 1918 г. между его отцом, кайзером Вильгельмом, и генералом Гренером, министром германского республиканского правительства, а тогда видным офицером генерального штаба. Вильгельм хотел знать, мог ли он рассчитывать на преданность своих офицеров. «Наверное, нет, — ответил Гренер, — они все резко против вашего величества». — «Ну а как же присяга?» — воскликнул Вильгельм II. — «Присяга? Что такое в конце концов присяга? — насмешливо сказал Гренер. — Это ведь только слово!»

Должен сознаться, что в данном случае все мои симпатии на стороне германского императора, тогда как некоторые мои родственники оказались по своим взглядам законными предшественниками генерала Гренера.

5

Достигнув двадцати лет, русский великий князь становился независимым в финансовом отношении. Обыкновенно назначался специальный опекун, по выбору государя императора, который в течение пяти лет должен был научить великого князя тратить разумно и осторожно свои деньги. Для меня в этом отношении было допущено исключение. Моряку, который готовился к трехлетнему кругосветному плаванию, было бы смешно иметь опекуна в Петербурге. Конечно, мне пришлось для достижения этого выдержать большую борьбу, но в конце концов родители подчинились логике моих доводов, и я стал обладателем годового дохода в двести десять тысяч рублей, выдаваемых мне из уделов. О финансовом положении императорской семьи я буду иметь случай говорить еще в дальнейшем. В данный момент я бы хотел лишь подчеркнуть ту разницу между 210 000 руб. моего годового бюджета в 1886 г. и 50 рублями в месяц, которые я получал с 1882 по 1886 гг. от моих родителей. До 1882 г. я вообще не имел карманных денег.

Однако благодаря строгому воспитанию, полученному мной, я продолжал и после своего совершеннолетия вести прежний скромный образ жизни. Я еще не знал женщин, не любил азартных игр и очень мало пил. Единственно, кто получил выгоду от моих новоприобретенных богатств, — это книгопродавцы. Еще в 1882 г. я начал коллекционировать книги, имевшие отношение к истории флота, и это мое пристрастие сделалось известным как в России, так и за границей. Крупнейшие книжные магазины С.-Петербурга, Москвы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Бостона считали своим долгом помогать мне тратить мои деньги, и тяжелые пакеты приходили ежедневно на мое имя со всех концов мира. Отец поражался, когда входил в мои комнаты, которые были переполнены тяжелыми кожаными фолиантами от пола до потолка, но не делал никаких замечаний. Его переезд с Кавказа (наместничество на Кавказе было с 1882 г. упразднено) в С.-Петербург на пост председателя Государственного совета заставил его примириться с моей службой во флоте:

— Разве ты прочтешь все эти книги, Сандро? — спокойно, но недоверчиво спросил он как-то.

— Не все. Я просто хочу собрать библиотеку, посвященную военному флоту. Такой библиотеки в России еще не имеется, и даже морской министр, когда ему нужна какая-нибудь справка по морским вопросам, должен выписывать соответствующую литературу из Англии.

Отец остался очень доволен и обещал сделать все, что было в его силах, чтобы пополнить мою коллекцию. В последующие годы он убедился, как она умножилась в сотни раз. Накануне революции эта библиотека состояла из 20 000 томов и считалась самой полной библиотекой по морским вопросам в мире. Советское правительство превратило мой дворец в клуб коммунистической молодежи, в котором из-за неисправности дымоходов возник пожар. Огонь уничтожил все мои книги до последней. Это совершенно невосполнимая потеря, так как в моей библиотеке имелись книги, полученные мною с большим трудом от немецких и английских агентов после долгих и упорных поисков, и восстановить эти уникальные издания не представляется возможным.

6

Мне все же не удалось избежать службы в частях петербургской гвардии, и, пока наш корвет «Рында» снаряжался в кругосветное плавание, я отбывал службу в Гвардейском экипаже. Эта часть занимала среди петербургского гарнизона неопределенное положение. Армия смотрела на нас, как на чужих. Флот называл нас сухопутными увальнями. В наши обязанности входило нести летом службу на императорских яхтах, а зимой занимать караулы во дворцах и казенных зданиях наряду с частями петербургской гвардии. Назначенный командиром первого взвода роты его величества, я проходил с моими матросами строевые занятия, занимался с ними грамотой и арифметикой, уставами и нес с ними караулы.

Раз в неделю мы должны были нести караульную службу круглые сутки, что не любили ни офицеры, ни матросы. Командир Гвардейского экипажа, адмирал старой николаевской школы, имел обыкновение неожиданно проверять нас по ночам, и это заставляло меня расхаживать по четыре часа подряд по

глубокому снегу, обходя часовых и наблюдая, чтобы эти рослые молодые парни, страдавшие от холода, не задремали на часах. Чтобы самому не поддаться искушению и не заснуть, я любил в эти ночи подводить итоги тому, что я называл своим «умственным балансом». Я составлял активы и пассивы, группируя мои многочисленные недостатки под рубрикой «долги без покрытия, которые необходимо ликвидировать при первой же возможности».

Стараясь быть честным с самим собой, я пришел к заключению, что мой духовный актив был отягощен странным избытком ненависти. Ненависти к личностям и даже к целым нациям. Я старался освободиться от первой: моя вражда против отдельных личностей заключалась, главным образом, в ненависти к моим наставникам, педагогам и опекунам. А вот ненависти второго типа я долго преодолеть не мог. Не моя вина была, что я ненавидел евреев, поляков, шведов, немцев, англичан и французов. Я винил в этом православную церковь и доктрину официального патриотизма, которая вбивалась мне в голову в течение двенадцати лет учения, винил за мою неспособность относиться дружелюбно ко всем этим национальностям, не причинившим мне лично никакого зла.

До того как я вошел в общение с официальной церковью, слово «еврей» вызывало в моем сознании образ старого улыбающегося человека, который приносил к нам во дворец в Тифлисе кур, уток и всякую живность. Я испытывал искреннюю симпатию к этому человеку с добрым морщинистым лицом и не мог допустить мысли, что его праотец был Иуда. Но мой законоучитель ежедневно рассказывал мне о страданиях Христа. Он портил мое детское воображение, и ему удалось добиться того, что я видел в каждом еврее убийцу и мучителя. Мои робкие попытки сослаться на Нагорную проповедь с нетерпением отвергались: «Да, Христос заповедал нам любить наших врагов, — говаривал о. Георгий Титов, — но это не должно менять наши взгляды в отношении евреев». Бедный о. Титов! Он неумело старался подражать князьям церкви, которые в течение восемнадцати веков проповедовали антисемитизм с высоты церковных кафедр. Католики, англикане, методисты, баптисты и другие вероисповедания одинаково способствовали насаждению религиозной нетерпимости, и равным образом антисемитское законодательство России видело главные свои основы в умонастроении высших иерархов православной церкви. В действительности евреи начали страдать от преследований в России с момента прихода к власти людей, слепое повиновение которым велениям церкви оказалось сильнее понимания ими духа великой империи.

«Русский царь не может делить своих подданных на евреев и неевреев, — писал Николай I на всеподданнейшем докладе русских иерархов, которые высказывались в пользу ограничений евреев в правах. — Он печется о благе своих верноподданных и наказывает предателей. Всякий другой критерий для него неприемлем».

К несчастью для России, способность моего деда «мыслить по-царски» не была унаследована его преемниками, и наступление моего совершеннолетия совпало с введением опасных и жестоких мер, принятых под влиянием членов Святейшего Синода. Между тем, если сравнить ограничения прав евреев, существовавшие в прежней России, с теперешним колоссальным ростом

антисемитизма в Соединенных Штатах, то это сравнение окажется далеко не в пользу якобы терпимых американцев. Приведу лишь один пример. Владелец доходного дома в Петербурге никогда не посмел бы вывесить объявление, что его дом «на 100% населен только христианами».

Таким образом, мой прежний антисемитизм объясняется влиянием на меня учения православной церкви, но это чувство исчезло, как только я понял лицемерный характер этого псевдохристианского учреждения. Мне нужно было гораздо больше усилий, чтобы решительно преодолеть в моем характере ксенофобию, посеянную в моей душе преподавателями русской истории. Их разбор событий нашего прошлого не принимал во внимание пропасть, неизменно отделявшую народы от их правительств и политиков. Французы порицались за многочисленные вероломства Наполеона, шведы должны были расплачиваться за вред, причиненный Карлом XII русским людям во время царствования Петра Великого. Полякам нельзя было простить глупость их тщеславных аристократов. Англичане были всегда «коварным Альбионом». Немцы были виноваты тем, что имели Бисмарка. Австрийцы несли ответственность за политику Франца Иосифа, монарха, не сдержавшего ни одного из своих многочисленных обещаний, данных им России. Мои «враги» были повсюду. Официальное понимание патриотизма требовало, чтобы я поддерживал в своем сердце огонь «священной ненависти» против всех и вся.

Что мне оставалось делать? Как мог я примирить ограниченность навязанных мне воспитателем взглядов с зовами моря, которые сулили мне радости грядущих скитаний?

Бесконечные петербургские ночи медленно сменяли одна другую. В той внутренней борьбе, которая происходила в моей душе, человеческое заметно слабело перед великокняжеским.

2 Объединенные во имя славы, спаянные смертью — это долг солдат, это участь храбрых (фр.).

Глава VII

Плавание великого князя

1

Еще одна зима, еще ночи размышлений. На этот раз на расстоянии тысячи верст от С.-Петербурга.

Канун рождества 1886 года. «Рында» полным ходом входит в территориальные воды Бразилии. Я стою на носу, среди молочных облаков блестит созвездие Южного Креста, и я глубоко вдыхаю аромат тропических лесов.

Склянки, пробившие четыре часа ночи, возвещают окончание вахты, данной мне в качестве последнего испытания. Внизу в кают-компании меня ожидают холодный ужин и графин водки.

Масло потрескивает в лампе, раздаются размеренные шаги офицера на вахте, а вокруг — тишина... Чудесная тишина военного корабля на рассвете. Полная глубокого значения. Проникнутая величием вселенной. Дарящая посвященным прозрение.

Трудно себе представить, что там где-то есть Россия, что где-то позади остались император, царская семья, дворцы, церкви, парады, казаки, величавая красота отягощенных драгоценностями женщин.

Я вынимаю из бокового кармана маленький конверт, в котором находится карточка. «Лучшие пожелания и скорое возвращение. Твой моряк Ксения». Я улыбаюсь. Она очаровательна. Когда-нибудь, может быть... Конечно, если император не будет настаивать, чтобы его дочь вышла замуж за иностранного принца. Во всяком случае, Ксении еще нет двенадцати лет.

У нас все впереди. Я только что начал кругосветное плавание, которое будет длиться три года, после чего я должен получить следующий чин. Пока же я всего только мичман. То, что я великий князь и двоюродный брат государя, ставит меня в особое положение и может вызвать неприязнь командира. На борту корабля он мой неограниченный начальник, но на суше должен становиться передо мною во фронт. Две очень элегантные дамы в одном американском баре в Париже были поражены, когда увидели, как русский «командант», внушавший им страх, вскочил при появлении в зале молодого человека без всяких отличий. Мне достаточно было намека, чтобы все общество подсело к моему столу. Но я не пошевелился.

Я был занят в Париже присмотром за Эбелингом. Мне казалось, что он опоздает на поезд в Гавр и проведет эти три года не в плавании, а за кулисами театра «Фоли Бержэр».

Эбелинг — первый лейтенант на крейсере «Рында». В день нашего отплытия он дал честное слово моей матери, что не будет спускать с меня глаз во время нашего пребывания в таких современных «Вавилонах», как Париж, Гонконг или Шанхай. Над этим обещанием у нас подтрунивали все офицеры, так как знали способность Эбелинга, что называется, «попадать в переделки». Его голубые глаза и открытое лицо вызвали доверие у моей матери, но оказалось, что те же самые его свойства были причиной более чем радушного приема во всех странах, у берегов которых бросала якорь «Рында».

— Не забывайте, что я дал слово Ее Императорскому Высочеству не спускать с вас глаз, — говорил он мне, заказывая пятую рюмку коньяку с содовой, — поэтому вы должны быть около меня, куда бы я ни шел и что бы я ни делал.

В ответ на это я усмехался. Пока что я мог противостоять искушениям Эбелинга. Рио-де-Жанейро должен был стать нашей первой экзотической стоянкой.

2

Гавань, равная по красоте лишь портам Сиднея, Сан-Франциско и Ванкувера... Седобородый бразильский император, обсуждающий грядущее торжество демократии... Тропические джунгли, хранящие в своих недрах жизнь первых дней сотворения мира... Тоненькая девушка, танцующая под звуки «Ла

Палома». Эти четыре образа будут для меня всегда связаны со словом «Бразилия».

«Тот, кто отведал воды Бейкоса, вернется в Истамбул», — утверждают турки. Я с этим не согласен. Я отведал этой прославленной воды и не испытывал желания вернуться в этот вертеп европейского порока и азиатской лени. Но я бы дал многое, чтобы еще раз пережить радость при виде прекрасного Рио.

На берегу меня ожидала каблограмма из С.-Петербурга, в коей было приказание сделать официальный визит Дон Педро, императору бразильскому. Был январь — самый жаркий месяц в Южной Америке, и император жил в своей летней резиденции Петрополис, высоко в горах. Единственным способом сообщения туда был старомодный фуникулер, шедший зигзагами по высокому склону горы.

Тропические джунгли охватывали нас со всех сторон, пока мы, стоя, любовались гаванью. Далеко внизу потоки хрустально чистой воды шумели на дне пропастей и, окруженные гигантскими деревьями и кустами, были похожи на серебряных змей. Пальмы, лианы и другие гигантские растения казались переплетенными друг с другом и были в непрестанной борьбе за каждый атом воздуха и луч солнца. Мириады из них погибали на наших глазах, но им на смену нарождались новые, готовые вступить в эту борьбу за существование. Наш миниатюрный поезд медленно поднимался вверх, ломая на своем пути ветки, продираясь сквозь деревья и задевая высокую ядовитую траву, касавшуюся наших лиц. Кричали попугаи, извивались змеи, птицы неслись над нами громадными испуганными стаями, большие бабочки, цвета окружавшей нас зелени, вились высоко над нами, словно радуясь своей безопасности.

Дорога длилась три часа, что было утомительно. В течение всего пути джунгли не менялись ни на йоту. Все в них говорило о миллионах веков хаоса и о желании продолжать этот хаос и впредь.

Я дрожал с головы до ног. Только теперь я понял истинное значение слов Талмуда, утверждавшего, что нет ничего ужаснее, чем лицемерие открытого лика Создателя. Мои спутники — два юных лейтенанта с «Рынды» — перекрестились, когда мы, достигнув наконец вершины горы, увидели нашего посланника в Бразилии Ионина. Мы уже перестали верить, что в этом месте могли встретиться живые существа.

Окладистая седая борода императора Дон Педро и очки в золотой оправе делали его похожим на университетского профессора. Он сочувственно выслушал мои впечатления от джунглей. Отсутствие политических разногласий и неразрешимых конфликтов между Российской и Бразильской империями позволяло нам разговаривать непринужденно.

— Европейцы часто говорят о так называемой молодости стран Южной Америки, — сказал он не без горечи. — Но никто из них не отдает себе отчета, что мы бесконечно стары. Мы старше самого мира. От народов, живших на этом материке тысячи столетий тому назад, не осталось никаких следов, вернее, они не открыты. Но одна вещь остается в Южной Америке неизменной — это дух беспокойной ненависти. Дух этот — порождение окружающих нас джунглей, которые властвуют над нашими умами. Политические идеи сегодняшнего дня

связаны с требованиями завтрашнего не чем иным, как постоянным желанием перемены. Никакое правительство не может остаться у власти продолжительное время, ибо джунгли пробуждают нас к борьбе. В данную минуту требованием дня у нас является установление демократического строя. Бразильский народ получит его. Я слишком хорошо знаю мой народ, чтобы допустить бесполезное кровопролитие. Я устал. Пускай будущие президенты попытаются поддержать гражданский мир в Бразилии.

Несколько лет спустя Бразилия стала республикой. Дон Педро сдержал свое обещание: он добровольно и радостно отрекся, поставив своих импульсивных подданных в тупик легкостью одержанной ими победы. Память его чтут по сей день в Бразилии, и монумент, воздвигнутый по всенародной подписке, увековечивает спокойную мудрость этого доброго человека.

Мне он очень понравился, и так как он никуда не торопился, то мы провели более двух часов в его скромном, комфортабельном кабинете с широкими окнами, выходившими в большой сад, в котором щебетали бесчисленные птицы. Мы говорили по-французски. Его очень ясный, грамматически правильный, хотя слегка нерешительный стиль придавал характер дружелюбной застенчивости этой беседе между непоколебимым монархом тропических стран и представителем столь могущественного в то время царствующего дома далекого Севера. Когда я с ним прощался, он прикрепил к моей груди знаки высшего ордена Бразильской империи. Я поблагодарил его за оказанную мне честь, но высказал свое предпочтение бразильскому девятиконечному кресту в венке из роз.

Дон Педро рассмеялся:

— Орден Розы — одно из наших самых скромных отличий, — сказал он. — Почти все у нас имеют этот орден.

Ну и что же! Он лучше подходил к моим понятиям о Бразилии. Мы пошли на компромисс, и я принял оба ордена.

Остальные дни я провел в атмосфере ленивой неги на фазенде русского коммерсанта, торговавшего кофе и женатого на очень состоятельной бразильянке. Каждое утро мы ездили верхом осматривать его кофейные плантации, расположенные на нескольких квадратных милях, и импровизированный оркестр из рабов-негров услаждал наш слух игрою на особых инструментах, которых я нигде, кроме Бразилии, не видел. По вечерам после обеда мы сидели на веранде, слушая резкие шумы джунглей, которые прерывали монотонные звуки там-тамов. Мы никогда не зажигали огня, так как мириады светляков распространяли яркий свет. У жены моего хозяина в фазенде гостили две ее племянницы: молодые, высокие, стройные брюнетки. Обе казались мне красавицами. Впрочем, каждая девушка, танцующая под звуки «Ла Палома» в тропическом саду, пронизанном мерцающим светом светляков, могла показаться красавицей молодому человеку, изгнанным в туманах С.-Петербурга. Меня покорили чары старшей девушки. Возможно, что и я понравился ей и ей хотелось испытать, как влияет бразильская атмосфера на русского великого князя. Не могло быть ничего наивнее этого юношеского флирта, полного застенчивой нежности. Если эта дама еще жива, ей уже

исполнилось 64 года. Я надеюсь, что она иногда вспоминает вечера 1887 года с той же нежностью, что и я.

3

Южная Африка. Беглый взгляд на голландских фермеров, изнуренных тяжелой работой. Однообразный ландшафт, вдвойне разочаровывающий человека, побывавшего в Бразилии. Роскошные летние клубы британских офицеров. Подсознательное высокомерие всемогущего могущества. Частые цитаты Сесилия Родса: «Мыслить по-имперски».

И наконец, самый длинный период нашего плавания: переход из Кейптауна в Сингапур. Сорок пять дней в открытом море без намека на берег. Командир в восторге. Он ненавидит заходы в порты, когда он должен уступать свою власть лоцману. «Лоцман! Что может быть невежественнее лоцмана!». Если бы нашему командиру дали волю, он бы никогда не заходил в порт.

Сингапур. Я желал бы, чтобы какая-нибудь пресыщенная леди, пьющая чай на террасе своего красивого имения в Англии и жалующаяся на вечное отсутствие своего мужа, находящегося на Востоке, имела бы возможность осмотреть Сингапур и видеть процесс добывания денег, на которые покупаются ее драгоценности, туалеты и виллы. «Бедный Фрэдди. Он все время очень много работает. Я не знаю в точности, что он делает, но это имеет какое-то отношение к этим забавным китайцам в Сингапуре!»

Китайский квартал Сингапура. Главный источник дохода Фрэдди. Каждый второй дом — курильня опиума. Развращенность на высшей степени развития. Не тот разврат, который подается на золотом блюде в европейском квартале Шанхая, но разврат в грязи и мерзости, запахи гниения, разврат голодающих кули, которые покупают свой опиум у европейских миллионеров. Голые девятилетние девочки, сидящие на коленях прокаженных. Растрепанный белый, старающийся войти в курильню опиума. Тошнотворный запах опиума, от которого нельзя отделаться. А недалеко от этого ада — очаровательные лужайки роскошного британского клуба, с одетыми во все белое джентльменами, попивающими под сенью больших зонтов виски с содовой.

Еще одна неделя в Сингапуре, и я бы опасно заболел. Я благословлял небо, когда каблограмма Морского министерства предписала нам отправиться немедленно в Гонконг. Первого апреля — в день моего рождения — мои соплаватели-офицеры решили устроить празднование по этому поводу. Обычно мы мало пили на борту корабля, но на этот раз офицеры сочли долгом возгласить многочисленные тосты за мое здоровье и за здоровье моих родных.

Постепенно наша беседа перешла, как это бывает обычно в обществе молодых людей, на тему о женщинах. Мой «опекун» Эбелинг долго и обстоятельно рассказывал о своих новых победах в Рио-де-Жанейро и в Сингапуре. Второй лейтенант восхвалял прелести южноафриканских голландок. Остальные восемь мичманов скромно признавались, что до сих пор их принимали одинаково хорошо во всех странах. Моя невинность разжигала общее любопытство. Они имели обыкновение распространяться на эту тему с тех пор, как мы покинули Россию. Но теперь, когда мне исполнился 21 год, это казалось им прямо невероятным. Они находили это противоестественным и

очень опасались за состояние моего здоровья. Я никогда не был ни лицемером, ни недотрогой. Я просто не мог привыкнуть к их манере обсуждать открыто столь интимные вещи. Моя манера держать себя лишь раззадорила их, и в течение всего перехода из Сингапура в Гонконг они только и делали, что говорили об ожидающих нас красавицах.

Эбелинг сказал мне, что очень огорчен за меня:

— Если бы вы только знали, что теряете! В чем смысл жизни без женщины? Я хочу дать вам хороший совет. Послушайте меня, в конце концов, ведь я гораздо старше вас. Вы должны непременно познакомиться с кем-нибудь в Гонконге. Я понимаю, что Сингапур произвел на вас отталкивающее впечатление и что обстоятельства сложились в Рио неблагоприятно. Но Гонконг! Женщины Гонконга! Американские девушки, — Эбелинг с восторгом поцеловал кончики своих пальцев, — лучшие в мире! Нигде нет ничего подобного. Я не согласился бы променять одну американскую девицу, живущую в Гонконге, на тысячу парижских! Будьте же умником и послушайтесь моего совета. Я знаю одно место в Гонконге, где имеются три такие американские девушки! Понимаете, я бы не повел вас в банальное, дешевое место. То, о чем я говорю, — очень уютная квартирка. Теперь дайте мне немного припомнить: там была девушка по имени Бетти. Да, ее звали, кажется, Бетти, если, конечно, я не путаю ее с одной девушкой, с которой был знаком в Шанхае. Во всяком случае, это высокая блондинка с голубыми глазами. Прелестная. Потом там была Джоанна, с темными волосами и зелеными глазами. Вы бы сошли от нее с ума. Но подождите пока, лучшее еще впереди. Пэтси! Девушка ростом в пять с половиною футов, с цветом лица... Подождите, с чем я могу сравнить ее кожу? Она не совсем белая, скорее цвета слоновой кости. А фигура... фигура! Вы, вероятно, видели в петербургском Эрмитаже статую... Как же она называется?..

Он так и не вспомнил названия этой статуи, так как познания лейтенанта Эбелинга в области достопримечательностей Эрмитажа были весьма слабы. Но так или иначе, мой покой был нарушен.

Ни один юноша моего возраста не мог бы противостоять сосредоточенным атакам моих искусителей. Накануне нашего прибытия в Гонконг я выразил согласие принять участие в их похождениях.

Войдя в квартиру в сопровождении двух наших офицеров, я был приятно поражен отсутствием той вульгарности, которую неизбежно ожидаешь увидеть в подобных местах. Комнаты были обставлены с большим вкусом. Три молодые хозяйки были прелестны, чаруя своей непринужденностью. Французы называли бы их «дамами полусвета», хотя это слово далеко от истинного определения самой старой профессии мира.

Подали шампанское, и разговор завязался. Звук голосов всех троих был очень приятен. Они очень мило обсуждали текущие события: их несомненный ум позволял им обходиться без помощи нарочитой светскости. Цель нашего посещения не вызвала никаких сомнений, и вот наступило время, когда меня оставили наедине с самой хорошенькой из трех. Она предложила мне показать свою комнату — и то, что было неизбежно, произошло...

С этого вечера мы стали большими друзьями. Мы посещали с нею рестораны и совершали продолжительные прогулки в горы, откуда открывался великолепный вид на панораму Гонконга. Она прекрасно держала себя, говоря по правде, гораздо лучше так называемых европейских «дам общества», проживающих в Китае. Постепенно она рассказала мне историю своей жизни. Она никого не обвиняла и ни на кого не жаловалась. Жажда приключений привела ее из родного Сан-Франциско на Дальний Восток, непреодолимое желание иметь «красивые вещи» довершило остальное. Такова была жизнь: одни выигрывали, другие проигрывали, но чтобы вступить в игру, нужно было иметь какую-то точку опоры. Она говорила о мужчинах без горечи. Это были, по ее словам, трезвые звери, пьяные ангелы, проходимцы или же сорвиголовы. В ее жизни все зависело от удачи. Она любовалась картинами мимоходящей жизни, хоть и сознавала, что сутолока жизни ее раздавила. Но ничего нельзя было сделать, чтобы изменить ее положение.

Оттенки любви бесчисленны и многообразны. Без сомнения, многие формы любви продиктованы жалостью. Мне было бесконечно грустно покидать Гонконг, и мы потом в течение года переписывались с нею. И каждый раз, когда впоследствии «Рында» возвращалась в Гонконг, я садился в рикшу и торопился к знакомому дому. Когда в 1890 году я снова посетил Дальний Восток, ее друзья сообщили мне, что она умерла от туберкулеза.

4

В кают-компании снова царил большое оживление. Как только мы бросили якорь в порту Нагасаки, офицеры русского клипера «Вестник» нанесли нам визит. Они восторженно рассказывали о двух годах, проведенных в Японии. Почти все они были «женаты» на японках. Браки эти не сопровождались официальными церемониями, но это не мешало им жить вместе с их туземными женами в миниатюрных домиках, похожих на изящные игрушки, с крошечными садами, карликовыми деревьями, маленькими ручейками, воздушными мостиками и микроскопическими цветами. Они утверждали, что морской министр неофициально разрешил им эти браки, так как понимал трудное положение моряков, которые на два года разлучены со своим домом. Конечно, надо было добавить, что все это происходило за много лет до того, как Пьер Лоти и композитор Пуччини нашли неиссякаемый источник для извлечения доходов из душераздирающих арий мадам Кризантем и мадам Баттерфляй. Таким образом в данном случае искусство никак не могло повлиять на установление морального критерия для скитающихся по свету моряков.

В то время одна вдова — японка по имени Омати-сан — содержала очень хороший ресторан в деревне Инасса вблизи Нагасаки. На нее русские моряки смотрели как на приемную мать русского военного флота. Она держала русских поваров, свободно говорила по-русски, играла на пианино и на гитаре русские песни, угощала нас крутыми яйцами с зеленым луком и свежей икрой, и вообще ей удалось создать в своем заведении атмосферу типичного русского ресторана, который с успехом мог бы занять место где-нибудь на окраинах Москвы. Но кроме кулинарии и развлечений она знакомила русских офицеров с их будущими японскими «женами». За эту услугу она не требовала никакого

вознаграждения, делая это по доброте сердца. Она полагала, что должна сделать все от нее зависящее, чтобы мы привезли в Россию добрые воспоминания о японском гостеприимстве.

Офицеры «Вестника» дали в ее ресторане обед в нашу честь в присутствии своих «жен», а те, в свою очередь, привезли с собою подруг, еще свободных от брачных уз.

Омати-сан превзошла по этому случаю саму себя, и мы впервые за долгое время ели у нее превосходный русский обед. Бутылки водки, украшенные этикетками с двуглавым орлом, неизбежные пирожки, настоящий борщ, синие банки со свежей икрой, поставленные в ледяные глыбы, огромный осетр посередине стола, русская музыка в исполнении хозяйки и гостей — все это создавало такую обстановку, что нам с трудом верилось, что мы в Японии.

Мы с любопытством наблюдали за тем, как держали себя игрушечные японочки. Они все время смеялись, принимали участие в нашей пении, но почти ничего не пили. Они представляли собой странную смесь нежности с невероятной рассудочностью. Их сородичи не только не подвергали их остракизму за связь с иностранцами, но считали их образ жизни одним из видов деятельности, открытым для их пола. Впоследствии они намеревались выйти замуж за японцев, иметь детей и вести самый буржуазный образ жизни. Пока же они были готовы разделить общество веселых иностранных офицеров, конечно, только при условии, чтобы с ними хорошо и с должным уважением обходились. Всякая попытка завести флирт с «женой» какого-нибудь офицера была бы признана нарушением существующих обычаев. Их определенное мировоззрение не носило никаких следов западноевропейского мышления; как все обитатели Востока, они проповедовали моральную непорочность и духовную верность, которые в их глазах ценились гораздо выше физической невинности. Почти никто из европейских или же американских писателей не сумел истолковать эту черту японского рационализма. Разбитое сердце «мадам Баттерфляй» вызвало взрыв хохота в Стране восходящего солнца, потому что ни одна из носительниц кимоно не была настолько глупа, чтобы предполагать, что она могла бы остаться с «мужем» до гробовой доски. Обычно «брачный контракт» заключался с японками на срок от одного до трех лет, в зависимости от того, сколько времени находилось военное судно в водах Японии. К моменту истечения срока подобного контракта появлялся новый офицер, или же, если предыдущий «муж» был в достаточной мере щедр и его «жена» могла сэкономить достаточную сумму денег, она возвращалась обратно в свою семью.

Я часто навещал семьи моих «женатых» друзей, и мое положение холостяка становилось явно неудобным. «Жены» не могли понять, почему этот молодой «самурай» — им объяснили, что «самурай» означало по-русски «великий князь» — проводит вечера у чужого очага вместо того, чтобы создать свой собственный уютный дом. И когда я снимал при входе в их картонные домики обувь, чтобы не запачкать на диво вычищенных полов, и входил в одних носках в гостиную, недоверчивая улыбка на ярко накрашенных губах хозяйки встречала меня. «По всей вероятности, этот удивительно высокий самурай хотел испытать верность японских «жен». Или же, быть может, он был слишком скуп, чтобы содержать «жену»! — читалось в их глазах.

Я решил «жениться». Эта новость вызвала сенсацию в деревне Инасса, и были объявлены «смотрины» девицам и дамам, которые желали бы занять роль домоправительницы русского великого «самурая». Смотрины были назначены на определенный день. Напрасно я старался избежать излишней пышности. Однако мои друзья всецело поддерживали желание г-жи Омати-сан дать возможность каждой девушке, которая подходила бы к намеченной роли, принять участие в конкурсе. После смотрин должен был состояться торжественный свадебный обед для всех офицеров с шести военных кораблей, стоявших в Нагасаки.

Выбор моей будущей «жены» представлял большие трудности. Все они казались одинаковыми: улыбающиеся, обмахивающиеся веерами куклы, которые с непередаваемой грацией держали чашечки с чаем. На наше приглашение их явилось не менее шестидесяти. Даже самые бывалые офицеры среди нас вставали в тупик перед таким изобилием изящества. Я не мог смотреть спокойно на взволнованное лицо Эбелинга, но мой смех был неправильно истолкован «невестами». В конце концов мое предпочтение синему цвету разрешило сомнения: я остановил свой выбор на девушке, одетой в кимоно сапфирового цвета, вышитое белыми цветами.

Теперь у меня завелся собственный дом, правда, очень скромный по размеру и убранству. Однако командир «Рынды» строго следил за тем, чтобы мы, молодежь, не слишком разленились, и заставлял нас заниматься ежедневно до шести часов вечера. Но в половине седьмого я уже был «дома» за обеденным столом в обществе миниатюрного существа. Веселость ее характера была поразительна. Она никогда не хмурилась, не сердилась и всем была довольна. Мне нравилось, когда она была одета в кимоно различных цветов, и я постоянно приносил ей новые куски шелка. При виде каждого нового подарка она выскакивала, как сумасшедшая, на улицу и созывала наших соседей, чтобы показать им обновку. Уговорить ее делать меньше шума было бы напрасным трудом — она очень гордилась великодушием своего «самурая». Она попробовала сшить кимоно и для меня, моя высокая фигура, закутанная в это японское одеяние, дала ей повод к новым восклицаниям и восторгам. Я поощрял ее любовь принимать моих друзей и не переставал любоваться, с каким серьезным достоинством эта кукла разыгрывала роль гостеприимной хозяйки. По праздникам мы нанимали рикшу, ездили осматривать рисовые плантации и старинные храмы и обычно заканчивали вечер в японском ресторане, где ей оказывалось неизменно высокое уважение. Русские офицеры называли ее в шутку «нашей великой княгиней» — причем туземцы принимали этот титул всерьез. Почтенные японцы останавливали меня на улице и интересовались, не было ли у меня каких-либо претензий в отношении моей «жены». Мне казалось, что вся деревня смотрела на мой «брак», как на известного рода политический успех.

Так как мне предстояло остаться в Нагасаки около двух лет, я решил изучить японский язык. Блестящее будущее Японии не вызывало во мне никаких сомнений, а потому я считал весьма полезным, чтобы хоть один из членов императорской фамилии говорил на языке Страны восходящего солнца. Моя «жена» предложила мне быть моей преподавательницей, и через некоторое

время, несмотря на трудности японской грамматики, я научился стольким фразам, что мог поддерживать разговор на простые темы.

В один прекрасный день была получена телеграмма от государя императора с приказанием сделать официальный визит микадо. Российский посланник при японском дворе выработал сложную программу, состоявшую из торжественных приемов, обедов и ужинов, которая должна была завершиться большим банкетом во дворце. Наш посланник был очень озабочен, так как я должен был явиться первым представителем европейских государств, которого когда-либо принимал японский император. Он объяснил мне при этом, что в своих беседах с микадо я должен буду пользоваться услугами переводчика, так как император ни на каком другом языке, кроме японского, не говорил. Я глубокомысленно усмехнулся. Мне казалось, что мое умение говорить с микадо без переводчика явится для всех большим сюрпризом.

Жители деревни Инасса потеряли покой, когда узнали, что с ними проживает человек, которого примет сам великий микадо. Мои японские друзья теряли дар речи в моем присутствии и только подобострастно кланялись. Даже моя «жена» выглядела испуганной. Дело в том, что в местных газетах появился мой портрет с заметкой, в которой говорилось, что русский морской офицер, проживающий уже третий месяц инкогнито в Японии, приходится двоюродным братом императору всероссийскому. Это породило в моей «жене» сомнения, должна ли она продолжать называть меня «Сан» (японское уменьшительное от Сандро) или же избрать какую-то другую, более официальную форму обращения. Пришлось подарить пятьдесят метров розово-зеленого шелка, чтобы вернуть ей душевное равновесие.

В то время пост заведующего церемониальной частью при японском дворе занимал бывший камергер германского императора, а потому прием мой в Йокогаме и Токио был обставлен с большой торжественностью. С того момента, как в йокогамском порту прогремел императорский салют в 101 выстрел, в течение девяти последующих дней я перестал быть скромным мичманом с крейсера «Рында», и со мною обращались точно так же, как принимали в чопорном Потсдаме высочайших особ. Собственный поезд микадо ожидал меня в Йокогаме, и все члены правительства во главе с графом Ито, тогдашним премьер-министром, встречали меня в Токио на вокзале. Я проследовал в императорский дворец в пышном экипаже, которому предшествовал эскадрон гвардейцев в парадной форме.

Первая аудиенция у императора длилась всего несколько минут. Император и императрица приняли меня в тронной зале, окруженные блестящей свитой принцев и принцесс. Я произнес короткую речь и передал приветствие от царя. Император выразил свою радость по поводу моего пребывания в Токио и веру в русско-японскую дружбу. Обе речи были переведены переводчиком посольства. Я испытывал некоторое смущение в обществе этих людей, одетых в полную парадную форму и едва достигавших мне до плеча, и старался казаться как можно ниже ростом.

Целая неделя была посвящена осмотру достопримечательностей столицы и военным парадом; наконец приблизился вечер торжественного банкета в императорском дворце. Я сидел по правую руку от императрицы. Выждав

немного, набрался храбрости, улыбнулся очень любезно и заговорил с нею по-японски. Сперва она выглядела чрезвычайно удивленной. Я повторил мою фразу. Она вдруг рассмеялась. Тогда я счел уместным выразить ей по-японски мое восхищение по поводу достигнутых Японией успехов. Это представляло большие трудности, так как я должен был вспомнить многие выражения, употребляемые в подобных случаях моими друзьями в Инассе. Императрица издала странный, горловой звук. Она перестала есть и закусила нижнюю губу. Ее плечи затряслись, и она начала истерически смеяться. Японский принц, сидевший слева от нее и слышавший наш разговор, опустил в смущении голову. Крупные слезы катились по его щекам. В следующий момент весь стол кричал и смеялся. Я очень удивился этой веселости, так как в том, что я сказал, не было и тени юмористики. Когда смех немного улегся, императрица подала знак принцу, и он обратился ко мне по-английски:

— Позвольте узнать, где Ваше Императорское Высочество изволили научиться японскому языку? — вежливо спросил он с глазами, полными слез.

— А что? Разве я плохо говорю?

— Совсем нет! Вы замечательно говорите, но, видите ли, вы употребляете особый местный диалект, который... Как бы вам это объяснить?.. Можно узнать, как долго вы уже находитесь в Нагасаки и не проживали ли в районе ИнаССы?

Немецкий камергер был явно скандализован, так как это был, по всей вероятности, самый веселый придворный банкет в истории Страны восходящего солнца.

— Я бы очень хотел знать, как ее зовут? — сказал премьер-министр, провожая меня до экипажа. — Я бы выразил ей от имени Его Величества высочайшую благодарность за ее блестящий метод преподавания инасского наречия. Сколько же вы, Ваше Высочество, всего взяли уроков японского языка?..

5

Так как наша главная стоянка была в Нагасаки, мы возвращались туда из наших рейсов каждые три месяца. «Рында» шла по намеченному курсу, и мы, таким образом, посетили Филиппинские острова, Индию, Австралию и различные острова, расположенные в Великом и Индийском океанах. Воспоминания об этих местах возбуждают во мне острую тоску, которая одно время была даже причиной моего намерения отказаться от титула и остаться навсегда за границей. Молуккские острова, острова Фиджи, Цейлон и Дарджилинг в Гималаях в особенности пришили мне по сердцу.

Вспоминаю тропический рай Молуккских островов. Широкая река, катящая свои волны через пальмовые рощи. Острова Фиджи. Маленький тесный отель в Дарджилинге с бесподобным видом на величественную Канченджангу.

А вот раннее утро в джунглях Цейлона... Дождь лил всю ночь: свежесломанные ветки, специфический острый запах и глубокие следы на глинистой почве говорят о близости диких слонов. Мы медленно и осторожно продвигаемся вперед верхом. Нас предостерегают крики разведчиков-туземцев. «Осторожно! Осторожно! Они готовятся к нападению», — говорит нам

английский эскорт. Я переживаю в первый раз горделивое удовлетворение, принимая участие в охоте на слона...

Я часто вспоминаю обо всем этом после революции, и мне кажется, что далекий остров где-нибудь на Тихом океане был бы самым подходящим местом для человека, жизнь которого была исковеркана колесами истории. Этими мыслями я делился с моею женой и сыновьями, но они решили остаться в Европе, которая не говорила ничего ни моему уму, ни сердцу даже в годы моей молодости. Быть может, когда-нибудь мои мечты сбудутся. Как ни грустно посетить снова места, где я был счастлив сорок лет тому назад, я твердо верю, что ни океан, ни тропические леса, ни горы мне не изменят. Изменяют только люди...

«Путешествие — это школа скептицизма», справедливо сказал Монтень. Для меня путешествие явилось «школой отучивания», ибо в каждой стране, куда по пути заходила «Рында», мне удавалось освободиться от трюизмов и банальностей, привитых мне неправильным воспитанием. Фальшь официального христианства в особенности поразила меня на Дальнем Востоке, где невежественные миссионеры имели смелость обличать священные видения, которые составляют сущность верования буддистов. Какое право мы, христиане, испытывающие животный страх перед смертью и в отчаянии рыдающие над гробом умерших близких, имели смущать душевное равновесие людей, чья безграничная вера в загробную жизнь трогательно выражается в тех чашечках с рисом, которые поставлены на могилу усопших? Каждый последний из китайцев, японцев и индусов горел огнем той веры, которая покинула христианство в день крестной смерти Спасителя и которая заставила Гёте написать его самое глубокое четверостишие:

Und so lald du das nicht hast,

Dieses: Stirb und werden!

Bist du nur ein trüber Gast

Auf der dunklen Erde.[3]

Народы западной цивилизации именно и являются печальными пришельцами, но там, на «нецивилизованном» Востоке, никто еще не утратил надежду на лучшую жизнь за гробом...

6

Весною 1889 года «Рында» возвратилась в Европу через Суэцкий канал и Египет. После непродолжительной остановки в Греции, где я, к большой радости, имел свидание с моею кузиной, великой княгиней Ольгой Константиновной, королевой эллинов, и в Монте-Карло, где я увиделся с родителями, братом Георгием и сестрой Анастасией, мы взяли курс к берегам Великобритании. Здесь мне пришлось быть вторично представителем государя императора, который возложил на меня обязанность передать привет английской королеве Виктории.

Так как отношения между Россией и Англией были далеко не дружественные, то я не слишком радовался возложенному на меня высокому поручению. Я уже имел случай много слышать о холодности Виктории и приготовился к худшему.

Полученное из дворца приглашение с лаконической припиской «к завтраку» только увеличило мои опасения. Личная аудиенция была тем хороша, что должна была быть непродолжительной, но перспектива участвовать в продолжительной церемонии высочайшего завтрака с королевой, известной своим недоброжелательством к России, не предвещала ничего хорошего. Я прибыл во дворец до назначенного мне времени, и меня ввели в полутемную гостиную. В течение нескольких минут я сидел в одиночестве и ждал. Наконец на пороге появились два высоких индуса: они низко поклонились и открыли двухстворчатую дверь, которая вела во внутренние покои. На пороге стояла маленькая полная женщина. Я поцеловал ей руку, и мы начали беседовать. Меня поразили простота и сердечность ее манер. Сперва мне показалось, что эта задушевность означает коренную перемену политики Великобритании в отношении России. Но объяснение этому было другое.

— Я слышала о вас много хорошего, — сказала королева с улыбкой. — Я должна вас поблагодарить за ваше доброе отношение к одному из моих друзей.

Я удивился, так как не мог вспомнить никого из встречавшихся мне лиц, которое могло бы похвастаться дружбой с ее величеством королевой английской.

— Неужели вы уже забыли его, — улыбаясь, спросила королева. — Мунчи, моего учителя хинди?

Теперь я понял причину ее теплого приема, хотя индус Мунчи никогда не говорил мне, что был учителем английской королевы. Я познакомился с ним в Агре, когда осматривал Тадж-Махал. Он высказывал очень много глубоких мыслей относительно религиозных верований индусов, и я был очень обрадован, когда Мунчи пригласил меня к обеду. Я никогда не предполагал, что то, что я отведал пищи у Мунчи, очень поднимет авторитет этого индуса в глазах высокомерных индусских раджей и что он напишет пространное письмо королеве Виктории, в котором восхвалял мою поразительную «доброту».

Королева позвонила. Дверь открылась, и на пороге появился мой друг Мунчи собственной персоной. Мы поздоровались очень сердечно, а королева радостно наблюдала за нашей беседой.

К моменту, когда завтрак был уже подан, я чувствовал себя уже совершенно свободно и был в состоянии ответить на все вопросы о политическом положении в Южной Америке, Японии и Китае. Британский народ имел полное основание гордиться этой необычайной женщиной. Сидя за письменным столом в Лондоне, королева внимательно наблюдала за изменчивой картиной жизни в далеких странах, и ее меткие замечания свидетельствовали об остром уме и тонком понимании действительности.

За столом присутствовали лишь ближайшие родственники королевской семьи и между ними принц Уэльский с супругой, будущий король Эдуард VII и королева Александра. Принцесса горячо любила свою сестру государыню императрицу Марию Федоровну, и ее присутствие и личное обаяние действовали на меня ободряюще. Она была глуховата, и я должен был повышать голос, отвечая на ее вопросы относительно императрицы, племянников и племянниц. Я взглянул в сторону королевы, чтобы убедиться, не мешаю ли я ей своим громким голосом. Но она ободряюще кивнула мне

головой: все делали точно так же, когда разговаривали с красивой принцессой Уэльской, и громче всех кричал при этом ее собственный супруг Эдуард. Если бы кто-либо посторонний вошел в столовую, в которой происходил высочайший завтрак, он мог бы подумать, что происходила пренеприятная семейная сцена.

Два дня спустя меня опять пригласили на семейный обед. С каждым днем королева оказывала мне все более и более внимания. Я встречался с королевой Викторией и потом, но встречи наши происходили в отеле «Симье» в Ницце, где королева проводила обычно каждую весну.

Для «морского волка», прошедшего почти три года в дальнем плавании, светские обязанности, выпавшие на мою долю в Лондоне, были, пожалуй, чересчур сложными. Приветствие государя императора должно было быть передано мною всем членам английской королевской семьи, что влекло за собою участие в целом ряде завтраков, чаев и обедов. Я возобновил знакомство с герцогом Эдинбургским, которого встретил в Москве на коронации в 1883 году. Он был женат на моей двоюродной сестре, великой княгине Марии Александровне, дочери Александра II. Хоть их четыре дочери были еще очень молоды, все они выказывали признаки поразительной будущей красоты. Самый строгий судья женской красоты затруднился бы решить, кому отдать пальму первенства: Мисси — ныне вдовствующей румынской королеве Марии, Даки — великой княгине Виктории Федоровне, супруге великого князя Кирилла Владимировича, Сандре — принцессе Александре Гогенлоэ-Лангенбург, или же Бэби — испанской инфанте Беатрисе.

В Лондоне я познакомился с мистером Б., одним из последних представителей исчезнувшей теперь породы эксцентричных американских миллионеров. Он жил на борту собственной океанской яхты «Леди Торфрида», которая стояла на якоре невдалеке от Лондона. Эта яхта была действительно его постоянным местожительством, так как он не покидал ее уже в течение 15 лет, проводя в одной и той же гавани от трех до пяти лет подряд. Он никогда не сходил на берег и почти никого не принимал. Русский морской агент в Лондоне очень сомневался, удастся ли мне столкнуться с мистером Б. Он полагал, что мое намерение приобрести «Леди Торфриду» приведет американца в такую ярость, что он ответит мне отборной руганью. Однако я решил попытать счастья и попросил мистера Б. принять меня.

Я нашел Б. на юте яхты в обществе значительного количества всевозможных бутылок. Он был раздражен и ворчал. Мое намерение приобрести его яхту не вызвало в нем никакого сочувствия. Я объяснил ему, что хотел бы еще раз посетить наиболее привлекательные места на Востоке, путешествуя совершенно свободно, не будучи связан расписанием паровозных рейсов. Но ввиду того, что я собираюсь отправиться в путешествие уже следующей весной, я не имею времени заказать себе яхту.

— Что же вы хотите, чтобы я делал, пока вы будете дьявольски хорошо проводить время? — раздраженно крикнул он. — Уж не думаете ли вы, что я буду спать на набережной? Или же, быть может, вы прикажете мне залезть в вонючий отель, полный людской рухляди и отвратительного шума?

Вовсе нет. Мысль превратить мистера Б. в скитальца на земле никогда не приходила мне в голову. Я просто полагал, что он согласится продать мне «Леди Торффриду» и купить себе подобную же яхту, только значительно большего тоннажа. Мои агенты к его услугам.

— Кто из нас двух богаче? — спросил он. — Я или же вы? Черт возьми, та, новая яхта, для вас слишком велика, а для меня моя яхта, по-вашему, мала, и я из-за ваших фантазий должен пожертвовать моим благородным судном!

— Видите ли, — скромно сказал я, — человек вашего калибра должен обладать большей яхтой, чем «Леди Торффрида».

Он насмешливо улыбнулся и сказал что-то в том смысле, что это соображение для него малоубедительно. Я продолжал настаивать. По-видимому, этот двухчасовой спор утомил его, потому что он заявил, что должен хорошенько над этим делом подумать. Затем он предложил мне у него погостить.

— Вы, я и эти бутылки, — и он сделал многозначительный жест в сторону стола...

В пять часов утра в следующий понедельник, когда мы оба еле держались на ногах, между нами был подписан контракт, согласно которому я становился полновластным владельцем «Леди Торффриды», а мистер Б. обязался перевезти свой винный погреб на другое судно.

— Только помните, — добавил он, грозя пальцем, — сделка будет действительной лишь в том случае, если вы пришвартуете мою новую яхту так близко к борту «Леди Торффриды», что мне не понадобится спускать шлюпку на воду. И еще одно условие: вы не имеете права называть ее впредь именем «Леди Торффрида». «Леди» остается со мною. Вы должны дать ей другое имя.

Я с готовностью согласился.

— Я решил назвать мою яхту «Тамара».

— Кто это такая?

— «Тамара» — это грузинская царица, которая имела обыкновение сбрасывать своих любовников с высоты дворцовой башни после первой же ночи.

— Милая дама! Вы ее знали лично?

— К сожалению, нет. Она умерла очень давно.

— Они все слишком рано умирают, — сказал мистер Б. и откупорил новую бутылку шампанского.

В бытность мою в Лондоне несколько лет тому назад мне попала на глаза в «Таймс» короткая заметка, которая сообщала о внезапной кончине мистера Б. на борту собственной яхты, которая по обыкновению стояла на Темзе.

Вино и все остальные излишества ускорили его конец, хотя ему исполнилось тогда уже 82 года. Как выяснилось, «Торффридой» звалась его зеленоглазая невеста, которая незадолго до свадьбы отправилась в Париж, чтобы заказать приданое. Здесь она встретила одного британского дворянина и вышла за него замуж.

З И если ты утратил веру в смерть и в воскресение, ты — печальный пришелец на этом мрачном свете... (нем.).

Глава VIII

Женитьба

1

Лето 1889 г. «Рында» стоит разоруженная и забытая в доке. Я — дома в Михайловском дворце.

Сижу в своих комнатах и скучаю. В Петербурге все осталось по-старому. Та же рутина. Три раза в день мы встречаемся с отцом в столовой. Он ест наскоро, затем спешит на заседание Государственного совета. Разговоры все те же, что и три года тому назад; те же сплетни скучающих придворных дам. Та же прислуга, ходящая на цыпочках. Даже тот же самый повар.

Что творится со мной? Что является причиной моего томления? Матушка страдает сердечными припадками. Когда мы гуляем вместе, она часто останавливается и хватается за грудь. Она, по-видимому, очень рада моему возвращению. Она мне говорит, что каждый раз очень волновалась, пока не получала известия о том, что мы прибыли благополучно в тот или иной порт Дальнего Востока. Мне так хочется ответить лаской на ее любовь, но не моя вина, что, когда в детстве мне более всего нужна была ласка матери, я ее не имел...

Я встречаюсь с Ксенией. Это уже не прежний сорванец, не «Твой моряк Ксения». Ей уже исполнилось 14 лет, и мы очень дружны.

Я бываю у Ники в лагерях в селе Капорском, где он изучает кавалерийское дело в рядах лейб-гусарского полка, которым командует великий князь Николай Николаевич. Ники живет в маленькой, для него построенной деревянной даче. Он очень доволен своим производством в офицеры, и мы с ним охотно обмениваемся впечатлениями: я — об охоте в Индии на слонов, он — о полковой жизни. Его брат, Георгий Александрович, не мог противостоять соблазну моих писем, в которых я описывал ему жизнь под тропиками, и тоже отправился в плавание.

А время идет, и эта жизнь действует на меня угнетающе. Я должен во что бы то ни стало уехать.

— Пора... Поднимем якорь. Эта страна нам надоела...

Мы отправляемся с братом Михаилом в Париж на Международную выставку.

Париж... Толпы иностранцев и провинциалов, глазающих на только что выстроенную Эйфелеву башню и на прочие выставочные диковинки. Двадцать тысяч мэров Франции поедают бесплатный обед на Марсовом поле, боясь оставить недопитой бутылку вина или непопробованным какое-нибудь пирожное. Вся эта сутолока мне быстро надоедает.

Мы едем в Биарриц, где наш брат Георгий оправляется от недавней болезни. Океан, песок и закаты солнца...

Вечера, полные ленивой неги... Легкий флирт с двумя красивыми русскими барышнями, с которыми мы никогда бы не могли встретиться в Петербурге, ибо они — «не нашего круга». Я вспоминаю Мунчи и индийских набобов. Мне опять скучно.

— Посмотрите на нашего Будду, — подтрунивает брат Михаил, — ему в цивилизованном обществе не по себе.

Новое прозвище льстит моему самолюбию, хотя и не делает большой чести божественному учителю.

Снова Петербург... «Блестящий зимний сезон». Большой бал в Зимнем дворце и целая серия балов в великосветских домах. Я считаю дни, которые отделяют меня от весны, когда мистер Б. обещал прислать мою яхту в Россию. На балах я танцую только с Ксенией.

Слава богу, «Тамара», наконец, прибыла. Ее гордые очертания вырисовываются у пристани за Николаевским мостом. Я устраиваю на борту завтрак для моих родных.

— Сандро, — говорит отец, — ты с ума сошел! Ты собираешься отправиться в кругосветное путешествие на этой скорлупке!

Отец мой никогда не понимал притягательной силы моря. Мы, конечно, говорили с ним на разных языках. Только государь император, любящий морское дело, хвалит «Тамару». Каждое лето он плавает в водах Финского залива на своей великолепной «Царевне». Этим летом он выразил пожелание, чтобы я на «Тамаре» сопровождал его в плавании.

Наступают блаженные дни. Нас окружает строгая красота шхер. Я обедаю в семье государя, сидя рядом с Ксенией. Это недели отдыха государя. По вечерам мы играем в глупую карточную игру, которая называется «Волки».

В сентябре я прощаюсь с Петербургом по крайней мере на два года. «Тамара» гордо спускается по Неве, имея целью... берега Индии. Я убедил брата Сергея меня сопровождать. Мы должны были встретиться в одном из портов Дальнего Востока с цесаревичем Георгием, который совершает кругосветное путешествие.

Адмиралтейский шпиц становится все тоньше... Мое сердце бьется все радостнее...

2

Сама судьба была против нас. Едва мы прибыли на Дальний Восток, как начали приходить из дома дурные вести. Во-первых, брат Михаил женился на прелестной, но не принадлежавшей, однако, ни к одной из царствовавших фамилий девушке и возбудил этим против себя гнев государя и всей семьи. Потом заболел Георгий Александрович. Доктора нашли у него туберкулез обоих легких, что потребовало его немедленного отъезда на Кавказ в Аббас-Туман. И, наконец, в то время, когда мы путешествовали по Индии, пришло известие о смерти нашей матери. Она умерла от разрыва сердца, заболев в поезде по дороге в наше имение в Крыму Ай-Тодор, где каждое деревцо, каждый цветок были посажены под ее наблюдением. Оставив «Тамару» в порту Бомбея, мы пересели на быстроходный пассажирский пароход и поспешили

обратно в Россию. С тех пор моя нога не ступала больше на священную почву Индии.

Михайловский дворец был полон глубокой скорбью. Отец бесцельно бродил из одной комнаты в другую. В течение долгих часов он сидел безмолвный, куря одну за другой толстые сигары и пристально глядя вдоль длинных полуосвященных коридоров, как бы ожидая услышать оттуда ласковый голос матушки, который бы напомнил ему, что нельзя курить в гостиной. Он упрекал Михаила за его женитьбу, так как видел в ней причину обострения болезни матери, и не мог себе простить, что отпустил ее одну в Крым.

Отцу исполнилось 59 лет. Скоропостижная смерть его верной подруги напомнила ему о собственных годах. Смыслом всей его жизни были Кавказ и его жена. После того как завистливые люди и воля Всевышнего отняли у него и то, и другое, жизнь потеряла для него всякий интерес. Конечно, оставались дети, нас было семеро, но мы выросли в преклонении пред отцом, как пред человеком сильной воли и долга, бывшим для нас олицетворением великолепной эпохи императора Николая I. Говоря о нем, мы называли отца между собою Михаилом Николаевичем; беседуя с ним, мы взвешивали каждое слово и сдерживали свои чувства. Наши сердца разделяли его скорбь, но мы не знали, как выразить ему словами наши симпатии. Мы сидели молча около него, и в моих ушах звучали слова Библии: «И так сидели они с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, так как они видели, что горе его безмерно».

В те дни Петербург показался мне более чем когда-либо ненавистным. Я выпросил у государя должность в Черноморском флоте и был назначен вахтенным начальником на броненосец «Синоп». В течение двух лет я очень много работал там и только раз взял в феврале 1892 года отпуск на две недели, чтобы навестить Георгия Александровича в Аббас-Тумане. Он жил там в полном одиночестве, и единственным его развлечением было сметать снег с крыши домов. Доктора полагали, что холодный горный воздух подействует на его легкие благотворно. Мы спали в комнате при открытых окнах при температуре десять градусов ниже нуля, под грудой теплых одеял. Георгий Александрович знал о моей любви к его сестре Ксении, и это в соединении с нашей старой дружбой и общим интересом к военному флоту сблизило нас как братьев. Мы без усталости беседовали, то вспоминая детство, то стараясь разгадать будущее России и обсуждая характер Ники. Мы надеялись, что император Александр III будет царствовать еще долгие годы, и оба опасались, что полная неподготовленность Ники к обязанностям венценосца явится большим препятствием к его вступлению на престол в ближайшем будущем.

Той же весной 1892 года меня перевели на Балтийский флот. Государь выразил свое полное удовлетворение по поводу моих служебных успехов. После двухмесячного командования миноносной «Ревель» в сто тонн я был назначен командиром минного отряда в двенадцать миноносцев. Во время летнего морского смотра я получил приказ «атаковать» крейсер, на котором находился государь император. Я еще никогда не испытывал такого полного удовлетворения, как во время этой операции, и атаковал с громадным

мужеством и решимостью. Морской министр поздравил меня «с блестяще проведенной операцией», а дома меня ждал самый большой триумф: мой сумрачный наставник, который десять лет назад предсказывал мне полную неудачу на флотской службе, прислал мне письмо, в коем писал, что я сделал большие успехи, чем он ожидал, и он надеется, что со временем я стану хорошим морским офицером.

В январе 1893 года один из наиболее новых русских крейсеров «Дмитрий Донской» должен был, возвращаясь из Китая, отправиться в Соединенные Штаты, чтобы поблагодарить американцев за оказанную ими минувшим летом во время недорода на юго-востоке России продовольственную помощь. Для меня представился единственный случай посетить страну моих юношеских мечтаний. Я решил просить об откомандировании меня на «Дмитрий Донской», но так как я должен был ходатайствовать об этой милости лично у государя, то я полагал, что могу просить его еще кое о чем. Это «кое-что» было рукою его дочери великой княжны Ксении.

Император принял меня с обычной сердечностью. Взрослый офицер, я был для него все тем же «маленьким кузенком» Сандро, который когда-то играл с его сыновьями, Ники и Жоржем, в садах Ливадийского дворца.

— У тебя какой-то секрет, — с улыбкой спросил он меня. — Разве ты не видишь меня достаточно часто дома, чтобы тебе понадобилась официальная аудиенция?

Признаюсь, что я высказал причину моего визита не слишком красноречиво. Пристальный, слегка насмешливый взгляд государя лишил меня всякого мужества. Я заикался и бормотал. Фразы, которые звучали так красноречиво, когда я произносил их пред собой дома, не производили в этом маленьком уютном кабинете, наполненном портретами и картинами, ожидаемого эффекта.

— Дело относительно перевода на крейсер «Дмитрий Донской» обстоит весьма просто, — решил государь после минутного размышления. — Мне кажется, что будет очень хорошо, если представитель нашей семьи передаст мою личную благодарность президенту Соединенных Штатов. Что же касается твоей просьбы руки Ксении, то мне кажется, что до меня ты должен был переговорить с нею.

— Я уже говорил с нею, и мы решили, что я должен просить у Вашего Величества аудиенции.

— Понимаю. Ну что же, принципиально я не против этого. Я тебя люблю. Если ты любишь Ксению и она тебя любит, то я не вижу никаких препятствий, чтобы вам пожениться. Но придется немного подождать, императрица не хочет, чтобы Ксения выходила слишком рано замуж. Мы окончим этот разговор не ранее чем через год.

Я горячо поблагодарил государя и бросился к Ксении, чтобы сообщить ей результат нашего разговора. Мы надеялись получить согласие императрицы ранее чем через год.

Я отправился в Америку со спокойным сердцем.

Мне исполнилось ровно 27 лет в тот туманный весенний день, когда крейсер «Дмитрий Донской» бросил якорь в Гудзоновом заливе.

Официально я приехал выразить благодарность президенту Соединенных Штатов Кливленду от имени Александра III за помощь, оказанную Соединенными Штатами России во время неурожая. Неофициально я хотел бросить взгляд на эту страну будущего и надеялся, что она определит мою судьбу.

Всемирная выставка должна была открыться приблизительно ко времени нашего прибытия, и вся страна находилась в большом напряжении. Никогда еще до того времени столько наций не посылали своих флотов к берегам Соединенных Штатов. Великобритания, Франция, Германия, Италия, Россия, Австро-Венгрия, Аргентина — все были представлены на блестящем международном смотре в Нью-Йоркском порту в мае 1893 года.

Посещение испанской инфанты Евлалии явилось сенсацией выставки. Император Вильгельм послал самого выдающегося дипломата Германии фон Бюлова для противодействия этой «испанской интриге». Шотландские горцы играли на волынках, а французы были представлены специальным оркестром республиканской гвардии. И тот факт, что все великие державы боролись за расположение и дружбу Соединенных Штатов, был весьма знаменателен. Однажды жаркой июльской ночью, проезжая по разукрашенной 5-й авеню в резиденцию Джона Астора и глядя на ряды освещенных домов, я внезапно ощутил приближение новой эпохи.

Так вот она, страна моей мечты! Трудно было поверить, что всего 29 лет назад здесь царил ужас братоубийственной войны. Напрасно искал я следы того страшного прошлого — на улицах царили веселье и благополучие.

Я думал о моем деде, дяде и двоюродном брате. Они управляли государством, которое было больше и богаче этой новой страны, наталкиваясь на те же самые проблемы: громадное население, включающее в себя несколько десятков национальностей и вероисповеданий, колоссальные расстояния между промышленными центрами и районами земледелия, которые требовали железнодорожных линий большого протяжения, и так далее. Трудности, стоявшие перед американским правительством, были не меньше наших, но наш актив был больше. Россия имела золото, медь, уголь, железо; ее почва, если бы удалось поднять урожайность русской земли, могла прокормить весь мир. Чего же не хватало России? Почему мы не могли следовать американскому примеру? Нам не было решительно никакого дела до Европы, и у нас не было никакого основания подражать европейским нациям, которые были вынуждены прибегать к соответствующим методам управления в силу своей бедности.

Европа! Европа! Это вечное стремление идти в ногу с Европой задерживало наше национальное развитие Бог знает на сколько лет.

Здесь, на расстоянии четырех тысяч миль от европейских петушинных боев, взору наблюдателя являлся живой пример возможностей страны в условиях, сходных с российскими. Нам следовало вложить только немного здравого смысла в нашу политику.

И тут же, в те несколько минут, пока длилась моя прогулка в этот вечер, в голове моей созрел широчайший план американизации России.

Меня увлекали молодость и жизнь. Было радостно думать и повторять снова и снова, что старый, залитый кровью девятнадцатый век близится к концу, оставляя арену свободной для новой работы грядущих поколений. Таковы были мои переживания в ту достопамятную ночь, и на эту тему были мои разговоры за столом у мистера Астора.

Хозяин и его друзья посмотрели на меня удивленно. Разве я не прочел утренних газет? Неужели я не знаю печальных новостей?

Компания «Нэшионэл Кэрдэджд» перестала платить по векселям, что, в свою очередь, заставило фирму «Генри Оллен», а также других биржевых игроков прекратить свои платежи.

— Черт знает, что происходит на бирже, — сказал мистер Астор. — К сожалению, должен сознаться, что вся наша страна находится на краю пропасти...

Один господин, весьма известный своей компетентностью в области финансов, попросил номер одной из главных нью-йоркских газет и протянул его мне.

— Пожалуйста, — веско сказал он, — взгляните на эту пессимистическую передовицу. Она вам облегчит понимание того, что теперь происходит в Соединенных Штатах. Что касается меня, то я считаю долгом просить своих клиентов воздержаться от каких бы то ни было биржевых операций.

Это происходило 13 июня 1893 года.

Трагический экземпляр этой газеты до сих пор находится в моих руках. Его листы пожелтели и едва держатся, но зловещие строки еще видны.

Финансовый кризис, депрессия производства, продажная политика, рост преступности, падение морали, оскорбительные замечания заезжих англичан, смерть серьезной литературы, введение театральной цензуры, плохая игра любимой бейсбольной команды — в этом номере газеты нет, кажется, ни одного сообщения, которое бы не убеждало: жизнь кончается, крах Америки неминуем.

И так — в каждом номере. Для меня это — хороший показатель. Когда мои друзья выражают страх за будущее Соединенных Штатов, я читаю им газету от 13 июня 1893 г. и советую решить самим, стоит ли им беспокоиться о переживаемых в тот момент затруднениях и не имели ли они прецедентов в истории.

Моя первая поездка в Америку научила меня нескольким полезным вещам. Я понял, что нельзя поддаваться панике, что конец света будет не завтра. Я понял также преимущества социальной и классовой подвижности общества и возжаждал провести такую же реформу у себя на родине.

В конце лета я должен был вернуться в Россию. Но я дал себе слово, что в ближайшем будущем непременно навещу Соединенные Штаты еще раз.

4

— Когда же твоя свадьба? — спросил меня отец, когда я возвратился в С.-Петербург.

— Я должен ждать окончательного ответа их величеств.

— Находиться в ожидании и путешествовать — вот, кажется, две вещи, которые ты в состоянии делать, — нетерпеливо сказал отец. — Это становится

уже смешным. Ты должен, наконец, создать свой семейный очаг. Прошел целый год с тех пор, как ты говорил с государем. Пойди к его величеству и испроси окончательный ответ.

— Я не хочу утруждать государя, чтобы не навлечь его неудовольствия.

— Хорошо, Сандро. Тогда мне придется самому заняться этим делом.

И не говоря ни слова, отец отправился в Аничков дворец, чтобы переговорить с государыней окончательно, оставив меня в состоянии крайнего волнения. Я знал, что отец мой обожает великую княжну Ксению и сделает все, что в его силах, чтобы получить согласие ее царственных родителей на наш брак. Но я знал также и императрицу. Она не переносила, чтобы ее торопили или ей противоречили, и я опасался, что она сгоряча даст отрицательный ответ и отрежет возможность дальнейших попыток.

Я помню, что сломал в своем кабинете по крайней мере дюжину карандашей, ожидая возвращения отца. Мне казалось, что с тех пор, как он ушел, прошла целая вечность.

Вдруг раздался звонок в комнате его камердинера, и вслед за тем я услышал знакомые твердые шаги. Он никогда не поднимался быстро по лестнице. На этот раз он поднимался прямо бегом. Лицо его сияло. Он чуть не задушил меня в своих объятиях.

— Все устроено, — сказал он входя, — ты должен отправиться сегодня к Ксении в половине пятого.

— Что сказала императрица? Она рассердилась?

— Рассердилась? Нет слов, чтобы описать ее гнев. Она ужасно меня бранила. Говорила, что хочу разбить ее счастье. Что не имею права похитить у нее дочь. Что она никогда не будет больше со мною разговаривать. Что никогда не ожидала, что человек моих лет будет вести себя столь ужасным образом. Грозила пожаловаться государю и попросить его покарать все наше семейство.

— Что же ты ответил?

— Ах — целую уйму разных вещей! Но к чему теперь все это. Мы ведь выиграли борьбу. А это главное. Мы выиграли — и Ксения наша.

Его адъютант, который завтракал с нами, говорил потом, что никогда еще не видел великого князя Михаила Николаевича в столь приподнятом настроении.

— Я не знаю, — прошептал мне этот офицер за столом, — кто из вас двоих собирается жениться?

Если посторонний в этот день наблюдал за нашим поведением, то выходило, что счастливым женихом был мой отец, так как, пока он произносил свои тирады, я сидел неподвижно, будучи не в состоянии что-либо проглотить. Получив после стольких лет робкой надежды согласие на брак с Ксенией, я был буквально ошеломлен той внезапностью, с которой мечты мои превратились в действительность. И потом, я не мог отделаться от мысли о моем брате Сергее. Ведь он был также влюблен в великую княжну Ксению. По взаимному уговору, мы никогда не упоминали в наших разговорах ее имени, но как отнесется теперь он к факту нашей помолвки? Он не мог обвинять меня в чем-либо, так как Ксении принадлежало право выбора между нами, и она предпочла меня, но я сознавал, что с сегодняшнего дня наши братские отношения коренным образом

изменяться. Я жалел Сергея и хотел, чтобы что-нибудь облегчило его душевные страдания, но принести в жертву свою любовь к Ксении я, по совести говоря, не мог.

В четверть пятого я входил в ограду вестибюля Аничкова дворца — долее я ждать был не в состоянии. Взглянув на рослого гвардейца, стоявшего на часах, я покраснел. Мне казалось, что все уже знают о моем счастье. Чтобы не видеть казачка при подъемной машине, я стал медленно подниматься по длинной лестнице.

Гоф-фурьер Ксении Александровны Березин сидел на стуле и читал газету.
— Доложите, пожалуйста, обо мне Ее Императорскому Высочеству.

Березин удивленно посмотрел на меня. Такая официальность была для него новостью — я всегда входил без доклада. Он улыбнулся, или же мне это так показалось, и повел меня в салон великой княгини. Еще вчера мы пили веселой компанией чай в этой чудесно обставленной комнате, но сегодня мне уже все казалось другим. Я стоял и смотрел на дверь в спальню Ксении.

— Как странно, — подумал я, — что она так долго не идет...

И вдруг она вошла с опущенными глазами, в простой белой шелковой блузе и синей юбке. Она остановилась у окна в выжидательной позе. Я взял ее за руку и повел к двум мягким креслам. Мы говорили почти шепотом, и мне казалось, что мы говорили одновременно. Раньше мы обменивались поцелуями, но это были поцелуи кузенов. Теперь я поцеловал ее как будущий супруг...

— Пойдем к папá и мамá, — сказала Ксения. — Будь осторожнее с мамá. Она еще сердится. Она прямо хотела уничтожить твоего отца за его настойчивость добиться ее согласия.

Я рассмеялся. В этот момент я был готов бороться против всех императриц мира.

Стараясь выглядеть не рассерженной, императрица поцеловала меня и сказала:

— Я не должна была бы тебя целовать. Ты ведь отнимаешь у меня дочь. Но что я могу поделать? Пожалуйста, передай своему отцу, чтобы он, по крайней мере, в течение года не показывался мне на глаза.

Император приветливо кивнул мне. Он уже успел позвонить по телефону моему отцу, прося немедленно прибыть в Аничков дворец. И через пять минут главный виновник происшествия вошел в салон императрицы, невозмутимо улыбаясь. Александр III отдал приказание прислуге предупредить всех членов императорской фамилии о том, что сегодня в половине девятого состоится обед, на котором будет объявлено о нашей помолвке.

За столом Ксению и меня посадили рядом. Государь выглядел довольным, и царило приподнятое настроение. После ряда тостов, поздравлений и родственных поцелуев я взглянул на Сергея. Он мне улыбнулся. Он понимал мои опасения и не хотел омрачить нашего счастья. Его лицо не выдавало внутренних страданий — он проявил полное самообладание.

День нашей свадьбы был назначен на конец июля. Я попробовал протестовать против этой отсрочки почти что в шесть месяцев, но меня попросили помолчать

и лишь молить Провидение, чтобы портнихи успели к тому времени сшить приданое Ксении. Мы должны были провести наш медовый месяц в моем любимом Ай-Тодоре, который матушка оставила мне по духовному завещанию. Мой старый друг, поручик Шателэн, взял на себя заботу по приведению дома в надлежащий для нашего приема вид. В мои холостые годы я никогда не заботился об Ай-Тодорском дворце. Вступая в брак, я должен был привести все в порядок. Две придворные дамы, заведующий моим двором и мой личный адъютант — вот то минимальное количество лиц, которые должны были нас сопровождать. Меньшее число свидетелей нашего счастья могло бы вызвать неудовольствие министра императорского двора.

В начале мая Ксения и я сопровождали императрицу в Аббас-Туман. Предстоящая свадьба дочери обостряла еще более ее горе по поводу болезни любимого сына Георгия. Он был очень рад нас видеть, но его бледное, болезненное лицо говорило об ухудшении роковой болезни. Мы провели четыре недели вместе, катаясь в горах, устраивая пикники, смеясь шуткам молодости и танцуя. Мы делали все, что было в наших силах, чтобы подбодрить Жоржа. Он же слабел с каждым днем, и у него было предчувствие, что он никогда уже более не увидит Петербурга. Наше веселое настроение не могло его обмануть. Вид двух здоровых, счастливых людей, вероятно, доставлял ему лишь страдания, хоть внешне он оставался все тем же благородным, добрым и преданным мне Жоржем. Я считал неуместным строить при нем планы на будущее, прислушиваясь к его тяжелому, неровному дыханию. Мы занимали смежные комнаты, и когда я ложился в постель, то не мог заснуть и задыхался от горечи и сознания собственного бессилия. В чем смысл нашей жизни, если ничто в мире не в состоянии спасти Жоржа?

В июне мы прибыли на борт «Царевны», на которой плавал в финских водах государь. За наше отсутствие он очень похудел и жаловался на значительное утомление. Доктора, эти всегда оптимистически настроенные лейб-медики, говорили, что недомогание государя — следствие его усиленных трудов. Они предписали отдых и свежий воздух. Зачарованные его богатырским сложением, они просмотрели смертельный недуг почек.

Как и в предыдущие годы, мы посетили наши любимые места, удии рыбу, принимали гостей и играли в «волков». Двадцатого июля мы возвратились в столицу, чтобы посетить выставку приданого, которая была устроена в одной из дворцовых зал.

Платья — утренние для прогулок, послеполуденные, вечерние и парадные.

Пальто — зимние, весенние, летние и осенние.

Меховые пальто и накидки — из горноста, шиншиллы, бобра, норки, каракуля и котика.

Чулки, перчатки, зонтики и горы других предметов неизвестного для меня названия и назначения.

Несколько столов, заставленных дюжинами комплектов белья.

Серебряный столовый набор на 96 персон. Золотой туалетный набор из 144 предметов, бесчисленное количество посуды — каждого предмета по восемь дюжин.

Драгоценности — жемчужное кольцо в пять рядов, бриллиантовое, рубиновое, изумрудное, сапфировое; диадемы из рубинов и изумрудов; браслеты из брильянтов и изумрудов; брильянты, крепящиеся на платье, и т.д.

Все это стоило баснословных денег, но нас тогда восхищала красота драгоценностей, а не их цена.

В конце зала стоял стол с приданным жениха. Я не ожидал, что обо мне тоже позаботятся, и был удивлен. Оказалось, однако, что, по семейной традиции, государь дарил мне известное количество белья. Среди моих вещей оказались четыре дюжины дневных рубаш, четыре ночных и т. д. — всего по четыре дюжины. Особое мое внимание обратили на себя ночной халат и туфли из серебряной парчи. Меня удивила тяжесть халата.

— Этот халат весит шестнадцать фунтов, — объяснил мне церемониймейстер.

— Шестнадцать фунтов? Кто же его наденет?

Мое невежество смутило его. Церемониймейстер объяснил мне, что этот халат и туфли, по традиции, должен надеть новобрачный перед тем, как войти в день венчания в спальню своей молодой жены. Этот забавный обычай фигурировал в перечне правил церемониала нашего венчания наряду с еще более нелепым запрещением жениху видеть невесту накануне свадьбы. Мне не оставалось ничего другого, как вздохнуть и подчиниться. Дом Романовых не собирался отступать от выработанных веками традиций ради автора этих строк.

Сутки полного одиночества и бессильных проклятий по адресу охранителей традиций, и наконец долгожданный день наступил. Наша свадьба должна была состояться в той же церкви Петергофского Большого дворца, в которой я присягал в день моего совершеннолетия. Эта церковь была избрана мною ввиду моей суеверной неприязни к столице.

За обрядом одевания невесты наблюдала сама государыня при участии наиболее заслуженных статс-дам и фрейлин. Волосы Ксении были уложены длинными локонами, и на голове укреплена очень сложным способом драгоценная корона.

Я помню, что она была одета в такое же серебряное платье, что и моя сестра Анастасия Михайловна и все великие княжны в день их венчания. Я помню также бриллиантовую корону на ее голове, несколько рядов жемчуга вокруг шеи и несколько бриллиантовых украшений на груди.

Наконец мне показали невесту, и процессия двинулась. Сам государь император вел Ксению к венцу. Я следовал под руку с императрицей, а за нами вся остальная царская фамилия в порядке старшинства. Миша и Ольга, младшие брат и сестра Ксении, мне подмигивали, и я должен был прилагать все усилия, чтобы не рассмеяться. Мне рассказывали впоследствии, что «хор пел божественно». Я же был слишком погружен в свои мысли о предстоящем свадебном путешествии на Ай-Тодор, чтобы обращать внимание на церковную службу и пение придворных певчих.

Когда я был еще ребенком, моя матушка приобрела Ай-Тодорскую полосу земли на южном берегу Крыма. Я и Ай-Тодор выросли как бы вместе. С годами Ай-Тодор превратился в цветущий уголок, покрытый садами, виноградниками, полянами и прорезанный по берегу бухтами. На берегу был выставлен маяк,

который позволял нам ориентироваться на море в туманные ночи. Для нас, детей, этот ярко сиявший сноп света Ай-Тодорского маяка стал символом счастья. Я думал о том, будет ли Ксения это чувствовать так же, как и мои братья, в течение этих двадцати лет.

Мы возвращались во дворец в том же порядке, с тою лишь разницей, что я поменялся местом с государем и шел впереди под руку с Ксенией.

— Я не могу дождаться минуты, когда можно будет освободиться от этого дурацкого платья, — шепотом пожаловалась мне моя молодая жена. — Мне кажется, что оно весит прямо пуды. Как бы я хотела поскорее встать из-за стола. Посмотри на папá — он совсем без сил...

Все мы видели, каким утомленным выглядел государь, но даже он сам не мог прервать ранее положенного часа утомительный свадебный обед.

Только в 11 часов вечера мы могли переодеться и уехать в придворных экипажах в пригородный Ропшинский дворец, где должны были провести нашу первую брачную ночь. По дороге нам пришлось переменить лошадей, так как кучер не мог с ними справиться.

Ропшинский дворец и соседнее село были так ярко иллюминированы, что наш кучер, ослепленный непривычным светом, не заметил маленького мостика через ручей, и мы все — три лошади, карета и новобрачные — упали в ручей. Ксения упала на дно экипажа, я на нее, а кучер и камер-лакей упали прямо в воду. К счастью, никто не ушибся, и к нам на помощь подоспела вторая карета, в которой находилась прислуга Ксении. Большая шляпа Ксении со страусовыми перьями и пальто, отделанное горностаем, были покрыты грязью, мои лицо и руки были совершенно черны. Князь Вяземский, встречавший нас при входе в Ропшинский дворец, как опытный царедворец, не проронил ни слова...

Нас оставили одних... Это было впервые со дня нашего обручения, и мы едва верили своему счастью. Может ли это быть, что никто не помешает нам спокойно поужинать!

Мы подозрительно покосились на двери и затем... расхохотались. Никого! Мы действительно были совсем одни. Тогда я взял ларец с драгоценностями моей матери и преподнес его Ксении. Хотя она и была равнодушна к драгоценным камням, она все же залюбовалась красивой бриллиантовой диадемой и сапфирами.

Мы расстались в час ночи, чтобы надеть наши брачные одежды. Проходя в спальню к жене, я увидел в зеркале отражение моей фигуры, задрапированной в серебряную парчу, и мой смешной вид заставил меня снова расхохотаться. Я был похож на оперного султана в последнем акте...

На следующее утро мы возвратились в С.-Петербург для окончания свадебного церемониала, который заключался в приеме поздравлений дипломатического корпуса в Зимнем дворце, в посещении усыпальницы наших царственных предков в Петропавловском соборе и поклонении чудотворной иконе Спасителя в домике Петра Великого. На вокзале нас ожидал экстренный поезд. Быстро промчались семьдесят два часа пути, и новая хозяйка водворилась в Ай-Тодоре. Здесь мы строили планы на многие годы вперед и рассчитывали прожить жизнь, полную безоблачного счастья. Кто мог думать в этот бледно-синий июльский вечер в 1894 году, что только три месяца отделяют

нас от самой страшной катастрофы в истории Российской империи. Кто мог предвидеть, что Александр III умрет в возрасте 49 лет от роду, оставив незавершенным свой монарший труд и вручив судьбу шестой части мира в дрожащие руки растерявшегося юноши.

Глава IX

Царская фамилия

1

Преждевременная кончина императора Александра III приблизила вспышку революции по крайней мере на четверть века. Марксистские историки, вероятно, с этим утверждением не согласятся. Но не следует забывать, что чем сильнее государственная власть, тем в меньшей поддержке она нуждается.

Начиная со дня смерти императора Александра III в 1894 году три силы приняли участие во внутренней борьбе за власть в России: монарх, царская фамилия и адепты революционного подполья. Симпатии же остального столетидесятимиллионного русского народа делились между этими двумя лагерями, между престолом и анархией, и находились в зависимости от искусства каждой из сторон заручиться поддержкой народных масс.

Я начну с царской фамилии, что представляется более логичным, ибо по причине своей неопытности император Николай II в трудные минуты жизни имел обыкновение спрашивать совета у своих родственников. Несколько раз в жизни мне приходилось иметь деловые сношения с некоторыми членами императорской семьи, а потому я попробую дать краткую характеристику тех из них, которые в 1894 году достигли уже зрелого возраста.

У императора Николая II было трое братьев его деда императора Александра II: великий князь Константин Николаевич, который к этому времени удалился в свое поместье в Крыму и проводил время в обществе своей второй жены, бывшей балерины; великий князь Николай Николаевич-старший, занимавший пост генерала-инспектора русской кавалерии, который был очень популярен среди офицерства, но не мог, ввиду своего преклонного возраста, принимать близкое участие в государственных делах; великий князь Михаил Николаевич, мой отец, — бывший председателем Государственного совета и генерал-инспектором артиллерии. Из них троих наиболее опытным был мой отец, так как его двадцатидвухлетняя служба во главе администрации на Кавказе научила его искусству управления. Он был бы идеальным советником молодого императора, если бы не был столь непреклонным сторонником строгой дисциплины. Ведь его внучатый племянник был его государем, а потому надлежало оказывать ему беспрекословное повиновение. Когда Николай II говорил ему: «Я полагаю, дядя Миша, что необходимо последовать совету министра иностранных дел», мой отец кланялся и «следовал совету» министра иностранных дел. Привыкнув видеть во главе России людей зрелого ума и непреклонной воли, великий князь Михаил Николаевич никогда не сомневался в конечной мудрости решений своего внучатого племянника, что сводило на нет

потенциальную ценность его всестороннего понимания вопросов управления империей.

Следующими по старшинству шли четыре дяди государя, четыре брата покойного императора. Великий князь Владимир Александрович — отец старшего, по первородству, из ныне здравствующих членов императорской семьи великого князя Кирилла Владимировича — обладал несомненным художественным талантом. Он рисовал, интересовался балетом и первый финансировал заграничные балетные турне Дягилева. Собирал старинные иконы, посещал два раза в год Париж и очень любил устраивать необычные приемы в своем изумительном дворце в Царском Селе. Будучи по натуре очень добрым, он, по причине некоторой экстравагантности характера, мог произвести впечатление человека недоступного. Человек, встретивший великого князя Владимира в первый раз, поразился бы резкости и громкому голосу этого русского *grand seigneur*'а. Он относился очень презрительно к молодым великим князьям. С ним нельзя было говорить на другие темы, кроме искусства или тонкостей французской кухни. Его поездки в Париж причиняли массу хлопот и неприятностей тамошним шеф-поварам и метрдотелям. Но после того как он вдоволь отводил душу за критикой обеденного меню, его щедрые чаевые сыпались всем, кто только протягивал руку. Он занимал, сообразно своему происхождению и возрасту, ответственный пост командира Гвардейского корпуса, хотя исполнение этих обязанностей и являлось для него большой помехой в его любви к искусству. Его супруга, великая княгиня Мария Павловна, принадлежала к царствовавшему дому герцогов Мекленбург-Шверинских. Ее брат Фридрих был мужем моей сестры Анастасии. Она была очаровательною хозяйкой, и ее приемы вполне заслуживали блестящую репутацию, которой они пользовались при европейских дворах. Александр III не любил ее за то, что она не приняла православия, что породило легенду о ее «немецких симпатиях». После смерти мужа она, в конце концов, все же перешла в православие, хотя злые языки и продолжали упорствовать, обвиняя ее в недостатке русского патриотизма.

Затем великий князь Алексей Александрович, который пользовался репутацией самого красивого члена императорской семьи, хотя его колоссальный вес послужил бы значительным препятствием к успеху у современных женщин. Светский человек с головы до ног, *Beau Brummell* и бонвиван, которого баловали женщины, Алексей Александрович много путешествовал. Одна мысль о возможности провести год вдали от Парижа заставила бы его подать в отставку. Но он состоял на государственной службе и занимал, как это ни странно, должность генерал-адмирала Российского Императорского флота. Трудно было себе представить более скромные познания по морским делам, чем у этого адмирала могущественной державы. Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице. Не интересуясь решительно ничем, что не относилось к женщинам, еде или напиткам, он изобрел чрезвычайно удобный способ для устройства заседаний Адмиралтейств-совета. Он приглашал его членов к себе во дворец на обед, и после того как коньяк попадал в желудок его гостей, радушный хозяин

открывал заседание совета традиционным рассказом об одном случае из истории русского парусного военного флота. Каждый раз, когда я сидел на этих обедах, я слышал из уст великого князя повторение рассказа о гибели фрегата «Александр Невский», происшедшей много лет тому назад на скалах датского побережья вблизи Скагена. Я выучил наизусть все подробности этого запутанного повествования и всегда из предосторожности отодвигался немного со стулом от стола в тот момент, когда, следуя сценарию, дядя Алексей должен был ударить кулаком по столу и воскликнуть громовым голосом:

— И только тогда, друзья мои, узнал этот суровый командир очертания скал Скагена.

Его повар был настоящим артистом, и адмиралы ничего не имели против того, чтобы случай с «Александром Невским» ограничил дебаты совета.

Это беззаботное существование было омрачено, однако, трагедией: несмотря на все признаки приближающейся войны с Японией, генерал-адмирал продолжал свои празднества и, проснувшись в одно прекрасное утро, узнал, что наш флот потерпел позорное поражение в битве с современными дредноутами микадо. После этого великий князь подал в отставку и вскоре скончался.

Дядя Сергей — великий князь Сергей Александрович сыграл роковую роль в падении империи и был отчасти ответствен за катастрофу во время празднования коронации Николая II на Ходынском поле в 1896 году. При всем желании отыскать хотя бы одну положительную черту в его характере я не могу ее найти. Будучи очень посредственным офицером, он тем не менее командовал л.-гв. Преображенским полком — самым блестящим полком гвардейской пехоты. Совершенно невежественный в вопросах внутреннего управления, великий князь Сергей был тем не менее московским генерал-губернатором, пост, который мог бы быть вверен лишь государственному деятелю с очень большим опытом. Упрямый, дерзкий, неприятный, он бравировал своими недостатками, словно бросая в лицо всем вызов и давая таким образом врагам богатую пищу для клеветы и злословия. Некоторые генералы, которые как-то посетили офицерское собрание л.-гв. Преображенского полка, остолбенели от изумления, услышав любимый цыганский романс великого князя в исполнении молодых офицеров. Сам августейший командир полка иллюстрировал этот любовный романс, непринужденно раскинувшись и обводя всех блаженным взглядом!

Император Николай II не должен был допустить, чтобы великий князь Сергей сохранил свой пост генерал-губернатора после катастрофы на Ходынском поле. Как бы для того, чтобы еще более подчеркнуть свою неприятную личность, он женился на старшей сестре государыни великой княгине Елизавете Федоровне. Трудно было придумать больший контраст, чем между этими двумя супругами! Редкая красота, замечательный ум, тонкий юмор, ангельское терпение, благородное сердце — таковы были добродетели этой удивительной женщины. Было больно, что женщина ее качеств связала свою судьбу с таким человеком, как дядя Сергей. С того момента, как она прибыла в С.-Петербург из родного Гессен-Дармштадта, все влюбились в тетю Эллу. Проведя вечер в ее обществе и вспоминая ее глаза, цвет лица, смех, ее способность создавать вокруг себя уют, мы приходили в отчаяние при мысли о

ее близкой помолвке. Я отдал бы десять лет жизни, чтобы она не вошла в церковь к венцу об руку с высокомерным Сергеем. Мне было приятно думать о себе, как о ее *cavalier servente* [4], и я презирал снисходительную манеру Сергея обращаться к тете Элле, преувеличенно грассируя по-петербургски и называя ее «мое дитя». Слишком гордая, чтобы жаловаться, она прожила с ним около двадцати лет. Не поза или рисовка, а истинное милосердие побудило ее навестить в московской тюрьме перед казнью убийцу ее мужа. Ее последовавший вслед за тем уход в монастырь, ее героические, хотя и безуспешные попытки руководить царицей и, наконец, ее мученичество в плену большевиков — все это дает достаточно оснований, чтобы причислить великую княгиню Елизавету Федоровну к лику святых. Нет более благородной женщины, которая оставила отпечаток своего облика на страницах русской истории.

Дядя Павел, великий князь Павел Александрович, был самым симпатичным из четырех дядей царя, хотя и был несколько высокомерен — черта характера, заимствованная им у брата Сергея благодаря их близости. Он хорошо танцевал, пользовался успехом у женщин и был очень интересен в своем темно-зеленом, с серебром, доломане, малиновых рейтузах и невысоких сапожках Гродненского гусара. Беззаботная жизнь кавалерийского офицера его вполне удовлетворяла, великий князь Павел никогда не занимал ответственного поста. Его первая супруга — греческая принцесса — умерла, когда он был еще совсем молодым, и во второй раз он женился на разведенной жене одного полковника, дважды нарушив традиции царской фамилии, так как великие князья не могли жениться на особах неравнородных, т. е. не принадлежавших к владетельным домам Европы, а женщины, состоявшие в разводе, не имели доступа ко двору. Ввиду этого он должен был покинуть пределы России и переселиться на неопределенное время в Париж. Мне лично думается, что великий князь Павел, встречаясь в своем вынужденном изгнании с выдающимися людьми, от этого только выиграл. Это отразилось на складе его характера и обнаружило в нем человеческие черты, скрытые раньше под маской высокомерия. Во время мировой войны он командовал Гвардейским корпусом на германском фронте, но на государственные дела никакого влияния не имел.

Я не смогу много прибавить к тому, что я уже имел случай говорить о великих князьях Георгии и Михаиле Александровичах — двух братьях императора Николая II. Георгий был самым одаренным из всех троих, но умер слишком молодым, чтобы успеть развить свои блестящие способности. Михаил был на одиннадцать лет моложе государя. Он очаровывал всех подкупающей простотой своих манер. Любимец родных, однополчан-офицеров и бесчисленных друзей, он обладал методическим умом и выдвинулся бы на любом посту, если бы не заключил своего морганатического брака. Это произошло, когда великий князь Михаил Александрович уже достиг зрелости. Государь оказался в очень трудном положении. Император желал своему брату полного счастья, но в качестве главы императорской семьи должен был следовать предписаниям Основных Законов. Великий князь Михаил Александрович покинул Россию, женился в Вене на госпоже Вульфферт (разведенной жене капитана Вульфферта) и поселился в Лондоне. Таким образом, в течение долгих лет, предшествовавших войне, Михаил Александрович был в

разлуке со своим братом и в силу этого никакого отношения к делам управления не имел.

Перехожу к двоюродным дядям государя.

Их было одиннадцать. Это, во-первых, два сына великого князя Константина Николаевича. (Третий, Вячеслав, скончался в молодости, а четвертый, Николай, провел свою жизнь в ссылке в Туркестане.)

Старший из них, великий князь Константин Константинович, был талантливым поэтом и очень религиозным человеком, что, до известной степени, и сужало и расширяло его кругозор. Он был автором лучшего перевода шекспировского «Гамлета» на русский язык и любил театр, выступая в главных ролях на любительских спектаклях в Эрмитажном театре Зимнего дворца. Он с большим тактом нес обязанности президента Императорской Академии наук и был первым, кто признал гений биолога Павлова. Он писал поэмы, драматические произведения и рассказы, подписываясь псевдонимом К.Р., и его талант признавался даже органами печати, враждебными существовавшему в России строю. В л.-гв. Измайловском полку он создал свои знаменитые «Измайловские досуги» и таким образом заменил обычные кутежи офицерских собраний интересными вечерами, посвященными современной русской литературе. Хорошо разбираясь в тайниках души русского простолюдина, великий князь Константин Константинович значительно преобразовал методы воспитания молодых солдат. Для него не было большего удовольствия, как провести утро в казармах, где он занимался с ними словесностью. Будучи в течение многих лет начальником Главного управления военно-учебных заведений, он сделал многое, чтобы смягчить суровые методы нашей военной педагогики.

Все это следовало также приветствовать. Казалось бы, что такой гуманный и просвещенный человек, как великий князь Константин Константинович, был бы неоценимым помощником государя в делах управления империей. Но, к сожалению, Константин Константинович ненавидел политику и чуждался всяческого общения с политическими деятелями. Он искал прежде всего уединения в обществе книг, драматических произведений, ученых, солдат, кадет и своей счастливой семьи, состоявшей из жены, великой княгини Елизаветы Маврикиевны (принцессы Саксен-Веймарской), шести сыновей и двух дочерей. В этом отношении воля великого князя была непреклонна, и потому престол лишился в его лице ценной опоры.

Его младший брат — великий князь Дмитрий Константинович был убежденным женоненавистником и страстным кавалеристом. «Берегись юбок», «Война с Германией неизбежна», «Я хотел бы, чтобы вы посмотрели моих годовиков». Другие темы Дмитрия Константиновича не интересовали. Всю свою жизнь он оставался холостяком, но зато имел превосходных лошадей. Что же касается войны с Германией, которую он предсказывал за пятнадцать лет до ее начала, то слабость зрения, перешедшая в 1914 году в почти полную слепоту, заставила его остаться в тылу, проклиная судьбу и занимаясь подготовкой кавалерии.

Из всех членов императорской семьи великий князь Николай Николаевич, старший сын моего дяди великого князя Николая Николаевича-старшего, имел

самое большое влияние на наши государственные дела. Два важнейших акта в истории России — Манифест 17 октября 1905 года и отречение императора Николая 2 марта 1917 года — следует приписать полнейшей аберрации политического предвидения великого князя Николая Николаевича. Когда я пишу эти строки, мною руководят отнюдь не горькие чувства. Вражда между ним и моим братом великим князем Николаем Михайловичем относится к потонувшему уже миру. Оба они умерли и вошли в историю, и я далек от мысли умалять его редкую честность и добрые намерения. Людьми типа великого князя Николая Николаевича можно было бы пользоваться с большим успехом в любом хорошо организованном государстве, но при условии, что монарх сознавал бы ограниченность ума этого рода людей.

Мой двоюродный брат Николаша был превосходным строевым офицером. Не было равного ему в искусстве поддерживать строевую дисциплину, обучать солдат и готовить военные смотры. Тот, кому случалось присутствовать на парадах Петербургского гарнизона, имел возможность видеть безукоризненное исполнение воинских уставов в совершенстве вымуштрованной массой войск: каждая рота одета строго по форме, каждая пуговица на своем месте, каждое движение радовало сердце самых закоренелых любителей шагистики. Если бы великий князь Николай Николаевич оставался на посту командующего войсками гвардии и Петроградского Военного округа до февраля 1917 года, он оправдал бы все ожидания и сумел предотвратить февральский солдатский бунт.

Оглядываясь на двадцатитрехлетнее правление императора Николая II, я не вижу логического объяснения, почему государь считался с мнением Николая Николаевича в делах государственного управления. Как все военные, привыкшие иметь дело со строго определенными заданиями, Николай Николаевич терялся во всех сложных политических положениях, где его манера повышать голос и угрожать наказанием не производила желаемого эффекта. Всеобщая забастовка в октябре 1905 года поставила его в тупик, так как кодекс излюбленной им военной мудрости не знал никаких средств против коллективного неповиновения. Нельзя же было арестовать несколько миллионов забастовщиков! По его мнению, единственное, что можно было сделать, — это выяснить требования «командиров восстания». Попытка объяснить Николаю Николаевичу, что восстание 1905 года носило анархический характер и что не было «командиров», с которыми можно было вести переговоры, оказалась бы безрезультатной. С тех пор как существует мир, все армии, в том числе и революционные, находились под предводительством командиров. И вот 17 октября 1905 года, перед угрозой всеобщей забастовки, руководимой штабом большевистской секции социал-демократической партии, и аграрных беспорядков крестьян, которые требовали земельного передела, Николай Николаевич убедил государя подписать злополучный манифест, который мог бы удовлетворить только болтливых представителей русской интеллигенции. Манифест этот не имел отношения ни к большевикам, ни к крестьянам.

Забастовки продолжались, и крестьяне, недовольные созывом первой Государственной думы, которая состояла из никчемных говорунов, продолжали

сжигать имения своих помещиков. Государь должен был отдать приказ подавить восстание вооруженной силой, но русский монархический строй уже никогда более не оправился от унижения, порожденного тем фактом, что российский самодержец капитулировал перед толпой.

«Николай II никогда бы не подписал октябрьского Манифеста, — пишет Витте в своих мемуарах, — если бы на этом не настоял великий князь Николай Николаевич».

Печальный опыт 1905 г. не отучил императора Николая II обращаться в критические минуты за советом к великому князю Николаю Николаевичу. Двенадцать лет спустя, готовясь принять одно из самых важных решений в истории России, государь снова обратился к автору знаменитого Манифеста 17 октября 1905 г. Если бы великий князь посоветовал государю 2 марта 1917 года остаться на фронте и принять вызов революции, товарищ Сталин не принимал бы в 1931 году в Кремле мистера Бернарда Шоу! Но бывший Верховный Главнокомандующий искал по-прежнему «командиров революции», и ему казалось, что он нашел одного из них в лице г-на Керенского. Всю истинную трагедию создавшегося положения Николай Николаевич понял только неделю спустя, когда, приехав в Ставку в Могилев, чтобы занять свой высокий пост, он узнал, что Петроградский Совдеп запретил г-ну Керенскому пользоваться его услугами.

Можно только удивляться простодушию этого человека, который проезжает по России, охваченной восстанием от Кавказа до Могилева, и не замечает ни толп народа, ни демонстраций, ни мятежей и остается непоколебимым в своей вере, что «новые командиры» оценят его безупречный патриотизм и военный опыт!

Не соблазняясь великолепиям разнообразных титулов великого князя Николая Николаевича, его младший брат великий князь Петр Николаевич вел скромный образ жизни в рядах офицеров л.-гв. Драгунского полка. Серьезная болезнь — туберкулез легких — заставила его жить продолжительное время в Египте. Он бросил службу и начал заниматься архитектурой. Это был застенчивый молчаливый человек, и разговоры за семейным столом поддерживались его супругой, великой княгиней Милицей Николаевной (дочерью князя Николая Черногорского). Милица и ее сестра Стана (супруга Николаши) имели дурное влияние на императрицу. Суеверные, простодушные, легко возбудимые, эти две черногорские княжны представляли собой легкую добычу для всякого рода заезжих авантюристов.

Каждый раз, когда они встречали «замечательного» человека, они вели его в Императорский дворец, как это было с пресловутым доктором Папюсом или же с Григорием Распутиным. В своих разговорах они были совершенно безответственны. Во время последнего приезда президента Французской Республики Пуанкаре в Петербург в июле 1914 года Милица Николаевна напала самым нетактичным образом на Австро-Венгрию и заявила, что «радуется» предстоящей войне. Царь сделал ей тогда строгое замечание, но ничто не могло остановить черногорок от вмешательства в государственные дела и не выступать в роли передатчиц пожеланий различных балканских интриганов.

Продолжая свое повествование об особах императорской фамилии в порядке их близости к трону, я подхожу к моим пяти братьям. Выросши и получив воспитание вдали от столицы, мы, Михайловичи, были очень мало похожи на наших дядей и двоюродных братьев. Хоть мы и были строгими верноподданными нашего государя, мы тем не менее далеко не были согласны со всем, что происходило при дворе. Мы всегда говорили то, что думали, и не стеснялись в критических суждениях. Нас называли «опасными радикалами»; первая часть прозвища, «опасные», отражала досаду придворных кругов, вторая, «радикалы», быть может, и соответствовала истине, но зависела всецело от смысла, придаваемого этому слову, которым нередко злоупотребляют.

Мой старший брат Николай Михайлович был несомненно самым «радикальным» и самым одаренным членом нашей семьи. Мать мечтала о его блестящей военной карьере, и, чтобы доставить ей удовольствие, брат Николай окончил военное училище с отличием. Однако истинное его призвание было в отвлеченных исторических изысканиях. Он служил в Кавалергардском полку только вследствие его дружеских отношений с императрицей Марией Федоровной (моей тещей) и носил звание командира этого полка. По умственному развитию он был настолько выше своих товарищей-однополчан, что это лишало его всякого удовольствия от общения с ними.

Постепенно он отдалился от связей с военным миром и проводил все свое время в исторических архивах С.-Петербурга и Парижа. Его монументальная биография Александра I, написанная после долгих лет собирания материалов и проверки дат, останется непревзойденной в исторической русской литературе. Ни один студент начала двадцатого столетия не мог не знать анализа событий и обозрения периода, описанного великим князем Николаем Михайловичем. Книга, которая была переведена на французский язык, произвела сенсацию в среде французских наполеонистов, заставив их пересмотреть, исправить и даже пересоставить целый ряд исторических трудов.

Французская Академия избрала его своим членом — честь, которой почти никогда не удостоивались иностранцы, и его всегда осыпали приглашениями прочесть лекции во французских исторических обществах. Глубокие познания в области французской культуры и зрелое понимание западной цивилизации помогли ему завязать дружбу со многими выдающимися французскими писателями и учеными. В Париже он чувствовал себя как дома, хотя большинство парижан и удивлялось при виде того, что великий князь предпочитает держать путь в сторону Коллеж де Франс, а не по направлению Монмартра, и его скромная привычка жить в старом отеле «Вандом» заставляла метрдотелей и владельцев гостиниц высказывать опасения, что дела великого князя пошатнулись.

Николаю Михайловичу было, по-видимому, определенно неприятно объяснять многое из того, что происходило в России, своим друзьям в Коллеж де Франс и в палате депутатов. Не могу сказать, чтобы я был вполне согласен с его «офранцузенными» политическими симпатиями. Будучи горячим поклонником парламентского строя и убежденным почитателем словесных дуэлей Клемансо — Жореса, он не хотел допустить того, чтобы создание в России конституционного строя по образцу Третьей Французской республики

закончилось полным провалом. Истина заключалась в том, что он родился не в той стране, где ему следовало бы родиться. В гвардии ему дали прозвище «Филипп Эгалитэ», но авторы этого прозвища не подозревали, что их царственный однополчанин шел в своем демократизме гораздо дальше, нежели брат французского короля, который мечтал воспользоваться революцией как трамплином для достижения собственных честолюбивых планов.

Мой брат Николай обладал всеми качествами лояльнейшего президента цивилизованной республики, и это заставляло его часто забывать, что Невский проспект и Елисейские Поля — далеко не одно и то же. Пространное письмо, адресованное им в июле 1916 года государю императору, содержало в себе несколько абзацев, написанных по-французски. «Дорогой Ники, — объяснял великий князь Николай Михайлович в постскрипуме, — извини меня за французскую речь, но мне кажется, на этом языке я нахожу более удачные выражения, чтобы высказать мои мысли...» Блестящий стилист, обладавший талантом в художественной прозе, он, вероятно, сознавал, что его «галлицизированные мысли» будут звучать по-русски по меньшей мере странно.

К моему старшему брату можно было бы легко применить пушкинскую эпиграмму, посвященную Чаадаеву:

Он вышней волею небес

Рожден в окопах службы царской;

Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,

А здесь он — офицер гусарский.

Я не знаю никого другого, кто мог бы с большим успехом нести обязанности русского посла во Франции или же в Великобритании. Его ясный ум, европейские взгляды, врожденное благородство, его понимание мирозерцания иностранцев, широкая терпимость и искреннее миролюбие стяжали бы ему любовь и уважение в любой мировой столице. Неизменная зависть и глупые предрассудки двора не позволили ему занять выдающегося положения в рядах русской дипломатии, и вместо того чтобы помочь России на том поприще, на котором она более всего нуждалась в его помощи, он был обречен на бездействие людьми, которые не могли ему простить его способностей, его презрения к их невежеству. С этой точки зрения жизнь его была прожита без пользы.

В ранней молодости он влюбился в принцессу Викторию Баденскую — дочь нашего дяди, великого герцога Баденского. Эта несчастная любовь разбила его сердце, так как православная церковь не допускала браков между двоюродными братом и сестрою. Она вышла замуж за будущего шведского короля Густава-Адольфа, он же остался всю жизнь холостяком и жил в своем обширном дворце, окруженный книгами, манускриптами и ботаническими коллекциями.

Мой второй брат, Михаил Михайлович, не обладал талантами Николая Михайловича. Он обожал военную службу и чувствовал себя превосходно в рядах лейб-гвардии Егерского полка. Располагающая внешность, благородное сердце и способности танцора сделали его любимцем петербургского большого света. Очень скоро Миш-Миш сделался общим любимцем петербургских

салонов. К несчастью, у него слишком рано проснулась склонность к семейной жизни. Достигнув совершеннолетия в 20 лет и получив право распоряжаться своими средствами, он начал постройку роскошного дворца.

— У нас должен быть приличный дом... — сказал он архитектору.

Под словом «мы» надо было понимать его и его будущую жену. Он еще не знал, на ком женится, но во что бы то ни стало собирался жениться на ком-нибудь и как можно скорее. В постоянных поисках «царицы своих грез» он делал несколько попыток жениться на девушках неравного с ним происхождения. Это создавало тяжелые осложнения между ним и нашими родителями и ни к чему не привело. В конце концов он все-таки вступил в морганатический брак с дочерью от морганатического же брака герцога Нассауского, бабушкой которой со стороны матери был А.С.Пушкин. Это положило конец всем планам разнообразных увеселений в новом дворце Миш-Миша. Его попросили выехать из России, и он провел всю свою жизнь в Лондоне. Одна из его дочерей, которая известна в обществе по теперешнему титулу леди Милфорд-Хейвен, вышла замуж за принца Баттенберга, двоюродного брата королевы испанской.

Мой третий брат, Георгий Михайлович, проявлял в детстве способности к рисованию. Он разделял мою любовь к Кавказу и собирался служить в рядах Грузинского гренадерского полка в Тифлисе. Переезд нашего отца в С.-Петербург разрушил все планы великого князя Георгия Михайловича. Он вышел в офицеры в лейб-гвардии Конную Артиллерийскую бригаду и близко сошелся с великим князем Петром Николаевичем, что дурно повлияло на развитие его личных качеств. Подражая своему двоюродному брату Петру Николаевичу, Георгий Михайлович утратил индивидуальные черты характера и находил удовлетворение от жизни в атмосфере манежа, лошадей и кавалерийских офицеров. Вернувшись из поездки на Дальний Восток, я нашел вместо моего старого тифлисского друга совершенно другого человека. Этот ставший чужим для меня человек перестал меня интересовать, и наши отношения потеряли прежний характер взаимного обожания. У Георгия Михайловича было две дочери от брака с принцессой Марией Греческой. Старшая из них, Ксения, вышла замуж и потом развелась с мистером Вильямом Лидс-младшим из Нью-Йорка; младшая, Нина, замужем за князем Павлом Чавчавадзе и живет также в Америке.

Мой четвертый брат, великий князь Сергей Михайлович (он был на три года моложе меня), радовал сердце отца тем, что вышел в артиллерию и в тонкости изучил артиллерийскую науку. В качестве генерал-инспектора артиллерии он сделал все, что было в его силах для того, чтобы, в предвидении неизбежной войны с Германией, воздействовать на тяжелое на подъем русское правительство в вопросе перевооружения нашей артиллерии. Его советов никто не слушал, но впоследствии на него указывали в оппозиционных кругах Государственной думы как на «человека, ответственного за нашу неподготовленность».

Эта привычка бросать нож в спину мало удивляла Сергея Михайловича. В качестве воспитанника полковника Гельмерсена, бывшего адъютанта моего отца, брат Сергей избрал своим жизненным девизом слова «тем хуже» («tant

pis»), которые были излюбленной поговоркой этого желчного потомка балтийских баронов. Когда Гельмерсену что-нибудь не нравилось, он пожимал плечами и говорил «тем хуже» с видом человека, которому все, в сущности говоря, было безразлично. Воспитатель и воспитанник продолжительное время поддерживали эту позу, и понадобилось довольно много времени, чтобы отучить моего брата на все обижаться — манера, которая дала ему прозвище «Monsieur Tant Pis». Как и я, он был близким другом императора Николая II в течение более сорока лет, и следовало только пожалеть, что ему не удалось передать долю критического отношения полковника Гельмерсена своему высокому другу из Царского Села. Сергей Михайлович никогда не женился, хотя его верная подруга, известная русская балерина, сумела окружить его атмосферой семейной жизни.

Мой младший брат Алексей Михайлович умер от туберкулеза двадцати лет от роду.

Теперь остается сказать несколько слов о так называемых владетельных принцах — Лейхтенбергском, Ольденбургском и Мекленбург-Стрелицком.

Из трех герцогов Лейхтенбергских, сыновей великой княгини Марии Николаевны от ее брака с герцогом Лейхтенбергским, в России был известен только герцог Евгений благодаря красоте его жены Зинаиды Дмитриевны, родной сестры генерала Скобелева, получившей титул графини Богарнэ. Когда я упоминаю ее имя, то отдаю себе отчет в полной невозможности описать физические качества этой удивительной женщины. Я никогда не видел подобной ей во время всех своих путешествий по Европе, Азии, Америке и Австралии, что является большим счастьем, ибо такие женщины не должны попадаться часто на глаза. Когда она входила, я не мог оставаться с нею в одной комнате. Я знал ее манеру подходить в разговоре слишком близко к людям и сознавал, что в ее обществе я становлюсь неответственным за свои поступки. Все молодые великие князья мне в этом отношении вполне сочувствовали, ведь каждый страдал при виде ее так же, как и я. Находясь в обществе очаровательной Зиной, единственное, что оставалось сделать, — это ее обнять, предоставив церемониймейстеру делать что угодно, но мы, молодежь, никогда не могли собраться с духом, чтобы решиться на этот единственно логический поступок. Дело осложнялось тем, что великий князь Алексей Александрович был неразлучным спутником четы Лейхтенбергских, и его любовь к герцогине уже давно была предметом скандалов. В обществе эту троицу называли «ménage royal à trois»^[5], и все усилия императора Николая II воздействовать на своего темпераментного дядю не имели никакого успеха. Я полагаю, что великий князь Алексей пожертвовал бы всем русским флотом, только бы его не разлучали с Зиной.

Слабое здоровье двух братьев герцога Евгения — Николая и Георгия — вынуждало их большую часть года проживать за границей. Георгий занимал видное положение в парижском обществе, блистая отраженным светом величия Романовых и имея общепризнанную репутацию наиболее щедрого гостя французской столицы. Его вторая жена Стана Черногорская с ним развелась и вышла замуж за великого князя Николая Николаевича.

Глава Ольденбургского дома принц Петр Георгиевич прибыл в Россию в царствование императора Николая I, женился на русской великой княжне, и ему так понравилась русская столица, что он окончательно остался в России. Его старшая дочь вышла замуж за великого князя Николая Николаевича-старшего, перешла в православие и получила титул великой княгини Александры Петровны. Как это обычно бывает с неофитами, великая княгиня сделалась ревностной поборницей православной церкви, всю свою жизнь посвятила поклонению русским святыням и общению с духовенством и закончила жизнь пострижением в монастырь.

Ее брат, принц Александр Петрович, был тем самым командиром Гвардейского корпуса, который вызывал во всех такой страх. Его строгость граничила с сумасбродством. Весть о его приближении во время инспекторских смотров вызывала среди офицерского состава нервные припадки, а на солдат наводила панику. В видимом противоречии с этой маниакальной строгостью находилась его благоговейная преданность наукам. Он оказывал щедрую материальную поддержку всевозможным просветительским и благотворительным начинаниям, а также научным экспедициям и изысканиям. Он покровительствовал молодым, подающим надежду ученым, а они относились снисходительно к его неуравновешенности и чудачествам. Его назначение во время войны на пост начальника санитарной и эвакуационной части заставило подтянуться весь русский медицинский мир, и на этот раз русская армия оценила благодетельную строгость принца Александра Петровича.

Принцы Георгий и Михаил Мекленбург-Стрелицкие были сыновьями моей тети великой княгини Екатерины Николаевны от брака с герцогом Мекленбург-Стрелицким. Полунемцы по своему рождению, но совершенно русские душой, они поступили в России на военную службу после окончания германских университетов. Никто из них не занимал ответственных постов.

2

Таковы были Романовы, которые окружали русский императорский трон в его самые критические годы. При всех недостатках их преданность династии и врожденный патриотизм могли бы быть использованы государем, если бы он понял, что его родственники должны были иметь право выбирать себе карьеру, помимо военной службы. Даже наименее одаренные из них могли бы с бОльшим успехом занимать административные посты в империи, чем те бюрократические роботы-изменники, которые во второй половине царствования Николая II захватили министерские и губернаторские портфели. Тот же дядя Алексей — эта непревзойденная карикатура на генерал-адмирала — с успехом подошел бы к роли, которая требовала от своего исполнителя знания чужих стран и способности к «ассимиляции».

Ни один правитель, будь он императором, президентом, премьер-министром или же диктатором, не может себе позволить роскоши пренебречь своими ближайшими сподвижниками в распределении ответственных государственных постов. Невозможно вообразить себе Сталина, который

отдавал бы предпочтение посторонним людям неопределенных политических взглядов и отстранял от власти старых вождей большевистской партии.

В этом моем сравнении нет никакой утрировки. Отдельный человек не может быть сильнее своей партии, и ни один человек не может править без помощи своих сторонников. Последний русский царь должен был вести себя как глава правящей партии, когда напор революции требовал от министров не столько особых способностей и талантов, сколько беззаветной преданности престолу. Взирая на толпу двуличных дворян, изнеженных придворных и плохих бюрократов, царь должен был понять, что он мог рассчитывать только на преданность ближайших родственников для выполнения его предначертаний и передачи приказаний своим верноподданным, которые, потеряв веру в министров, еще сохраняли веру в крепость императорского трона. Конечно, нельзя было требовать, чтобы государь образовал Совет министров из великих князей; я далек от этой мысли. Мы просто хотели, чтобы нам позволили занимать должности в различных казенных учреждениях и преимущественно в провинции, где мы могли быть полезны тем, что служили бы связующим звеном между царем и русским народом.

В ответ на это государь указывал нам на традиции династии Романовых.

— В продолжение трехсот лет мои отцы и деды предназначали своих родных к военной карьере. Я не хочу порывать с этой традицией. Я не могу позволить моим дядям и кузенам вмешиваться в дела управления.

Это решение царя было отчасти продиктовано нашептыванием министров, частью же было принято под влиянием поведения его дядей. Как всегда бывало с императором Николаем II, государственный здравый смысл был в нем затемнен эмоциональными комплексами, но большая часть его поступков была неразрешимой загадкой для каждого, кто не был знаком со всеми обстоятельствами его детства, воспитания и первых десяти лет его царствования.

Однако прежде, чем мы обратимся к характеристике государя императора Николая II, мы должны сделать небольшой экскурс в область финансов: слишком многие еще продолжают думать, что содержание императорской семьи было непосильным бременем для русского государственного бюджета.

4 Верном рыцаре (фр.).

5 Царственный любовный треугольник (фр.).

Глава X

Царские миллионы

1

Финансовые эксперты и наивные обыватели всегда полагали, что русский монарх был одним из десяти самых богатых людей мира. Даже теперь, через тринадцать лет после трагической гибели царской семьи, время от времени

приходится читать в газетах, что «Английский государственный банк хранит громадное состояние династии Романовых».

Еще не так давно в Нью-Йорк прибыла несчастная, психически неуравновешенная девушка, которую повсюду принимали за младшую дочь Николая II великую княжну Анастасию, причем она заявила о своих претензиях на причитающуюся ей долю миллионов «ее отца». В действительности же, после лета 1915 года ни в Английском банке, ни в других зарубежных банках на текущем счету государя императора не оставалось ни одной копейки. Двадцать миллионов фунтов стерлингов царских денег, которые со времени царствования императора Александра II лежали в Английском банке, были истрачены Николаем II на содержание госпиталей и различных иных благотворительных учреждений, находившихся во время последней войны под личным покровительством царской семьи. Факт этот не был известен широкой публике по той простой причине, что не в правилах покойного государя было сообщать во всеуслышание о своих добрых делах. Если бы император Николай II продолжал царствовать, то к концу великой войны у него не осталось бы почти никаких личных средств. Но и до войны он не мог бы состязаться в богатстве ни с Рокфеллерами, ни с Ротшильдами, ни с остальными мультимиллионерами. Истощив свой английский запас, государь оказался бы беднее даже императора Вильгельма и короля Альфонса.

Личные доходы императора Николая II слагались из следующих трех источников:

- 1) ежегодные ассигнования из средств Государственного Казначейства на содержание императорской семьи. Эта сумма достигала одиннадцати миллионов рублей;
- 2) доходы от принадлежащей царю земли и недвижимости (так называемых уделов);
- 3) проценты от капиталов, хранившихся за границей в английских и германских банках.

Министерство уделов управляло сотнями тысяч десятин пахотной земли, хлопковыми плантациями, виноградниками, охотами, промыслами, рудниками, фруктовыми садами и пр., приобретенными главным образом во второй половине восемнадцатого столетия прозорливой Екатериной II. Порядок управления удельными имениями был регламентирован императором Павлом I. Общая стоимость этих имуществ, по оценке 1914 года, достигала ста миллионов рублей золотом и не соответствовала их сравнительно скромной доходности, едва достигавшей двух с половиной миллионов рублей в год. Дело в том, что в управлении этими имуществами играли известную роль ряд привходящих обстоятельств дипломатического и политического свойства. Например, министерство уделов всегда воздерживалось делать надлежащую рекламу удельному шампанскому Абрау-Дюрсо, так как опасалось, что это могло вызвать неудовольствие во Франции, которая была союзницей России. Или же откладывали постройку железной дороги по южному побережью Крыма, чтобы радикальная печать не усмотрела в этом желания вывозить из императорских имений фрукты, и последние приходилось продавать на месте за минимальную цену.

Такое же приблизительно положение наблюдалось и с доходами от вкладов в иностранных банках. Министру двора и управляющему уделами было категорически запрещено вкладывать деньги в какие бы то ни было иностранные или же русские предприятия, чтобы не дать пищи разговорам о том, что государь император заинтересован в той или иной отрасли промышленности.

«Мертвый капитал» императорской семьи оценивался в сумму 160 миллионов рублей, соответствующую стоимости драгоценностей Романовых, приобретенных за триста лет их царствования.

Большая Императорская корона была сделана знаменитым Позье, придворным ювелиром императрицы Екатерины II в 1762 году; она представляла собой митру и была увенчана крестом из пяти громадных бриллиантов, соединенных вместе неограниченным рубином, а по кругу располагались двадцать восемь больших бриллиантов. Одиннадцать таких же больших бриллиантов находились в чешуйчатом изгибе, которым поддерживался крест, а в обручах с каждой стороны находилось по тридцати восьми розовых жемчужин.

Императорская диадема, законченная в царствование императора Александра I, состояла из тринадцати старинных жемчужин, 113 розовых жемчужин, 500 алмазов разной величины и 84 бриллиантов.

Среди других ценностей упоминания заслуживают: знаменитый бриллиант Орлова в 1941/2 карата весом, купленный графом Орловым в Амстердаме в 1776 году и поднесенный им Екатерине Великой; «Горная Луна» — нешлифованный бриллиант весом около 120 карат, бриллиант «Шах» (около 85 карат) и «Полярная звезда» — превосходный бледно-красный рубин сорока карат весом.

Было бы бесполезным трудом пытаться определить, какую приблизительную сумму можно было бы выручить от продажи этих знаменитых драгоценностей. Эксперты всегда придерживались того мнения, что никто, кроме императора России, Германии или Австро-Венгрии, не был заинтересован в покупке столь больших драгоценных камней. Вот почему гибель этих трех монархий поставила теперешних обладателей русских коронных драгоценностей в парадоксальное положение купцов, которым удалось получить товар путем уничтожения единственных возможных его покупателей.

2

Государь император мог рассчитывать на получение в начале каждого года суммы, равной 20 миллионам рублей. Для каждого частного лица, даже с самыми взыскательными вкусами, это была, конечно, громадная сумма, но тем не менее сумма эта совсем не находилась в соответствии с требованиями, которые предъявляла жизнь к царской казне.

Русский монарх должен был заботиться о родственниках и о содержании дворцов. Каждому великому князю полагалась ежегодная рента в 200 тысяч рублей. Каждой из великих княжон выдавалось при замужестве приданое в размере одного миллиона рублей. Каждый из князей или княжон императорской крови получал при рождении капитал в миллион рублей, и этим все выдачи им

исчерпывались. Эти значительные суммы очень часто расстраивали всю смету, так как целиком зависели от постоянно меняющегося числа великих князей, частоты их браков и уровня рождаемости в императорской фамилии.

Помимо малых императорских резиденций, которые были разбросаны по всей России, министерству двора приходилось содержать пять больших дворцов.

Зимний дворец в С.-Петербурге — громадное здание, построенное при императрице Елизавете на берегу Невы знаменитым архитектором Растрелли. Его обслуживал персонал в 1200 придворных служителей и лакеев. Хотя в течение последних двенадцати лет царствования государь в нем не жил и там устраивались только торжественные приемы и придворные балы, дворец этот необходимо было содержать в образцовом порядке из-за множества хранящихся в нем художественных ценностей и из-за императорских драгоценностей, выставленных в Белом зале.

Сам государь проводил бОльшую часть года в Царскосельском Александровском и Екатерининском дворцах. Екатерининский дворец был выстроен императрицей Екатериной I и впоследствии в царствование Елизаветы и Екатерины II значительно увеличен. Дворец этот представлял собою городок посреди парка, расположенного на пространстве в несколько сот десятин. Личный состав Царскосельского дворцового управления достигал шестисот человек.

Лето государь император проводил или в Петергофском дворце и там же на даче «Александрия», или же в Крыму в Ливадийском дворце, или же в плавании на яхте «Штандарт» в Финском заливе или в Черном море. Петергоф и Ливадия тоже требовали большого персонала, а главное, значительного количества садовников. Петергоф некоторые сравнивают с Версалем из-за фонтанов, водопадов, прудов и каналов, но надо сознаться, что Петергоф, расположенный на берегу Финского залива, производит более грандиозное впечатление, чем бывшая резиденция Короля-Солнца.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна проживала в Большом Аничковом дворце. Содержание Гатчинского и Большого Кремлевского дворца в Москве требовало также больших расходов. Трем тысячам дворцовых служащих нужно было платить ежемесячно жалованье, давать стол, обмундирование, а вышедшим в отставку — пенсии.

Гофмаршал, церемониймейстеры, егеря, скороходы, гоф- и камер-фурьеры, кучера, конюхи, метрдотели, шоферы, повара, камер-лакеи, камеристки и пр. — все они ожидали два раза в год подарков от царской семьи: на Рождество и в день тезоименитства государя. Таким образом, ежегодно тратилось целое состояние на золотые часы с императорским вензелем из бриллиантов, золотые портсигары, брошки, кольца и другие драгоценные подарки.

Затем шли Императорские театры: три в Петербурге и два в Москве. Несмотря на свою мировую известность и неизменный успех, Императорский балет отнюдь не являлся доходным театральным предприятием, и все пять театров приносили убытки. Этот дефицит покрывался из средств министерства двора и уделов. Чтобы высоко поддерживать знамя русского искусства, императорской семье надо было ежегодно расходовать два миллиона рублей. В

1905 году к числу субсидируемых министерством двора театров прибавилась еще и балетная труппа С.Дягилева. Его блестящие «сезоны» в Париже и Лондоне были возможны только благодаря щедрости государя, так как сам импресарио никогда не утруждал себя заботами о кассе.

Такую же значительную материальную поддержку требовала и Императорская Академия художеств. Хотя официально она и содержалась за счет Казначейства, академия эта никогда не сводила концы с концами, и члены императорской семьи, числившиеся ее попечителями, считали своим долгом поддерживать материально ее нуждавшихся учеников.

Далее шла самая разнообразная благотворительность, ложившаяся на личные средства государя. Вот несколько примеров:

Общество Красного Креста собиралось достроить отделение госпиталя в большом торгово-промышленном центре, но ему не хватало 150 тысяч рублей.

Король Черногории заезжал в Царское Село повидаться с великим славянским монархом. Соответственно, заранее готовился чек на триста тысяч золотых рублей — король не любил задерживаться и стремился вернуться к своим голодающим подданным и босоногой армии.

Директор Пажеского корпуса докладывал царю о молодом паже, который имел все данные, чтобы стать офицером одного из блестящих гвардейских полков, но нуждался в ежегодной ренте в 10 тысяч рублей.

Любимый флигель-адъютант находился в критическом положении: ему дали 24 часа, чтобы уплатить карточный проигрыш. Всего только 25 тыс. руб.!

Внук одного заслуженного генерала обратился на высочайшее имя с просьбой о выдаче 1500 руб. на окончание образования.

Русский художник, имевший большой «моральный» успех в Париже, вернулся в Россию и устроил выставку своих картин. Он уверен, что его художественная карьера зависит от продажи хотя бы одного натюрморта членам царской семьи.

Молодца-городового убили при исполнении служебных обязанностей, оставив семью без средств.

И так далее, и тому подобное.

Еще в бытность цесаревичем Николай II получил от своей прабабушки наследство в 4 млн. рублей. Государь решил отложить эти деньги и употребить проценты от этого капитала специально на нужды благотворительности. Однако весь основной капитал был израсходован за три года.

Если принять во внимание расходы императорской семьи, то деньги, которые расходовались на увеселения и представительство, покажутся весьма незначительными. Сравнительно незначительная стоимость придворных балов и обедов, которые давались несколько раз в год, объяснялась тем, что для их устройства не требовалось делать специальных покупок и не надо было нанимать в помощь особой прислуги. Вино доставлялось Главным управлением уделов, цветы — многочисленными оранжереями дворцового ведомства, оркестр содержался министерством двора. То, что более всего поражало приезжавших иностранцев, которые получали приглашение на придворные балы, — это скорее окружавшая их пышность, нежели значительность произведенных расходов.

Крайне скромный, простой в частной жизни, царь должен был подчиняться требованиям этикета. Правитель одной шестой части земного шара мог принимать своих гостей только в атмосфере расточительной пышности.

Громадные залы были переполнены сановниками, придворными чинами, иностранными дипломатами, офицерами гвардейских полков и восточными владыками. Их блестящие формы, шитые серебром и золотом, являлись великолепным фоном для придворных нарядов и драгоценностей дам. Кавалергарды и конногвардейцы в касках и казаки Собственного его величества конвоя в красных черкесках стояли вдоль лестницы и при входе. Залы украшались бесчисленными пальмами и тропическими растениями, доставленными из придворных оранжерей. Ослепительный свет больших люстр, отраженный многочисленными зеркалами, придавал всей картине какой-то волшебный характер. Глядя на переполненный Николаевский зал, можно было позабыть деловое двадцатое столетие и перенестись в великолепный екатерининский век.

И вдруг вся толпа замирала. Появлялся обер-церемониймейстер и три раза ударял об пол своим жезлом, чтобы возвестить начало Высочайшего выхода.

Тяжелая дверь Гербового зала открывалась, и на пороге показывались государь и государыня в сопровождении членов императорской фамилии и свиты. Самодержец всегда открывал бал полонезом, после чего начинались общие танцы. Император и императрица наблюдали за ними, но не принимали в них участия. Царь покидал залы сейчас же после ужина, чтобы дать молодежи возможность веселиться с большей свободой.

3

На личные нужды государю оставалось ежегодно около 200 тыс. рублей — после того, как были выплачены ежегодные суммы родственникам, оплачено содержание служащих, счета подрядчиков по многолетним ремонтам во дворцах, покрыт дефицит Императорских театров и удовлетворены нужды благотворительности. К счастью для детей государя, их выплаты оставались нетронутыми в течение всего детства и достигали довольно внушительных капиталов, когда они становились совершеннолетними. Но с последним поколением императорской семьи дело вышло несколько иначе. Осмотрительный министр двора граф Б.В.Фредерикс вопреки приказаниям государя незадолго до войны перевел за границу принадлежавшее государевым детям состояние. В качестве места хранения Фредерикс избрал Берлин, и таким образом 7 миллионов рублей оставались в берлинских банках в течение всей мировой войны и во время инфляции были обесценены до такой степени, что осенью 1923 года один американский доллар стоил пять миллиардов немецких марок! Добрые берлинские банкиры предложили рассчитаться с царскими наследниками, когда бы они того ни пожелали. Они предлагали оставшимся в живых великим князьям на выбор 7 миллионов бумажных романовских рублей или же шестнадцать миллионов германских бумажных марок 1923 года!

Как это ни кажется маловероятным, самодержец Всероссийский регулярно испытывал материальные затруднения каждый год задолго до конца сметного периода. Это происходило оттого, что ему на непредвиденные расходы нужно

было значительно более 200 тыс. рублей. Для разрешения этих затруднений у него было два пути. Или же израсходовать 200 млн. рублей, хранившихся на текущем счету в Английском банке, или же прибегнуть к помощи министра финансов. Государь старался избегать обоих путей и просто говорил: «Мы должны жить очень скромно последние два месяца».

С детства сознавая свои обязанности по отношению к России, царь, ни минуты не колеблясь, пожертвовал во время войны все эти 200 млн. рублей на нужды раненых и увечных и их семей, но никто не мог его убедить взять для себя в мирное время хотя бы копейку из этого громадного состояния.

Когда в России появились автомобили, государь одним из первых высказывался с большим энтузиазмом об этом изобретении. И тем не менее он в течение многих лет не мог получить денег, чтобы устроить подобавший русскому императору автомобильный гараж. В Царскосельских и Петербургских конюшнях было несколько сот лошадей, за которыми ходило значительное количество конюхов, тренеров, кучеров, конюшенных мальчиков и пр. Для того, чтобы перейти на автомобильный способ передвижения, нельзя было ликвидировать сразу ни лошадей, ни тех, кто за ними смотрел. В конце концов царь заказал два автомобиля французской фирме «Делоннэ-Бельвиль» и выписал из Бельгии шофера Кегреца. И до самого начала войны государь отказывался увеличить количество принадлежавших ему машин.

Оглядываясь назад на жизнь, которую вела императорская семья, я должен признать, что этот образ жизни ни в какое сравнение с жизнью магнатов капитала идти не мог. Сомневаюсь, удовольствовались ли бы короли стали, автомобилями или же нефти такой скромной яхтой, которая принадлежала государю. И я убежден, что ни один глава какого-либо крупного предприятия не удалился бы от дел таким бедняком, каким был государь в день его отречения. Если бы его дворцы, имения и драгоценности были национализированы, то у него бы просто не осталось никакой личной собственности. И если бы он сумел выбраться с семьей в Англию, то ему пришлось бы работать подобно каждому рядовому эмигранту.

Глава XI

Император Николай II

1

Как и его отец, император Александр III, император Николай II не был предназначен для царствования. Стройная линия преемственности от отца к старшему сыну была нарушена преждевременной кончиной старшего сына императора Александра II, цесаревича Николая, и таким образом, великий князь Александр Александрович сделался наследником, затем императором Александром III, а его сын Николай Александрович — наследником-цесаревичем.

Будущий император Николай II рос в напряженной атмосфере вечных разговоров о заговорах и неудавшихся покушениях на жизнь его деда,

императора Александра II. Пятнадцать лет он присутствовал при его мученической кончине, что оставило неизгладимый след в его душе. Николай II был мальчиком общительным и веселым. Детство его протекало в скромном Гатчинском дворце в семейной обстановке, среди природы, которую он очень любил. Его воспитателями были сухой, замкнутый генерал, швейцарец-гувернер и молодой англичанин, более всего любивший жизнь на лоне природы. Ни один из них не имел представления об обязанностях, которые ожидали будущего императора Всероссийского. Они учили его тому, что знали сами, но этого оказалось недостаточно[6].

Накануне окончания образования, перед выходом в лейб-гусарский полк, будущий император Николай II мог ввести в заблуждение любого оксфордского профессора, который принял бы его, по знанию английского языка, за настоящего англичанина. Точно так же знал Николай Александрович французский и немецкий языки. Остальные его познания сводились к разрозненным сведениям по разным отраслям, но без всякой возможности их применить в практической жизни. Воспитатель-генерал внушил, что чудодейственная сила таинства миропомазания во время Св. коронавания способна была даровать будущему российскому самодержцу все необходимые познания.

В Николае II рано начала развиваться большая любовь к военной службе. Эта служба как нельзя лучше отвечала складу его характера. Он был командиром эскадрона лейб-гусарского полка. Два года прослужил офицером в гвардейской конно-артиллерийской бригаде. Ко всем своим обязанностям относился серьезно и добросовестно. Смерть отца застала его командиром батальона л.-гв. Преображенского полка в чине полковника, и всю свою жизнь он остался в этом сравнительно скромном чине. Это напоминало ему его беззаботную молодость, и он никогда не выражал желания произвести себя в чин генерала. Он считал недопустимым пользоваться прерогативой своей власти для повышения себя в чинах.

Его скромность создала ему большую популярность в среде офицеров-однополчан. Он любил принимать участие в их вечерах, но разговоры офицерских собраний не могли расширить его умственного кругозора. Общество здоровых молодых людей, постоянной темой разговоров которых были лошади, балерины и новые французские песенки, могло быть очень приятно для полковника Романова, но будущий монарх в этой атмосфере мог приобрести весьма мало полезного.

Его назначили членом Государственного совета, и два раза в неделю он слушал в этом кружке траченных молью бюрократов, которые соревновались в бесстыдном угождении царю. Эта процедура была ему скучна. Мысли его уплывали далеко.

В семейной обстановке он помогал отцу строить дома из снега, рубить лес и сажать деревья, так как доктора предписали Александру III побольше движения. Разговоры велись или на тему о проказах его младшего брата Михаила, или же о моих успехах в уходе за его сестрой Ксенией. Все темы о политике были исключены. Поэтому не было случая увеличить запас знаний. В царской семье существовало молчаливое соглашение насчет того, что государственные заботы

царя не должны нарушать мирного течения его домашнего быта. Самодержец нуждался в покое. Монарх, который сумел обуздать темперамент Вильгельма II, не мог удержаться от смеха, слушая бойкие ответы своих младших детей. Ему доставляло большое удовольствие окатить ушатом холодной воды юного Михаила Александровича, но великий князь не оставался в долгу и уже за обедом готовил отцу новый сюрприз.

Раз в два года летом царская семья ездила в Копенгаген для встречи с нашей английской, датской и греческой родней. Все нежно обнимали друг друга и вздыхали о протекшем со дня последнего свидания времени. Тетя Александра — будущая королева Англии — рассказывала о женитьбе своего сына Георга. Тетя Ольга — греческая королева — с сокрушением вздыхала: ей казалось, что еще вчера она носила Георга на руках.

В 1890 году, за четыре года до своего восшествия на престол, наследник-цесаревич предпринял с образовательными целями кругосветное плавание. Я встретился с ним в Коломбо на Цейлоне. Известие о его приезде застало меня в джунглях, где я охотился на слонов. Должно быть, моя трехнедельная борода, рассказы о приключениях и трофеи, разбросанные на палубе «Тамары», произвели на Ники большое впечатление, и я показался ему просто дикарем. Тишина тропической ночи, изредка нарушаемая криками испуганных обезьян, располагала к душевной беседе. Николай Александрович завидовал моему восхитительному времяпрепровождению. Он не находил никакого удовольствия путешествовать на борту военного крейсера, шедшего под брейд-вымпелом наследника-цесаревича.

— Моя поездка бессмысленна, — с горечью сказал он, — дворцы и генералы одинаковы во всем мире, а это единственное, что мне показывают. Я с одинаковым успехом мог бы остаться дома.

На следующий день мы расстались: я вернулся к прерванной охоте, а Николай Александрович продолжал свой путь в Японию. На вокзале в Киото какой-то изувер ударил его саблей по голове, и если бы принц Георг Греческий не ослабил силу удара, наследник поплатился бы жизнью. На обратном пути цесаревич проехал по Сибири, вдоль будущего Сибирского железнодорожного пути.

Он мечтал вернуться обратно в Гатчину, где за могучей спиной отца Ники чувствовал себя в безопасности. Физические качества Александра III казались верхом человеческого совершенства робкому цесаревичу, и, без сомнения, было много обаяния в зрелище, как серебряный рубль сгибался в железных пальцах императора. После покушения в Борках 17 октября 1888 года весь русский народ создал легенду, будто Александр III спас своих детей и родных, удержав на плечах крышу разрушенного вагона-ресторана, во время покушения революционеров на императорский поезд. Весь мир ахнул. Сам герой не придавал особого значения случившемуся, но огромное напряжение того случая оказало губительное воздействие на его почки.

Двадцатого октября 1894 г. Ники и я стояли на веранде чудесного Ливадийского дворца с мешками кислорода в руках: мы присутствовали при последних минутах Александра III.

Даже соленое дыхание южного моря не могло вернуть к жизни человека, поставившего себе целью жизни предотвратить беспощадный ход революции. Кончина Александра III была подобна его жизни. Являясь убежденным врагом звучных фраз и мелодраматических эффектов, царь при приближении последней минуты лишь пробормотал короткую молитву и простился с императрицей.

Люди умирают ежеминутно, и мы не должны были бы придавать особого значения смерти тех, кого любим. Но тем не менее его смерть окончательно решила судьбу России. Каждый в толпе присутствующих при кончине Александра III родственников, врачей, придворных и прислуги, собравшихся вокруг его бездыханного тела, сознавал, что наша страна потеряла в лице государя ту опору, которая не давала России свалиться в пропасть. Никто не понимал этого лучше самого Ники. В эту минуту в первый и в последний раз в моей жизни я увидел слезы на его голубых глазах. Он взял меня под руку и повел вниз в свою комнату. Мы обнялись и плакали вместе. Он не мог собраться с мыслями. Он сознавал, что стал императором, и это страшное бремя власти давило его.

— Сандро, что я буду делать! — патетически воскликнул он. — Что будет теперь с Россией? Я еще не готов быть царем! Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами. Помоги мне, Сандро!

Помочь ему? Мне, который в вопросах государственного управления знал еще меньше, чем он! Я мог дать ему совет в области дел военного флота, но в остальном...

Я старался успокоить его и перечислял имена людей, на которых Николай II мог положиться, хотя и сознавал в глубине души, что его отчаяние имеет полное основание и что все мы стоим пред неизбежной катастрофой.

2

Невеста нового императора, принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, прибыла из Германии накануне кончины государя, который забыл отдать распоряжение об отправке за границу императорского поезда, так что будущая императрица путешествовала по России как простая смертная. В церкви Ливадийского дворца состоялось ее крещение по православному обряду. Бракосочетание молодого царя состоялось менее чем через неделю после похорон Александра III. Их медовый месяц протекал в атмосфере панихид и траурных визитов. Самая нарочитая драматизация не могла бы произвести более подходящего пролога для исторической трагедии последнего русского царя.

Молодая императрица с трудом говорила по-русски. В этом отношении ее предшественница была в гораздо более благоприятных условиях: между помолвкой принцессы Дагмар с будущим русским царем и его коронованием протекло семнадцать лет. Принцесса Аликс должна была в течение короткого срока изучить язык своей новой родины и привыкнуть к ее быту и нравам.

Еще далекая от сложных взаимоотношений придворной жизни, молодая императрица делала ошибки, незначительные сами по себе, но равносильные страшным преступлениям в глазах петербургского высшего света. Это запутало ее и создало известную натянутость в ее обращении с окружающими. Это в

свою очередь послужило достаточным поводом для сравнений между обаятельностью вдовствующей императрицы и «холодным снобизмом» молодой царицы. Эти сравнения между матерью и женой император Николай II принимал очень близко к сердцу, и вскоре отношения между двором и обществом приняли очень натянутый характер.

Наступил день, когда все мы поехали в Москву на коронацию.

Приближался день катастрофы на Ходынском поле. Иностранцам причины трагедии могли бы показаться непонятными, но опытные русские администраторы еще задолго до этого события ожидали худшего. То, что дядя государя, великий князь Сергей Александрович, занимавший пост Московского генерал-губернатора, сумеет организовать должным образом празднества, в которых должны были принять участие миллионы русских людей, — вызвало со всех сторон сомнения.

— Ты уверен, Ники, — спросил я императора перед отъездом из С.-Петербурга, — что дядя Сергей понимает трудность ситуации?

Он ответил мне жестом нетерпения:

— Конечно, да. Пожалуйста, Сандро, постарайся быть справедливым к дяде Сергею.

— Я справедлив, Ники. Но я также помню, как беспокоился в подобной ситуации твой отец. Он лично проверял каждую деталь. Думаешь, легко раздать подарки полумиллиону людей, собравшихся на поле, которое по сути дела и не приспособлено к таким толпам. И еще. Подумай обо всех этих агитаторах, которые рады будут воспользоваться такой возможностью создать беспорядки.

— Я верю, Сандро, — ответил он холодно, — что дядя Сергей знает все это ничуть не хуже тебя, а то и лучше.

Я поклонился и оставил его.

Первые два дня в Москве не оправдали мрачных предсказаний. Чудесные весенние дни, исторический город, разукрашенный флагами, звон колоколов с высоты тысячи шестисот колоколен, толпы народа, кричащие «ура», коронованная молодая царица, сияющая красотой, европейские царствующие особы в золоченых каретах — никакой строгий церемониал не мог вызвать в толпе большего энтузиазма, чем лицезрение всей этой картины.

Согласно программе празднеств раздача подарков народу должна была иметь место в 11 часов утра на третий день коронационных торжеств. В течение ночи все увеличивающиеся толпы московского люда собрались в узких улицах, которые прилегали к Ходынке. Их сдерживал только очень незначительный наряд полиции. Когда взошло солнце, не менее пятисот тысяч человек занимали сравнительно небольшое пространство и, проталкиваясь вперед, напирала на сотню растерявшихся казаков. В толпе вдруг возникло предположение, что правительство не рассчитывало на такой наплыв желающих получить подарки, а потому большинство вернется домой с пустыми руками.

Бледный рассвет осветил пирамиды жестяных кубков с императорскими орлами, которые были воздвигнуты на специально построенных деревянных подмостках.

В одну секунду казаки были смяты и толпа бросилась вперед.

— Ради Бога, осторожнее, — кричал командовавший офицер, — там ямы...

Его жест был принят за приглашение. Вряд ли кто из присутствующих знал, что Ходынское поле было местом учения саперного батальона. Те, кто был впереди, поняли свою роковую ошибку, но нужен был, по крайней мере, целый корпус, чтобы своевременно остановить этот безумный поток людей. Все они попадали в ямы, друг на друга, женщины, прижимая к груди детей, мужчины, отбиваясь и ругаясь.

Пять тысяч человек было убито, еще больше ранено и искалечено. В три часа дня мы поехали на Ходынку. По дороге нас встречали возы, нагруженные трупами. Трусливый градоначальник старался отвлечь внимание царя приветствиями толпы. Но каждое «ура» звучало для меня как оскорбление. Мои братья не могли сдержать своего негодования, и все мы единодушно требовали немедленной отставки великого князя Сергея Александровича и прекращения коронационных торжеств. Произошла тяжелая сцена. Старшее поколение великих князей всецело поддерживало Московского генерал-губернатора.

— Ты что, не видишь, Ники, — сказал ему дядя Алексей, — что Михайловичи опять играют на руку радикалам и выступают на стороне революции. А на самом деле просто хотят сделать генерал-губернатором одного из своих.

Мой брат, великий князь Николай Михайлович, ответил дельной и ясной речью. Он объяснил весь ужас создавшегося положения. Он вызвал образы французских королей, которые танцевали в Версальском парке, не обращая внимания на приближающуюся бурю. Он взывал к доброму сердцу молодого императора.

— Помни, Ники, — закончил он, глядя Николаю II прямо в глаза, — кровь этих пяти тысяч мужчин, женщин и детей останется неизгладимым пятном на твоём царствовании. Ты не в состоянии воскресить мертвых, но ты можешь проявить заботу о их семьях... Не давай повода твоим врагам говорить, что молодой царь пляшет, когда его погибших верноподданных везут в мертвецкую.

Вечером император Николай II присутствовал на большом балу, данном французским посланником. Сияющая улыбка на лице великого князя Сергея заставляла иностранцев высказывать предположения, что Романовы лишились рассудка. Мы, четверо, покинули бальную залу в тот момент, когда начались танцы, и этим грубо нарушили правила придворного этикета.

3

Стройный юноша, ростом в пять футов и семь дюймов, Николай II провел первые десять лет своего царствования, сидя за громадным письменным столом в своем кабинете и слушая с чувством, скорее всего приближающимся к ужасу, советы и указания своих дядей. Он боялся оставаться наедине с ними. В присутствии посторонних его мнения принимались дядями за приказания, но стоило племяннику и дядям остаться с глазу на глаз, их старшинство давало себя чувствовать. Особенно любили стучать кулаком по его столу дядя Алексей, 250-фунтовый генерал-адмирал, и дядя Николай, рост которого составлял шесть футов и пять дюймов.

Впрочем, дядя Сергей и дядя Владимир отличались от первых двух — да и то ненамного — только размерами, но не унижающими племянника

поучениями, а потому последний царь всея Руси глубоко вздыхал, когда во время утреннего приема высших сановников империи ему возвещали о приходе с докладом одного из его дядей.

Они всегда чего-то требовали. Николай Николаевич воображал себя великим полководцем. Алексей Александрович повелевал морями. Сергей Александрович хотел превратить Московское генерал-губернаторство в собственную вотчину. Владимир Александрович стоял на страже искусств.

Все они имели, каждый, своих любимцев среди генералов и адмиралов, которых надо было производить и повышать вне очереди, своих балерин, которые желали устроить «русский сезон» в Париже, своих удивительных миссионеров, жаждущих спасти душу императора, своих чудодейственных медиков, просящих аудиенции, своих ясновидящих старцев, посланных свыше... и т. д.

К шести часам вечера молодой император был без сил, подавленный и оглушенный. Он с тоскою смотрел на портрет своего отца, жалея, что не умел говорить языком этого грозного первого хозяина России.

Александра III все боялись как огня.

«Перестань разыгрывать царя», — телеграфировал Александр III тому же самому Сергею Александровичу в Москву.

«Выкинуть эту свинью», — написал царь на всеподданнейшем докладе, в котором описывались скандальные действия одного занимавшего ответственный пост сановника, который ухаживал за чужой женой.

«Когда Русский царь удит рыбу, Европа может подождать», — ответил он другому министру, который настаивал в Гатчине, чтобы Александр III принял немедленно посла какой-то великой державы.

Однажды какой-то чрезмерно честолобивый министр угрожал отставкой самодержцу. В ответ на эти угрозы царь взял его за шиворот и, тряся, как щенка, прорычал: «Молчать! Когда я захочу вас выбросить, вы об этом незамедлительно узнаете».

Когда Вильгельм II предложил Александру III «поделить мир между Россией и Германией», царь ответил: «Не веди себя, Вилли, как танцующий дервиш. Полюбуйся на себя в зеркало».

Часть этих изречений доподлинно исторична, другая придумана и разукрашена людской молвой[7].

Трагедия России заключалась в том, что такому волевому человеку было суждено умереть в возрасте сорока девяти лет. Бог свидетель, что Николай II не очень стремился взойти на престол. Если бы его отец прожил еще двадцать-тридцать лет, быть может, все в России было бы иначе... Все, включая моих самоуверенных дядей и даже импульсивного кузена Вилли...

4

Я старался всегда обратить внимание Николая II на навязчивость наших родных. На правах тоже его дяди и не уступая старшим дядям ни одного сантиметра росту, я иногда говорил с государем о государственных делах. Но я ничего не приукрашивал и не жалел слов. Я говорил часами. Я ссылался на историю, экономику, русские и иностранные прецеденты. Но это был глас

вопиющего в пустыне. Мои призывы не достигали цели. Я был «Сандро», товарищем его детских игр, мужем его любимой сестры Ксении. Он знал, как меня парировать, переходя на шуточный тон нашей молодости. Он заметил, что я тогда делаюсь как-то меньше ростом и теряю силу голоса. Меня он не боялся. Как часто, когда я спорил о полной реорганизации флота, которым дядя Алексей управлял согласно традициям XVIII века, я видел, как государь в отчаянии пожимал плечами и говорил монотонно:

— Я знаю, что ему это не понравится. Говорю тебе, Сандро, что он этого не потерпит.

— В таком случае, Ники, ты заставишь его потерпеть. Это твой долг перед Россией.

— Но что я могу с ним сделать?

— Ты ведь царь, Ники. Ты можешь поступить так, как это необходимо для защиты наших национальных интересов.

— Все это так, но я знаю дядю Алексея. Он будет вне себя. Я уверен, что все во дворце услышат его крик.

— В этом я не сомневаюсь, но тем лучше. Тогда у тебя будет прекрасный повод уволить его в отставку и отказать ему в дальнейших аудиенциях.

— Как я могу уволить дядю Алексея? Любимого брата моего отца! Знаешь что, Сандро, я думаю, что мои дяди правы: за время пребывания в Америке ты там стал большим социалистом.

В этих спорах проходили месяцы и годы. Я пригрозил, что выйду в отставку, если моими советами будут пренебрегать. В ответ на это государь только улыбался. Он был уверен, что я-то никогда не решусь причинить ему такого огорчения. Когда я в конце концов все-таки ушел, дядя Алексей выразил свое удовлетворение тем, что целую неделю не повышал голоса в кабинете государя.

Четырнадцатого мая 1905 года флот наш был разбит под Цусимой японцами, но это не возымело действия на Николая II. Слава его царствования еще не приобрела определенных очертаний. Он проходил через стадии своей жизни и верными шагами шел в том направлении, которое было указано его многочисленными комплексами. Он потерял уверенность. Хорошие и дурные вести имели на него одинаковое действие: он оставался безразличным. Единственной целью его жизни было здоровье сына. Французы нашли бы, что Николай II представлял собою тип человека, который страдал от своих добродетелей, ибо государь обладал всеми качествами, которые были ценны для простого гражданина, но являлись роковыми для монарха. Если бы Николай II родился в среде простых смертных, он прожил бы жизнь, полную гармонии, поощряемый начальством и уважаемый окружающими. Он благоговел перед памятью отца, был идеальным семьянином, верил в незыблемость данной им присяги и до последних дней своего царствования прилагал все усилия, чтобы остаться честным, обходительным и доступным. Не его вина, что рок превращал его хорошие качества в смертоносные орудия разрушения. Он никогда не мог понять, что правитель страны должен подавить в себе чисто человеческие чувства.

Императора Николая II всегда мучил один и тот же вопрос: «Как поступил бы в данном случае отец?». Часто я хотел заметить, что те меры, которые были мудрыми в девятнадцатом столетии, совершенно не подошли бы к нашей эпохе. Но в области чувств доводы рассудка бесполезны; и вот высшие сановники империи проводили часы над разгадыванием того, каково было бы решение Александра III при подобном стечении обстоятельств?

К.П.Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода, обыкновенно председательствовал на этих дурацких совещаниях. Его циничный ум влиял на молодого императора, приучая его бояться всех нововведений.

— Кого, Константин Петрович, вы бы рекомендовали на пост министра внутренних дел? — спрашивал Николай II, когда в начале девятисотых годов революционеры начали проявлять новую активность. — Я должен найти сильного человека. Я устал от пешек.

— Хорошо, — говорил Мефистофель, — дайте мне подумать. Есть два человека, которые принадлежат к школе вашего августейшего отца. Это Плеве и Сипягин. Никого другого я не знаю.

— На ком же из двух остановиться?

— Это безразлично. Оба одинаковы, Ваше Величество. Плеве — мерзавец, Сипягин — дурак. Любой из них сгодится.

Николай II нахмурился.

— Не понимаю вас, Константин Петрович. Я не шучу.

— Я тоже, Ваше Величество. Я признаю, что продление существующего строя зависит от возможности поддерживать страну в замороженном состоянии. Малейшее теплое дуновение весны — и все рухнет. Задача эта может быть выполнена только людьми такого сорта, как Плеве и Сипягин.

Сипягин был назначен министром внутренних дел на основании этой единственной рекомендации. Он был убит революционерами 2 апреля 1902 года. Его заместителя Плеве постигла та же судьба 3 июня 1904 года. К.П.Победоносцев помолился об упокоении их душ и предложил на этот высокий пост Витте.

— Витте подкуплен революцией, Ваше Величество. Он мечтает сделаться первым президентом российской республики. Он спорщик и крикун, но вместе с тем он достойный ученик школы Вашего отца. Его крупнейшей заслугой является введение у нас золотого денежного обращения, и у него масса друзей среди финансовых тузов Парижа. Быть может, ему удастся восстановить за границей наш кредит.

Витте получил едва ли не диктаторские полномочия. В течение менее чем полутора лет он заставил царя подписать мир с Японией, встать на путь либеральных реформ и созвать Государственную думу. И действительно, Витте удалось получить во Франции заем в два с половиной миллиарда франков, но революционная деятельность настолько усилилась во время его пребывания у власти, что основы существующего строя были существенно поколеблены.

Восьмого июля 1906 года председателем Совета министров был назначен П.А.Столыпин, замечательный человек, в котором трезвый реализм сочетался с высокой одаренностью. Он понимал, что методы управления современной

Россией должны быть уже не те, чем в эпоху, когда революционное движение проявляло себя только в столицах. При Столыпине в России наступило на несколько лет успокоение, и это дало громадный толчок росту русской промышленности. Четырнадцатого сентября 1911 года Богров стрелял в П.А.Столыпина в Киевском городском театре во время спектакля в высочайшем присутствии и смертельно ранил министра.

На допросе Богров сознался, что в течение долгих лет состоял одновременно секретным агентом охранного отделения и членом террористической организации в Париже. Его присутствие на спектакле в непосредственной близости с Царской ложей объяснялось тем, что Богров в качестве агента должен был охранять особу царя.

Еще раз Николай II обратился к теням далекого прошлого и назначил преемником Столыпина одного старого бюрократа. Пятнадцать миллионов мирных русских крестьян должны были оставить в 1914 году домашний очаг, потому что Александр II и Александр III считали необходимым защищать балканских славян от притязаний Австрии. Вступительные слова Манифеста, изданного царем в день объявления войны, свидетельствовали о послушном сыне, распятом на кресте своей собственной лояльности. «Верная своим историческим традициям, наша империя не может равнодушно смотреть на судьбу своих славянских братьев...». Трудно добиться большего нагромождения нелогичности на протяжении этой коротенькой фразы. Самая могущественная империя перестанет быть таковой в тот момент, когда сентиментальная верность традициям прошлого отклоняет ее от победоносного шествия вперед.

6

Император Николай II был вежливым человеком. Он был чрезвычайно вежлив. Я полагаю, что он был самым вежливым человеком в Европе. Поэтому скептически настроенные сановники часто покидали его кабинет в уверенности, что в государе под непроницаемой маской обаятельности скрывалась иногда жажда проказничать.

— Государь — восточный человек, типичный византиец, — сказал про Николая II Витте вскоре после своей отставки в 1906 году. — Мы говорили с ним добрых два часа; он пожал мне руку, он меня обнял. Желал мне много счастья. Я вернулся домой, не чуя под собой от радости ног, и в тот же день получил указ о моей отставке.

Кайзер Вильгельм II и Главнокомандующий русской армией в 1914—1915 гг. великий князь Николай Николаевич подписались бы обеими руками под этим мнением Витте. Оба подпали под обаяние царя и оба за это поплатились.

Одиннадцатого июля 1905 года император Николай II пригласил германского императора к завтраку на борту яхты «Полярная Звезда», которая стояла в Финляндии. Кузен Вилли решил соединить приятное с полезным и захватил с собою подробно разработанный проект русско-германского союза. Но, бросив взгляд на этот серьезный объемистый документ, государь смутился.

— Если ты интересуешься моим мнением, — сказал Вильгельм, — то должен тебе сказать, что это очень высокая политика. Этот акт принесет благо не только нашим странам, но и всему миру.

— Да, это очень хороший проект, — вежливо согласился хозяин.

— Ты подпишешь его, Ники?

— Я подумаю. Оставь мне его. Я, конечно, должен буду показать его министру иностранных дел.

— Слушай, Ники, — начал Вильгельм II, и государь опустил голову. Красноречие Вильгельма пользовалось мировой известностью. Государь попробовал переменить тему разговора. Бесполезно. «Потсдамский оратор» произнес блестящую речь, после которой оставалось либо высказаться о договоре отрицательно, либо подписать договор. Вежливость Николая II превозмогла в нем стремление подражать во всем отцу, он протянул руку за пером.

— Вот и прекрасно, — обрадовался Вильгельм II. — Еще одна маленькая формальность, и величайший в истории договор будет реальностью. Кто засвидетельствует твою подпись? Кто-нибудь из твоих министров есть на борту?

— Я попрошу завтра это сделать министра иностранных дел графа Ламздорфа.

— Но, если я не ошибаюсь, я видел по дороге в твой кабинет морского министра, адмирала Бирилева?

— Да, он тут, но я предпочел бы подпись Ламздорфа.

Последовал новый взрыв красноречия Вильгельма II, и адмирала Бирилева вызвали в кабинет. Николай II был настолько уверен, что аннулирует этот импровизированный договор, как только вернется в Царское Село, что даже не дал морскому министру ознакомиться с содержанием документа.

— Адмирал, — сказал, краснея, царь, — вы мне верите?

— Ваше Величество, можете быть уверенным, что я сделаю все для престола и отчизны.

— Хорошо. Тогда скрепите вашей подписью этот документ. Я не могу вам дать его для ознакомления. На это у меня есть свои причины.

Адмирал Бирилев поклонился и скрепил договор.

А потом в Берлин была отправлена нота, в которой указывалось, что в силу договоров, заключенных до сего времени с Францией, Россия не могла вступить в какие-либо новые договорные отношения с Германией. Кайзер Вильгельм рвал и метал в отношении вероломства русского царя и поклялся не верить ему впредь.

Можно с уверенностью сказать, что своевременный обмен телеграммами между обоими царственными кузенами в июле 1914 года предотвратил бы мировую войну, не будь у Вильгельма II на душе того запаса горечи, которая накопилась за предыдущие девять лет.

Эпизод вынужденной отставки великого князя Николая Николаевича также весьма характерен. В начале войны царь не хотел вверить Верховное командование русской армией дяде Николаше, прекрасно сознавая, что его военный дилетантизм быстро поблекнет перед военным гением Людендорфа и Макензена. Стремительное отступление русских войск летом 1915 года, которым мы были обязаны ошибкам Верховного командования, требовало немедленной перемены в Ставке, так как необходимо было возможно скорее

восстановить пошатнувшееся доверие пятнадцати миллионов русских солдат. Николай II старался вызвать великого князя Николая Николаевича на добровольный отказ от Верховного командования, но его намеки и учтивость не были поняты. Тогда 23 августа 1915 года царь подписал приказ об отставке великого князя и о принятии на себя Верховного командования русской армией.

7

Личность Распутина захватила воображение всего цивилизованного мира. Серьезные историки и легковверные романисты посвятили тома описаниям той роли, которую сыграл в гибели России этот неграмотный мужик.

«Правда о Распутине» — достаточно проста. Секрет его могущества заключался в одной черте характера государя, которая накладывала на него печать столь же неизгладимую, как и его учтивость.

Царь был идеальным мужем и любящим отцом. Он хотел иметь сына. От его брака с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской у него родились в течение семи лет четыре дочери. Это угнетало его. Он почти что упрекал меня за то, что у меня в тот же промежуток времени родилось пятеро сыновей. Как это ни покажется малоправдоподобным, но мои отношения с императрицей были далеки от сердечности по причине той же разницы пола наших детей!

Однажды во дворце появился таинственный господин — «доктор Филипп из Парижа». Он был представлен царской чете «черногорками» — великими княгинями Милицей и Анастасией Николаевными. Французский посланник предостерегал русское правительство против этого вкрадчивого иностранца, но царь и царица придерживались другого мнения. Люди, которые хотят быть обманутыми, попадают впросак. Псевдонаучное красноречие д-ра Филиппа достигло цели.

Он утверждал, что обладает силой внушения, которая может оказать влияние на пол развивающегося в утробе матери ребенка. Он не прописывал никаких лекарств, которые могли бы быть проверены придворными медиками. Секрет его искусства заключался в сериях гипнотических пассов. После двух месяцев лечения он объявил, что императрица находится в ожидании ребенка. Все придворные празднества были отменены. Европейские газеты писали о приближении великого события в семье русского царя. Прошло шесть месяцев. Императрица вдруг заболела острым нервным расстройством, и, несмотря на упорные протесты д-ра Филиппа, к постели больной были приглашены врачи. Они быстро и решительно поставили диагноз и вынесли вердикт: нет никаких следов беременности. Доктор Филипп уложил свои чемоданы и уехал в Париж.

Прошло два года, и 30 июля 1904 года императрица разрешилась от бремени долгожданным сыном.

Трех лет от роду, играя в парке, цесаревич Алексей упал и получил ранение, вызвавшее кровотечение. Позвали придворного хирурга, который применил все известные медицине средства для того, чтобы остановить кровотечение, но они не дали результата. Царица упала в обморок. Ей не нужно было слышать мнения специалистов, чтобы знать, что означало это кровотечение: это была ужасная гемофилия — наследственная болезнь мужского поколения ее рода в течение трех столетий. Здоровая кровь Романовых не могла победить больной

крови Гессен-Дармштадтских, и невинный ребенок должен был страдать от той небрежности, которую проявил русский двор в выборе невесты Николая II. Режим, который отправлял в изгнание великих князей, если они женились на здоровых женщинах недостаточно знатных кровей, не озаботился заглянуть в историю дома Гессен-Дармштадт.

За одну ночь государь состарился на десять лет. Он не мог перенести мысли, что его единственный сын, его любимый Алексей был обречен медициной на преждевременную смерть или же на прозябание инвалида.

— Неужели в Европе нет специалиста, который может вылечить моего сына? Пусть он потребует что угодно, пусть он даже на всю жизнь останется во дворце. Но Алексей должен быть спасен.

Доктора молчали. Они могли дать только отрицательный ответ. Они не могли вводить императора в заблуждение. Они должны были ответить, что даже самые известные мировые специалисты не в состоянии бороться против гемофилии, подтачивающей силы наследника.

— Ваше Величество должны быть осведомлены, — сказал один из лейб-хирургов, — что наследник никогда не излечится от своей болезни. Припадки гемофилии будут время от времени повторяться. Необходимо принять самые строгие меры, чтобы предохранить ребенка от падений, порезов и даже царапин, потому что каждое незначительное кровотечение может оказаться роковым для людей, страдающих гемофилией.

Громадный матрос получил приказание следить за безопасностью Алексея и носить его на руках во всех случаях, когда мальчику могло грозить переутомление.

Для его царственных родителей жизнь потеряла всякий смысл. Мы боялись улыбнуться в их присутствии. Посещая их, мы вели себя во дворце, как в доме, в котором кто-то умер. Император старался найти забвение в неустанном труде, но императрица не захотела подчиниться судьбе. Она непрестанно говорила о невежестве врачей, отдавая явное предпочтение шарлатанам. Все свои помыслы она обратила в сторону религии, и ее религиозность приобрела истерический характер. Таким образом, почва для появления чудотворца была подготовлена, и вот обе «черногорки» без особого труда убедили императрицу принять Распутина.

— Это удивительный человек. Святой. Он исцеляет все болезни. Это простой сибирский мужик, но ты ведь знаешь, Аликс, что Бог никогда не наделяет способностями творить чудеса детей цивилизации.

Остальную эпопею Распутина вряд ли надо рассказывать. Остается под вопросом, случайно ли совпадало улучшение в состоянии наследника с посещением дворца Распутиным, или же этому старцу были действительно известны какие-то темные методы языческих знахарей его родной Сибири? Что касается императрицы, то она верила, что старец спас ее сына от смерти. Государь презирал Распутина, был против его посещений дворца. Незадолго до начала войны Распутин уехал в Сибирь, где одна крестьянка, говорят, его бывшая любовница, ранила его ударом ножа. Припадки гемофилии начали повторяться. Царица плакала и умоляла государя вызвать из Сибири в Царское Село «спасителя Алексея». Распутин возвратился триумфатором. На этот раз он

решил извлечь бОльшую пользу из своих способностей врачевания. Он заключил деловой союз с рядом бессовестных авантюристов. Рекомендательные письма, написанные его безграмотной рукой, появились на столах у высших сановников империи и видных банкиров. То же самое общество, которое много лет спустя требовало крови старца, приглашало его на свои приемы и искало его милости.

Двадцать пятого декабря 1916 года, через девять дней после того, как во дворце моего зятя князя Ф.Юсупова Распутин был убит, я послал царю длинное письмо, в котором предсказывал революцию и настаивал на немедленных переменах в составе правительства. Мое письмо заканчивалось следующими словами:

«Как это ни странно, но мы являемся свидетелями того, как само правительство поощряет революцию. Никто другой революции не хочет. Все сознают, что переживаемый момент слишком серьезен для внутренних беспорядков. Мы ведем войну, которую необходимо выиграть во что бы то ни стало. Это сознают все, кроме твоих министров. Их преступные действия, их равнодушие к страданиям народа и их беспрестанная ложь вызовут народное возмущение. Я не знаю, слушаешься ли ты моего совета или нет, но я хочу, чтобы ты понял, что грядущая русская революция 1917 года явится прямым продуктом усилий твоего правительства. Впервые в современной истории революция будет произведена не снизу, а сверху, не народом против правительства, но правительством против народа» [8].

8

Я не был единственным, кто определял положение подобным образом. За два месяца перед этим, 1 ноября 1916 года, мой старший брат великий князь Николай Михайлович представил царю записку на шестнадцать страниц, классифицируя все преступления, совершенные главою правительства Штюмером.

Одиннадцатого ноября 1916 года другой мой брат, великий князь Георгий Михайлович, написал о впечатлениях, полученных им во время посещения Ставки генерала Брусилова.

«Милый Ники, — писал Георгий Михайлович, — если в течение двух недель не будет создано новое правительство, ответственное в своих действиях пред Государственной думой, мы все погибнем...»

Пятнадцатого ноября 1916 года еще один из моих братьев, великий князь Михаил Михайлович, проживавший с 1891 года в Лондоне, присоединил свой голос к хору предостережений: «Я только что возвратился из Бекингемского дворца. Жоржи (английский король Георг) очень огорчен политическим положением в России. Агенты Интеллидженс Сервис, обычно очень хорошо осведомленные, предсказывают в ближайшем будущем в России революцию. Я искренно надеюсь, Ники, что ты найдешь возможным удовлетворить справедливые требования народа, пока еще не поздно».

«Что это: глупость или измена?» — воскликнул лидер кадетской партии П.Милюков с трибуны Государственной думы.

Увы — это было ни то ни другое. Это было что-то гораздо более глубокое и опасное: Николай II, царь всея Руси, Верховный Главнокомандующий пятнадцати миллионов русских солдат, со всем усердием пассивного христианина решил, что «да будет воля Твоя».

Я чуть в обморок не упал, когда это услышал.

— Кто научил тебя, Ники, почитать подобным образом волю Бога? Ты называешь, Ники, это христианством, но это звучит скорее как магометанский фатализм турецкого аскера, который не боится смерти, так как его ждут за гробом широко открытые ворота рая. Истинное христианство заключается гораздо больше в действии, чем в молитве. Господь Бог доверил тебе сто шестьдесят миллионов жизней. Бог ожидает от тебя, чтобы ты ни перед чем не остановился, дабы улучшить их участь и обеспечить их счастье. Ученики Христовы никогда не сидели сложа руки. Они шли из края в край, проповедуя слово Божье языческому миру!

— На все воля Божья, — медленно повторил Ники. — Я родился 6 мая, в день поминовения многострадального Иова. Я готов принять мою судьбу.

Это был финал. Никакие предостережения не имели на него действия. Он шел к пропасти, полагая, что такова воля Бога. Он все еще был под обаянием божественного ритма строк, которые говорили о страдальце, память которого прославляет ежегодно 6 мая христианская церковь:

«Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалился от зла».

За исключением последних трех слов, Николай II во всех отношениях походил на свой идеал. Он забыл, что он монарх. И вместо того чтобы окончить дни в старости и почете, он встретил свой последний час в темном погребе в Сибири, тщетно стараясь воздействовать на кровожадных большевиков. Насколько я его знал, я уверен, что собственная судьба была ему безразлична, но он надеялся, что убийцы пощадят жизнь его жены и детей...

6 Обычно издателю этой книги удавалось включать прямо в текст места из американского издания воспоминаний Александра Михайловича, пропущенные во всех предыдущих публикациях их первой части на русском языке. Но иногда — как в данном случае — прежний русский вариант оказывался не короче американского, а другим.

Отказываясь быть цензором, даю первые два абзаца этой главы в почти буквальном переводе с английского:

«Невежественная медсестра и нерадивый врач ответственны за то, что Николай II носил корону, — они проглядели болезнь, которая поразила его старшего брата, крепыша-младенца по имени Александр. Таким образом, наследником он стал случайно. Разочарование его родителей можно легко себе представить. Он его остро чувствовал и развил сильно выраженную застенчивость манер. Он никогда не плакал. Он редко смеялся. Он не любил играть. Окружение его в детстве было мрачным. Постоянный разговор о покушениях на жизнь его дедушки. Отсутствие мальчиков одного с ним возраста. Комнаты с низкими потолками в пригородном Гатчинском дворце,

который, кажется, был спланирован императором Павлом I, чтобы служить уродливым контрастом просторной роскоши Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

В качестве учителей ему достались туповатый генерал, сентиментальный швейцарский гувернер и молодой англичанин, который крайне обожал жизнь на открытом воздухе. Ни один из трех не имел ни малейшей идеи о задаче, стоящей перед будущим русским царем. Они научили его всему, что знали, и этого было мало». — Прим. ред.

7 В американском издании этого предложения нет. — Прим. ред.

8 Так как все мои документы были конфискованы большевиками во время моего заключения в Крыму в 1918 году, я привожу это и последующие письма из книги «Красного архива», изданной советским правительством в Москве в 1921 году. — Прим. авт.

Глава XII

Оловянные боги

1

За стенами царских дворцов простиралась Россия — «ледяная пустыня, по которой бродил лихой человек», по выражению К.П.Победоносцева.

Достаточно краткого перечня событий 1894—1917 гг., чтобы составить себе представление о «делах» этого «лихого человека».

Май 1896 г. — катастрофа на Ходынке.

1897—1901 гг. — частичные забастовки в Петербурге, Москве и провинции; бесчисленные покушения на жизнь министров, губернаторов и чинов полиции; чрезвычайные меры, принимаемые для охраны молодого царя.

1902 г. — убийство министра внутренних дел Д.С.Сипягина.

1904 г. — убийство министра внутренних дел В.К.Плеве.

1904 г. — начало несчастной русско-японской войны.

9 января 1905 г. — революционные вожаки, вопреки категорическому приказу, запрещавшему уличные демонстрации, ведут петербургских рабочих по направлению к Зимнему дворцу, чтобы подать царю петицию, хотя им известно, что государь находится в Царском Селе. После многократных предостережений войска открывают по толпе огонь. В результате двести рабочих убито и ранено.

5 февраля 1905 г. — убийство в Москве великого князя Сергея Александровича. Ввиду переполнения Москвы террористами полиция просит членов царской семьи не присутствовать на похоронах.

6 июня 1905 г. — восстание на Черноморском флоте.

12 октября 1905 г. — Петербургский совет рабочих депутатов объявляет всеобщую забастовку.

17 октября 1905 г. — великий князь Николай Николаевич и председатель Совета министров С.Ю.Витте убеждают государя уступить требованиям революционеров. Объявление манифеста о созыве Государственной думы.

20—25 октября 1905 г. — еврейские погромы.

Осень 1905 г. — правительство вынуждено принять чрезвычайные меры для благополучного возвращения армии с японского фронта и предохранения Сибирской железной дороги от покушений революционеров.

Декабрь 1905 г. — для подавления Московского восстания из Петербурга командировается л.-гв. Семеновский полк.

27 апреля 1906 г. — открытие первой Думы, в которой заседают болтливые профессора, журналисты, адвокаты и «умеренные» революционеры.

Весна—лето 1906 г. — так называемые «иллюминации» по всей Европейской России: мужики жгут помещичьи усадьбы. Убит ряд губернаторов, военных и чинов полиции.

7 июля 1906 г. — роспуск первой Государственной думы. Некоторые депутаты отказываются подчиниться приказу о роспуске, отправляются в Выборг и выпускают воззвание, в котором предлагают народу не платить царскому правительству податей. П.А.Столыпин, назначенный председателем Совета министров, организует планомерную борьбу с революционерами.

12 августа 1906 г. — взрыв бомбы на даче Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге. Ранены дети Столыпина и убито и ранено множество должностных лиц.

Зима 1906/07 г. — эпидемия бандитских нападений-экспроприаций, организованных революционерами для пополнения партийной кассы, что вынуждает правительство объявить военное положение во многих крупных центрах.

3 июня 1907 г. — роспуск второй Государственной думы, которая была еще более оппозиционной, чем первая: с думской трибуны была оскорблена русская армия.

Осень 1907 г. — выборы в Государственную думу проходят по новому избирательному закону, который обеспечивал более широкое участие в законодательной деятельности представителей земской России. Третья Дума была менее болтливой, чем первые две, но большинство ее членов страдало комплексом неполноценности.

1908—1911 гг. — меры, предпринятые Столыпиным, восстанавливают порядок. Расцвет промышленности и банковского дела достигает невиданных до той поры размеров. Вводятся законы о землеустройстве, направленные к ликвидации сельской общины, к разверстанию крестьянских земель на хутора и отруба и к развитию переселенческого дела.

14 сентября 1911 г. — убийство Столыпина в Киеве.

1912—1914 гг. — главой правительства является В.Н.Коковцов, бесцветный бюрократ, боящийся собственной тени и неспособный на конструктивные идеи. С.Д.Сазонов, министр иностранных дел, служит марионеткой в руках французского и английского правительств, его политика вовлекает Россию во всевозможные авантюры на Балканах и создает трудности в ее отношениях со странами Центральной Европы.

30 июля 1914 г. — С.Д.Сазонов и великий князь Николай Николаевич используют все свое влияние, чтобы убедить государя подписать приказ о всеобщей мобилизации.

1915—1916 гг. — противники существующего строя оказывают преобладающее влияние в земском, городском и военно-промышленном комитетах. Петербург переполнен пораженческой литературой, которая использует влияние Распутина как средство разложения тыла.

Февраль 1917 г. — германские агенты ведут пропаганду в очередях за хлебом в С.-Петербурге и организуют забастовки на фабриках, работающих на оборону.

Март 1917 г. — отречение императора Николая II.

2

Этого лаконического перечня, однако, недостаточно, чтобы охарактеризовать невероятное легкомыслие и бесконечную безответственность тех общественных кругов, которые в течение двадцати трех лет прилагали все усилия для того, чтобы расшатать устои империи. Знаменательно, что ни одному из лидеров русского освободительного движения 1894—1917 гг. не удалось пережить в России грозу 1917—1918 гг. Все они были или убиты большевиками или же находятся ныне в эмиграции. Только шатающееся правительство Николая II могло уступить их напору. Я привожу слова одного из публицистов освободительного движения Михаила Гершензона: «Русская интеллигенция должна быть благодарна царскому правительству, что оно своими тюрьмами и штыками защищает ее от народного гнева; горе всем нам, если мы доживем до того времени, когда падет царь». Это было напечатано в сборнике «Вехи» в 1907 г.

Но кто же были те люди, которые с энергией, достойной лучшего применения, составляли заговоры против существующего строя? Какое странное самоослепление заставляло их верить в то, что разразившийся хаос революции в своем неистовстве разрушения ограничится территорией императорских дворцов? То, что они состояли членами различных политических партий: социал-революционной, социал-демократической, народно-социалистической или конституционно-демократической, имело очень мало значения для человека, знающего русскую историю. Блестящий лидер партии социал-демократов, большевиков и близкий друг Ленина, Малиновский, получал ежемесячно содержание от департамента полиции. С другой стороны, Александр Гучков, лидер консерваторов, делал все, что было в его власти, чтобы возбудить бунт в русской армии.

Попробуем смыть блестящий слой политической фразеологии с лица русского революционного движения и мы получим истинный облик «оловянных богов», фанатиков, авантюристов, претендентов на министерские посты, столбовых дворян-революционеров и др. разрушителей империи.

Лев Толстой, без каких бы то ни было особых причин, если не считать нескольких вышедших из-под его пера неудачных политических памфлетов, а также наивной враждебности к православной церкви, этот величайший литературный гений современной России, почитался нашей революционной молодежью апостолом. Ученые и крестьяне-ходоки преодолевали тысячи верст, чтобы побывать в аристократическом поместье графа Ясной Поляны, и его проповедь нового христианства была воспринята как призыв к немедленному

восстанию. Время от времени, когда душа Толстого была растрогана всеобщим обожанием, он писал вызывающие письма царю. Он страстно хотел, чтобы правительство начало его преследовать, арестовало и сослало в Сибирь. Но ни Александру III, ни Николаю II и в голову не приходило сделать подобную глупость: их глубокое восхищение автором «Войны и мира» помогало им игнорировать пафос этого мудреца, трогательного в желании пользоваться своим гениальным пером для того, чтобы писать статьи и памфлеты, изобличавшие «тирана».

Толстой специализировался в разоблачениях «жестокостей» императора Николая I. Однажды брат мой, историк Николай Михайлович, в длинном, строго обоснованном и очень учтивом письме указал Толстому на неосновательность его бессмысленных обвинений. И получил из Ясной Поляны курьезный ответ: Толстой признавал свое «глубочайшее уважение пред патриотической политикой» нашего деда и благодарил моего брата за «интересные исторические сведения». А тем временем никто не мешал продаже памфлета Толстого, тогда как традиции нашей семьи не позволяли издать полемику великого князя Николая Михайловича с владельцем Ясной Поляны.

Немедленно по получении известия о смерти Толстого император Николай II послал дружескую телеграмму его вдове, выражая свои искренние соболезнования и глубокую печаль по поводу кончины великого писателя. Однако наша интеллигенция выразила крайнее неудовольствие по поводу этого, вполне естественного поступка самодержца, опасаясь, что телеграмма эта могла бы сорвать грандиозную демонстрацию, которая должна была быть устроена в день похорон Толстого. В день похорон писателя, которые состоялись ноябрьским днем 1910 г., были произнесены бесконечные речи, порицавшие существующий строй, а также затронуты темы, не имевшие никакого отношения к событию. Если бы графиня С.А.Толстая не присутствовала на похоронах с заплаканным лицом, все участники этого революционного митинга забыли бы, что находятся на погребении человека, которого весь мир чтил исключительно как гениального романиста и который родился в семье, своим титулом, положением и богатством всецело обязанной этому самому, им столь жестоко ненавидимому царю России. «Дорогой Лев Николаевич, память о вас будет вечно жить в сердцах благодарных крестьян Ясной Поляны» — гласила надпись на пятиметровом плакате, который несли на похоронах его почитатели. Семь лет спустя «благодарные крестьяне Ясной Поляны» осквернили могилу «дорогого Льва Николаевича» и сожгли его имение. На этот раз яснополянские мужики внимали речам представителя местного совдепа, а последний объяснил, что, несмотря ни на что, Толстой был «аристократом и помещиком», т.е. «врагом народа».

Рядом с Толстым в рядах «святых» революции находились князь Петр Кропоткин, Вера Засулич, Брешко-Брешковская (ее называли «бабушкой русской революции») и многочисленные политические убийцы, отбывавшие сроки наказания в Шлиссельбургской крепости. Князь Кропоткин проповедовал свою довольно безобидную теорию розового анархизма из собственного комфортабельного дома в Лондоне. Остальные, главным образом женщины,

причислены к лику «святых» революции за содеянные ими, начиная с 70-х годов прошлого столетия, террористические акты.

Убежденный феминист мог бы радоваться этому преобладанию слабого пола в русском революционном движении, однако биографы Шарлотты Корде нашли бы мало привлекательного в образах кровожадных русских старых дев, которые были скорее объектами для наблюдений Крафта-Эбинга или Фрейда, чем подлинными героинями. Тем не менее революционный хороший тон требовал от каждого уважающего себя либерала, чтобы он вставал при упоминании имени Веры Фигнер. Ведь эта почтенная дама принимала ближайшее участие в покушении на жизнь царя-освободителя, и «жестокий» император Александр III осмелился засадить в тюрьму убийцу своего отца! Как это, однако, ни странно, но большевики отказались признать божественную сущность «оловянных богов» революции, и первая годовщина советского режима застала их в тюрьме или же в изгнании. Можно смело сказать, что закон возмездия избрал в лице большевиков неожиданных эmissаров для исполнения своей воли.

Сазонова, убийцу В.Плеве, и полоумного юношу Каляева, который бросил бомбу в карету великого князя Сергея Александровича, нужно отнести к разряду революционных фанатиков. Они и им подобные служили пушечным мясом для Бориса Савинкова — этого «спортсмена революции». «Принц Гамлет, старавшийся быть цезарем Борджиа» — сказал о нем Радек во время суда над Савинковым в Москве в 1925 году. Солдат удачи, поэт, «великий любовник», блестящий рассказчик, великий лгун, любитель поесть, мастер и раб громких слов, Борис Савинков боролся со всеми режимами только во имя самой борьбы. Он подготовил убийство великого князя Сергея Александровича, он был в числе заговорщиков на жизнь императора Николая II, он занимался интригами против Временного правительства совместно с генералом Корниловым, он «продал» того же генерала Корнилова Временному правительству, он работал как тайный агент союзников против большевиков, он призывал к священному походу против Советов, он явился к большевикам с повинной и предал им их противников, он претендовал на роль диктатора крестьянской России и окончил свою беспокойную жизнь, выбросившись из окна Лубянской тюрьмы в Москве.

— Революция и контрреволюция — мне все равно, — признался он одному моему знакомому в 1918 году. — Я жажду действия! Единственное мое желание — это дать работу самодовольным бездельникам, которые слоняются на задворках без толка, и отбить у них охоту заниматься любовными похождениями.

Народное воображение, не подозревая, что представляла собою на самом деле личность Савинкова, причисляло его к лику «святых» революции и приписывало ему все политические убийства, происшедшие в первом десятилетии двадцатого века. А говоря по правде, убил он собственноручно всего одного старого городского, оказавшегося безоружным. Он умел разыскивать истерических молодцов, падких до его красноречия и готовых умереть за революцию. И они действительно погибали, а тем временем Савинков благополучно выбирался в Париж, чтобы продолжать свою приятную

жизнь. Там он боролся со всеми существующими правительствами, сидя ежедневно от 12 до 2 в ресторане Ларю и запивая воспоминания о своих чудесных побегах бутылкой превосходного «Мутон-Ротшильд». Рассказывая историю покушения на жизнь великого князя Сергея Александровича, Савинков приводил трогательный мотив, почему покушение совершил не он. «Я убил бы великого князя собственными руками, но когда его карета обогнула угол, за которым я стоял с бомбой, я заметил, что с ним в экипаже сидят двое детей».

Эта занимательная история производила у Ларю фурор. Спустя годы великая княгиня Мария — это она сидела тогда в экипаже — пожелала увидеться со своим «спасителем». Но факт остается фактом, и смертоносная бомба была брошена в Сергея Александровича Каляевым в то время, как «друг детей» благополучно возвратился на рю Руаяль.

Савинков был талантливым романистом, и русское правительство косвенным образом финансировало его террористические акты, великодушно разрешая продавать в России савинковские романы, а также печатать его еженедельные корреспонденции на страницах московских газет. Министру внутренних дел и во сне не снилось, что добрая половина русских революционеров, и в том числе Савинков, Троцкий, Чернов и Зензинов, имели возможность продолжать свою террористическую деятельность только благодаря гонорарам, которые они получали от русских издателей!

Удивительные побеги Савинкова, часть которых затмила даже похождения Казановы, были возможны только благодаря его тесному сотрудничеству с небезызвестным Азефом, который официально был лидером террористов, а неофициально — агентом департамента полиции. Революционеры считают его «агентом-provокатором» чистейшей воды; департамент полиции обвинял его в приверженности к революции. Во всяком случае, установлено, что Азеф не предупредил департамент полиции о заговоре на жизнь Плеве и великого князя Сергея Александровича, хотя ему и были известны все детали готовящихся покушений за несколько недель вперед. Страх мести Савинкова, вероятно, победил в Азефе его жадность к деньгам, а потому секретные донесения Азефа из Парижа даже не упоминали, где находится его болтливый сообщник.

Давая показания перед комитетом парижских революционеров, Савинков сначала грозил убить собственноручно того «мерзавца», который посмеет набросить малейшую тень на имя его «дорогого друга» Азефа. Он заявил, что, если бы не преданность Азефа, его арестовала бы полиция в ночь пред убийством великого князя. Савинков мог бы еще добавить к своим показаниям, что список тайных агентов русского охранного отделения был переполнен именами выдающихся лидеров революционного подполья, и потому не было особой надобности так негодовать по поводу личности Азефа.

«Мы могли бы купить очень многих из революционеров, если бы сошлись с ними в цене», — писал бывший директор департамента полиции Васильев в своих опубликованных посмертно мемуарах.

Это совершенно справедливо. Недаром после своего триумфа в марте 1917 года революционеры поторопились сжечь все архивы охранных отделений.

Императорский строй мог бы существовать до сих пор, если бы «красная опасность» исчерпывалась такими любителями аплодисментов, как Толстой и Кропоткин, такими теоретиками, как Ленин или Плеханов, старыми психопатками вроде Брешко-Брешковской или Фигнер и авантюристами типа Савинкова и Азефа. Как это бывает с каждой заразной болезнью, настоящая опасность революции заключалась в многочисленных переносчиках заразы: мышах, крысах и насекомых... Или же, выражаясь более литературно, следует признать, что большинство русской аристократии и интеллигенции составляло армию разносчиков этой заразы. Трон Романовых пал не под напором предтеч Советов или юношей-бомбистов, но носителей аристократических фамилий и придворных званий, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и др. общественных деятелей, живших щедротами империи. Царь сумел бы удовлетворить нужды русских рабочих и крестьян; полиция справилась бы с террористами. Но было совершенно напрасным трудом пытаться угодить многочисленным претендентам в министры, революционерам, записанным в шестую книгу российского дворянства, и оппозиционным бюрократам, воспитанным в русских университетах.

Как надо было поступить с теми великосветскими дамами, которые по целым дням ездили из дома в дом и распространяли самые гнусные слухи про царя и царицу? Как надо было поступить в отношении тех двух отпрысков стариннейшего рода князей Долгоруких, которые присоединились к врагам монархии? Что надо было сделать с князем Трубецким, ректором Московского университета, который превратил это старейшее русское высшее учебное заведение в рассадник революционеров! Что надо было сделать с блестящим профессором Милюковым, который считал своим долгом порочить режим, разъезжая по заграницам, понижая там наш кредит и радуя наших врагов? Что следовало сделать с графом Витте, возведенным Александром III из простых чиновников в министры, специальностью которого было снабжать газетных репортеров скандальными историями, дискредитировавшими царскую семью? Что нужно было сделать с профессорами наших университетов, которые провозглашали с высоты своих кафедр, что Петр Великий родился и умер негодяем? Что следовало сделать с нашими газетами, которые встречали ликованием наши неудачи на японском фронте? Как надо было поступить с теми членами Государственной думы, которые с радостными лицами слушали сплетни клеветников, клявшихся, что между Царским Селом и ставкой Гинденбурга существовал беспроволочный телеграф? Что следовало сделать с теми командующими вверенных им царем армий, которые интересовались нарастанием антимонархических стремлений в тылу армии более, чем победами над немцами на фронте? Как надо было поступить с теми ветеринарными врачами, которые, собравшись для обсуждения мер борьбы с эпизоотиями, внезапно вынесли резолюцию, требовавшую образования радикального кабинета?

Описания противоправительственной деятельности русской аристократии и интеллигенции могли бы составить целый том, который следовало посвятить русским эмигрантам, оплакивающим ныне на улицах европейских городов «доброе старое время». Но рекорд глупой тенденциозности побила, конечно,

наша дореволюционная печать. Личные качества человека не ставились ни во что, если он устно или печатно не выражал своей враждебности существующему строю. Об ученом или писателе, артисте или музыканте, художнике или инженере судили не по их даровитости, а по степени радикальных убеждений. Чтобы не ходить далеко за примерами, достаточно сослаться на печальный личный опыт философа В.В.Розанова, публициста М.О.Меньшикова и романиста Н.С.Лескова.

Все трое по различным причинам отказались следовать указке радикалов. Розанов — потому что выше всего ставил независимость творческой мысли; Лесков — потому что утверждал, что литература не имеет ничего общего с политикой; Меньшиков — потому что сомневался в возможности существования Российской империи без царя. Все трое подверглись беспощадному гонению со стороны наиболее влиятельных газет и издательств. Рукописи Лескова возвращались ему непрочитанными, над его именем смеялись самые ничтожные из газетных репортеров, а несколько его замечательных романов, изданных за его же собственный счет, подвергались бойкоту со стороны предубежденной части нашего общества. Немцы и датчане под предводительством Георга Брандеса первыми открыли Лескова и провозгласили его выше Достоевского.

Меньшиков всю жизнь прожил в полнейшей изоляции, подобно прокаженному, которого поносили все современные авторитеты и избегали сотрудники его же газеты «Новое время». Имя этого величайшего русского журналиста являлось символом всего самого низкого, подлого и презренного. Тирания самочинных цензоров российского общественного мнения была настолько сильна, что на сорокалетний юбилей писательской деятельности Меньшикова ни один писатель не решился послать ему поздравительной телеграммы из боязни, что этот поступок станет известным публике. И этот старик сидел одинокий, всеми покинутый в редакции и писал еще одно из своих блестящих, но, увы, мало кем оцененных «Писем к ближним»!

Что же касается Розанова, то даже его уникальная по своей оригинальности философия и его общепризнанный гений не спасли его от остракизма. Его не признавали ни газеты, ни журналы, ни клубы, ни литературные объединения. Его обширное литературно-философское наследие получило распространение только после его смерти, когда после прихода к власти большевиков все старые споры стали казаться смешными. При жизни человек этот, который опередил в своих психологических откровениях на целое поколение Фрейда, был обречен на писание маленьких, незначительных статей в «Новом времени». Незадолго до войны Сытин, возмущенный тем, что такой талант, как Розанов, пропадает зря, принял писателя в свою газету «Русское слово», где он должен был писать под псевдонимом Варварина. Но стаду овец легко почуять приближающегося льва. Первая же статья Варварина-Розанова произвела переполох среди сотрудников «Русского слова». Делегация сотрудников во главе с Дм. Мережковским явилась к храброму издателю и предъявила ультиматум: он должен был выбрать между ними и Розановым-Варвариним.

— Но, господа, господа, — просил издатель, — вы ведь не можете отрицать гения Розанова?

— Мы не интересуемся тем, гений он или нет, — ответила делегация. — Розанов — реакционер, и мы не можем работать с ним в одной газете!

Господина Мережковского можно сейчас найти в Париже, где он льет слезы сожаления по золотому веку русских реакционеров и переполнен восхищением перед памятью о философе, которого лишил возможности зарабатывать себе на жизнь.

В очаровательной вещице, которая называлась «Революция и интеллигенция» и была написана сразу после прихода большевиков к власти, Розанов описывает положение российских либералов следующим образом:

«Насладившись в полной мере великолепным зрелищем революции, наша интеллигенция приготовилась надеть свои мехом подбитые шубы и возвратиться обратно в свои уютные хоромы, но шубы оказались украденными, а хоромы были сожжены»[9].

9 Настоящая цитата звучит следующим образом:

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес.

— Представление окончилось.

Публика встала.

— Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Глава XIII

Гроза надвигается...

1

Провидению было угодно, чтобы события моей личной жизни, в течение двадцатитрехлетнего царствования императора Николая II, были тесно связаны с трагическими датами русской истории.

Вначале я мирился с событиями и старался создать семейный очаг на фоне хаоса. Этим я обязан был жене, так как мною руководила любовь к ней.

Наш медовый месяц был прерван смертью ее отца, и мы возвратились в Петербург, желая помочь Ники и Аликс в их первых шагах. Едва ли можно было бы найти две другие пары молодоженов, которые были более близки друг к другу, чем мы четверо. Вначале мы занимали смежные апартаменты в Аничковом дворце, так как хотели быть ближе к вдовствующей императрице Марии Федоровне. Потом мы все переехали в Зимний дворец, который подавлял своими размерами и громадными, неудобными спальнями. Весной жили в Гатчине, летом в Петергофе. Осенью ездили в Аббас-Туман, чтобы навестить Жоржа, и в Крым, где наше имение Ай-Тодор примыкало к Ливадийскому дворцу. Мы были таким образом всегда вместе, никогда не утомляясь ни друг другом, ни нашей дружбой. Когда в 1895 году родилась моя

дочь Ирина, Ники и Аликс делили со мною радость и проводили часами время у постели Ксении, восхищаясь красотой будущей княгини Юсуповой.

Вполне вероятно, что Александра Федоровна, прибыв в Россию недавно, стремилась проводить время в обществе людей, которым она всецело доверяла и которых понимала. Это способствовало тому, что наша дружба достигла редкой в отношениях между родственниками сердечности. После обеда мы долго еще оставались вместе, просматривая доклады, представленные государю его министрами. Горя желанием принести пользу престолу, я преувеличивал в то время значение постройки большого русского военного флота. Десять лет, проведенных на службе во флоте, открыли мне глаза на многие недостатки нашей морской обороны. Я мог похвастаться большими познаниями в моей специальности и мог представить государю все необходимые данные. Он решил, что я должен составить краткую записку, которую надо было отпечатать в количестве ста экземпляров и раздать высоким морским начальникам. Это был, так сказать, «заговор» между мною и Ники против морского министра адмирала Чихачева и генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича.

До тех пор, пока мои действия соответствовали намерениям государя, я был готов принять все неудовольствие заинтересованных лиц на себя. Государыня принимала в осуществлении моего «заговора» самое деятельное участие. Я помню, как она тихо спросила меня во время придворного завтрака в апреле 1896 года: «Вы отправили записку адмиралам?» — «Да, сегодня утром», — прошептал я в ответ, нагнувшись, чтобы поцеловать ее руку. Наши соседи за столом наострили уши и выглядели весьма заинтересованными. На следующее утро Аликс позвала меня к себе, чтобы сообщить, что дядя Алексей и Чихачев угрожали подать государю прошение об отставке, если я не принесу официальных извинений. Я пошел прямо к государю.

— Надеюсь, ты помнишь, что я написал эту записку с твоего разрешения и благословения?

— Конечно, конечно, — вздохнул Ники. — Но разве ты не видишь, Сандро, что в том, что говорит дядя Алексей, есть большая доля правды? Не могу же я позволить своему зятю подрывать дисциплину во флоте!

Я был ошеломлен.

— Ради бога, Ники! Разве не тебе первому я прочел эту записку в еще необработанном виде?

— Конечно, конечно. Но я обязан заботиться о мире в нашей семье, Сандро. Будь благоразумен и согласись с предложением дяди Алексея.

— Что же он предлагает?

— Он предлагает назначить тебя командиром броненосца «Император Николай I», который плавает в китайских водах.

— Понимаю. Значит, я должен отправиться в изгнание за то, что исполнил твои приказания?

Его лицо передернулось.

— Это просто вопрос поддержания дисциплины.

— А если я не приму этого назначения?

— Тогда я, право, не знаю, что мы будем делать. Я полагаю, что дядя Алексей будет настаивать, чтобы тебя исключили из флота.

— Благодарю тебя, Ники, — сказал я. — Молю Бога, чтобы он помог мне удержать власть над собой. Я предпочитаю принять твое второе предложение.

Он явно испытал облегчение и обнял меня.

— Я знал, Сандро, что ты будешь благоразумен. Оставь на некоторое время в покое дядю Алешу, а потом через год или два мы посмотрим, что можно будет предпринять для твоего полного удовлетворения. Подумай только, как счастлива будет Ксения, когда узнает, что теперь ты будешь всецело с нею.

Ксения была действительно счастлива. Из-за нежелания Ники принять в «петергофской битве» мою сторону мы провели с женой самые счастливые годы нашей супружеской жизни. Дети рождались один за другим. Мой сын Андрей — старший из шести мальчиков — родился в январе 1897 года, рождение остальных следовало между 1899 и 1906 годами. Я никогда не симпатизировал отцам, терявшим в день рождения детей голову. Сам я неизменно оставался при Ксении, пока все не было благополучно окончено. Чтобы облегчить родовые муки, придворный доктор давал ей обычно небольшую дозу хлороформа. Это заставляло ее смеяться и говорить разные забавные вещи, так что наши дети рождались в атмосфере радости.

Каждый раз, при рождении ребенка, я считал своим долгом следовать старинному русскому обычаю. Он заключался в том, что при первом крике ребенка отец должен зажечь две свечи, которые он и его жена держали во время обряда венчания, а потом он должен завернуть новорожденного в ту рубашку, которую надевал предыдущей ночью. Это, быть может, глупое суеверие, но мне казалось, что это придавало больше уверенности Ксении.

Увеличение моего семейства сопровождалось расширением Ай-Тодорского имения. Я испытывал громадное наслаждение, сажая новые деревья, работая на виноградниках и наблюдая за продажей моих фруктов, вин и цветов. Было что-то необыкновенно ободряющее в возможности встать с восходом солнца и, скача верхом по узкой тропинке, окаймленной зарослями роз, говорить себе: «Вот это реально! Это все — мое! Это никогда мне не изменит! Здесь мое место, и здесь я хотел бы остаться на всю жизнь».

Скоро для нормального расширения и увеличения моего имения возникла необходимость прикупить соседние земли у крымских татар. Покупка каждой новой десятины земли доставляла мне такое же наслаждение, как рождение сына. Живописная дорога, построенная мною через новые владения и соединявшая Ай-Тодор с Ливадией, получила впоследствии название «Царская тропа», так как Ники и Аликс шли по ней при своих ежедневных визитах к нам. Я никогда не упрекал Ники за мое отчисление из флота. Я огорчился неустойчивостью его характера, но мне не хотелось портить ему крымскую идиллию разговорами, которые могли бы быть неприятны нам обоим.

Княгиня Зинаида Юсупова часто делила наше общество во время пикников и увеселений. Наша дружба началась еще в конце семидесятых годов, в С.-Петербурге, когда мы по воскресеньям катались вместе на коньках. Женщина редкой красоты и глубокой духовной культуры, она мужественно переносила тяготы своего громадного состояния, жертвуя миллионы на дела

благотворительности и стараясь облегчить человеческую нужду. Она вышла замуж за несколько лет до моей свадьбы и приехала в Ай-Тодор в сопровождении своего красавца сына Феликса. Тогда я не предполагал, что восемнадцать лет спустя моя маленькая Ирина будет его женой.

Прошло три года. Я был счастлив в семейной жизни. К сожалению, я не мог, живя в Петербурге, оставаться праздным и посвятил свое время изданию «Морского ежегодника», а также сотрудничеству в других изданиях, имевших отношение к военно-морским вопросам. Это было тяжело, так как лишний раз доказывало, что нельзя превратить моряка в сухопутного человека. Мне кажется, что я бы с удовольствием остался навсегда в Ай-Тодоре, вполне удовлетворенный путешествиями на моей яхте «Тамара» и созерцанием отблеска лучей нашего маяка на волнах. Но страсть к морю была у меня в крови. Напрасно я пробовал интересоваться общей политикой и предпринять что-либо вне области военного флота. Тотчас же в моем мозгу возникала карта с намеченным на ней маршрутом плавания воображаемого крейсера, или же я с увлечением играл в военно-морскую игру, изобретенную мною в 1897 году и принятую у нас в училище.

В 1899 году я более не мог уже выдержать. Я попросил Ники выяснить настроение дяди Алексея. Я надеялся, что три года обильных возлияний и общества хорошеньких женщин заставили генерал-адмирала забыть нанесенную ему обиду.

В ответ на вопрос государя дядя Алексей любезно улыбнулся.

— Наконец-то наш «кавказский мятежник» и сеятель раздора Сандро понял свои ошибки!

— Да, дядя Алексей, — подтвердил Ники, — я не сомневаюсь, что Сандро раскаялся.

— Хорошо! Хорошо! Спасибо за добрые вести! Скажи ему, что я согласен забыть его невозможное поведение три года тому назад. Я назначу его помощником командира судна береговой обороны.

Летом того же года мы потеряли Жоржа (Георгия Александровича). У него случилось внутреннее кровоизлияние в то время, как он предпринимал свою обычную утреннюю поездку на мотоцикле, и он скончался в избе одной крестьянки в нескольких верстах от Аббас-Тумана. Это была третья жертва туберкулеза в императорской семье. От той же болезни умер мой младший брат Алексей Михайлович в 1895 году и мой двоюродный брат Вячеслав Константинович в 1882 году.

2

В новом, 1900 году мечта моей жизни — мечта каждого моряка — наконец осуществилась. Я был произведен в чин капитана I ранга и назначен командиром броненосца Черноморского флота «Ростислав». Это назначение, совпав с началом нового столетия, когда мне исполнилось тридцать четыре года, казалось счастливым предзнаменованием в моей предстоящей карьере. Вероятно, это и было бы так, если бы меня оставили в покое с моим кораблем и моей семьей.

Когда я вернулся в С.-Петербург после одного из летних плаваний на «Ростиславе», Ники просил меня совмещать обязанности командира броненосца с председательствованием в одном значительном предприятии, которое замышлялось на Дальнем Востоке. Дело в том, что группа предпринимателей из Владивостока получила от корейского правительства концессию на эксплуатацию корейских лесов, расположенных между нашей границей и рекой Ялу. Испытывая нужду в оборотных средствах, они обратились к министру двора с ходатайством о финансировании этого дела государем. Сведущие люди, посланные в Корею министром двора, не скупились на похвалы, излагая все преимущества, которые выпадут на долю России, если она приобретет эту концессию. На основании добытых ими сведений можно было также предположить, что область по обеим сторонам реки Ялу заключала в себе и золотonosные земли. Это предположение представлялось чрезвычайно заманчивым, но, конечно, требовало при осуществлении большой осторожности и такта.

Разговаривая по этому поводу с Ники, я сделал особое ударение на слове «такт». Я опасался бестактности нашей дипломатии, которая, преклоняясь перед западными державами, относилась к Японии высокомерно. Совершенно не отдавая себе отчета о военной силе Страны восходящего солнца, русские дипломаты, восседая за столами своих петербургских кабинетов, мечтали о подвигах Гастингса и Клайва. План их сводился к тому, чтобы сделать из Маньчжурии для России то, чем была Индия для Великобритании. Под давлением этих дипломатов наше правительство за несколько лет до того решило оккупировать Квантунский полуостров и проводить Сибирскую магистраль прямо чрез Маньчжурию. Этот дерзкий захват китайской территории и порта, занятого японцами в 1894 году, но уступленного ими китайцам, вызвал негодующие протесты токийского кабинета. Граф Ито прибыл в С.-Петербург и предложил уладить конфликт мирным путем. Это не удалось, и ему оставалось только заключить союз с Великобританией, направленный против России. В дипломатическом мире не было секретом, что государь император дал свое согласие на ряд авантур на Дальнем Востоке, потому что слушался вероломных советов Вильгельма II. Ни у кого также не вызвало сомнений, что если Россия будет продолжать настаивать на своих притязаниях на Маньчжурию, то война между Россией и Японией неизбежна.

— Разве мы хотим войны с Японией? — спросил я у Ни-ки. — Если мы ее действительно хотим, то должны немедленно начать постройку второй колеи Сибирского пути, сосредоточить наши войска в Восточной Сибири и построить значительное количество современных военных судов.

Государь только покачал головой и ответил, что я придаю слишком много значения слухам. Нет, пока он на престоле, он, конечно, не ожидал войны ни с Японией, ни с каким-либо другим государством. Его ответы звучали очень уверенно. Я принял предложение встать во главе дела по эксплуатации лесной концессии на Ялу.

Прошел год. Я получил сведения, что русская дипломатия решилась на новую авантюру. На этот раз она собиралась продолжить Сибирский путь до границы Кореи и объявить эту страну аннексированной Российской империей.

Я сел и написал очень резкое письмо министру двора барону Фредериксу, в котором сообщал, что слагаю с себя полномочия по руководству делом концессии на Ялу и предсказываю в ближайшем будущем войну с Японией. Я не пожалел слов, чтобы выразить свое крайнее неудовольствие. Я заявил, что, как «верноподданный государя и человек, не утративший здравого смысла, я отказываюсь иметь что-либо общее с планами, которые ставят под угрозу сотни тысяч невинных русских людей». Фредерикс пожаловался государю. Ники был очень огорчен моими резкими словами и просил меня изменить решение. Я ответил довольно запальчиво «нет».

Во всяком ином случае уход от дела его главного руководителя делается всегда достоянием гласности, но барон Фредерикс полагал, что если мои разногласия с царем получат огласку, то это может иметь неблагоприятное влияние на ход дела на Дальнем Востоке. Вне небольшого круга наших родственников и друзей никто так и не узнал, что великий князь Александр Михайлович перестал участвовать в работах комиссии по эксплуатации лесной концессии на Ялу. Это случилось в 1902 году. Два года спустя в политических кругах утверждали, что виновником русско-японской войны был зять государя с его «авантюрой» на Ялу! Только после того, как большевики опубликовали документы, найденные в архивах министерства двора, роль, которую я сыграл в событиях, предшествовавших русско-японской войне, перестала быть секретом.

3

Я снова искал утешения на борту «Ростислава» и на виноградниках Ай-Тодора, но все же согласился еще раз принять на себя официальный пост. На этот раз в своем решении был виноват исключительно я сам.

Во время частых бесед с Ники я просил его сделать что-нибудь для развития нашего коммерческого флота и улучшения русских торговых портов. Я предложил, чтобы государь создал особое управление торгового мореплавания, изъяв эту важную отрасль государственной жизни из ведения министерства финансов. Государь наконец решил, что я буду начальником Главного управления портов и торгового мореплавания на правах министра. Шестого декабря 1902 года я был произведен в контр-адмиралы и по своей новой должности занял место в Совете министров, как самый молодой член правительства в истории империи.

До этого дня я был в самых дружественных отношениях с министром финансов С.Ю.Витте. Он был ко мне расположен, а мне нравилась широта его взглядов и оригинальность методов управления. Мы часто с ним виделись и вели продолжительные беседы. Все это внезапно оборвалось в день моего назначения. Созвучие слова «порты» с русским простонародным выражением, обозначающим известную часть мужского гардероба, дало повод столичным острякам говорить, что «великий князь Александр Михайлович снял с Витте порты».

Как это ни странно, но этот выдающийся человек пал жертвой собственной боязни сделаться смешным. Еще несколько бойких статей в столичных газетах на ту же тему, и Витте начал ненавидеть меня. Я думаю, что если бы Витте имел возможность объявить мне открытую войну, он чувствовал бы себя лучше. Но

необходимость относиться ко мне со всем уважением, которого требовало мое положение великого князя, причиняла ему невыразимые страдания. В Совете министров он мне никогда не противоречил. Он смотрел с любезной улыбкой, но эта мина никогда не могла скрыть от меня его враждебности. Он боролся со мною всеми тайными способами, которыми располагал министр финансов. Он представлял государю один доклад за другим, жалуясь на «непосильные тяготы, которыми обременяли русский бюджет дорогостоящие начинания начальника Главного управления портов и торгового мореплавания».

В газетах начали появляться статьи, инспирированные Витте, с резкой критикой по адресу моего ведомства. Остальные члены Совета министров, за исключением военного и морского министров, сплотились вокруг своего всесильного коллеги и разделяли его ненависть к втершемуся в их среду великому князю. На мою долю выпадала тяжелая борьба. Мне пришлось бы вести ее одному, если бы не горячая поддержка, оказанная мне теми кругами, которые были заинтересованы в развитии нашей внешней торговли. Мне удалось добиться от нашего тяжелого на подъем правительства, чтобы была организована новая пароходная линия, соединяющая наши южные порты с Персидским заливом, и обеспечена значительная субсидия от правительства четырем русским пароходным обществам, которые начали успешно конкурировать с немцами и англичанами.

Эта первая победа дала мне храбрости, и я мог приступить к осуществлению моего «десятилетнего плана», который устанавливал бюджет нашего торгового мореплавания на десять лет вперед и страховал русских пароходоладельцев от изменчивости настроений в среде Совета министров.

Между тем проблема развития нашей нефтяной промышленности требовала от нас новых усилий. Я предложил государю, чтобы правительство создало общество для эксплуатации нефтяных промыслов, находившихся в Баку. Мне без особого труда удалось доказать, что прибыль, полученная от продажи нефтяных продуктов, легко покроет расходы по осуществлению широкой программы коммерческого судостроения и даже даст значительный излишек для различных усовершенствований. Это простое и вполне логическое предложение вызвало бурю протестов. Меня обвиняли в желании втянуть правительство в спекуляцию. Про меня говорили, что я «социалист», «разрушитель основ», «враг священных прерогатив частного предпринимательства» и т. д.

Большинство министров было против меня. Нефтеносные земли были проданы за бесценок предприимчивым армянам. Тот, кто знает довоенную ценность предприятий «армянского холдинга» в Баку, поймет, какие громадные суммы были безвозвратно потеряны для русского Государственного Казначейства.

4

Двадцать второго января 1903 года «весь Петербург» танцевал в Зимнем дворце. Я точно помню эту дату, так как то был последний большой придворный бал в истории империи. Почти четверть столетия прошло с той достопамятной ночи, когда я и Ники смотрели на появление царя-освободителя под руку с княгиней

под сводами этих зал, отражавших в своих зеркалах семь поколений Романовых. Внешность кавалергардов оставалась все та же, но лицо империи резко изменилось. Новая, враждебная Россия смотрела чрез громадные окна дворца. Я грустно улыбнулся, когда прочел приписку в тексте приглашения, согласно которому все гости должны были быть в русских костюмах XVII века. Хоть на одну ночь Ники хотел вернуться к славному прошлому своего рода.

Ксения была в наряде боярыни, богато вышитом, сиявшем драгоценностями, который ей очень шел. Я был одет в платье сокольничего, которое состояло из белого с золотом кафтана, с нашитыми на груди и спине золотыми орлами, розовой шелковой рубашки, голубых шаровар и желтых сафьяновых сапог. Остальные гости следовали прихоти своей фантазии и вкуса, оставаясь, однако, в рамках эпохи XVII века. Государь и государыня вышли в нарядах московских царя и царицы времен Алексея Михайловича. Аликс выглядела поразительно, но государь для своего роскошного наряда был недостаточно велик ростом. На балу шло соревнование за первенство между Эллой (великой княгиней Елизаветой Федоровной) и княгиней Зинаидой Юсуповой. Сердце мое ныло при виде этих двух «безумных увлечений» моей ранней молодости. Я танцевал все танцы с княгиней Юсуповой до тех пор, пока очередь не дошла до «русской». Княгиня танцевала этот танец лучше любой заправской балерины, на мою же долю выпали аплодисменты и молчаливое восхищение.

Бал прошел с большим успехом и был повторен во всех деталях через неделю в доме богатейшего графа А.Д.Шереметева.

Это замечательное воспроизведение картины XVII века, вероятно, произвело странное впечатление на иностранных дипломатов. Пока мы танцевали, в Петербурге шли забастовки рабочих, и тучи все более и более сгущались на Дальнем Востоке. Даже наше близорукое правительство пришло к заключению, что необходимо «что-то» предпринять для того, чтобы успокоить всеобщие опасения. Тогдашний военный министр генерал Куропаткин произвел «инспекторский смотр» наших азиатских владений. Конечно, он возвратился из командировки и доложил, что «все обстоит благополучно». Если ему можно было верить, то наше положение на Дальнем Востоке представлялось совершенно неуязвимым. Японская армия являлась для нас не серьезной угрозой, а продуктом пылкого воображения британских агентов. Порт-Артур мог выдержать десятилетнюю осаду. Наш флот покажет микадо, «где раки зимуют». А наши фортификационные сооружения, воздвигнутые на Кинджоуском перешейке, были положительно неприступны.

Не было никакой возможности спорить с этим слепым человеком. Я спокойно выслушал его доклад, с нетерпением ожидая, когда он окончит, чтобы немедленно ехать в Царское Село. «К черту церемонии! — думал я по дороге к Ники. — Русский царь должен знать всю правду!»

Я начал с того, что попросил Ники отнестись серьезно ко всему тому, что я буду говорить.

— Куропаткин — или взбалмошный идиот, или безумец, либо и то и другое вместе. Здравомыслящий человек не может сомневаться в прекрасных боевых качествах японской армии. Порт-Артур был очень хорош как крепость при

старой артиллерии, но перед атакой современных дальнобойных орудий он не устоит. То же самое следует сказать о наших Кинджоуских укреплениях. Японцы снесут их, как карточный домик. Остается наш флот. Позволю себе сказать, что в прошлом году, во время нашей «игры» в Морском училище, я играл на стороне японцев и, хотя я не обладаю опытом генералов микадо, разбил русский флот и сделал успешную вылазку у порт-артурских фортов.

— Что дает тебе основание думать, Сандро, что ты более компетентен в оценке вооруженных сил Японии, чем один из наших лучших военачальников? — с оттенком сарказма спросил государь.

— Мое знание японцев, Ники. Я изучал их армию не из окон салон-вагона и не за столом канцелярии военного министерства. Я жил в Японии в течение двух лет. Я наблюдал японцев ежедневно, встречаясь с самыми разнообразными слоями общества. Смейся, если хочешь, но Япония — это нация великолепных солдат.

Ники пожал плечами.

— Русский император не имеет права противопоставлять мнение своего шурина мнению общепризнанных авторитетов.

Я вернулся к себе, дав слово никогда не давать более советов.

Ранней весной мы переехали в Гатчину, а в июне — в Петергоф, по заведенному раз навсегда обычаю, как будто все было в полном порядке.

Однажды утром — это было в июле — позвонили по телефону из Михайловского дворца. Моего отца постиг удар, и он был найден лежащим в бессознательном состоянии на полу спальни.

В течение трех недель он находился между жизнью и смертью, и мы ухаживали за ним днем и ночью. Было бесконечно тяжело смотреть на этого гиганта, который вдруг оказался беспомощным, как ребенок, и потерял дар речи. В возрасте семидесяти одного года, пережив трех императоров, он невыразимо страдал от мысли, что ему приходится умирать в столь тяжелый для России час. Однако его нечеловеческая воля к жизни спасла его: в середине августа он стал говорить, и в его правой половине тела появились признаки улучшения. В сопровождении двух докторов и трех адъютантов он поехал в специальном поезде в Канны. Судьбе было угодно, чтобы он прожил еще шесть лет и увидел разгром русской армии.

5

Сентябрь я провел в Ай-Тодоре и вернулся обратно в Петербург в октябре. Я проводил много времени на службе. Заседания Государственного совета протекали как-то странно не под председательством моего отца. Дети подрастали. Я должен был снова нанять уже для них моих прежних врагов — преподавателей и наставников. Веселье наступившего светского сезона носило натянутый характер. Пожелания счастья на новый, 1904 год звучали как-то саркастически.

Я решил провести январь в Каннах, чтобы лично убедиться в улучшении состояния здоровья отца. В день своего отъезда я виделся с Ники. Чтобы уехать за границу, мы, великие князья, официально должны были испрашивать

разрешения государя. Неофициально же все сводилось к прощальному свиданию в дружественной обстановке за обеденным столом.

Императрица была беременна, и Ники надеялся, что на этот раз родится мальчик. Мы сидели после завтрака в кабинете государя, курили и разговаривали о незначительных вещах. Он ни слова не говорил о положении на Дальнем Востоке и казался веселым. Это была его обычная манера избегать разговоров на неприятные темы.

Я насторожился.

— В народе толки о близости войны, — сказал я.

Государь продолжал курить.

— Ты все еще намерен избежать войны во что бы то ни стало?

— Нет никакого основания говорить о войне, — сухо ответил он.

— Но каким способом ты надеешься предотвратить объявление японцами войны России, если не соглашаешься на их требования?

— Японцы нам войны не объявят.

— Почему?

— Они не посмеют.

— Что же, ты примешь требования Японии?

— Это становится, наконец, скучным, Сандро. Я тебя уверяю, что войны не будет ни с Японией, ни с кем бы то ни было.

— Дай-то Бог!

— Это так и есть!

Нелепый и дикий разговор! Я уехал в Канны.

Три недели спустя, на обратном пути, выйдя из поезда на Лионском вокзале в Париже, я прочел в газете громадный заголовок:

«Японские миноносцы произвели внезапную атаку на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура».

Верные своим восточным обычаям, они сперва нанесли удар, а потом объявили нам войну.

Глава XIV

Тысяча девятьсот пятый год

1

Я видел Ники в день моего возвращения из Канн в С.-Петербург. Он стоял, угрюмый и расстроенный, в кабинете своего отца в Аничковом дворце. Глаза его были устремлены невидящим взглядом на большие окна. Казалось, он следил за каплями падавшего дождя.

Мое появление смутило его. Лицо исказила судорога. Он ждал тяжелого объяснения, града упреков за прошлое. Я поторопился устранить все его опасения.

— Я пришел к тебе, Ники, — сказал я спокойно, — чтобы получить у тебя разрешение на отъезд в Порт-Артур. Надеюсь, что ты сочувствуешь моему

вполне естественному желанию быть в настоящее время вместе с моими флотскими друзьями.

Лицо его прояснилось.

— Я всецело понимаю тебя, но отпустить не могу. Ты мне будешь нужен в Петербурге. Я хочу воспользоваться твоим опытом. Ты должен немедленно повидаться с дядей Алексеем и морским министром.

В течение часа я старался ему доказать, что мог бы принести гораздо большую пользу в Порт-Артуре, чем в столице, но государь не соглашался. Я подозревал, что на него повлияли его мать и Ксения, которые не хотели подвергать меня непосредственной опасности.

В тот же день я встретил адмирала Авелана, моего бывшего командира по «Рынде», превосходного моряка, который, однако, совершенно не подходил для административного поста морского министра. Ни он, ни начальник главного морского штаба адмирал Рожественский не могли мне объяснить, что же теперь будет и каким образом мы с нашими сорока пятью боевыми единицами, составляющими Тихоокеанскую эскадру, сможем одержать победу над японскими судами, построенными на английских судостроительных верфях?

От волнения налитые кровью глаза Авелана лезли буквально на лоб. Рожественский же заявил, что готов немедленно отправиться в Порт-Артур и встретиться с японцами лицом к лицу. Его почти нельсоновская речь звучала комично в устах человека, которому была вверена почти вся власть над нашим флотом. Я напомнил ему, что Россия вправе ожидать от своих морских начальников чего-нибудь более существенного, нежели готовности пойти ко дну.

— Что я могу сделать? — воскликнул он. — Я знаю, общественное мнение должно быть удовлетворено. Я также вполне отдаю себе отчет в том, что мы не имеем ни малейшего шанса победить в борьбе с японцами.

— Отчего вы не думали об этом раньше, когда высмеивали моряков микадо?

— Я не высмеивал, — упрямо возразил Рожественский. — Я готов на самую большую жертву. Это максимум того, что можно ожидать от человека.

И этот человек с психологией самоубийцы собирался командовать нашим флотом! Я был глубоко потрясен и, забыв общеизвестные черты характера нашего милейшего генерал-адмирала, отправился к нему. Свидание носило скорее комический характер. Все вооруженные силы микадо на суше и на море не могли поколебать оптимизма дяди Алексея. Его девиз был неизменен: «Мне на все наплевать». Каким образом должны были проучить наши «орлы» «желтолицых обезьян», так и осталось для меня тайной. Покончив таким образом со всеми этими вопросами, он заговорил о последних новостях с Лазурного берега. Что бы он дал, чтобы очутиться в Монте-Карло! Пошли вопросы: видел ли я госпожу М. и понравилась ли мне госпожа Н.? Не соберусь ли я к нему пообедать и вспомнить старое? Его повар изобрел новый способ приготовления стерляди, представляющий собою величайшее достижение кулинарного искусства, и т.д.

Главкомандующим нашей армии в Маньчжурии был назначен генерал Куропаткин. В противоположность нашим морским начальникам Куропаткин

был полон оптимизма и уже победил японцев по всему фронту задолго до того, как его поезд выехал из Петербурга на Дальний Восток. Типичный офицер Генерального штаба, он всецело полагался на свои теоретические расчеты, диспозиции и т. п. Что бы ни предприняли японцы, у Куропаткина имелся про запас контрманевр. Он очень охотно беседовал с петербургскими журналистами и давал подробные интервью.

А в это время бесконечные воинские эшелоны медленно переползали через Урал. Три четверти солдат, которые должны были драться, только накануне узнали о существовании японцев. Им казалось непонятным, как можно оставлять родные места и рисковать своими жизнями в войне с народом, который не причинил им никакого непосредственного зла.

— Далеко ли до фронта? — спрашивали они своих офицеров.

— Больше десяти тысяч верст.

Десять тысяч верст... Даже словоохотливый Главнокомандующий русской армией не мог бы объяснить этим солдатам, для чего понадобилось России воевать со страной, расположенной на расстоянии семи тысяч верст от тех мест, где русский мужик трудился в поте лица своего.

Бросалось в глаза одно нововведение: уходящие полки благословлялись иконой Св. Серафима Саровского, которого недавно канонизировал Синод. Незнакомые черты его лица очень угнетающе действовали на солдат. Уж если нужно было вовлекать Бога и святых в преступную дальневосточную бойню, то Ники и его епископы не должны были отказываться от верного и привычного Николая Угодника, который был с Российской империей все триста лет сражений. К концу русско-японской войны я чувствовал прямо-таки отвращение к самому имени Серафима Саровского. Хоть он и вел праведную жизнь, но в деле вдохновения русских солдат он потерпел полную неудачу[10].

2

Бесцельно пересказывать вновь эпопею русско-японской войны. В течение восемнадцати месяцев мы шли от одного поражения к другому. Когда она окончилась и Витте удалось заставить японцев принять довольно сносные условия мира, наши генералы заявили, что, если бы у них было больше времени, они могли бы выиграть войну. Я же полагал, что им нужно было дать двадцать лет для того, чтобы они могли поразмыслить над своей преступной небрежностью. Ни один народ не выигрывал и не мог выиграть войны, борясь с неприятелем, находившимся на расстоянии семи тысяч верст, и в то время, когда внутри страны революция вонзала нож в спину армии.

Мое личное участие в войне 1904—1905 гг. оказалось весьма неудачным. В феврале 1904 года государь возложил на меня задачу организовать так называемую крейсерскую войну, имевшую целью следить за контрабандой, которая направлялась в Японию. Получив необходимые данные из нашей контрразведки, я выработал план, который был утвержден Советом министров и который заключался в том, что русская эскадра из легковооруженных пассажирских судов должна была наблюдать за путями сообщения в Японию. При помощи своих агентов я приобрел в Гамбурге у «Гамбург — Американской линии» четыре парохода по 12 тысяч тонн водоизмещением. Эти суда,

соединенные с несколькими пароходами Добровольного флота, составляли ядро эскадры для «крейсерской войны». Они были оснащены артиллерией крупного калибра и находились под начальством опытных и храбрых моряков.

Замаскировав движение избранием направления, казавшегося совершенно невинным, наша флотилия появилась в Красном море как раз вовремя, чтобы захватить армаду из 12 судов, нагруженных боеприпасами и сырьем и направлявшихся в Японию. Добытый таким образом ценный груз возмещал расходы, понесенные при выполнении моего плана. Я надеялся получить высочайшую благодарность. Однако наш министр иностранных дел бросился в Царское Село с пачкой телеграмм: в Берлине и Лондоне забили тревогу. Британское министерство иностранных дел выражало «решительный протест», Вильгельм II шел еще дальше и отзывался о действиях нашей эскадры «как о небывалом акте пиратства, способном вызвать международные осложнения».

Получив вызов по телефону, я поспешил в Царское Село и застал Ники и министра иностранных дел в полном отчаянии. Тут же сидели в креслах с видом напроказивших детей, пойманных за кражей сладкого, дядя Алексей и адмирал Авелан. В роли «дурного мальчишки», соблазнившего их на этот поступок, оказался я, и все стремились возложить на меня всю ответственность за происшедшее. Ники, казалось, забыл, что идея «крейсерской войны» родилась в его присутствии, и он выразил тогда свое полное согласие на ее осуществление. Теперь он требовал объяснений.

— Какие же объяснения? — воскликнул я, искренно удивленный. — С каких пор великая держава должна приносить извинения за то, что контрабанда, адресованная ее противнику, не дошла по назначению? Зачем мы послали наши крейсера в Красное море, как не с целью ловить контрабанду? Что это, война или обмен любезностями между дипломатическими канцеляриями?

— Но разве, Ваше Высочество, вы не понимаете, — кричал министр иностранных дел, окончательно впавший, по-видимому, в детство, — как мы рискуем тем, что нам будет объявлена война Великобританией и Германией. Разве вы не понимаете, на что намекает Вильгельм в своей ужасной телеграмме?

— Нет, не понимаю. Более того, я сомневаюсь, знает ли сам германский император, что он хотел выразить своей телеграммой. Мне ясно только одно: он по обыкновению ведет двойную игру. Друг он нам или не друг? Чего же стоят его рассуждения о необходимости объединения всех белых пред лицом желтой опасности?

— Вы видите, — продолжал кричать министр иностранных дел, — Его Высочество совершенно не отдает себе отчета в серьезности создавшегося положения. Он даже старается оправдать действия своей эскадры.

«Своей эскадры»... Я взглянул на адмирала Авелана и дядю Алексея. Мне казалось, что они будут достаточно мужественны, чтобы опровергнуть этот вздор, но оба молчали. Таким образом, я оказался в роли зачинщика, а они в роли детей, которых направили по ложному пути.

— Сандро, я принял решение, — твердо сказал Ники. — Ты должен немедленно распорядиться, чтобы эскадра освободила захваченные в Красном море пароходы и в дальнейшем воздержалась от подобных действий.

Я задыхался от унижения. Я думал об офицерах и команде наших крейсеров, которые так гордились тем, что им удалось совершить, и ожидали поощрения. Передо мною мелькнуло ненавистное лицо Вильгельма, который торжествовал победу. А мои бывшие друзья в Токио? Как будет смеяться старый хитрец граф Ито!

В обычное время я подал бы в отставку и отказался от всех моих должностей, включая пост начальника Главного управления портов и торгового мореплавания. Но великий князь не имел права покидать своего государя в тяжелое время. Подавив горечь, я подчинился.

3

Эпизод с «крейсерской войной» причинил мне громадное разочарование. Я надеялся, что Ники оставит меня в покое, перестанет рассчитывать на мою помощь и спрашивать моих советов. Но я ошибся. Мое мнение опять понадобилось. Начинался новый кошмар. Мы сидели в Царском с Ники, дядей Алексеем и Авеланом и обсуждали новый важный вопрос. Нам предстояло решить, должны ли мы утвердить план адмирала Рожественского, который предлагал отправить наши военные суда на Дальний Восток на верную гибель?

Сам адмирал не питал каких-либо надежд на победу. Он просто думал о том, что надо «чем-нибудь удовлетворить общественное мнение». Наш флот и тысячи человеческих жизней должны быть принесены в жертву невежественным газетным «специалистам по морским вопросам». Эти последние открыли недавно существование некоторых технических морских терминов, вроде «боевой коэффициент», «морской тоннаж» и т. п., и старались ежедневно доказать в газетных столбцах, что японцев можно пустить ко дну соединенными силами наших Тихоокеанской и Балтийской эскадр.

Ники объяснил нам причину совещания и просил всех искренно высказать свое мнение по этому вопросу.

Дядя Алексей ничего не мог сказать и имел гражданское мужество в этом признаться. Авелан говорил много, но не сказал ничего путного. Его речь была на тему «с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, нельзя не признаться...». Рожественский блеснул еще раз основательным знанием Нельсона. Я говорил последним и решил не церемониться. К моему величайшему удивлению, было решено последовать моему совету и наш Балтийский флот на верную гибель в Тихий океан не посылать.

В течение двух недель все было благополучно, но к концу второй недели Ники снова изменил свое мнение. Наш флот должен был все-таки отправиться на Дальний Восток, и я должен был сопровождать государя в Кронштадт для прощального посещения наших кораблей. По дороге в Кронштадт я снова пробовал высказать свою точку зрения и встретил поддержку в лице весьма опытного флаг-капитана императорской яхты «Штандарт». Государь снова начал колебаться. В душе он соглашался со мною.

— Дай мне еще раз поговорить с дядей Алексеем и Авеланом, — сказал он, когда мы переходили на яхту адмирала. — Дай мне поговорить с ними с глазу на глаз. Я не хочу, чтобы твои доводы на меня влияли.

Их заседание длилось несколько часов. Я же в роли «enfant terrible» нашего флота ожидал их на палубе.

— Ваша взяла, — сказал Авелан, появляясь на палубе. — Мы приняли неизменное решение эскадры на Дальний Восток не посылать.

«Неизменность» решения Ники продолжалась десять дней. Затем он в третий и последний раз переменял свое решение: наши суда, матросы и офицеры должны быть все-таки принесены в жертву на алтарь общественного мнения.

Четырнадцатого мая — в девятую годовщину коронации — наш пикник в Гатчине был прерван прибытием курьера от Авелана: русский флот был уничтожен японцами в Цусимском проливе, адмирал Рожественский взят в плен. Будь я на месте Ники, то немедленно отрекся бы от престола. В цусимском поражении он не мог винить никого, кроме самого себя. Он должен был бы признаться, что у него не доставало решимости осознать все неизбежные последствия этого самого позорного в истории России поражения. Государь ничего не сказал по своему обыкновению. Только смертельно побледнел и закурил папиросу.

В этот день его единственному сыну Алексею исполнилось девять с половиной месяцев и прошло немного более трех месяцев со дня убийства дяди Сергея в Москве.

4

Вся Россия была в огне. В течение всего лета громадные тучи дыма стояли над страной, как бы давая знать о том, что темный гений разрушения всецело овладел умами крестьян, и они решили стереть всех помещиков с лица земли. Рабочие бастовали. В Черноморском флоте произошел мятеж, чуть не принявший широкие размеры, если бы не лояльность моего бывшего флагманского судна «Ростислав». Новый министр внутренних дел князь Святополк-Мирский, заменивший убитого Плеве, говорил о «своей бесконечной вере в мудрость общественного мнения». А тем временем революционеры убивали высших должностных лиц вблизи тех мест, где Святополк-Мирский произносил свои речи. Латыши и эстонцы методически истребляли своих исконных угнетателей — балтийских баронов, и один из блестящих полков гвардии должен был нести в прибалтийских губерниях неприятную обязанность по охране помещичьих усадеб. Полиция на местах была в панике. Из всех губерний неслись вопли о помощи и просьбы прислать гвардейские части или казаков. Было убито так много губернаторов, что назначение на этот пост было равносильно смертному приговору. Заключение мира с Японией, состоявшееся благодаря дружественному вмешательству президента США Рузвельта, поставило на очередь чрезвычайно сложную проблему: вернуть наши военные части с фронта в Европейскую Россию по Сибирской железной дороге, охваченной на большей части пути всеобщей забастовкой.

Шестого августа был подписан Манифест о созыве Государственной думы, обладавшей законосовещательными правами. Эта полумера, вместо успокоения, лишь удвоила агрессивность революционеров.

Война была окончена, но необходимо было немедленно приступить к постройке эскадры минных крейсеров за счет сумм, полученных по всенародной подписке, и эту новую задачу Ники возложил на меня. Я выехал в Ай-Тодор. Госпиталь, который я построил предыдущим летом у себя в имении для выздоравливающих офицеров, хорошо работал, но революционное движение захватило даже благословенный Крым. Для нашей охраны из Севастополя прибыла рота солдат. Мы впали в уныние, дети были подавлены. Телефонное сообщение с Севастополем было прервано забастовкой. То же самое происходило с почтой. Отрезанный от всего мира, я проводил вечера, сидя на скамейке около Ай-Тодорского маяка и мучительно стараясь найти выход из создавшегося положения.

Чем больше я думал, тем более мне становилось ясным, что выбор лежит между удовлетворением всех требований революционеров или объявлением им беспощадной войны. Первое решение неизбежно привело бы Россию к социалистической республике, так как не было еще примеров в истории, чтобы революции останавливались на полдороге. Второе — возвратило бы престиж власти. Но во всяком случае положение прояснилось бы. Если Ники собирался стать полковником Романовым, то путь к этому был чрезвычайно прост. Но если он хотел выполнить присягу и остаться монархом, он не должен был отступать ни на шаг перед революционными болтунами. Таким образом, было два исхода: или белый флаг капитуляции, или же победный взлет императорского штандарта. Как самодержец всероссийский, Николай II не мог допустить никакой иной эмблемы на шпиле Царскосельского дворца.

Полторы тысячи миль отделяли Петербург от Ай-Тодора. Еще большее расстояние отделяло мое мировоззрение от нерешительности императора Николая II. Семнадцатого октября 1905 года после бесконечного совещания, в котором приняли участие Витте, великий князь Николай Николаевич и министр двора Фредерикс, государь подписал Манифест, весь построенный на фразеях, имевших двойной смысл. Николай II отказался удовлетворить силы революции — крестьян и рабочих, но перестал быть самодержцем, который поклялся в свое время в Успенском соборе свято соблюдать права и обычаи предков. Интеллигенция получила наконец долгожданный парламент, а русский царь стал пародией на английского короля — и это в стране, находившейся под татарским игом в год принятия Великой хартии вольностей. Сын императора Александра III соглашался разделить свою власть с бандой заговорщиков, политических убийц и тайных агентов департамента полиции.

Это был конец! Конец династии, конец империи! Прыжок через пропасть, сделанный тогда, освободил бы нас от агонии последующих двенадцати лет!

Как только телеграфное сообщение с Петербургом восстановилось, я немедленно телеграфировал Ники, прося об отставке от должности начальника Главного управления портов и торгового мореплавания. Я не хотел иметь ничего общего с правительством, идущим на трусливые компромиссы, и менее всего с группой бюрократов, во главе которой встал Витте, назначенный российским премьер-министром.

Бесчинства проклятого 1905 года продолжались все возрастающим темпом.

В конце октября по России прокатилась волна еврейских погромов, которые либеральный Витте не мог остановить. Этот самодовольный Макиавелли воображал, что получит поддержку крайне правых элементов, разрешив пьяной черни разрушать дома и лавки еврейского населения. Он был достоин презрения и жалости!

Кульминационный момент кровопролития наступил в декабре, когда л.-гв. Семеновский полк должен был экстренно прибыть в Москву на подмогу беспомощной полиции для подавления восстания на Пресне.

Выборы в Государственную думу происходили в атмосфере политических убийств, забастовок, экспроприации и поджогов помещичьих усадеб. Большевики советовали своим сторонникам бойкотировать на выборах Государственную думу, уступив поле битвы для триумфа партии конституционных демократов, состоявшей из профессоров, журналистов, врачей, адвокатов и пр., предводительствуемых поклонниками английской конституции.

Утром 27 апреля 1906 года вдовствующая императрица, великий князь Михаил Александрович, Ксения и я сопровождали царя и царицу из Петергофа в Зимний дворец на открытие Государственной думы.

Церемония происходила в том же зале, в котором одиннадцать лет тому назад Ники просил представителей земско-городского съезда забыть о «бессмысленных мечтаниях», и эта неудачная фраза стала с тех пор боевым кличем революции.

Все мы были в полной парадной форме, а придворные дамы — во всех своих драгоценностях. Более уместным, по моему мнению, был бы глубокий траур.

После богослужения Ники прочел короткую речь, в которой подчеркнул задачи, стоявшие пред членами Государственной думы и преобразованного Государственного совета. Мы слушали стоя. Мои близкие сказали мне, что они заметили слезы на глазах вдовствующей императрицы и великого князя Владимира. Я сам бы не удержался от слез, если бы меня не охватило странное чувство при виде жгучей ненависти, которую можно было заметить на лицах некоторых наших парламентариев. Мне они показались очень подозрительными, и я внимательно следил, чтобы они не подошли слишком близко к Ники.

— Я надеюсь, что вы начнете свою работу в дружном единении, вдохновленные искренним желанием оправдать доверие монарха и нашей великой Родины. Да благословит вас Господь!

Таковы были заключительные слова государя. Он читал свою речь звонким, внятным голосом, сдерживая чувства и скрывая горечь.

Затем раздались крики «ура» — громкие там, где находились члены Государственного совета, слабые, где были члены Думы, — и похороны самодержавия были закончены. Мы переоделись и возвратились в Петергоф.

Витте был смещен накануне открытия Думы, и во главе напуганных сановников стоял теперь Горемыкин, дряхлый, покрытый морщинами, выглядевший как ходячий труп, поддерживаемый невидимой силой.

Во дворце царила подавленная атмосфера. Казалось, что приближенные царя пугались собственной тени. Я задышался. Меня тянуло к морю. Новый морской министр, адмирал Бирилев, предложил мне принять на себя командование флотилией минных крейсеров Балтийского моря. Я немедленно согласился. В том настроении, в котором я был, я согласился бы мыть палубы кораблей! Я задрожал от счастья, когда увидел мой флаг, поднятый на «Алмазе», и испытывал живейшую радость, что по крайней мере три месяца проведу вдали от «пляски смерти».

Ксения и дети проводили лето в Гатчине. Раз в неделю они навещали меня. Мы условились, что в моем присутствии не будет произнесено ни одного слова о политике. Все, что я знал о политических новостях, — это то, что молодой, энергичный саратовский губернатор Столыпин заменил Горемыкина. Мы плавали в финских водах на яхте моего шурина Миши и говорили о предметах, очень далеких от новой российской «конституции».

Однажды пришло известие из Гатчины о том, что один из моих сыновей заболел скарлатиной и находится в тяжелом состоянии. Я должен был немедленно выехать.

— Я вернусь при первой же возможности, — обещал я своему помощнику. — Вероятно, на следующей неделе.

Эта «следующая неделя» так никогда и не наступила. Через три дня я получил от моего денщика, остававшегося на «Алмазе», записку, что экипаж крейсера готов восстать и только ждет моего возвращения, чтобы взять меня заложником.

— Я глубоко огорчен, Сандро, но в данном случае тебе не остается ничего другого, как подать в отставку, — решил Ники. — Правительство не может рисковать — выдать члена императорской фамилии в руки революционеров.

Я сидел за столом напротив него, опустив голову. У меня больше не было сил спорить. Военные поражения, полный крах всех моих усилий, реки крови и — в довершение всего — мои матросы, которые хотели захватить меня в качестве заложника. Заложник — такова была награда за те двадцать четыре года, которые я посвятил флоту. Я пожертвовал всем — моей молодостью, моим самолюбием, моей энергией — ради нашего флота. Когда я разговаривал с матросами, я ни разу в жизни не повышал голоса. Я радел о их пользе перед адмиралами, министрами, государем! Я дорожил популярностью среди флотских команд и гордился тем, что матросы смотрели на меня как на своего отца и друга. И вдруг — заложник!!!

Мне казалось, что я лишусь рассудка. Что мне оставалось делать? И вдруг меня осенило. Ведь под предлогом болезни сына я мог уехать за границу!

— Ники, — начал я, стараясь говорить убедительно, — ты знаешь, что Ирина и Федор больны скарлатиной. Доктора находят, что перемена климата могла бы принести им большую пользу. Что ты скажешь, если я уеду месяца на два за границу?

— Конечно, Сандро...

Мы обнялись. В этот день Ники выказал благородство. Он даже не подал вида, что догадывается об истинных причинах моего отъезда. Мне было стыдно

пред самым собою, но я не мог ничем помочь. «Я должен бежать. Должен бежать». Эти слова, как молоты, бились в моем мозгу и заставляли меня забывать об обязанностях пред престолом и Родиной. Но все это потеряло для меня смысл. Я ненавижу такую Россию[11].

10 Этот абзац отсутствует в предыдущих русских изданиях воспоминаний. — Прим. ред.

11 В английском тексте слова «такую» нет, зато присутствует в русском варианте воспоминаний. — Прим. ред.

Глава XV

Рикошет

1

Я начинаю рассказ о восьми годах — от моего бегства из России в сентябре 1906 года до начала Мировой войны — со странным чувством человека, который смотрит на значительный отрезок своей жизни так же, как отлетевшая душа на пустую оболочку своей прежней инкарнации. Я не узнаю себя. Я презираю незнакомца, который узурпировал мое имя. Я краснею от стыда. И в то же время я ни о чем не сожалею. Доведись мне еще раз жить в 1906—1914 годах, я бы вновь с готовностью и безрассудством принял вызов непобедимой страсти.

Мое признание добровольно. Я мог бы, конечно, скрыть неприятную правду за дымовой завесой напыщенных банальностей. Но тогда зачем было писать эту книгу, если надо лгать? Я не ищу сочувствия. У меня нет извиняющих меня обстоятельств. Я излагаю факты так, как они происходили, — и радостные, и болезненные. Радостные — потому что я сохранил веру в себя. Болезненные — потому что я понимаю, как много я пропустил и не добился за эти восемь лет[12].

Мы в Биаррице, на вилле «Эспуар». Вся семья, слава богу, со мною. Я покинул Россию без тени сожаления. Я так измучен событиями последних лет, я так глубоко чувствую, что Россия на краю гибели, и никто, и ничто не в силах изменить фатальный ход событий.

В Биаррице дышится легко. Если бы я мог, то остался здесь навсегда. Я отгоняю совестью эту соблазнительную мысль, я стараюсь заглушить ее голосом души, чувством долга, во мне постоянно идет напряженная борьба: русский вопрос, Россия, мои житейские разочарования последних лет, моя неспособность помочь, спасти родину и кровная преданность ей восстают против человеческого, мелкого желания отдыха, покоя и счастливой жизни среди своей семьи.

Мы все здесь: Ксения, я, шестеро детей, три няни, два воспитателя, француз и англичанин, гувернантка Ирины, фрейлина Ксении, мой адъютант и девять слуг.

Ольга, сестра Ксении, приехала в Биарриц раньше нас и живет в «Отель дю Палэ». В первое же утро после нашего приезда, изнывая от томительной сентябрьской жары, с лицами, распухшими от укусов moskitov, мы устремляемся на пляж и зарываемся в песок. Сердца наши поют. Мы сбежали из России, и я думаю, что мы никогда не вернемся.

Напротив нашей виллы расположена площадка для гольфа. Я с увлечением начинаю учиться этой игре. *Я никогда раньше в нее не играл, но теперь отдаюсь ей всей душой — еще и потому, что ничто в ней и в ее правилах не напоминает мне о России.* Мы быстро входим в жизнь биаррицкого общества. Мы встречаемся со многими людьми, устраиваем завтраки, обеды, играем в покер, бридж, ездим на пикники.

Я поймал себя на том, что с интересом смотрю на женщин. Это стало для меня открытием: все двенадцать лет супружеской жизни я видел только одно женское лицо — лицо Ксении. Меня стали интересовать светские знакомства, казавшиеся ранее скучной обязанностью. Я увлекался застольными беседами более, чем допускал строгий этикет. Я провозглашал тосты и завязывал новые знакомства.

Я понимал, что столь изменившееся отношение к жизни нарушит мое счастье, но это, казалось, меня не беспокоило. Вообще меня мало что волновало, раз Россия и мы сами летим в бездну.

Сначала мы собирались прожить тут три месяца, но я уговорил Ксению остаться. Приближалось Рождество с новыми развлечениями. Ирина и Федор окончательно поправились. Детей приглашают на елки. Мы все, взрослые и дети, веселимся и наслаждаемся простой, легкой жизнью, я отгоняю мысли о России, я живу, как живут сотни тысяч людей, всецело отдаваясь удовольствиям и развлечениям.

Это было наше самое веселое Рождество за двенадцать лет. Никаких дворцовых приемов, обменов визитами с людьми скучными и напыщенными, никаких ограничений. Обычный человеческий праздник, который мы проводим с детьми и друзьями.

Потом наступил охотничий сезон, пикники на природе и обеды в Биаррице в атмосфере полной раскованности, легкой усталости и приятной возбужденности. Наши друзья всегда вели подобный образ жизни, а для нас он был в диковинку. Каждое утро я спешил к окну, чтобы удостовериться, что мы еще тут и отделены тысячами миль от царских дворцов, Государственного совета, министров и родственников.

Мне начала нравиться одна дама, которая часто бывала на нашей вилле. Она была очаровательно и неагрессивно умна, но без налета внешнего блеска и коктейльного остроумия. Ее испанские и итальянские предки наградили ее солидной культурой и научили ее, что утонченность — враг добросовестности. В странах английского языка я бы побаивался и избегал такого человека. В романских странах, однако, она была восхитительна.

Мы часто оставались вдвоем. Она никогда не говорила: «Я не хочу этого, я хочу того». Она не строила из себя очаровательного котенка; она понимала, что я только что избежал полного краха. Лучшего спутника я бы себе не нашел. Если бы кто-нибудь спросил меня в первый месяц нашего с ней

знакомства: «Ты ее любишь?», я бы ответил: «Конечно, нет. Но она мне очень нравится. Я восхищаюсь ею, но любовью это не назовешь. Любовь — это как удар молнии, и исчезает она так же внезапно. А нежность остается и, дай ей время, достигает лучших результатов».

Сказать по правде, я мог бы сохранить полный контроль над собой, если бы захотел. Но предпочел не захотеть. Возможно, мною двигало любопытство. Так или иначе, я стал нажимать не на тормоз, а на скорость. Я был готов изведать горечь на дне своего бокала.

Я сравнивал свои чувства к Ксении с тем, как я относился к этой новой женщине, и сравнение сбивало меня с толку. Я не мог понять, кто мне нужен больше. Одна олицетворяла все лучшее в моем характере, другая давала возможность избавиться от прошлого напряжения и ужаса. Надо было выбирать. Но сама мысль о необходимости выбора была мне отвратительна. Я был отцом шестерых детей и ожидал в ближайшие недели рождение седьмого.

2

Весной в Биарриц приехал дядя Берти — английский король Эдуард VII. Ксения была племянницей его жены, королевы Александры, и наши отношения всегда отличались большой теплотой даже тогда, когда Британия поддерживала Японию во время войны с Россией. Король Эдуард поселился в «Отель дю Палэ». Местное население относилось к нему с особою теплотою, сам он, приехав инкогнито, наслаждался свободной жизнью в Биаррице, быстро завоевав всеобщие симпатии.

Король — удивительный человек, с ярко выраженной индивидуальностью и большим обаянием. Мы часто встречались, и я ни секунды не скучал в его обществе. Чем бы мы ни занимались — играли в бридж, сидели за обеденным столом или практиковались в гольфе — все выглядело иначе под влиянием его личности. Я знал многих императоров, королей, президентов и премьер-министров, но он превосходил всех ясностью ума и достоинствами государственного деятеля. Ничего удивительного, что кайзер Вильгельм ненавидел его.

Простота его манер и мягкая доброта, с которой он общался с самым мелким гостиничным служащим, была совершенно естественной и ничуть не походила на вымученную фамильярность мультимиллионеров и политиков. Ему не было нужды говорить себе: «Дай-ка я скажу пару фраз младшему носильщику, чтобы он на всю жизнь запомнил мою милостивую благосклонность». Он действительно симпатизировал этому подростку, как он симпатизировал всем, кто собственным трудом зарабатывал себе на жизнь.

Я никогда не завидовал силе и мощи Британской империи, ее богатству и месту под солнцем, но я всегда завидовал масштабу ее правителей. Королева Виктория, король Эдуард VII, Георг V и нынешний принц Уэльский — в какой еще стране могли родиться на протяжении четырех поколений такие монархи?!

Императрица Мария Федоровна тоже решила посетить Биарриц. Она приехала отдельным поездом в сопровождении фрейлины Озеровой и князя Шервашидзе, и ее приезд стал еще одним большим событием для Биаррица.

Императрица поселяется в тех же комнатах «Отель дю Палэ», откуда только что выехал король Эдуард. Она радуется, что она с нами, ей нравятся наши друзья и наш образ жизни.

Я заказываю большой автомобиль фирме «Делоннэ-Бельвиль» в соответствии с размерами нашей семьи: восемь мест внутри и два около шофера. Я сам управляю им, так как хорошо знаю местность.

Наступает май, лучшее время года в Биаррице. Еще не жарко, масса цветов, поспевают ягоды, но мы должны уезжать.

Мы отправляемся в путь вместе с императрицей. Происходит несколько официальных встреч по дороге. Близ Парижа императрицу приветствует французский президент А. Фальер, и наконец мы в России — в Гатчине.

Здесь в конце июня рождается Василий, наш седьмой ребенок. Он так слаб, что доктора боятся, что он не выживет, и приходится срочно вызывать священника, чтобы окрестить новорожденного, на этот раз без всякой торжественности. Василий, однако, обманул мрачные прогнозы докторов: он женился недавно в Нью-Йорке на княжне Голицыной.

3

Чтобы сохранить лицо, я остаюсь в России до начала осени.

После Гатчины мы живем в Петергофе, затем в Крыму. Я бываю повсюду, делаю визиты и исполняю свои обязанности. Ники и его министры рассказывают мне о серьезности политического положения. Вторая Дума состоит из открытых бунтовщиков, которые призывают страну к восстанию.

Ники вынужден отправить их по домам и назначить новые выборы, второй раз за одиннадцать месяцев. Люди хвалят твердость Столыпина. «Он чудесный, не правда ли?» — спрашивают меня на каждом углу. «Да», — отвечаю я машинально. Меня совершенно не интересует ни их новый премьер-министр, ни вся эта заваруха. Все мои мысли — в Биаррице. Теперь я ее люблю. Я гулял по паркам Ай-Тодора, гадая, понравились бы ей климат и природа Крыма.

— Уже уезжаете? — спрашивали меня друзья. Да будь у меня развязаны руки, они бы меня вообще тут не увидели!

Проведя лето в Крыму, мы уходим с императрицей на «Полярной звезде» в непродолжительное плавание, посещаем Норвегию, Данию, а затем я с Ксенией еду в Баден-Баден навестить отца. Мы находим его в хорошем виде. Он немного может ходить, и голова его свежа. Он счастлив нашему приезду, особенно Ксении, которую так обожает.

Отец хочет вернуться на зиму на Французскую Ривьеру. Мы все отправляемся туда. Отец по железной дороге, мы в автомобиле через Швейцарию. Моя сестра Анастасия (герцогиня Мекленбург-Шверинская) и брат мой Михаил, находившийся «в изгнании», встречают нас в Каннах. Анастасия поразительно красива — ее появление в обществе вызывает повсюду восхищение. Михаил живет со своей морганатической женой и двумя дочерьми

(теперь леди Милфорд-Хейвен и леди Зия Вернер) на вилле «Казбек», которая является штаб-квартирой их бесчисленных друзей. В Каннах, как и в Биаррице, идет легкая, беспечная жизнь, в которую я окунаюсь с головой, *хотя еще два года назад такое времяпрепровождение меня бы взбесило. Предвкушение встречи с любимой женщиной полностью изменило мой характер.* Никакой работы, никаких обязанностей, только гольф, развлечения и поездки в Монте-Карло, где Анастасия играет с большим азартом. За Каннами следует Венеция, затем Рим.

Мы нагрянули в «Гранд-отель» в Риме всей семьей, и администрация отеля не могла поверить, что все эти мужчины, дамы, дети, няньки в формах и без оных, прислуга, воспитатели и т.п. принадлежат к семье одного русского великого князя. Если бы нашелся еще один такой великий князь, администрации пришлось бы строить второй отель.

Моя подруга держит слово и приезжает в Рим точно в тот день, как мы договорились несколько месяцев назад. В нашей программе — поездка в Венецию, классический город всех любовников. Кто не влюблен, пусть едет во Флоренцию, где его одиночество будет гармонично соответствовать вечноморозящему дождю. Но я-то был влюблен! Мы оба хорошо знали Венецию — мое первое знакомство с этим романтическим городом состоялось еще в 1872 году. Мы бродили по дворцам любвеобильных средневековых герцогов, как будто мы потеряли и нашли друг друга несколько веков назад.

«Увидимся снова в Биаррице. И скоро!»

После Рима мы должны ехать в Биарриц. Наши сундуки уже уложены и счета оплачены, как вдруг мой сын Дмитрий начинает жаловаться на головную боль. «Скарлатина» — диагностируют врачи. Ксения и шестеро детей отправляются в Биарриц. Я остаюсь с Дмитрием. *Вчерашний любовник превращается в сиделку.* Осложнения, обычно сопровождающие скарлатину, выражаются у Дмитрия болезнью уха. В течение четырех недель я сижу у постели сына, предаваясь горестным размышлениям. *Мне бы следовало понять, что его болезнь — это мне знак; я же ничего не понимал и мечтал о Биаррице. Если бы Дмитрий не поправился, со мной могло случиться что угодно. А потом почти все и случилось.*

В Биаррице с прошлого года ничего не изменилось. Те же развлечения, те же лица, те же безумства, за которыми следуют угрызения совести. *Я все больше схожу с ума и не могу больше таиться от Ксении. Рассказываю ей все. Она тихо сидит, слушает, потом начинает плакать. У меня тоже слезы. Она вела себя как ангел. Сердце ее было разбито, но даже такую ужасную правду она предпочла лжи. Мы всесторонне обсудили ситуацию и решили оставить все по-прежнему ради детей. Мы навсегда остались друзьями и стали друг другу даже ближе после такого испытания. Вся добродетель — на ее стороне, вся вина — на мне. Она проявила себя как великая женщина и замечательная мать.*

Как-то утром, просматривая газеты, я увидел заголовки, сообщавшие об удачном полете Блерио над Ла-Маншем. Эта новость пробудила к жизни

прежнего великого князя Александра Михайловича. Будучи поклонником аппаратов тяжелее воздуха еще с того времени, когда Сантос-Дюмон летал вокруг Эйфелевой башни, я понял, что достижение Блерио дало нам не только новый способ передвижения, но и новое оружие в случае войны. Я решил немедленно приняться за это дело и попытаться применить аэропланы в русской военной авиации.

У меня еще оставались два миллиона рублей, которые были в свое время собраны по всенародной подписке на постройку минных крейсеров после гибели нашего флота в русско-японскую войну. Я запросил редакции крупнейших русских газет, не будут ли жертвователи иметь что-либо против того, чтобы остающиеся деньги были израсходованы не на постройку минных крейсеров, а на покупку аэропланов? Через неделю я начал получать тысячи ответов, содержащих единодушное одобрение моему плану. Государь также одобрил его.

Я поехал в Париж и заключил торговое соглашение с Блерио и Вуазеном. Они обязались дать нам аэропланы и инструкторов, я же должен был организовать аэродром, подыскать кадры учеников, оказывать им во всем содействие, а главное, конечно, снабжать их денежными средствами. После этого я решил вернуться в Россию. Гатчина, Петергоф, Царское Село и С.-Петербург снова увидят меня в роли «нарушителя спокойствия».

Ники улыбался. Военно-морской министр решил, что я сошел с ума. Военный министр генерал Сухомлинов затрясся от смеха, когда я заговорил с ним об аэропланах.

— Я вас правильно понял, Ваше Высочество? — спросил он меня между двумя приступами смеха. — Вы собираетесь применить эти игрушки Блерио в нашей армии? Угодно ли вам, чтобы наши офицеры бросили свои занятия и отправились летать через Ла-Манш, или они должны забавляться этим здесь?

— Не беспокойтесь, Ваше Превосходительство. Я у вас прошу только дать мне несколько офицеров, которые поедут со мною в Париж, где их научат летать у Блерио и Вуазена. Что же касается дальнейшего, то хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Государь дал мне разрешение на командировку в Париж избранных мною офицеров, хотя, по его словам, даже великий князь Николай Николаевич не видел в моей затее никакого смысла.

Первая группа офицеров выехала в Париж, а я отправился в Севастополь для того, чтобы выбрать место для будущего аэродрома. Я работал с прежним увлечением, преодолевая препятствия, которые мне ставили военные власти, не боясь насмешек и идя к намеченной цели. К концу осени 1908 г. мой первый аэродром и ангары были готовы. Весною 1909 г. мои офицеры окончили школу Блерио. Ранним летом в Петербурге была устроена первая авиационная неделя. Многочисленная публика — свидетели первых русских полетов — была в восторге и кричала «ура». Сухомлинов нашел это зрелище очень занимательным, но для армии не видел от него никакой пользы.

Три месяца спустя, осенью 1909 года, я приобрел значительный участок земли к западу от Севастополя и заложил первую русскую авиационную школу, которая в 1914 году стала снабжать нашу армию летчиками и наблюдателями.

В декабре 1909 года я получил известие о смерти отца в Каннах. Ему было 77 лет, и в последние годы своей жизни он был инвалидом. Его кончина меня глубоко потрясла. Свет без него казался опустевшим. Он был одним из немногих людей, которые никогда не отступали пред выполнением своего долга и жили по заветам императора Николая I.

Русский крейсер привез тело отца в Севастополь, а оттуда мы повезли его в Петербург, где оно должно было быть предано земле в усыпальнице Петропавловской крепости. Дорога была грустно-знакомая и произвела на меня тягостное впечатление. Три раза в жизни я путешествовал с останками моих близких. Шесть дорогих для меня могил смотрели на меня в усыпальнице Петропавловской крепости: Александра II, Александра III, великого князя Георгия Александровича, моего брата Алексея Михайловича и моих родителей.

В сорок три года трудно ожидать новых привязанностей на всю жизнь.

5

Я продолжал занятия авиацией, ездил за границу и старался как можно меньше внимания уделять политике, хотя вокруг все только и интриговали.

Придворные круги были во власти двух противоречивых в своей сущности комплексов: зависти к успешной государственной деятельности Столыпина и ненависти к быстро растущему влиянию Распутина. Столыпин, полный творческих сил, был гениальным человеком, задушившим анархию. Распутин являлся орудием в руках международных авантюристов. Рано или поздно государь должен был решить, даст ли он возможность Столыпину осуществить задуманные им реформы или же позволит распутинской клике назначать министров. Отношения мои к государю и государыне были внешне вполне дружественными. Мы продолжали встречаться несколько раз в неделю и приглашали друг друга на обеды, но прежней сердечности в наших отношениях мы возродить не могли.

В остальных членах императорской семьи чувствовалось недовольство и отсутствие дисциплины. В царствование Александра III мой бедный брат Михаил Михайлович был выслан за границу за то, что вступил в морганатический брак с дочерью герцога Нассауского. Теперь же каждый из великих князей считал возможным в выборе подруги жизни следовать влечениям своего сердца. Брат царя, великий князь Михаил Александрович женился на простой, дважды разведенной женщине. Дядя царя, великий князь Павел требовал для своей морганатической супруги прав, которые давались только особам королевской крови. Двоюродный брат царя, великий князь Кирилл женился на своей двоюродной сестре Дакки (дочери великой княгини Марии Александровны и герцога Эдинбургского) — факт, неслыханный в анналах царской семьи и православной церкви. Все эти три великих князя выражали явное неуважение к воле государя и являлись весьма дурным примером для русского общества. Если Ники не мог заставить слушаться своих родственников, то еще труднее было ему добиться того же от своих министров, генералов и придворных. Мы, несомненно, переживали эпоху нравственной деградации.

Моей собственной в первую очередь. Мне мало было повидаться со своей подругой в Биаррице и Париже, я хотел всегда быть рядом с ней. Весной 1910

года я стал просить ее уехать из Европы и отправиться со мной в Австралию. Я готов был отказаться от титула и купить ферму неподалеку от Сиднея! Если бы она сказала «да», я в тот же день объявил бы всем о своем решении. К счастью, она не лишилась благоразумия, и я услышал «нет». Отказ был резким и бурным. Она напомнила мне о моих собственных обязательствах и пригрозила, что я больше ее не увижу, если откажусь от авиации и от занимаемого положения. Ее благородный отказ спас меня от позора.

Но и сегодня, спустя 20 лет, во мне еще живы «австралийские мечты». Иногда я думаю, что ей просто не хватило воображения, и я пропустил величайший шанс всей жизни. Особенно учитывая события последующих лет...

Жизнь, однако, продолжалась, и я заглушал тоску и разочарование, с головой уйдя в работу.

Авиационная школа развивалась. Ее офицеры активно участвовали в маневрах 1912 года. Сознание необходимости аэропланов для военных целей наконец проникло в среду закоренелых бюрократов военного министерства. Я заслужил великодушное одобрение государя.

— Ты был прав, — сказал Ники во время посещения авиационной школы. — Прости меня за то, что я относился к твоей идее недоверчиво. Я радуюсь, что ты победил, Сандро. Ты доволен?

И да, и нет. Мой триумф в авиации не смягчил горечи неудач во флоте. Эту рану ничто не могло залечить. Ничто не могло заставить забыть меня кошмар 1904—1906 годов.

До 1906 года я жил по принципу: «Россия прежде всего». В 1906—1914 годах девиз стал другим: «У меня только одна жизнь».

Мой дух обитал во тьме и невежестве.

6

Между тем странствования бросали нас из одного конца Европы в другой.

Традиционная весенняя встреча с английской королевой Александрой в Дании. Ранний летний сезон в Лондоне. Пребывание Ксении на водах в Киссингене или в Виттеле. Далее сезон в Биаррице. Экскурсии детей в Швейцарию. Ранний зимний сезон в Каннах. Мы преодолевали в вагоне многие тысячи километров.

Летом 1913 года такая ежегодная программа мне надоела. Ксения и дети остановились в громадном отеле в Трепоре, а я отправился в Америку. Успехи Куртиса и братьев Райт делали мою поездку необходимой, а кроме того, мне хотелось провести несколько недель в обществе друзей в Филадельфии и в Ньюпорте. Мое намерение «вскоре» вернуться в Соединенные Штаты исполнилось ровно двадцать лет спустя.

Тени надвигающейся войны еще не переползли через Атлантический океан, хотя уже и в Штатах чувствовалась напряженность, а банкиры понимающе покачивали головами. Было трудно отвязаться от всех репортеров, которые хотели узнать мое мнение о глубоких изменениях, происшедших в Нью-Йорке с 1893 года. Я должен был расхваливать городские новостройки, сожалеть о снесенных памятниках старины, комментировать успехи движения

суффражисток и гореть энтузиазмом по поводу светлого будущего автомобилестроения.

В Соединенных Штатах произошло одно коренное изменение, которое, по-видимому, не было замечено местными наблюдателями.

Постройка Панамского канала и колоссальное развитие штатов по берегу Тихого океана изменили характер американской предприимчивости. Американская промышленность выросла до такой степени, что требовала вывоза своих продуктов за границу. Американские финансисты, занимавшие прежде деньги в Лондоне, Париже и в Амстердаме, оказались сами в положении кредиторов. Сельскохозяйственная республика Джефферсона уступила место царству Рокфеллеров, хотя американцы среднего уровня еще не понимали нового порядка вещей, и большинство народа продолжало жить идеалами XIX века.

Сколько раз, во время моего второго приезда в Америку, посещая громадные фабрики или прислушиваясь к объяснениям об устройстве какой-нибудь сложной машины, я возвращался мыслью к зловещему докладу, представленному незадолго до этого моим братом Сергеем в Петербурге после подробного знакомства в Вене с лихорадочной работой военных заводов.

Различие между Европой и Америкой было слишком существенным.

Поздней осенью 1913 года я был опять в С.-Петербурге и предсказывал надвигающуюся мировую войну.

— Вы можете точно сказать, когда война начнется? — спрашивали меня умные, но иронически настроенные люди.

— Да, могу. Не позже 1915 года.

— Ужасно...

Наступила зима 1913/14 года — мой последний светский сезон в С.-Петербурге. Главной темой разговоров было трехсотлетие дома Романовых, празднование которого началось прошлой весной. Казалось, все было в порядке. Правительство уверяло, что со времен Александра III в стране не было такого благополучия.

В феврале дочь моя Ирина вступила в брак с князем Феликсом Юсуповым. Новобрачные отправились в свадебное путешествие в Италию и в Египет, условившись встретиться с нами в июне в Лондоне.

12 Всё набранное в этой главе курсивом отсутствует в предыдущих русских изданиях. — Прим. ред.

Глава XVI

Накануне

1

Тот иностранец, который посетил бы С.-Петербург в 1914 году, перед самоубийством Европы, почувствовал бы непреодолимое желание остаться

навсегда в блестящей столице, соединявшей в себе классическую красоту прямых перспектив с приятным, увлекающим укладом жизни, космополитическим по форме, но чисто русским по своей сущности. Чернокожий бармен в гостинице «Европейская», нанятый в Кентукки, истые парижанки-актрисы на сцене Михайловского театра, величественная архитектура Зимнего дворца — воплощение гения итальянских зодчих, деловые обеды сановников у Кюба, затягивающиеся до ранних зимних сумерек, белые ночи в июне, в дымке которых длинноволосые студенты оживленно спорили с краснощеками барышнями о преимуществах германской философии... Никто не мог бы ошибиться относительно национальности этого города, который выписывал шампанское из-за границы не ящиками, а целыми магазинами.

Украшением столицы был памятник Петра Великого. Отлитый Фальконе из бронзы, император стоял на Сенатской площади, разглядывая строгие кварталы домов, образующие прямые перспективы. Ему удалось построить этот сказочный, северный город на топких финских болотах ценою ста двадцати шести тысяч жизней, принесенных в жертву болотной лихорадке во имя России, и самодовольная усмешка светилась на его демоническом лице. Прошло двести лет с тех пор, как он, стоя на берегу финских вод и глядя на полуразрушенные деревянные хижины рыбаков, решил перенести русскую столицу из азиатской Москвы на границы Западной Европы. Его рука натянула повод коня, поднявшегося на дыбы над пропастью. То не было мимолетной идеей скульптора, когда он создавал эту поражающую воображение позу: Петр действительно спас Россию от прозябания в глубинах Азии под властью вчерашних монгольских владык. Он освободил своих нерадивых подданных от власти средневековых суеверий и ударами дубинки заставил их приобщиться к культурной семье народов Запада.

Сын жестокого XVII века, Петр Великий не привык стесняться в своих методах. Он твердо верил, что в человеческом материале в России недостатка не будет, и не щадил никого. Он не остановился даже перед убийством сына, когда убедился, что царевич Алексей решил противиться его начинаниям. Его испуганные современники видели в нем Антихриста, но у ног его памятника лежало наглядное доказательство гения Петра: блестящий С.-Петербург, столица самых могущественных властителей в мире. Петр достиг своей цели, и важность его достижения стала еще более очевидной по прошествии двух столетий. Задачей современных Романовых, которые готовились праздновать трехсотлетие царствования династии, было продолжение сверхчеловеческих усилий своего предка.

Однако наблюдательный иностранец, посетивший Петербург в 1913 году, испытал бы, наверное, чувство растущего беспокойства, которое от памятника на Сенатской площади передавалось всем, обладавшим способностью несколько предвидеть грядущий хаос. Он также заметил бы, что полтора миллиона мужчин и женщин, живших в столице Российской империи, существовали изо дня в день, давая бронзовому монументу пищу для размышлений о «завтрашнем дне», затуманенном блеском прекрасного сегодня...

Все в Петербурге было прекрасно. Все говорило о столице российских императоров.

Золотой шпиль Адмиралтейства был виден издали на многие версты. Величественные окна великокняжеских дворцов горели пурпуром в огне заката. Удары конских копыт будили на широких улицах чуткое эхо. На набережной желтые и синие кирасиры на прогулке после завтрака обменивались взглядами со стройными женщинами под вуалями. Роскошные выезды с лакеями в декоративных ливреях стояли перед ювелирными магазинами, в витринах которых красовались розовые жемчуга и изумруды. Далеко за блестящей рекой с перекинутыми через воду мостами громоздились кирпичные трубы больших фабрик и заводов. А по вечерам девы-лебеди кружились на сцене Императорского балета под аккомпанемент лучшего оркестра в мире.

Первое десятилетие XX века, наполненное террором и убийствами, издергало нервы русского общества. Все слои населения империи приветствовали наступление новой эры, которая носила на себе отпечаток нормального времени. Вожди революции, разбитые в 1905—1907 годах, укрылись под благословенной сенью парижских кафе и мансард, где и пребывали в течение следующих десяти лет, наблюдая развитие событий в далекой России и философски повторяя поговорку: «Чтобы дальше прыгнуть, надо отступить».

А тем временем и друзья, и враги революции ушли с головой в деловые комбинации. Вчерашняя земледельческая Россия, привыкшая занимать деньги под залог своих имений в Дворянском банке, в приятном удивлении приветствовала появление могущественных частных банков. Выдающиеся дельцы Петербургской биржи учли все выгоды этих общественных настроений, и приказ покупать был отдан.

Тогда же был создан знаменитый русский «табачный трест» — одно из самых больших промышленных предприятий того времени. Железо, уголь, хлопок, медь, сталь были захвачены группой петербургских банкиров. Бывшие владельцы промышленных предприятий перебрались в столицу, чтобы пользоваться вновь приобретенными благами жизни и свободой. Хозяина предприятия, который знал каждого рабочего по имени, заменил дельный специалист, присланный из Петербурга. Патриархальная Русь, устоявшая перед атаками революционеров 1905 года благодаря лояльности мелких предпринимателей, отступила перед системой, заимствованной за границей и не подходившей к русскому укладу.

Это быстрое изменение форм собственности в стране, далеко опередившее ее промышленное развитие, положило начало спекулятивной горячке на бирже. Во время переписи населения Петербурга, устроенной весной 1913 года, около 40 тысяч жителей обоего пола были зарегистрированы в качестве биржевых маклеров.

Адвокаты, врачи, учителя, журналисты и инженеры были недовольны своими скучными профессиями. Казалось позором трудиться, чтобы зарабатывать копейки, когда открывалась полная возможность делать десятки

тысяч рублей на марже купли-продажи двухсот акций «Никополь — Мариупольского металлургического общества».

Выдающиеся представители петербургского общества включали в число приглашенных видных биржевиков. Офицеры гвардии, не умевшие отличить до сих пор акций от облигаций, стали с увлечением обсуждать неминуемое поднятие цен на сталь. Светские денди приводили в полное недоумение книгопродавцев, покупая у них книги, посвященные сокровенным тайнам экономической науки и толкованию смысла ежегодных балансов акционерных обществ. Светские львицы начали с особым удовольствием представлять гостям на своих журфиксах «прославленных финансовых гениев из Одессы, заработавших столько-то миллионов на табаке». Отцы церкви подписывались на специальные финансовые издания, и обитые бархатом кареты архиепископов виднелись вблизи бирж.

Провинция присоединилась к спекулятивной горячке столицы, и к осени 1913 года Россия из страны праздных помещиков и недоедавших мужиков превратилась в страну, готовую к прыжку, минуя все экономические законы, в царство отечественного Уолл-стрита!

Будущее империи зависело от калибра новых загадочных пришельцев, которые занялись судьбой ее финансов. Каждый здравомыслящий финансист должен был сознавать, что, пока русский крестьянин будет коснеть в невежестве, а рабочий ютиться в лачугах, трудно ожидать солидных результатов в области развития русской экономической жизни. Но близорукие дельцы 1913 года были мало обеспокоены отдаленным будущим. Они были уверены, что сумеют реализовать за наличные все ими приобретенное до того, как грянет гром...

3

Племянник кардинала, русский мужик и международный банкир считали себя накануне войны владельцами России. Ни один диктатор не мог бы похвастаться их положением.

Ярошинский, Батолин, Путилов — вот имена, которые знала вся Россия.

Сын бывшего крепостного, Батолин начал свою карьеру в качестве рассыльного в хлебной торговле. Он был настолько беден, что впервые узнал вкус мяса, когда ему исполнилось девять лет.

Путилов принадлежал к богатой петербургской семье. Человек блестящего воспитания, он проводил много времени за границей и чувствовал себя одинаково дома на парижской Плас де ла Бурс и на лондонской Ломбард-стрит.

Годы молодости Ярошинского окружены тайной. Никто не мог в точности определить его национальности. Он говорил по-польски, но циркулировали слухи, что дядя его — итальянский кардинал, занимающий высокий пост в Ватикане. Он прибыл в Петербург, уже будучи обладателем большого состояния, которое заработал на сахарном деле на юге России.

Биографии этих трех правителей, столь непохожих друг на друга, придавали этой напряженной эпохе еще более фантастический колорит.

Они применили к экономической жизни России систему, известную у нас под именем «американской», но имеющую в США другое название. Никаких

чудес они не творили. Рост их состояния был возможен только благодаря несовершенству русских законов, которые регулировали деятельность банков.

Министр финансов держался от всего этого в стороне и с молчаливым восхищением наблюдал за тем, как этот победоносный триумvirат все покорял «под ноzi своя». От пляски феерических кушей кружилась голова, и министр финансов имел полное основание считать, что его пост — лишь переходная ступень к креслу председателя какого-нибудь частного банка.

Радикальная печать, неутомимая в своих нападках на правительство, в отношении трестов хранила гробовое молчание, что являлось вполне естественным, в особенности если принять во внимание, что им принадлежали самые крупные и влиятельные ежедневные газеты в обеих столицах.

В планы этой группы входило заигрывание с представителями наших оппозиционных партий. Вот почему Максиму Горькому Сибирским банком были даны средства на издание в С.-Петербурге ежедневной газеты большевистского направления и ежемесячного журнала схожей тематики. Оба эти издания имели в числе своих сотрудников Ленина и открыто высказывались на своих страницах за свержение существующего строя. Знаменитая «школа революционеров», основанная Горьким на острове Капри, долгое время финансировалась Саввой Морозовым, общепризнанным московским «текстильным королем», и считала теперешнего главу советского правительства Иосифа Сталина в числе своих наиболее способных учеников. Бывший советский полпред в Лондоне Леонид Красин был в 1913 году директором на одном из заводов Путилова в С.-Петербурге. Во время войны он был назначен по рекомендации своего шефа членом военно-промышленного комитета.

На первый взгляд, совершенно необъяснимы побуждения крупной буржуазии, по которым она поддерживала русскую революцию. Вначале правительство отказывалось верить сообщениям охранного отделения по этому поводу, но факты были налицо.

При обыске в особняке одного из богачей, Николая Парамонова, были найдены документы, которые устанавливали его участие в печатании и распространении революционной литературы в России. Парамонова судили и приговорили к двум годам тюремного заключения. Приговор этот, однако, был отменен ввиду значительного пожертвования, сделанного им на сооружение памятника в ознаменование трехсотлетия дома Романовых. От большевиков к Романовым — и все это в течение одного года!

«Действия капиталистов объясняются желанием застраховать себя и свои материальные интересы от всякого рода политических переворотов», — доносил в своем рапорте один из чинов департамента полиции, которого командировали в Москву расследовать дело богатого друга Ленина — Морозова. «Они так уверены в возможности двигать революционерами, как пешками, используя их детскую ненависть к правительству, что Морозов считает возможным финансировать издание ленинской “Искры”, которая печаталась в Швейцарии и доставлялась в Россию в сундуках с двойным дном. Каждый номер “Искры” призывал рабочих к забастовкам на текстильных фабриках самого же Морозова. А Морозов говорил своим друзьям, что он «достаточно богат, чтобы позволить себе роскошь поддерживать своих врагов».

Самоубийство Морозова произошло незадолго до войны, и, таким образом, он так и не увидел, как его имущество, по приказу Ленина, было конфисковано, а его наследники брошены в тюрьмы бывшими учениками морозовской агитационной школы на Капри.

Батолину же, Ярошинскому, Путилову, Парамонову и многим другим удалось избежать расстрела в СССР только потому, что они своевременно бежали.

4

Эксцентричность, проявленная банкирами, была лишь знамением того сумасшедшего времени.

Война надвигалась, но на грозные симптомы ее приближения никто не обращал внимания. Над всеми предостережениями наших военных агентов за границей в петербургских канцеляриях лишь подсмеивались или пожимали плечами.

Когда мой брат, великий князь Сергей Михайлович, по возвращении в 1913 году из своей поездки в Австрию, доложил правительству о лихорадочной работе на военных заводах центральных держав, наши министры в ответ только рассмеялись. Одна лишь мысль о том, что великий князь может иной раз подать ценный совет, вызывала улыбку. Принято было думать, что роль каждого великого князя сводилась к великолепной праздности.

Военный министр генерал Сухомлинов пригласил к себе редактора большой вечерней газеты и продиктовал ему статью, полную откровенными угрозами по отношению к Германии, под заглавием «Мы готовы!»

В тот момент у нас не было в достаточном количестве не только ружей и пулеметов, но наших запасов обмундирования не хватило бы даже на малую часть тех миллионов солдат, которых пришлось бы мобилизовать в случае войны.

В тот вечер, когда эта газетная статья появилась, товарищ министра финансов обедал в одном из популярных дорогих ресторанов столицы.

— Что же теперь будет? Как отреагирует на это биржа? — спросил его видный журналист.

— Биржа? — насмешливо улыбнулся сановник. — Человеческая кровь всегда вносит в дела на бирже оживление.

И действительно, на следующий день все бумаги на бирже поднялись. Инцидент со статьей военного министра был забыт всеми, кроме, быть может, германского посланника.

Остальные триста мирных дней были заполнены карточной и биржевой игрой, сенсационными процессами и распространившейся эпидемией самоубийств.

В эту зиму танго входило в большую моду. Томные звуки экзотической музыки неслись по России из края в край. Цыгане рыдали в кабинетах ресторанов, звенели стаканы, и румынские скрипачи, одетые в красное, завлекали нетрезвых мужчин и женщин в сети распутства и порока. И над всем этим царила истерия.

Однажды в пять часов утра, когда бесконечная зимняя ночь смотрела в высокие, покрытые изморозью венецианские окна, молодой человек пересек пьяной походкой блестящий паркет московского «Яра» и остановился перед столиком, который занимала одна красивая дама в компании нескольких пожилых господ.

— Послушай, — кричал молодой человек, прислонившись к колонне, — я этого не позволю. Я не желаю, чтобы ты была в таком месте в такое время.

Дама насмешливо улыбнулась. Вот уже восемь месяцев прошло с тех пор, как они развелись. Она не хотела слушать его приказаний.

— Ах так, — сказал, утихнув, молодой человек и выстрелил в свою бывшую жену шесть раз.

Начался знаменитый прасоловский процесс, длившийся двадцать восемь дней.

Присяжные заседатели оправдали Прасолова: им очень понравилось изречение Гете, приведенное защитой: «Я никогда еще не слышал ни об одном убийстве, как бы оно ужасно ни было, которое не мог бы совершить сам».

Прокурор подал апелляцию и просил перенести слушание дела в другой судебный округ. «Московское общество, — писал он в своей кассационной жалобе, — пало так низко, что более уже не отдает себе отчета в цене человеческой жизни. Поэтому я прошу перенести вторичное рассмотрение дела в какой-нибудь другой судебный округ, желательно в провинции».

Вторичное рассмотрение дела проходило в небольшом городке на северо-востоке России. Суд продолжался почти месяц, и Прасолов был снова оправдан.

На этот раз прокурор грозил пойти паломником на могилу Прасоловой, чтобы сказать ей, что «Россия отказывается защищать оскорбленную честь женщины».

Не начнись война, русскому народу еще раз преподнесли бы тошнотворные подробности прасоловского дела, и словоохотливые свидетели в третий раз повторили бы свои невероятные описания оргий, происходивших в среде московских миллионеров.

Самые отталкивающие разновидности порока преподносились присяжным заседателям и потом распространялись газетами в назидание русской молодежи.

Жизнь убийцы и его жертвы описывалась с момента их знакомства в клубе самоубийц до свадебного пира, устроенного на даче «Черный Лебедь» знаменитым богачом в погоне за новизною ощущений. Список свидетелей по делу пестрил именами московских тузов. Их поступки могли вызвать новые судебные процессы. Двое из них покончили с собою, ожидая вызова в суд. Другие бежали от позора за границу.

Петербург не хотел отстать от Москвы, и еще во время прасоловского процесса двое представителей «золотой» петербургской молодежи Долматов и Гейсмар убили и ограбили артистку Тиме.

Арестованные полицией, они во всем сознались и объяснили мотивы преступления. Накануне убийства они пригласили своих друзей к ужину в дорогой ресторан. Им были нужны деньги. Они обратились к своим родителям за помощью, но получили отказ. Они знали, что у артистки имеются ценные

вещи. И вот они отправились к ней на квартиру, вооружившись кухонными ножами.

— Истинный джентльмен, — писал по этому поводу в газетах один саркастический репортер, — должен уметь выполнить свои светские обязанности любой ценой.

Среди криминальных сенсаций, отравлявших эту и без того истерическую атмосферу, заслуживает еще упоминания дело Гилевича, которое в 1909 году поставило петербургский судебный мир в тупик перед неслыханной изворотливостью и жестокостью хладнокровного убийцы.

В номерах дешевой гостиницы в Лештуковом переулке было обнаружено мертвое тело с обезображенным до неузнаваемости лицом. Документы, найденные при убийстве, говорили о том, что жертва — довольно обеспеченный инженер Гилевич. Однако документы эти лежали слишком на виду, чтобы удовлетворить бывалых сыщиков. Но брат убитого рассеял все сомнения. Он узнал своего брата по родимому пятну на правом плече. После этого он предъявил четырем страховым обществам полисы на получение страховых премий: убитый был застрахован на общую сумму в 300 тысяч рублей в различных страховых обществах. Однако следственные власти очень скоро установили, что убитый — совсем не Гилевич, а одинокий и бездомный студент, прибывший в Петербург из провинции.

Между тем преступники, получив часть страховых премий, перестали соблюдать осторожность. Гилевичу-старшему надоело прятаться в Париже, и он решил посетить Монте-Карло. Но счастье отвернулось от него. Он проиграл крупную сумму и послал брату в Петербург телеграмму с просьбой выслать ему 5000 рублей. Чиновник, внимательно читавший телеграммы, сообщил властям, что кто-то хочет получить в Монте-Карло от брата убитого Гилевича крупную сумму денег. В парижскую полицию была послана серия фотографий Гилевича и точное его описание. Гилевич был арестован. Однако во время ареста ему удалось обмануть бдительность агентов, и преступник отравился ядом, который всегда носил в кармане.

5

Будущий историк мировой войны имел бы полное основание подробнее остановиться в своем исследовании на той роли, которую занимали криминальные сенсации в умах общества всех стран накануне войны.

Полиция уже расклеивала на улицах Парижа приказы о мобилизации, а жадная до уголовных процессов толпа с напряженным вниманием продолжала следить за процессом г-жи Генриетты Кайо, жены бывшего французского премьер-министра, которая убила редактора «Фигаро» Гастона Кальметта за угрозы опубликовать компрометирующие ее мужа документы. До 28 июля 1914 года фельетонисты европейских газет более интересовались процессом Кайо, чем австрийским ультиматумом Сербии.

Проездом через Париж по дороге в Россию я не верил своим ушам, слыша, как почтенные государственные мужи и ответственные дипломаты, образуя оживленные группы, с жаром спорили о том, будет или не будет она оправдана.

— Кто это «она»? — наивно спросил я. — Вы, вероятно, имеете в виду Австрию, которая, надо надеяться, согласится передать свое недоразумение с Сербией на рассмотрение Гаагского третейского трибунала?

Они думали, что я шучу. Естественно, они говорили не о Сербии, а о Генриетте Кайо.

— Отчего Ваше Императорское Высочество так спешит вернуться в С.-Петербург? — спросил меня наш посол в Париже Извольский. — Там же мертвый сезон... Война? — Он махнул рукой. — Нет, никакой войны не будет. Это только слухи, которые время от времени будоражат Европу. Австрия позволит себе еще несколько угроз. Петербург поволнуется. Вильгельм произнесет воинственную речь. И все будет через две недели забыто.

Извольский провел 30 лет на русской дипломатической службе. Некоторое время он был министром иностранных дел. Нужно было быть очень самоуверенным, чтобы противопоставить его опытности свои возражения. Но я решил все-таки быть на этот раз самоуверенным и двинулся в Петербург.

Мне не нравилось «стечение непредвиденных случайностей», которыми был столь богат конец июля 1914 года.

Вильгельм II был «случайно» в поездке в норвежские фиорды накануне австрийского ультиматума Сербии. Президент Франции Пуанкаре «случайно» посетил в это же время Петербург.

Уинстон Черчилль, первый лорд адмиралтейства, «случайно» отдал приказ британскому флоту остаться после летних маневров в боевой готовности.

Сербский министр иностранных дел «случайно» показал австрийский ультиматум французскому посланнику Бертело, и г-н Бертело «случайно» написал ответ Венскому кабинету, освободив таким образом сербское правительство от тягостных размышлений по этому поводу.

Петербургские рабочие, работавшие на оборону, «случайно» объявили забастовку за неделю до начала мобилизации, и несколько агитаторов, говоривших по-русски с сильным немецким акцентом, были пойманы на митингах по этому поводу.

Начальник нашего Генерального штаба генерал Янушкевич «случайно» поторопился отдать приказ о мобилизации русских вооруженных сил, а когда государь приказал по телефону это распоряжение отменить, то ничего уже нельзя было сделать.

Но самым трагичным оказалось то, что «случайно» здравый смысл отсутствовал у государственных людей всех великих держав.

Ни один из сотни миллионов европейцев того времени не желал войны. Коллективно — все они были способны линчевать того, кто осмелился бы в эти ответственные дни проповедовать умеренность.

За попытку напомнить об ужасах грядущей войны они убили Жореса в Париже и бросили в тюрьму Либкнехта в Берлине.

Немцы, французы, англичане и австрийцы, русские и бельгийцы — все подпадали под власть психоза разрушения, предтечами которого были убийства, самоубийства и оргии предшествовавшего года. В августе 1914 года это массовое помешательство достигло кульминационной точки.

Леди Асквит, жена премьер-министра Великобритании, вспоминает «блестящие глаза» и «веселую улыбку» Уинстона Черчилля, когда он вошел в этот роковой вечер в номер 10 на Даунинг-стрит.

— Что же, Уинстон, — спросила Асквит, — это мир?

— Нет, война, — ответил Черчилль.

В тот же час германские офицеры поздравили друг друга на Унтер ден Линден в Берлине со «славной возможностью выполнить наконец план Шлиффена»^[13], и тот же Извольский, предсказывавший всего три дня тому назад, что через две недели все будет в порядке, теперь говорил с видом триумфатора, покидая министерство иностранных дел в Париже: «Это — моя война».

Вильгельм произносил речи с балкона берлинского замка. Николай II, приблизительно в тех же выражениях, обращался к коленопреклоненной толпе у Зимнего дворца. Оба они возносили к престолу Всевышнего мольбы о карах на головы защитников войны.

Все были правы. Никто не хотел признать себя виновным. Нельзя было найти ни одного нормального человека в странах, расположенных между Бискайским заливом и Тихим океаном.

Возвращаясь в Россию, я наблюдал самоубийство целого континента.

13 В американском издании — план Мольтке. — Прим. ред.

Глава XVII

Война и революция

1

Подобно показаниям свидетелей преступления, историки и летописцы июля 1914 года не сходятся в своих описаниях и выводах. Англичане и французы много говорят о нарушении немцами нейтралитета Бельгии. Немцы пытаются заново написать русскую историю, чтобы снять со своей дипломатии ответственность за мировую войну. Многие из читателей книги Эмиля Людвига «Июль 1914 года» пережили бы глубокое разочарование, если бы узнали, что его откровения построены на полном невежестве в русских делах: например, он путает двух братьев Маклаковых в фантастическом описании военного совета в Царском Селе, который должен был высказаться в пользу войны или мира. Он изображает русского министра внутренних дел Н.А.Маклакова в виде «блестящего оратора», «барса» и бывшего «лидера либеральной партии». Если верить Людвигу, то Маклаков буквально принудил государя подписать приказ о всеобщей мобилизации.

На самом же деле Николай Маклаков был человеком консервативных взглядов, бывшим всею душою против объявления войны.

А вот его брат Василий, хоть не совсем похожий на «барса», все же был известным оратором, адвокатом и лидером конституционно-демократической

партии. Однако ни один из них не имел ни малейшего влияния на решение государя. К тому же никто не спрашивал у Николая Маклакова советов по военным делам, а Василий Маклаков доступа ко дворцу не имел. Знаменитая «военная речь» Маклакова, о которой говорит Людвиг в своей книге, не более как досужая фантазия немецкого автора, просто поленившегося хорошенько проверить имена, события и даты.

До сих пор никто еще не написал беспристрастной летописи последних недель довоенной эпохи. Я сомневаюсь, напишет ли ее кто-нибудь вообще. Сведения, которыми я располагаю и которые собрал до и во время войны, заставляют меня верить в бесспорность трех фактов.

1. Причиной мирового конфликта являлись соперничество Великобритании и Германии в борьбе за роль мирового экономического лидера и совокупные усилия «военных партий» Берлина, Вены, Парижа, Лондона и С.-Петербурга. Если бы Принцип не покушался на жизнь австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, международные сторонники войны изобрели бы другой повод. Вильгельму II было необходимо, чтобы война началась до выполнения русской военной программы, намеченного на 1917 год.

2. Император Николай II делал все, что было в его силах, чтобы предотвратить военные действия, но не встретил почти никакой поддержки в своих миротворческих стремлениях у ближайших советников — министра иностранных дел и начальника Генерального штаба.

3. До полуночи 31 июля 1914 года британское правительство могло бы предотвратить мировую катастрофу, если бы заявило о намерении вступить в войну на стороне России и Франции. Простое заявление, сделанное по этому поводу Гербертом Асквитом или сэром Эдуардом Греем, умиротворило бы самых воинственных берлинских юнкеров. Протест против нарушения нейтралитета Бельгии, заявленный британским правительством тремя днями позднее, говорил скорее о человеколюбии, чем звучал угрозой. Англия вступила в войну не потому, что свято чтит незыблемость международных договоров, но из-за резкого неприятия Германии. Если бы Асквит был менее адвокатом и более человеколюбцем, Германия не объявила бы войну 1 августа 1914 года.

Все остальные «если бы», о которых говорят историки 1914 года, являются выдумкой и бессмысленностью. И я думаю, что, если бы президент Вильсон понял до начала мировой войны, что «ради справедливости и мира» Америка должна будет выступить на стороне Франции и России, если бы он твердо объявил Германии об этом решении, — война была бы предотвращена.

2

Императрица Мария Федоровна, Ксения и я проводили лето 1914 года в Лондоне. Императрица жила в Мальборо-хаус со своей сестрой, вдовствующей королевой Александрой. Слухи о войне показались нам всем невероятными, и надо мной начали шутить и смеяться, когда я заторопился назад в Россию. Они не захотели сесть со мною в «Восточный экспресс». Они уверяли меня, что «никакой войны не будет». Я уехал из Парижа один 26 июля и телеграфировал командующему Черноморским флотом, прося выслать за мною в Констанцу военное судно.

Проезжая Австрию, я видел на вокзалах толпы мобилизованных и по требованию поездной прислуги должен был опустить в своем купе шторы. Когда мы подходили к Вене, возникли сомнения, пропустят ли далее наш поезд. После долгих ожиданий и переговоров решили пропустить до румынской границы. Оттуда мне пришлось идти пешком несколько километров, чтобы сесть в поезд, который предоставило мне румынское правительство. Приближаясь к Констанце, я увидел издали мачты моего бывшего флагманского судна «Алмаз».

— Мы тотчас же снимаемся с якоря. Нельзя терять ни одной минуты, — сказал я командиру, и через восемь часов мы подходили к берегам Крыма.

В Севастополе я узнал об официальном объявлении мобилизации армии и флота. На следующий день в Ялтинском соборе был отслужен молебен, который сопровождался чтением Манифеста об объявлении войны. Толпа кричала «ура» и чувствовался подъем. В ту же ночь я уехал в С.-Петербург.

Это была война. «Народная война», сказал кто-то. «Почему ее называют народной?» — недоумевал я. — Только потому что играют военные оркестры и все восхищаются маленькой героической Бельгией? Задумывается ли кто-нибудь о невероятных тяготах войны с могучей Германией? С каких это пор наши крестьяне воспылали ненавистью к немцам, которых они всегда уважали? Да знает ли русский простолюдин о самом существовании этой Бельгии? Кто в России готов оставить дом и родных, чтобы воевать за возврат Франции Эльзаса и Лотарингии? И как наше правительство объяснит народу, что мы вступили в войну на стороне Англии, своего заклятого врага? И как мы вообще собираемся воевать? Чем? Ведь никто к войне не готовился! И сколько еще продлится этот странный энтузиазм русских интеллигентов, которые вдруг сменили свою привычную философию пацифизма на идиотическую враждебность ко всему немецкому, включая оперы Вагнера и шницель по-венски?..

Я застал государя внешне спокойным, но глубоко проникнутым сознанием ответственности момента. Наверное, за все двадцать лет своего царствования он не слышал столько искренних криков «ура», как в эти дни. Наступившее наконец «единение царя с народом» очень радовало его. В разговоре со мною у него вырвалось признание, что он мог избежать войны, если бы решился изменить Франции и Сербии, но что он этого не хотел. Как ни был фатален и односторонен франко-русский союз, Россия должна соблюсти принятые на себя обязательства.

«Я не уберу меч в ножны, пока хоть один солдат Германии топчет нашу землю!». Смешно, но Ники говорил о войне с Германией теми же словами, что произнес Александр I в день вторжения Наполеона в Россию.

Сердце мое упало, и я не мог скрыть трагическое предчувствие, которое испытывал всякий раз, как видел Ники во главе торжественной процессии или произносящим патетическую речь. Это был страх. Я не верил в его способность использовать войну себе на пользу и был убежден: если война продлится больше года, он обречен. И он, и мы, Романовы, и пятнадцать миллионов мобилизованных, и все сто сорок пять миллионов русских!..

Императрица и моя жена прибыли благополучно в С.-Петербург. Вильгельм II отказался их пропустить через Германию, но они вернулись в Россию через

Данию, Швецию и Финляндию. Я мог спокойно оставить детей и Ксению и уехал на фронт. Великий князь Николай Николаевич, уже принявший Верховное командование, назначил меня в штаб Четвертой армии в качестве помощника командующего барона Зальца, который был адъютантом моего отца в дни моего детства.

3

Я приехал в Люблин, штаб-квартиру Четвертой армии, как раз в те дни, когда главные силы австрийцев вели наступление против нас, чтобы прорвать фронт и отрезать северный фронт от южного. Мы с трудом удерживали свои позиции в надежде на ожидавшуюся помощь со стороны армии генерала Брусилова, которая заходила в тыл австро-германцев.

Жизнь в штабе была тревожно-напряженная. Сам генерал со своим начальником штаба сидел часами над картой фронта, звонили телефоны, доставлялись донесения, грустные и радостные известия поступали с фронта, и над всем господствовали нетерпеливые, все возрастающие требования о присылке снарядов и подкрепления.

Никто не ожидал такого страшного расхода снарядов, который обнаружился в первые же дни войны. Еще не обстрелявшиеся части нервничали и тратили много снарядов зря. Там, где достаточно было бы выпустить две, три очереди шрапнелей, чтобы отогнать противника, тратились бесцельно сотни тысяч ружейных пуль. Терялись винтовки, бросались орудия. Артиллерийские парки выдвигались слишком далеко на линии фронта и попадали в руки противнику. А навстречу тянулись бесконечные обозы с первыми ранеными...

Пока наша Четвертая армия сдерживала напор австрийцев, наша Первая и Вторая армии вторглись в Восточную Пруссию, идя прямым путем в расставленную Гинденбургом ловушку. Вторая армия состояла частью из гвардейских полков, лучших русских частей, являвшихся в течение десятилетий главной опорой императорского строя и теперь посланных «спасать Париж». Под Сольдау наша Вторая армия была уничтожена, и ее командир генерал А.В.Самсонов пустил последнюю пулю себе в лоб, чтобы избежать позора плена. Париж был спасен гекатомбой русских тел, павших в Мазурских болотах. Мировое общественное мнение предпочло зарегистрировать эту битву в качестве «победы Жоффра на Марне»!

На шестой день моего пребывания в штабе Четвертой армии командующий отправил меня в Ставку доложить великому князю Николаю Николаевичу о том, что мы испытываем сильную нужду в подкреплениях, и объяснить ему серьезность положения: австрийцы значительно превосходили нас в численности и, несмотря на сильные потери, продолжали свои атаки.

Я видел австрийских раненых, которые лежали рядом с нашими солдатами. Это были молодцы с добродушными лицами. Они подтягивались при виде моих генеральских погон. Старший врач, идя со мною рядом, тихо пояснял:

- Этот безнадежен.
- Уже кончается...
- Оба легких прострелены...
- Выживет, если не начнется общее заражение крови...

Война началась всего десять дней тому назад, но все уже свыклись с ее беспощадной обстановкой. Солдаты и должны умирать, а главный врач — готовить койки для новых раненых.

Я отправился в Ставку, которая была в Барановичах, на скрещении четырех железнодорожных линий. Из-за невозможности расквартировать многочисленные отделения и канцелярии штаба в городе великий князь Николай Николаевич и его брат Петр Николаевич жили в поезде.

Великий князь Николай Николаевич молча мерил кабинет огромными шагами, поскрипывая ремнями своей только что сшитой военной формы. Он больше слушал, чем говорил сам, — давнишняя его привычка производить впечатление, что он себе на уме.

Я наблюдал за его действиями и не мог избавиться от чувства недоверия. Допускаю, что причиной нынешнего недоверия могла быть моя застарелая антипатия к великому князю. Сорок лет взаимной неприязни научили нас скрывать ее под напускным дружелюбием. Он предложил мне взять под свое командование военно-воздушные силы и действовать самостоятельно. Я согласился, не скрывая, что мне лестно его признание моих заслуг в деле создания русской авиации. И мы оба знали, что больше некому доверить этот пост.

Ставка предоставила мне вагон-салон. Все остальное — включая самолеты и пулеметы, летчиков и техников, автомашины и даже пишущие машинки — я должен был обеспечить сам; так что на синекуру моя должность была мало похожа. Впрочем, я и не собирался жаловаться, хотя нам постоянно всего не хватало, а заграничные поставки вечно опаздывали, так как осуществлялись либо через Архангельск, который зимой замерзал, либо через Мурманск, который хотя и оставался круглый год свободным для прохода кораблей, но зато не имел железной дороги.

Николай Николаевич принял меня со своим обычным невозмутимым видом, выслушал мой доклад и пригласил к завтраку, во время которого предложил мне новый пост командующего авиацией Южного фронта, причем добавил, что подобное же назначение на Северном фронте получил генерал Каульбарс, много работавший со мною по делу создания нашего воздушного фронта. Я указал главнокомандующему, что необходима не только связь между командующими авиацией двух фронтов, но и их субординация, на что великий князь Николай Николаевич согласился и подчинил мне генерала Каульбарса.

В течение августа 1914 года я не раз поминал недобрым словом нашего военного министра генерала Сухомлинова с его статьей «Мы готовы», написанной два года тому назад. В штабе Юго-Западной армии я встретил своего брата Николая Михайловича, человека, которого я не должен был видеть, если хотел сохранить хотя бы каплю оптимизма. Получив блестящее военное образование и будучи тонким стратегом, он подыскал моим опасениям формулу и научные определения. С горечью отзывался он о нашем командном составе. Он говорил откровенно до цинизма и из десяти случаев в девяти был прав. Он указал мне, что наши страшные потери лишили нас регулярной армии и поставили в трагическую необходимость возложить последние надежды на плохо обученных ополченцев. Он утверждал, что, если великий князь Николай

Николаевич не остановит своего квазипобедного похода по Галиции и не отведет наших войск на линию укрепленных позиций в тылу, то мы, без сомнения, потерпим решительное поражение не позднее весны 1915 года. Он говорил мне об этом в течение трех часов, ссылаясь на цифры, факты и становясь все мрачнее и мрачнее. У меня разболелась голова. Я высоко ценил патристическую подоплеку его пессимизма, но трепетал при мысли, что мне дважды в день придется сидеть с ним за обеденным столом.

4

Боги войны, вероятно, подслушали прорицания моего брата. Наши наиболее боеспособные части и недостаточный запас снабжения были целиком израсходованы в легкомысленном наступлении 1914—1915 гг., девизом которого было: «Спасай союзников!». Для того, чтобы парировать знаменитое наступление Макензена в Карпатах в мае 1915 года, у нас уже не было сил. Официальные данные говорили, что противник выпускает сто шрапнельных зарядов на наш один. В действительности эта разница была еще более велика: наши офицеры оценивали это соотношение как 300:1. Наступил момент, когда наша артиллерия смолкла, и бородатые ополченцы предстали перед армией Макензена, вооруженные винтовками модели 1878 года с приказом «не тратить патронов понапрасну» и «забирать патроны у раненых и убитых».

За неделю до нашего поражения мои летчики доставляли донесения, предупреждавшие Ставку о сосредоточении германо-австрийской артиллерии и войсковых масс на противоположном берегу Дунайца. Каждый юный поручик понял бы, что чем раньше мы начнем наш отход, тем меньше будут наши потери. Но Ставка упорно настаивала на своем желании оставаться в Галиции до последней возможности, ссылаясь на то, что отступление дурно отразится на переговорах наших союзников в Греции и Румынии, так как обе эти страны еще не знали, на какой стороне они выступят.

Ранняя осень 1915 года застала нашу армию на много сотен верст к востоку от позиций, которые она занимала весной. Я должен был шесть раз подряд менять место своего штаба, так как надежды удержаться на той или иной укрепленной линии рассеивались одна за другою, как дым. Единственной приятной для меня новостью за эти месяцы было известие об отставке великого князя Николая Николаевича. Мы оставили Галицию, потеряли Польшу и отдали немцам значительную часть северо-запада и юго-запада России, а также ряд крепостей, которые до сих пор считались неприступными, если, конечно, можно было верить нашим военным авторитетам. Принятие на себя государем должности Верховного Главнокомандующего вызвало во мне двоякую реакцию. Хотя и можно было сомневаться в полезности его длительного отсутствия в столице для нашей внутренней политики, принятие им на себя этого ответственного поста было совершенно правильным в отношении армии. Никто, кроме самого государя, не мог бы лучше вдохновить нашу армию на новые подвиги и очистить Ставку от облепивших ее бездарных генералов и политиков.

Вновь назначенный начальником штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев произвел на меня впечатление человека осторожного, понимающего наши слабые стороны. Он был хорошим стратегом. Это был,

конечно, не Наполеон и даже не Людендорф, но опытный генерал, который понимал, что в современной войне не может быть «гениальных командиров», за исключением тех, которые беседуют с военными корреспондентами или же заблаговременно пишут мемуары. Сочетание государя и генерала Алексеева было бы безупречным, если бы Ники не оглядывался на петербургских интриганов, а Алексеев торжественно поклялся бы не вмешиваться в политику.

К сожалению, однако, произошло как раз обратное. Государь оставался вдали от Царского Села не слишком продолжительные сроки, а тем временем сторонники Распутина приобретали все большее влияние. Генерал же Алексеев связал себя заговорами с врагами существовавшего строя, которые скрывались под видом представителей Земгора, Красного Креста и военно-промышленных комитетов. Восторги русской интеллигенции в первые месяцы войны сменились обычной ненавистью к монархическому строю. Это произошло одновременно с нашим поражением 1915 года.

Общественные деятели регулярно посещали фронт якобы для его объезда и выяснения нужд армии. На самом же деле они ездили, чтобы завоевать симпатии командующих армиями. Члены Думы, обещавшие в начале войны поддерживать правительство, теперь трудились не покладая рук над разложением армии. Они уверяли, что настроены оппозиционно из-за «германских симпатий» молодой императрицы, и их речи в Думе, не пропущенные военной цензурой для опубликования в газетах, раздавались солдатам и офицерам в окопах в размноженном на ротаторе виде.

Из всех обвинений, которые высказывались по адресу императрицы, ее обвинения в германофильстве вызвали во мне наиболее сильный протест. Я знал все ее ошибки и заблуждения и ненавидел Распутина. Я очень бы хотел, чтобы государыня не принимала за чистую монету того образа русского мужика, который ей был нарисован приближенными, но я утверждаю самым категорическим образом, что в смысле пламенной любви к России она стояла неизмеримо выше всех ее современников. Воспитанная своим отцом герцогом Гессен-Дармштадтским в ненависти к Вильгельму II, Александра Федоровна после России более всего восхищалась Англией. Для меня, для моих родных и для тех, кто часто встречался с императрицей, один намек на ее немецкие симпатии казался смешным и чудовищным. Наши попытки найти источники этих нелепых обвинений приводили нас к Государственной думе. Когда же думских распространителей этой клеветы пробовали пристыдить, они валили все на Распутина: «Если императрица такая убежденная патриотка, как может она терпеть присутствие этого пьяного мужика, которого можно открыто видеть в обществе немецких шпионов и германофилов?» Этот аргумент был неотразим, и мы ломали себе голову над тем, как убедить царя отдать распоряжение о высылке Распутина из столицы.

— Вы же шурин и лучший друг государя, — говорили очень многие, посещая меня на фронте. — Отчего вы не переговорите об этом с его величеством?

Отчего я не говорил с государем? Я боролся с Ники из-за Распутина еще задолго до войны. Я знал, что, если бы я снова попробовал говорить с государем

на эту тему, он внимательно выслушает меня и скажет: «Спасибо, Сандро, я очень ценю твои советы».

Затем государь меня обнимет, и ровно ничего не произойдет. Пока государыня была уверена, что присутствие Распутина исцеляло наследника от болезни, я не мог иметь на государя ни малейшего влияния. Я был абсолютно бессилен чем-нибудь помочь и с отчаянием это признавал. Я должен был забыть решительно все, что не входило в круг моих обязанностей главнокомандующего русскими военно-воздушными силами.

5

Наступил 1916 год. Я перенес мой штаб в Киев и готовился оказывать содействие главнокомандующему Юго-Западным фронтом генералу Брусилову в его проектировавшемся наступлении против австрийцев.

Императрица Мария Федоровна приехала в Киев к своей младшей дочери великой княгине Ольге Александровне, которая с 1915 года стояла во главе организованного ею в Киеве госпиталя. Вырвавшись из атмосферы Петербурга в строгую военную обстановку Киева, императрица чувствовала себя хорошо. Каждое воскресенье мы встречались втроем в ее Киевском дворце — старинном доме, построенном на правом берегу Днепра. После завтрака, когда все посторонние уходили, мы обычно оставались в ее будуаре, обсуждая события истекшей недели. Нас было трое — мать, сестра и шурин императора.

Мы вспоминали его не только как родственники, но и как верноподданные. Хотели служить ему всем, чем могли. Признавали все его недостатки и положительные стороны, чувствуя, что гроза надвигается, и все же не решались открыть ему глаза. Вдовствующая императрица продолжала оставаться в курсе всего, что происходило в Петербурге. В течение всех пятидесяти лет своего пребывания в России она ежедневно обменивалась письмами с сестрой Александрой, и невозможность получать эти письма из Англии во время войны усугубляла ее беспокойство. Очень популярная среди населения Киева, Мария Федоровна каждый день прогуливалась в открытом экипаже, весело отвечая на приветствия прохожих, но неотвязные думы о сыне Ники, о невестке Аликс и о несчастном внуке Алексее не оставляли ее.

Остальные члены ее семьи не причиняли ей забот. Ее старшая дочь Ксения жила с детьми в С.-Петербурге и заведовала большим госпиталем для раненых и выздоравливавших. Ее внук, мой сын князь Андрей должен был вскоре поступить в кавалергарды и отправиться на фронт. Ее младший сын Миша, великий князь Михаил Александрович был всеобщим любимцем на фронте, и Дикая дивизия, состоявшая из кавказских туземных частей и не выходившая из боев, считалась Ставкой нашей лучшей кавалерийской боевой единицей. Что же касается ее младшей дочери, великой княгини Ольги Александровны, то самые заклятые враги династии не могли сказать ничего, кроме самого хорошего, о ее бескорыстной работе по уходу за ранеными. Женщины с душевными качествами великой княгини Ольги представляют собою редкое явление.

Всегда одетая как простая сестра милосердия и разделяя с другой медсестрой скромную комнату, она начинала свой рабочий день в 7 часов утра и часто не ложилась всю ночь, когда надо было перевязать вновь прибывших

раненых. Иногда солдаты отказывались верить, что сестра, которая так нежно и терпеливо за ними ухаживала, была родною сестрою государя и дочерью императора Александра III.

Ее личная жизнь сложилась несчастливо. Она была первым браком замужем за принцем Петром Александровичем Ольденбургским, человеком с нею совершенно различным по характеру. Великая княгиня Ольга Александровна любила искренно и глубоко одного офицера — кирасира по фамилии Куликовский. Мы все надеялись, что государь разрешит ей развестись с мужем и вступить в новый брак. И я был очень рад, когда однажды ясным зимним утром в 1916 году мы сопровождали Ольгу Александровну и ротмистра Куликовского в маленькую церковь в пригороде Киева. Это была исключительно скромная, почти тайная от всех свадьба: невеста, жених, вдовствующая императрица, я, две сестры из общины Красного Креста и четыре офицера Ахтырского гусарского полка, шефом которого состояла великая княгиня. Служил старенький батюшка. Его слабый голос, казалось, шел не из церкви, а раздавался откуда-то издалека. Все мы были очень довольны. Я никогда не относился к Ольге как к моей невестке: она была моим дорогим другом, верным товарищем и советчиком, на которого всегда можно было положиться.

Если бы не она и не молодая сестра милосердия по фамилии Васильева, я был бы самым одиноким человеком в мире в критические дни войны. Васильева сейчас замужем за господином Чириковым, они живут в Каннах. Я часто ее навещаю, и мы вновь и вновь вспоминаем печальную и полную событий зиму 1916/1917 г.

6

С наступлением лета 1916 года бодрый дух, царивший на нашем, теперь хорошо снабженном всем необходимым, фронте, представлял разительный контраст с настроениями тыла. Армия мечтала о победе над врагом и усматривала осуществление своих стремлений в молниеносном наступлении генерала Брусилова. Политиканы же мечтали о революции и смотрели с неудовольствием на постоянные успехи наших войск. Мне приходилось по моей должности сравнительно часто бывать в Петербурге, и я каждый раз возвращался на фронт с подорванными моральными силами и отравленным слухами умом.

«Правда ли, что царь запил?»

«А вы слышали, что государя пользует какой-то бурят, и он прописал ему монгольское лекарство, которое разрушает мозг?»

«Известно ли вам, что Штюмер, которого поставили во главе нашего правительства, регулярно общается с германскими агентами в Стокгольме?»

«А вам рассказывали о последней выходке Распутина?»

И никогда ни одного вопроса об армии! И ни слова радости о победе Брусилова! Ничего, кроме лжи и сплетен, выдаваемых за истину только потому, что их распускают высшие придворные чины.

Можно было с уверенностью сказать, что в нашем тылу произойдет восстание именно в тот момент, когда армия будет готова нанести врагу решительный удар. Я испытывал страшное раздражение. Я горел желанием

отправиться в Ставку и заставить Ники тем или иным способом встряхнуться. Если государь сам не мог восстановить порядка в тылу, он должен был поручить это какому-нибудь надежному человеку с диктаторскими полномочиями. И я ездил в Ставку. Был там даже пять раз. И с каждым разом Ники казался мне все более и более озабоченным и все меньше и меньше слушал моих советов, да и вообще чьих бы то ни было.

Восторг по поводу успехов Брусилова мало-помалу утихал, а взамен на фронт приходили из столицы все более неутешительные вести. Верховный Главнокомандующий пятнадцатимиллионной армией сидел бледный и молчаливый в своей Ставке, переведенной ранней осенью в Могилев. Докладывая государю об успехах авиации и наших возможностях бороться с налетами немцев, я замечал, что он только и думал о том, когда же я наконец окончу доклад и оставлю его в покое, наедине со своими думами. Когда я переменял тему разговора и затронул политическую жизнь в С.-Петербурге, в его глазах появились недоверие и холодность. За всю нашу сорокаоднолетнюю дружбу я еще никогда не видел у него такого взгляда.

— Ты, кажется, больше не доверяешь своим друзьям, Ники? — спросил я его полусутоливо.

— Я никому не доверяю, кроме жены, — ответил он холодно, смотря мимо меня в окно. А потом, как будто испугавшись собственной откровенности, добавил с прежним дружелюбием: — Останешься со мной на завтрак, Сандро? Расскажешь новости о маме и Ольге.

Я остался к завтраку, который был подан в саду, прилегавшем к канцелярии Ставки. Беседа была натянутой. Присутствовавшие главным образом интересовались живыми репликами двенадцатилетнего цесаревича, приехавшего в гости к отцу в Могилев. После завтрака я отправился к своему брату великому князю Сергею Михайловичу, генерал-инспектору артиллерии, и имел с ним беседу.

По сравнению с Сергеем Михайловичем мой брат Николай Михайлович был оптимистом! Последний, по крайней мере, предлагал лекарства и верил в реформы. Настроение Сергея выражало отсутствие всякой надежды. Живя в непосредственной близости от государя, Сергей видел, как приближается катастрофа.

— Не трать время, Сандро, пытаясь открыть царю глаза. Возвращайся к своей работе и моли Бога, чтобы у нас не произошло революции еще в течение года. Армия находится в прекрасном состоянии. Артиллерия, снабжение, технические войска — все готово для решительного наступления весной 1917 года. На этот раз мы разобьем немцев и австрийцев, если, конечно, тыл не свяжет свободу наших действий. Немцы могут быть спасены только в том случае, если спровоцируют у нас революцию в тылу. Они это прекрасно знают и стремятся добиться своего во что бы то ни стало. Если государь будет поступать и впредь так, как он делал до сих пор, то мы не сможем долго противостоять революции.

Я вполне доверял Сергею. Его точный математический ум не был способен на необоснованные предположения. Его утверждения основывались на всесторонней осведомленности и тщательном анализе секретных донесений.

Наш разговор происходил в маленьком огорожке, который был разведен позади квартиры Сергея.

— Это меня развлекает, — смущенно объяснил он.

Я понял и позавидовал ему. В обществе людей, помешавшихся на пролитии крови, разведение капусты и картофеля служило для моего брата Сергея отвлекающим средством, дающим какой-то смысл жизни. Что касается моих собственных досугов, то я посвящал их размышлениям о банкротстве официального христианства.

7

17 декабря рано утром мой адъютант вошел в столовую с широкой улыбкой на лице:

— Ваше Императорское Высочество, — сказал он торжествующе, — Распутин убит прошлой ночью в доме вашего зятя, князя Феликса Юсупова.

— В доме Феликса? Вы уверены?

— Так точно! Полагаю, что вы должны испытывать большое удовлетворение по этому поводу, так как князь Юсупов убил Распутина собственноручно и его соучастником был великий князь Дмитрий Павлович.

Невольно мысли мои обратились к моей любимой дочери Ирине, которая жила в Крыму с родителями мужа. Адъютант удивился моей сдержанности. Он рассказывал, что жители Киева поздравляют друг друга на улице с радостным событием и восторгаются мужеством Феликса. Этого следовало ожидать. Я сам радовался тому, что Распутина уже более нет в живых, но в этом деле возникало два опасения. Как отнесется к убийству Распутина императрица и в какой мере будет ответственна царская фамилия за преступление, совершенное при участии двух ее сочленов?

Я нашел вдовствующую императрицу еще в спальне и первый сообщил ей об убийстве Распутина.

— Нет? Нет! — вскочила она.

Когда она слыхала что-нибудь тревожное, она всегда выражала свой страх и опасения этим полувопросительным, полувосклицательным: «Нет?!»

На новость она реагировала точно так же, как и я:

— Слава богу, Распутин убран с дороги. Но нас ожидают теперь еще большие несчастья.

Мысль о том, что муж ее внучки и ее племянник обагрили руки кровью, причиняла ей большие страдания. Как императрица она сочувствовала[14], а как христианка она была против пролития крови, какие бы благородные побуждения ни двигали преступниками. Мы решили просить Ники разрешить нам приехать в Петербург. Вскоре из Царского Села пришел утвердительный ответ — Ники покинул Ставку рано утром и поспешил к своей жене.

Прибыв в Петроград, я был совершенно подавлен царившей в нем сгущенной атмосферой обычных слухов и мерзких сплетен, к которым теперь присоединилось злорадное ликование по поводу убийства Распутина и стремление прославлять Феликса и Дмитрия Павловича. Оба «национальных героя» признались мне, что принимали участие в убийстве, но отказались,

однако, открыть мне имя главного убийцы. Позднее я понял, что они этим хотели прикрыть Пуришкевича, сделавшего последний смертельный выстрел.

Члены императорской семьи просили меня заступиться за Дмитрия и Феликса пред государем. Я это собирался сделать и так, хотя меня и мутило от их неистовства и жестокости. Они бегали взад и вперед, совещались, сплетничали и написали Ники преглупое письмо. Все это имело такой вид, как будто они ожидали, что император всероссийский наградит своих родных за содеянное ими убийство!

— Ты какой-то странный, Сандро? Ты не сознаешь, что Феликс и Дмитрий спасли Россию!

Они называли меня «странным», потому что я не мог забыть о том, что Ники, как верховный судья над своими подданными, был обязан наказать убийц, и в особенности если они были членами его семьи.

Я молил Бога, чтобы Ники встретил меня сурово.

Меня ожидало разочарование. Он обнял меня и стал со мною разговаривать с преувеличенной добротой. Он меня знал слишком хорошо, чтобы понимать, что все мои симпатии были на его стороне, и только мой долг отца по отношению к Ирине заставил меня приехать в Царское Село.

Я произнес защитительную, полную убеждения речь. Я просил государя не смотреть на Феликса и Дмитрия Павловича как на обыкновенных убийц, а как на патриотов, пошедших по ложному пути и вдохновленных желанием спасти Родину.

— Ты очень хорошо говоришь, — сказал государь, помолчав, — но ведь ты согласишься с тем, что никто — будь он великий князь или же простой мужик — не имеет права убивать.

Он попал в точку. Ники, конечно, не обладал таким блестящим даром слова, как некоторые из его родственников, но в основах правосудия разбирался твердо.

Когда мы прощались, он дал мне обещание быть милостивым в выборе наказаний для двух виновных. Произошло, однако, так, что их совершенно не наказали. Дмитрия Павловича сослали на персидский фронт в распоряжение генерала Баратова, Феликсу же было предписано выехать в его уютное имение в Курской губернии. На следующий день я выехал в Киев с Феликсом и Ириной, которая, узнав о происшедшем, приехала в Петроград из Крыма. Находясь в их вагоне, я узнал во всех подробностях кошмарные обстоятельства убийства. Я хотел тогда, как желаю этого и теперь, чтобы Феликс раскаялся в своем поступке и понял, что никакие громкие слова, никакое одобрение толпы не могут оправдать в глазах истинного христианина этого преступления.

По возвращении в Киев я отправил Ники пространное письмо, высказывая мое мнение о тех мерах, которые были необходимы, чтобы спасти армию и империю от надвигающейся революции. Мое шестидневное пребывание в Петрограде не оставило во мне ни капли сомнения, что начала революции следовало ожидать никак не позже весны. Самое печальное было то, что я узнал, как поощрял заговорщиков британский посол при императорском дворе сэр Джордж Бьюкенен. Он вообразил, что этим своим поведением он лучше всего защитит интересы союзников и что грядущее либеральное русское

правительство поведет Россию от победы к победе. Он понял свою ошибку через 24 часа после торжества революции и несколько лет спустя написал об этом в своих полных благородства мемуарах. Император Александр III выбросил бы такого дипломата за пределы России, даже не возвратив ему верительных грамот, но Николай II терпел все.

8

Наступил новый, 1917 год, он опять принес изменения в правительстве. Мрак усиливался. Князь Голицын, назначенный премьером, просто олицетворял собой то, что по-французски называется «*gamolli*», а по-русски — старческое слабоумие. Он ничего не понимал, ничего не знал, и только Ники или Аликс могли бы объяснить, чем их прельстил этот придворный старец без всякого административного опыта. Вместе с министром внутренних дел Протопоповым — истеричным трусом и бывшим либералом, которого Распутин колдовским образом превратил в крайнего консерватора, — они составляли пару, как нельзя более подходящую для выхода на сцену в последнем акте драмы «Смерть нации».

В начале февраля 1917 года я получил приказ Ставки принять участие в работе в Петрограде комиссии при участии представителей союзных держав для выяснения нужд нашей армии в снабжении на следующие 12 месяцев. Я радовался случаю увидеться с Аликс. В декабре я не считал возможным усугублять ее отчаяния, но теперь мне все-таки хотелось высказать ей мое мнение. Я каждый день ожидал начала восстания в столице. Некоторые «тайноведы» уверяли, что дело ограничится тем, что произойдет «дворцовый переворот», т.е. царь будет вынужден отречься от престола в пользу своего сына Алексея, а верховная власть будет вручена особому совету, состоящему из людей, которые «понимают русский народ».

Этот план поразил меня. Я еще не видел такого человека, который понимал бы русский народ. Вся эта идея казалась измышлением иностранного ума и, по-видимому, исходила из стен британского посольства. Один красивый и богатый киевлянин, известный дотоле лишь в качестве балетомана, посетил меня и рассказывал что-то чрезвычайно невразумительное на ту же тему о дворцовом перевороте. Я ответил ему, что он со своими излияниями обратился не по адресу, так как великий князь, верный присяге, не может слушать подобные разговоры. Глупость спасла его от более неприятных последствий. С приходом революции он стал прославленным прислужником Керенского и занимал посты министра финансов и министра иностранных дел.

Я снова посетил Петроград, к счастью, в последний раз в жизни. В день, назначенный для моего разговора с Аликс, из Царского Села пришло известие, что императрица плохо себя чувствует и не может меня принять. Я написал ей очень убедительное письмо, прося меня принять, так как я мог остаться в столице всего два дня. В ожидании ее ответа я беседовал с разными лицами. Мой шурин Миша был в это время тоже в городе. Он предложил мне, чтобы мы оба переговорили с его царственным братом после того, как мне удастся увидеть Аликс.

Председатель Государственной думы Родзянко явился ко мне с целым ворохом новостей, теорий и антидинастических планов. Его самоуверенность не имела границ и в соединении с умственными недостатками делала его похожим на хвастливого обманщика из мольеровской комедии. Не прошло и месяца, как он наградил прапорщика л.-гв. Волынского полка Кирпичникова Георгиевским крестом за то, что он убил пред строем своего командира. А десять месяцев спустя Родзянко был вынужден бежать из столицы, спасаясь от большевиков.

Я получил наконец приглашение от Аликс на завтрак в Царское Село. О, эти завтраки! Казалось, половина моей жизни была потеряна на завтраках в Царском Селе!

Аликс была в постели и обещала принять меня, как только я встану от стола. За столом нас было восьмеро: Ники, я, наследник, четыре дочери государя и флигель-адъютант Линевич. Девушки были в форме сестер милосердия и рассказывали о своей работе в госпиталях. Я не видел их с первых недель войны и нашел их повзрослевшими и очень похорошевшими. Старшая, Ольга, была похожа характером на свою тетку и тезку великую княгиню Ольгу Александровну. Вторая, Татьяна, была самой красивой в семье. Все они были в превосходном настроении и в полном неведении относительно политических событий. Они шутили со своим братом и расхваливали тетю Олю. Это было в последний раз, когда я сидел за столом в Царском Селе и видел царских детей.

Мы пили кофе в лиловой гостиной. Ники направился в прилегающую спальню, чтобы сообщить о моем приходе Аликс.

Я вошел бодро. Аликс лежала в постели в белом пеньюаре с кружевами. Ее красивое лицо было серьезно и не предсказывало ничего доброго. Я понял, что подвергнусь нападкам. Это меня огорчило. Ведь я собирался помочь, а не причинить вреда. Мне также не понравился вид Ники, сидевшего у широкой постели. В моем письме к Аликс я подчеркнул слова: «Я хочу вас видеть совершенно одну, чтобы говорить с глазу на глаз». Было тяжело и неловко упрекать ее в том, что она влечет своего мужа в бездну в присутствии его самого.

Я поцеловал ей руку, и ее губы едва прикоснулись к моей щеке. Это было самое холодное приветствие, которым она когда-либо встречала меня с первого дня нашего знакомства в 1893 году. Я взял стул, придвинул его близко к кровати и сел против стены, покрытой бесчисленными иконами и освещенной голубыми и красными лампадами.

Я начал с того, что, показав на иконы, сказал, что буду говорить с Аликс как на духу. Я кратко обрисовал общее политическое положение, подчеркивая тот факт, что революционная пропаганда проникла в гущу населения и что вся клевета и сплетни принимались им за правду.

Она резко перебила меня:

— Это неправда! Народ по-прежнему предан царю. (Она повернулась к Ники.) Только предатели в Думе и петроградском обществе мои и его враги.

Я согласился, что она отчасти права.

— Нет ничего опаснее полуправды, Аликс, — сказал я, глядя ей прямо в лицо. — Нация верна царю, но нация негодует по поводу того влияния, которым пользовался Распутин. Никто лучше меня не знает, как вы любите Ники, но все

же я должен признать, что ваше вмешательство в дела управления приносит вред престижу Ники и народному представлению о самодержце. В течение двадцати четырех лет, Аликс, я был вашим верным другом. Я и теперь ваш верный друг, но на правах такового я прошу вас понять, что все классы населения России настроены к вашей политике враждебно. У вас чудная семья. Почему же вам не сосредоточить ваши заботы на том, что даст вашей душе мир и гармонию? Предоставьте государственные дела вашему супругу!

Она вспыхнула и взглянула на Ники. Он промолчал и продолжал курить.

Я продолжал. Я объяснил, что, каким бы я ни был врагом парламентарных форм правления в России, я убежден, что если бы государь в этот опаснейший момент образовал правительство, приемлемое для Государственной думы, то этот поступок уменьшил бы ответственность Ники и облегчил его задачу.

— Ради Бога, Аликс, пусть ваши чувства раздражения против Государственной думы не преобладают над здравым смыслом. Коренное изменение политики смягчило бы народный гнев. Не давайте этому гневу взорваться.

Она презрительно улыбнулась.

— Все, что вы говорите, смешно! Ники — самодержец! Как может он делить с кем бы то ни было свои божественные права?

— Вы ошибаетесь, Аликс. Ваш супруг перестал быть самодержцем 17 октября 1905 года. Надо было тогда думать о его «божественных правах». Теперь это, увы, слишком поздно! Быть может, через два месяца в России не останется камня на камне, чтобы напоминать нам о самодержцах, сидевших на троне наших предков.

Она ответила как-то неопределенно и вдруг возвысила голос. Я последовал ее примеру. Мне казалось, что я должен изменить манеру говорить.

— Не забывайте, Аликс, что я молчал тридцать месяцев, — кричал я в страшном гневе. — В течение тридцати месяцев я не проронил ни слова о том, что творилось в составе нашего правительства, или, вернее говоря, вашего правительства. Я вижу, что вы готовы погибнуть вместе с вашим мужем, но не забывайте о нас! Разве все мы должны страдать за ваше слепое безрассудство? Вы не имеете права увлекать за собою в пропасть ваших родственников.

— Я отказываюсь продолжать этот спор, — холодно сказала она. — Вы преувеличиваете опасность. Когда вы будете менее возбуждены, вы осознаете, что я была права.

Я встал, поцеловал ее руку, не получив в ответ обычного поцелуя, и вышел. Больше я никогда не видел Аликс.

Проходя чрез лиловую гостиную, я увидел флигель-адъютанта царя, который разговаривал с Ольгой и Татьяной. Его присутствие вблизи спальни царицы удивило меня. Фрейлина государыни Вырубова, бывшая одною из главных поклонниц Распутина, говорит по этому поводу в своих мемуарах, что «царица боялась, как бы великий князь Александр не вышел из себя и не решился на отчаянный шаг». Если это было так, значит, Аликс не отдавала себе отчета в своих поступках, и это явилось бы объяснением ее действий.

На следующий день великий князь Михаил Александрович и я снова говорили с государем, понапрасну теряя время. Когда наступила моя очередь говорить, я был так взволнован, что не мог произнести ни слова.

— Спасибо, Сандро, за письмо, которое ты мне прислал из Киева. (Это была единственная реакция государя на многочисленные страницы моих советов.)

Хлебные хвосты в Петрограде становились все длиннее и длиннее, хотя пшеница и рожь гнили вдоль всего великого Сибирского пути и в юго-западном крае. Гарнизон столицы, состоявший из новобранцев и запасных, конечно, был слишком ненадежной опорой в случае серьезных беспорядков. Я спросил у военного начальства, собирается ли оно вызывать с фронта надежные части? Мне ответили, что ожидается прибытие с фронта тринадцати гвардейских кавалерийских полков. Позднее я узнал, что изменники, сидевшие в Ставке, под влиянием лидеров Государственной думы осмелились этот приказ государя отменить.

9

Как бы мне хотелось позабыть этот проклятый февраль 1917 года! Каждый день мне приходилось встречаться с кем-либо из моих родственников или друзей, которых более уже не суждено было увидеть: брата Николая Михайловича, другого брата Георгия Михайловича, шурина Михаила Александровича, двоюродных братьев Павла Александровича и Дмитрия Константиновича и многих, многих других.

Брат Георгий Михайлович заехал в Киев по дороге в Ставку. С самого начала войны он занимал должность Особоуполномоченного государя и имел задачей объезжать фронт и делать донесения об общем положении. Его наблюдения подтвердили мои самые худшие опасения. Армия и заговорщики были готовы разрушить империю.

Я ушел с головою в работу и более уже не обращал ни на что внимания. Если о нашей боеспособности можно было судить по развитию воздушных сил, то дела наши на фронте обстояли блестяще. Сотни самолетов, управляемые искусными офицерами-летчиками и вооруженные пулеметами новейшего образца, ожидали только приказа, чтобы вылететь в бой. Летая над фронтом, они видели за фронтом противника признаки отступления и искренно желали, чтобы Верховный Главнокомандующий одержал наконец победу в собственной столице. Это были прекрасные молодые люди, образованные, преданные своему делу и горячие патриоты. Два с половиной года тому назад я начал свою работу в салон-вагоне, в котором помещались и моя канцелярия, и наши боевые силы. Теперь целый ряд авиационных школ работал полным ходом, и три новых авиационных завода ежедневно строили самолеты в дополнение к тем, которые мы бесперебойно получали из Англии и Франции.

Развязка наступила самым неожиданным образом. Утренние газеты принесли известие о том, что забастовочное движение на заводах в Петрограде, работавших на оборону, разрасталось. Это было ввиду нашего предстоящего наступления очень прискорбно, хотя случалось и раньше. Телеграммы, полученные ночью, говорили о том, что главной причиной забастовок было отсутствие в столичных пекарнях хлеба. Это было неправдой. Из-за беспорядков

на наших железных дорогах Петроград действительно испытывал некоторый недостаток в снабжении хлебом, но это никогда не могло иметь своим последствием голод населения. Через час пришло известие о первых столкновениях между толпой и нерешительными солдатами-резервистами. Вот и объяснение: недостаток хлеба в столице должен был явиться сигналом для революционного выступления Государственной думы.

На следующий день я телеграфировал Ники с предложением прибыть в Ставку и отдать себя в полное его распоряжение. Одновременно я вызвал к телефону брата Сергея Михайловича. Его голос звучал очень озабоченно:

— Дела в Петрограде обстоят все хуже и хуже, — нервно сказал он. — Столкновения на улицах продолжаются, и можно с минуты на минуту ожидать, что войска перейдут на сторону мятежников.

— Но что же делают части гвардейской кавалерии? Неужели и на них нельзя более положиться?

— Каким-то странным и таинственным образом приказ об их отправке в Петроград был отменен. Гвардейская кавалерия и не думала покидать фронт.

От Ники я получил ответ: «Благодарю. Когда ты будешь нужен, я сообщу. Привет. Ники».

Он был в Ставке совершенно один. Единственно, кто мог дать ему совет — это мой брат Сергей Михайлович. Я вспомнил о генералах-изменниках, которые окружали государя, и почувствовал, что поеду в Ставку без разрешения. Помещение главного телеграфа, откуда я говорил с Сергеем, гудело, как потревоженный улей. Лица служащих, которые, конечно, все были врагами существующего строя, без слов говорили о том, что было недосказано Ставкой и газетами. Весь этот день я провел во дворце вдовствующей императрицы. Не нахожу слов, чтобы описать ее волнение и горе. Преданные императрице люди заходили к ней, чтобы сообщить о слухах и «непроверенных версиях», о последних событиях в столице.

В шесть часов утра меня вызвали на главный телеграф для разговора с Сергеем по прямому проводу.

— Ники выехал вчера в Петроград, но железнодорожные служащие, следуя приказу Особого комитета Государственной думы, задержали императорский поезд на станции Дно и повернули его в направлении к Пскову. Он в поезде совершенно один. Его хочет видеть делегация членов Государственной думы, чтобы предъявить ультиматум. Петроградские войска присоединились к восставшим.

Он больше ничего не сказал и очень торопился.

Прошел еще один день невероятных слухов. Вдовствующая императрица, Ольга и я более не находили слов. Мы молча смотрели друг на друга. Я думал о судьбе империи, они — о своем сыне и брате.

Мой адъютант разбудил меня на рассвете. Он подал мне отпечатанный лист. Это был Манифест государя об отречении. Ники отказался расстаться с сыном и отрекся в пользу Михаила. Я сидел в постели и перечитывал этот документ. Вероятно, Ники потерял рассудок. С каких пор самодержец может отречься от данной ему Богом власти из-за того, что в столице недостаток хлеба и частичные беспорядки? Измена Петроградского гарнизона? Но ведь в его

распоряжении находилась пятнадцатимиллионная армия. Все это, включая и его поездку в Петроград, казалось тогда, в 1917 году, совершенно невероятным. И продолжает мне казаться невероятным сейчас, в 1931 году.

Я оделся и пошел к Марии Федоровне разбить ее сердце вестью об отречении сына. Потом мы заказали поезд в Ставку, так как получили известие, что Ники было дано «разрешение» (!) вернуться в Ставку, чтобы проститься со своим штабом.

По приезде в Могилев наш поезд поставили на «императорскую платформу», откуда государь обычно отправлялся в столицу. Через минуту к станции подъехал автомобиль. Ники медленно прошел по платформе, поздоровался с двумя казаками конвоя, стоявшими у входа в вагон матери, и вошел. Он был бледен, но ничто другое в его внешности не говорило о том, что он был автором этого ужасного Манифеста. Государь оставался наедине с матерью в течение двух часов. Вдовствующая императрица никогда мне потом не рассказывала, о чем они говорили. Когда меня вызвали к ним, Мария Федоровна сидела и плакала навзрыд, он же неподвижно стоял, глядя себе под ноги, и, конечно, курил. Мы обнялись. Я не знал, что ему сказать. Его спокойствие свидетельствовало о том, что он твердо верил в правильность принятого им решения, хотя и упрекал своего брата Михаила за то, что тот своим отречением оставил Россию без императора.

— Миша не должен был этого делать, — наставительно закончил он. — Удивляюсь, кто дал ему такой странный совет.

Это замечание, исходившее от человека, который только что отдал шестую часть вселенной горсточке недисциплинированных солдат и бастующих рабочих, лишило меня дара речи. После неловкой паузы он стал объяснять причины своего решения. Главные из них были: 1) желание избежать в России гражданской войны; 2) желание удержать армию в стороне от политики, чтобы она могла помогать союзникам, и 3) вера в то, что Временное правительство будет править Россией более успешно, чем он.

Ни один из этих трех доводов не показался мне убедительным. Даже тогда, на второй день новой «свободной России», у меня не было никаких сомнений в том, что гражданская война в России неизбежна и что развал нашей армии является вопросом ближайшего будущего. Между тем сутки борьбы в предместьях столицы — и порядок был бы восстановлен.

Он показал мне пачку телеграмм, полученных от главнокомандующих разными фронтами в ответ на его запрос. За исключением генерала Гурко, все они, и в частности генералы Брусилов, Алексеев и Рузский, советовали государю немедленно отречься от престола. Он никогда не был высокого мнения об этих военачальниках и оставил бы без внимания их предательство. Но в глубине пакета он нашел еще одну телеграмму с советом немедленно отречься, и она была подписана великим князем Николаем Николаевичем.

— Даже он! — сказал Ники, и впервые голос его дрогнул.

Доложили, что завтрак подан. Помнится, барон Фредерикс и несколько чинов ближайшего окружения государя сидели с нами за столом. Я говорю «помнится», потому что тьма застилала мне глаза. Я предпочел бы быть заживо сожженным, чем пережить снова этот завтрак! Банальности, успокоительная

ложь, преувеличенная вежливость прислуги, заплаканное лицо моей тещи, мелькающая рука Ники, которая вставляла в мундштук новую папиросу, и раздирающие мою душу самоупреки, что, быть может, я не сделал всего, чтобы предотвратить катастрофу, воспоминания об Аликс, лежащей в постели, с лицом, полным холодной ненависти, — у меня болела голова и в ушах звенело. Я ел автоматически, стараясь избежать взглядов Ники.

Днем я увидел, что мой брат Сергей читает первый приказ Временного правительства. Солдатам всех родов войск предлагалось новыми правителями сформировать свои собственные административные комитеты — Советы — и избрать на командные должности угодных им офицеров. Этот же знаменитый «Приказ № 1» объявлял об уничтожении военной дисциплины, об отмене отдания чести и пр.

— Это же конец русской армии! — сказал Сергей. — Сам Гинденбург не мог бы внести никаких дополнений в этот приказ. Гарнизон Выборга уже перерезал своих офицеров. Остальные не замедлят последовать этому примеру.

Мы оставались в Ставке еще три дня, и каждая минута этого пребывания твердо отпечаталась в моей памяти.

Первый день

Генерал Алексеев просит всех нас собраться в главном зале могилевской Ставки: Ники хочет обратиться с прощальным словом к своему бывшему штабу. К одиннадцати часам зал переполнен: генералы, штаб- и обер-офицеры и лица свиты. Входит Ники, спокойный, сдержанный, с подобием улыбки на губах. Он благодарит штаб и просит всех продолжать работу «с прежним усердием и жертвенностью». Он просит всех забыть вражду, служить верой и правдой России и вести нашу армию к победе. Потом он произносит свои прощальные слова короткими военными фразами, избегая патетических слов. Его скромность производит на присутствующих громадное впечатление. Мы кричим «ура», как никогда еще не кричали за последние двадцать три года. Старые генералы плачут. Еще мгновение — и кто-нибудь выступит вперед и станет молить Ники изменить принятое им решение. Но напрасно: самодержец всероссийский не берет своих слов обратно! Ники кланяется и выходит. Мы завтракаем. Мы обедаем. Разговоры не клеятся. Мы говорим о годах нашего детства в Ливадийском дворце.

Всю ночь я слежу за освещенным городом и прислушиваюсь к радостным крикам толпы. Окна вагона старой императрицы освещены. Временное правительство оттягивает свое решение — может ли Ники вернуться к семье в Царское Село, и Ники беспокоится об Аликс. Она одна, и четыре дочери больны корью.

Второй день

Генерал Алексеев просит нас присягнуть Временному правительству. Он, по-видимому, в восторге: новые владыки, в воздаяние его заслуг перед революцией, обещают назначить его Верховным Главнокомандующим!

Войска выстраиваются пред домом, в котором живет государь. Я узнаю форму солдат его личной охраны. Собрались также батальон георгиевских кавалеров, отделение гвардейского железнодорожного батальона, моя авиационная группа и все офицеры штаба.

Мы стоим позади генерала Алексеева. Я не знаю, как чувствуют себя остальные, но лично не могу понять, как можно давать клятву верности группе интриганов, которые только что изменили присяге. Священник произносит слова, которых я не хочу слушать. Затем следует молебен. Впервые за триста четыре года существования монархии на молебне не упоминается имени государя. Мои мысли с Ники, который до окончания этой церемонии находится у себя. Какие муки он переживает в этот момент! Временное правительство снизошло до его просьбы, и отъезд назначен на завтра. В четыре часа дня он и Сергей должны уехать в Петроград. Я и вдовствующая императрица отправляемся в Киев.

Отсутствие всех остальных членов императорской фамилии вызывает во мне чувство горечи. Неужели они боялись, что, приехав в Ставку, рискуют своим положением перед Временным правительством, или же эта поездка им запрещена? Этот вопрос так и остался без ответа.

Третий день

Мы завтракаем вместе. Ники старается подбодрить мать. Он надеется «скоро» увидеться с нею. Что-то говорит о своем отъезде в Англию, хотя и предпочитает остаться в России. Без четверти четыре. Его поезд стоит на путях напротив нашего. Мы встаем из-за стола. Он осыпает поцелуями лицо матери. Потом поворачивается ко мне и мы обнимаемся. Он выходит, пересекает платформу и входит в свой салон-вагон. Члены Думы, прибывшие в Ставку, чтобы конвоировать Ники до Петрограда и в то же время шпионить за его приближенными,жимают руку генералу Алексееву. Они дружелюбно раскланиваются. Я не сомневаюсь, что у них есть основания быть благодарными Алексееву.

Поезд Ники свистит и медленно трогается. Он стоит в широком зеркальном окне своего вагона. Он улыбается и машет рукой. Его лицо бесконечно грустно. Он одет в простую блузу защитного цвета с орденом Св. Георгия на груди. Вдовствующая императрица, когда поезд царя скрылся из вида, уже не сдерживает больше рыданий. Входит мой брат Сергей. Через десять минут он тоже едет в Петроград. «Желаю тебе счастья, Сергей». — «Прощай, Сандро». Мы оба сознаем, что нам уже не суждено более встретиться. Наш поезд начинает медленно двигаться. Вернувшись в купе и снимая шинель, я заметил отсутствие императорских вензелей, которые в течение тридцати лет носил на погонах, и вспоминаю, что Временное правительство издало по этому поводу какой-то приказ.

14 В английском варианте сказано прямо противоположное: не «сочувствовала», а «была в ужасе». — Прим. ред.

Глава XVIII

Бегство

Вернувшись из Ставки, я должен был подумать о своей семье, состоявшей в то время из императрицы Марии Федоровны, моей жены великой княгини Ксении Александровны, шестерых сыновей, невестки, великой княгини Ольги Александровны, и ее мужа Куликовского. Моя дочь Ирина и ее муж князь Юсупов, высланный в свое имение близ Курска за участие в убийстве Распутина, присоединились к нам в Крыму немного позднее.

Я лично хотел остаться в Киеве, чтобы быть поближе к фронту. В моей душе не было чувства горечи к русскому народу. Я любил родину и рассчитывал принести ей пользу, будучи на фронте. Я пожертвовал десятью годами жизни для создания и развития нашей военной авиации, и мысль о прекращении привычной деятельности была для меня нестерпима.

Первые две недели все шло благополучно. Мы ходили по улицам, смешавшись с толпой, и наблюдали грандиозные демонстрации, которые устраивались по случаю полученной свободы!

Дни были заполнены бесконечными митингами, и многочисленные ораторы обещали мир, преуспевание и свободу. Было трудно понять, как все это произойдет, пока шла война, но, конечно, следовало считаться и с русской велеречивостью.

Вначале население относилось ко мне весьма дружелюбно. Меня останавливали на улице, пожимали руки и говорили, что мои либеральные взгляды хорошо известны. Офицеры и солдаты отдавали мне при встрече честь, хотя отдавание чести и было отменено пресловутым «Приказом № 1».

Все шло как будто прекрасно. В провинции и на окраинах революция проходила бескровно, но нужно было остерегаться планов немецкого командования. Немецкие стратеги не оправдали бы своей репутации, если бы упустили те возможности, которые открывались для них из-за наших внутренних проблем. У немецкого командования был последний шанс, чтобы предотвратить готовившееся весной общее наступление. Никакое божественное вмешательство не могло бы создать им более благоприятной обстановки, чем наша революция.

К концу марта германские агенты всецело овладели положением как в столице, так и в провинции. Совершенно безразлично, получили ли большевистские главари какие-либо денежные суммы от Людендорфа или ограничились тем, что приняли предложение германского правительства проехать через Германию в запломбированном вагоне. Ведь говорил же Ленин: «Я бы взял деньги на дело революции от самого дьявола».

Странные сообщники — Ленин и Людендорф — не обманывались относительно друг друга. Они были готовы пройти вместе часть пути к объединявшей их стремление цели. Генерал старался оставаться серьезным, думая о сумасбродстве этого «теоретика» Ленина. Зато коммунист здорово посмеялся над Людендорфом двадцать месяцев спустя, когда революционная чернь в Берлине хотела повесить этого победителя при Танненберге.

На знаменах, которые несли полные революционного энтузиазма манифестанты в Киеве, четкими буквами были написаны новые политические лозунги:

«Мы требуем немедленного мира!»

«Мы требуем возвращения наших мужей и сыновей с фронта!»

«Долой правительство капиталистов!»

«Нам нужен мир, а не проливы!»

«Мы требуем самостийной Украины!».

Последний лозунг — мастерский удар германской стратегии — нуждается в пояснении. Понятие «Украина» охватывало колоссальную территорию юго-запада России, граничившую на западе с Австрией, центральными губерниями Великороссии на севере и Донецким бассейном на востоке. Столицей Украины должен был быть Киев, а Одесса — главным портом, который вывозил бы пшеницу и сахар. Четыре века тому назад Украина была территорией, на которой ожесточенно боролись между собою поляки и свободное казачество, называвшее себя «украинцами». В 1649 году царь Алексей Михайлович, по просьбе гетмана Богдана Хмельницкого, взял Малороссию под «свою высокую руку». В составе Российской империи Украина процветала, и русские монархи приложили все усилия, чтобы развить ее сельское хозяйство и промышленность. 99% населения Украины говорило, читало и писало по-русски, и лишь небольшая группа фанатиков требовала равноправия для украинского языка. Их вышучивали, на них рисовали карикатуры. Жители Кентуккских холмов, которые стали бы требовать, чтобы Луисвилльские учителя употребляли их сленг, казались бы менее нелепыми.

Кайзер Вильгельм часто дразнил своих русских кузенов насчет сепаратистских стремлений украинцев, но то, что казалось до революции невинной шуткой, в марте 1917 года приобрело размеры подлинной катастрофы.

Лидеры украинского сепаратистского движения были приглашены в немецкий генеральный штаб, где им обещали полную независимость Украины, если им удастся разложить тыл русской армии. И вот миллионы прокламаций наводнили Киев и другие населенные пункты Малороссии. Их лейтмотивом было полное отделение Украины от России. Русские должны оставить территорию Украины. Если они хотят продолжать войну, то пусть воюют на собственной земле.

Делегация украинских самостийников отправилась в Петроград и попросила Временное правительство отдать распоряжение о создании украинской армии из всех уроженцев Украины, призванных в ряды русской армии. Даже наиболее левые члены Временного правительства признали этот план изменническим, но украинцы нашли поддержку у большевиков. Домогательства украинцев были удовлетворены. Вслед за этим немецкий генеральный штаб стал снимать с Восточного фронта целые дивизии и отправлять их во Францию. Русский «паровой каток» разлетелся на куски.

2

Воодушевленные своим первым успехом, банды немецких агентов, провокаторов и украинских сепаратистов удвоили свои усилия. Агитация против существующих учреждений подкреплялась призывами бороться с врагами революции. Наступил момент, когда разрушение царских памятников

уже более не удовлетворяло толпу. В одну ночь киевская печать коренным образом изменила свое отношение к нашей семье.

— Всю династию надо утопить в грязи, — восклицал один известный журналист на страницах распространенной киевской газеты, и началось забрасывание нас грязью. Уже более не говорилось о либерализме моего брата, великого князя Николая Михайловича или о бескорыстии великого князя Михаила Александровича. Мы все вдруг превратились в «Романовых, врагов революции и русского народа».

Моя бедная теща, страшно удрученная полной неизвестностью о судьбе старшего сына, не могла переносить всех этих нападков. Напрасно я старался ей объяснить безжалостный ход всех вообще революций. Семидесятилетняя женщина не могла постичь и не хотела верить, что династия, давшая России Петра Великого, Александра I, Александра II и, наконец, ее собственного мужа Александра III, которого она обожала, могла быть обвинена теперь во враждебности к русскому народу.

— Мой бедный Ники, может быть, и делал ошибки, но говорить, что он враг народа!.. Никогда, никогда!..

Она вся дрожала от негодования. Она смотрела на меня глазами, которые, казалось, говорили: «Ты знаешь, что это неправда! Почему же ты ничего не сделаешь, чтобы прекратить этот ужас?»

Мое сердце обливалось кровью. Личное чувство унижения забывалось, когда я видел, какие страдания уготовила ей судьба. Пятьдесят лет тому назад обаятельная принцесса Дагмар пожертвовала своей молодостью, красотой и счастьем для блага чужой страны. Она присутствовала при мученической кончине своего добрейшего свекра императора Александра II, которого привезли 1 марта 1881 года во дворец разорванным бомбой террориста. Она страдала и терпела, видя, как ее муж не щадил себя для России и губил свое железное здоровье. Теперь судьба забросила ее сюда, на расстояние сотни верст от ее сыновей, в этот провинциальный город, жители которого решили сделаться украинцами. Она не верила, что сын ее перестал быть императором. И разве в таком случае внук ее Алексей не должен был по закону наследовать отцу? Неужели Ники отрекся из-за него? Но что же тогда делает ее второй сын Михаил и почему новый император не может взять родную мать к себе?

Мои бывшие подчиненные навещали меня каждое утро и просили уехать в наше крымское имение, пока еще можно было получить разрешение на это от Временного правительства. Появились слухи, что император Николай II и вся царская семья будут высланы в Сибирь, хотя в марте ему и были даны гарантии, что он может выбирать между Англией и Крымом. Керенский, в то время единственный социалист в составе Временного правительства, сообщил своим друзьям, что Ллойд Джордж отказал бывшему царю в разрешении на въезд в Англию. Английский посол сэр Джордж Бьюкенен это впоследствии отрицал, но время было упущено, и настоящие господа положения — руководители Петроградского совета — требовали высылки царя в Сибирь.

Я просил великую княгиню Ольгу Александровну постараться убедить вдовствующую императрицу переехать в Крым. Вначале я встретил решительный отказ: она не хотела уезжать от Ники еще дальше. Если это новое

варварское правительство не позволит Ники приехать в Киев, заявила она после того, как нам удалось ей разъяснить настоящее положение государя, то почему она не может разделить с ним его северное заточение? Его жена Аликс слишком молода, чтобы нести бремя страданий одной. Она была уверена, что Ники нуждается в поддержке матери.

Это материнское чувство было так прекрасно в своей искренности, что Ольга Александровна вынуждена была ей уступить. Ольга говорила, что нужно уважать волю Всевышнего. Как бы ни было тяжело, лучше всем быть вместе.

По всей вероятности, некоторым из наших добрых друзей, тронутых нашим положением, удалось повлиять на Временное правительство, и в один прекрасный день к нам явился комиссар и передал приказ отправиться немедленно в Крым. Местный Совет всецело одобрил этот план, так как считал, что «пребывание врагов народа так близко от Германского фронта представляет собою большую опасность для революционной России».

Нам пришлось почти что нести императрицу на вокзал. Она боролась до последней минуты, желая остаться и заявляя, что предпочитает, чтобы ее арестовали и бросили в тюрьму.

3

Наше путешествие совершалось под конвоем матросов. По приезде в Ай-Тодор мы получили длинный список того, что мы не должны были делать, от некоего господина, носившего громкий титул «Особый комиссар Временного правительства».

Мы находились под домашним арестом и могли свободно передвигаться лишь в пределах Ай-Тодорского имения, на полутора десятинах между горами и берегом моря. Это условие было довольно приятным. Зато другие...

Охраняющие нас вооруженные моряки, отобранные за свои радикальные взгляды, имели право входить в наши комнаты в любое время дня и ночи. Без разрешения комиссара мы не могли ни получать, ни отправлять письма и телеграммы. Комиссар присутствовал при всех наших трапезах; рядом с ним находился его переводчик — на тот случай, если мы перейдем в разговоре на иностранные языки. Всех, кто хотел нас видеть, обыскивали и при входе, и на выходе.

Каждый день проверялось, сколько мы израсходовали свечей и керосина. Я попытался уверить комиссара, что мы не владеем искусством изготовления бомб!

— Не в том дело, — ответил он, смутившись. — Это для того, чтобы успокоить местный Совет. Они там думают, что вы можете посылать сигналы турецкому флоту.

Какую же свечу надо было иметь, чтобы подавать сигналы кораблям, стоящим в Босфоре, в четырехстах милях от Крыма! Зато это идиотское объяснение открыло мне глаза на то, сколь неустойчиво положение нашего комиссара.

Он являлся представителем Временного правительства, матросы же действовали по уполномочию местного Совета, и обе эти революционные власти находились в постоянной вражде. Матросы не доверяли комиссару,

комиссар же с ужасом смотрел на ручные гранаты, заткнутые за пояс революционных матросов. Будучи ранее членом Государственной думы и происходя из богатой семьи, комиссар Временного правительства надеялся, что революционная буря скоро уляжется, страна вновь заживет нормальной жизнью и власть останется в руках его единомышленников.

Как все безответственные представители либеральных партий того времени, он попал, так сказать, между двух огней, и его крайняя неискренность не могла ввести в заблуждение циничных матросов. Они не скрывали своего презрения к нему, не слушались его приказаний и даже отказывались вставать при его появлении.

Как бы грубо он ни вел себя со мной или членами моей семьи, большевики продолжали обвинять его в попытках организовать бегство великого князя Николая Николаевича, бывшего Главнокомандующего, который приехал в Крым вслед за нами вместе со своей женой, великой княгиней Станой, и братом, великим князем Петром.

У комиссара было никогда не оставлявшее его испуганно-озабоченное выражение лица. Постоянно оглядываясь на терроризировавших его помощников, он в обращении с нами старательно подражал их революционной резкости. В апреле он титуловал меня «бывшим великим князем Александром», в мае я превратился в «адмирала Романова», к июню я уже стал просто «гражданином Романовым». Всякий намек на протест с моей стороны сделал бы его счастливым. Но мое безразличие сводило все его замыслы к нулю. Он приходил буквально в отчаяние.

Он с ненавистью смотрел на вдовствующую императрицу, надеясь, что хоть она будет протестовать против его бестактностей. Сомневаюсь, замечала ли она его вообще. С утра до вечера она сидела на веранде, погруженная в чтение старой семейной Библии, которая сопровождала ее во всех ее путешествиях с того самого дня, как она покинула родную Данию в шестидесятых годах прошлого столетия.

Особый комиссар Временного правительства, которое обещало свободу, равенство и братство, решил наконец попытать свое счастье с моим младшим сыном Василием. Он, вероятно, слышал, что подобный метод применялся во Франции во время революции. Чтобы следовать примеру во всех деталях, он обратился к мальчику на языке Робеспьера. Василий поправил его ошибки во французском языке, но этим дело и кончилось.

Моя жена смеялась, но я предчувствовал новую опасность. С севера приходили тревожные вести, указывавшие на то, что скоро власть перейдет в руки большевиков. Чтобы выслужиться перед местным совдепом, комиссар был, конечно, способен на все.

4

Я внезапно проснулся, почувствовав прикосновение чего-то холодного ко лбу, и поднял руку, чтобы понять, что это такое, но грубый голос произнес надо мною угрожающе:

— Не двигаться, а то пристрелю на месте!

Я открыл глаза и увидел двух человек, которые стояли над моей кроватью. Судя по серому свету, пробивавшемуся через окна, было, вероятно, около четырех часов утра.

— Что вам угодно? — спросила жена. — Если вам нужны мои драгоценности, вы найдете их на столике в углу.

— Мы и не думали о ваших драгоценностях, — ответил тот же голос. — Нам нужны вы, аристократы! Всякое сопротивление бесполезно. Дом окружен со всех сторон. Мы представители Севастопольского совета. Потрудитесь слушаться моих приказаний.

Итак, наступило неизбежное. Стараясь сохранить самообладание, я сказал нашему почти невидимому собеседнику, что всецело готов подчиниться его приказам, но прошу зажечь свет, чтобы убедиться в законности его «мандата».

— Эй, вы там? — закричал он кому-то в темноту. — Дайте огня! Гражданин Романов хочет видеть подпись победоносного пролетариата.

В ответ из темноты раздался смех, и в комнату из коридора вошло несколько человек.

Свет зажгли. Комната наполнилась толпой вооруженных до зубов матросов. Мне предъявили приказ.

Согласно приказу, наряду матросов предписывалось произвести тщательный обыск имения, называемого Ай-Тодор, в котором жили гражданин Александр Романов и его жена Ксения Романова с детьми.

— Уберите, пожалуйста, винтовки и дайте нам возможность одеться, — предложил я, думая, что если моя просьба будет уважена, то это означает, что нас намереваются увезти в тюрьму.

Но предводитель матросов, по-видимому, угадал мои мысли и иронически улыбнулся.

— Не стоит одеваться, гражданин Романов. Мы вас еще не собираемся увозить. Потрудитесь просто встать и показать нам весь дом.

Он сделал знак матросу, и тот отодвинул на два вершка дуло револьвера от моей головы.

Я засмеялся:

— Неужели вы так боитесь двух безоружных людей?

— С врагами народа мы должны быть осторожными, — серьезно заметил он. — Почему мы знаем, быть может, у вас имеется какая-нибудь скрытая сигнализация?

— Курить можно?

— Да. Только не заговаривайте мне зубы. Мы должны делать наше дело. Во-первых, надо осмотреть большой письменный стол в библиотеке. Дайте ключи. Мы не собираемся ломать у вас мебель. Все это — народное добро.

Я достал ключи из-под подушки.

— Вот ключи. Но где же комиссар Временного правительства?

— Он не нужен. Мы обойдемся и без него. Показывайте дорогу.

Окруженный матросами с револьверами, наведенными на меня, я повел моих гостей по коридору. В доме находилось не менее пятидесяти матросов. У каждой двери мы натыкались на новую группу вооруженных людей.

— Однако! — не удержался я от замечания предводителю. — Даже на вдовствующую императрицу и маленьких детей приходится не меньше чем по шести человек на каждого.

Он не обратил внимания на мою иронию и указал на окно: три громадных грузовика, наполненных солдатами, с пулеметами на особых платформах, стояли на лужайке.

Я помог ему открыть стол. Он выбрал пачку писем с иностранными марками.

— Переписка с противником. Для начала недурно!

— К сожалению, я должен разочаровать вас. Все это письма, написанные моими английскими родственниками.

— А это?

— Оно из Франции.

— Что Франция, что Германия — для нас все одно! Все это капиталистические враги рабочего класса.

После десятиминутных поисков ему наконец удалось найти ящик, в котором находились письма, написанные на языке, который он мог понять. Он медленно начал их перечитывать.

— Переписка с бывшим царем, — сказал он авторитетно, — заговор против революции.

— Посмотрите на даты. Все эти письма были написаны еще до войны.

— Хорошо. Это решат товарищи в Севастополе.

— Вы собираетесь забрать мою личную корреспонденцию?

— Конечно. У нас по этой части имеются специалисты. Я, собственно говоря, пришел искать оружие. Где ваши пулеметы?

— Вы смеетесь?

— Я говорю совершенно серьезно. Обещаю вам в присутствии моих товарищей, что вам ничего не угрожает, если вы выдадите пулеметы без сопротивления. Рано или поздно мы их найдем, и тем хуже будет для вас и для вашей семьи.

Продолжать этот спор было бесполезно. Я закурил папиросу и уселся в кресло.

— Считаю до трех, — угрожающе поднялся он. — Что, мы производим обыск или же нет?

— Вам лучше знать.

— Хорошо. Товарищи, приступите к подробному обыску.

Лишь в шесть часов вечера они двинулись обратно в Севастополь, оставив дом в полнейшем беспорядке и захватив с собою мою личную корреспонденцию и Библию, принадлежавшую моей теще. Вдовствующая императрица умоляла не лишать ее этого сокровища и предлагала взамен все свои драгоценности.

— Мы не воры, — гордо заявил предводитель шайки, совершенно разочарованный неудачей своей миссии. — Это контрреволюционная книга, и такая старая женщина, как вы, не должна отравлять себя подобной чепухой.

Через десять лет, будучи уже в Копенгагене, моя теща получила пакет, в котором находилась ее Библия. Один датский дипломат, находясь в Москве,

купил ее у букиниста, который торговал редкими книгами. Императрица Мария Федоровна умерла с нею в руках.

5

К ранней осени процесс революционного разложения достиг своего апогея. Дивизии, бригады и полки перестали существовать, и толпы грабителей, убийц и дезертиров наводнили тыл.

Командующий Черноморским флотом адмирал Колчак поехал в С.-Петербург, чтобы исходатайствовать перед американским правительством о принятии его добровольцем в военный флот США. Колчак старался до последней минуты поддерживать дисциплину во флоте, но посулы Советов казались его подчиненным более заманчивыми. Адмирал не мог дать более того, что обещали представители Севастопольского совета: поделить между матросами все деньги, которые находились в крымских банках. Эффектным жестом он сломал свой золотой кортик, полученный за храбрость, бросил его в волны моря на глазах эскадры и удалился.

Часто во время прогулки по парку я встречал великого князя Николая Николаевича. Политические разногласия давно истончили наши отношения, а глубина общего горя делала излишними всякие обсуждения. И все же я думаю, что бывший Главнокомандующий начал понимать, пусть и слишком поздно, горькую правду моих оставшихся без внимания предупреждений.

Мы ежедневно ожидали падения Временного правительства и в мыслях были с нашими далекими родными. За исключением царя и его семьи, которых перевезли в Тобольск, все остальные находились в С.-Петербурге. Если бы мои братья Николай, Сергей и Георгий своевременно приехали к нам в Ай-Тодор, они были бы живы до сегодняшнего дня. Я не имел с октября 1917 года никаких известий с севера и о их трагической гибели узнал только в Париже в 1919 году.

Но наступил день, когда наш комиссар не явился. Это могло иметь только одно объяснение: мы должны готовиться к встрече с новыми правителями России. В полдень у ворот нашего имения остановился запыленный автомобиль, из которого вылез вооруженный до зубов гигант в форме матроса. После короткого разговора при входе он вошел ко мне без доклада.

— Я получил приказ советского правительства, — заявил он, — взять в свои руки управление всем этим районом.

Я попросил его сесть.

— Я знаю вас, — продолжал он. — Вы бывший великий князь Александр Михайлович. Неужели вы не помните меня? Я служил в 1916 году в вашей авиационной школе.

Под моим начальством служило две тысячи авиаторов, и, конечно, я не мог вспомнить его лицо. Но это облегчало установление отношений с нашим новым тюремщиком.

Он объяснил, что «по стратегическим соображениям» мы должны будем переехать в соседнее имение «Дюльбер», принадлежавшее моему двоюродному брату, великому князю Петру Николаевичу.

Я уже долго не слыхал этого военного термина. Что общего имели «стратегические соображения» с содержанием моей семьи под стражей? Разве что можно было ожидать турецкого десанта?

Он усмехнулся:

— Нет, дело обстоит гораздо хуже, чем вы думаете. Ялтинские товарищи настаивают на вашем немедленном расстреле, но Севастопольский совет велел мне защищать вас до получения особого приказа от товарища Ленина. Я не сомневаюсь, что Ялтинский совет попытается захватить вас силой, и поэтому приходится ожидать нападения из Ялты. Дюльбер, с его высокими стенами, легче защищать, чем Ай-Тодор, — здесь местность открыта со всех сторон.

Он достал план Дюльбера, на котором красными чернилами были отмечены крестиками места для расстановки пулеметов. Я никогда не думал, что прекрасная вилла Петра Николаевича имеет так много преимуществ с чисто военной точки зрения. Когда он начал ее строить, мы подсмеивались над чрезмерной высотой толстых стен и высказывали предположение, что он, вероятно, собирается начать жизнь «Синей Бороды». Но наши насмешки не изменили решения Петра Николаевича. Он говорил, что никогда нельзя знать, что готовит нам отдаленное будущее. Благодаря его предусмотрительности Севастопольский совет располагал в ноябре 1917 года хорошо укрепленной тюрьмой.

6

События последующих пяти месяцев подтвердили справедливость опасений новых тюремщиков. Каждую вторую неделю Ялтинский совет посылал своих представителей в Дюльбер, чтобы вести переговоры с нашими неожиданными защитниками.

Тяжелые подводы, нагруженные солдатами и пулеметами, останавливались у стен Дюльбера. Прибывшие требовали, чтобы к ним вышел комиссар Севастопольского совета товарищ Задорожный. Товарищ Задорожный, здоровенный парень двух метров росту, приближался к воротам и расспрашивал новоприбывших о целях их визита. Мы же, которым в таких случаях предлагалось не выходить из дома, слышали через открытые окна обычно следующий диалог:

— Задорожный, довольно болтать! Надоело! Ялтинский совет предъявляет свои права на Романовых, которых Севастопольский совет держит за собою незаконно. Мы даем пять минут на размышление.

— К черту Ялтинский совет! Вы мне надоели. Убирайтесь, а не то дам отвесть севастопольского свинцу!

— Сколько вам заплатили эти аристократишки, товарищ Задорожный?

— Достаточно, чтобы хватило на ваши похороны.

— Председатель Ялтинского совета сообщит о вашей контрреволюционной деятельности товарищу Ленину. Мы не советуем вам шутить с правительством рабочего класса.

— Покажите мне ордер товарища Ленина, и я выдам вам заключенных. И не говорите мне ничего о рабочем классе. Я сам старый большевик. Я уже был в партии, когда вы сидели в тюрьме за кражу.

— Товарищ Задорожный, вы об этом пожалеете!

— Убирайтесь к черту!

Молодой человек в кожаной куртке и таких же галифе, представитель Ялтинского совдепа, пытался обратиться с речью к севастопольским пулеметчикам, которых хотя и не было видно, но чье присутствие где-то на вершине стен он чувствовал. Он говорил об исторической необходимости бороться против контрреволюции, призывал их к чувству «пролетарской справедливости» и упоминал о неизбежности виселицы для всех изменников. Те молчали. Иногда они бросали в него камушками или даже окурками.

Как предельно красноречиво выражался Задорожный, каждому из его подчиненных было бы чрезвычайно лестно расстрелять великого князя, но не ранее чем Севастопольский совет отдаст об этом приказ. По его мнению, большевистское правительство осуществляло свою власть над Крымом через посредство Севастопольского совета, а Ялтинский совет состоял из налетчиков, объявивших себя коммунистами.

Великий князь Николай Николаевич не мог понять, почему я вступал с Задорожным в бесконечные разговоры.

— Ты, кажется, думаешь, — говорил мне Николай Николаевич, — что можешь переменить взгляды этого человека. Достаточно одного слова его начальства, чтобы он пристрелил тебя и всех нас с превеликим удовольствием.

Это я и сам прекрасно понимал, но должен был сознаться, что в грубости манер нашего тюремщика, в его фанатической вере в революцию было что-то притягательное. Во всяком случае, я предпочитал его грубую прямооту двуличию комиссара Временного правительства. Каждый вечер, перед тем как идти спать, я полушутя задавал Задорожному один и тот же вопрос: «Ну что, пристрелите вы нас сегодня ночью?». Его обычное обещание не принимать никаких «решительных мер» до получения телеграммы с севера меня до известной степени успокаивало.

По-видимому, моя доверчивость ему нравилась, и он часто спрашивал у меня совета в самых секретных делах. В дополнение к возведенным укрытиям для пулеметов я помог ему возвести еще несколько укреплений вокруг нашего дома, а по вечерам редактировал его рапорты Севастопольскому совету о поведении бывших великих князей и их семейств.

Однажды он явился ко мне по очень деликатному вопросу:

— Послушайте, — неловко начал он, — товарищи в Севастополе боятся, что контрреволюционные генералы пошлют за вами подводную лодку.

— Что за глупости, Задорожный. Вы же служили во флоте и отлично понимаете, что подводная лодка здесь пристать не может. Обратите внимание на скалистый берег, на приливы и глубину бухты. Подводная лодка могла бы пристать в Ялте или в Севастополе, но не в Дюльбере.

— Я им обо всем этом говорил, но что они понимают в подводных лодках! Они посылают сегодня сюда два прожектора, но беда в том, что никто из здешних товарищей не умеет с ними обращаться. Не поможете ли вы нам?

Я с готовностью согласился помогать им в борьбе с мифической подводной лодкой, которая должна была нас спасти. Моя семья терялась в догадках по поводу нашего мирного сотрудничества с Задорожным. Когда прожекторы были

установлены, мы пригласили всех полюбоваться их действием. Моя жена решила, что Задорожный, вероятно, потребует, чтобы я помог нашему караулу зарядить винтовки перед нашим расстрелом.

7

Главным недостатком нашего положения было полное отсутствие известий откуда бы то ни было. С недостатком жизненных припасов мы примирились. Мы подсмеивались над рецептами изготовления шницеля по-венски из морковного пюре и капусты, но для преодоления мрачного настроения, которое проистекало от чтения советских газет, были бы бессильны юмористы всего мира. Длинные газетные столбцы, воспроизводившие исступленные речи Ленина или Троцкого, ни одним словом не упоминали о том, прекратились ли военные действия после подписания Брест-Литовского мира. Слухи же, поступающие к нам окольными путями с юго-запада России, заставляли предполагать, что большевики неожиданно натолкнулись в Киеве и Одессе на какого-то таинственного врага. Задорожный уверял, что ему об этом ничего неизвестно, но частые телефонные разговоры, которые он вел с Севастополем, подтверждали, что что-то было неблагополучно.

В своих постоянных сношениях с Москвою Ялтинский совет нашел новый повод для нашего преследования. Нас обвинили в укрывательстве генерала Орлова, подавлявшего революционное движение в Эстонии в 1907 году. Из Москвы был получен приказ произвести у нас обыск под наблюдением нашего постоянного визитера, врага Задорожного.

В соседнем с нами имении действительно проживал бывший флигель-адъютант князь Орлов, женатый на дочери вел. кн. Петра Николаевича, но он не имел ничего общего с генералом Орловым. Даже наш непримиримый ялтинский ненавистник согласился с тем, что князь Орлов по своему возрасту не мог быть генералом в 1907 году. Все же он решил арестовать князя, чтобы предъявить его эстонским товарищам.

— Ничего подобного вы не сделаете, — возвысил голос Задорожный, который был крайне раздражен этим вмешательством. — В предписании из Москвы говорится о бывшем генерале Орлове, и это не дает вам никакого права арестовать бывшего князя Орлова. Со мной этот номер не пройдет. Я вас знаю. Вы его пристрелите за углом и потом будете уверять, что это был генерал Орлов, которого я укрывал. Убирайтесь вон.

Молодой человек в кожаной куртке и галифе побледнел, как полотно.

— Товарищ Задорожный, ради Бога, — стал он умолять дрожащим голосом, — дайте мне его, а то мне несдобровать. Моим товарищам эти вечные поездки в Дюльбер надоели. Если я вернусь в Ялту без арестованного, они придут в ярость, и я не знаю, что они со мною сделают.

— Это ваше дело, — ответил, насмешливо улыбаясь, Задорожный. — Вы хотели подкопаться под меня, а вырыли яму себе. Убирайтесь теперь вон.

Он открыл настежь ворота и почти выбросил своего врага за порог.

Около полуночи Задорожный постучал в дверь нашей спальни и вызвал меня. Он говорил хриплым шепотом:

— Мы в затруднительном положении. Давайте обсудим, что делать. Ялтинская банда его таки пристрелила...

— Кого? Орлова?

— Нет... Орлов спит в своей постели, с ним все в порядке. Они расстреляли того болтуна. Как он и говорил, они потеряли терпение, когда он явился с пустыми руками, и пристрелили его по дороге в Ялту. Только что звонили по телефону из Севастополя и велели готовиться к нападению. Они высылают к нам пять грузовиков с солдатами, но Ялта находится отсюда ближе, чем Севастополь. Пулеметов я не боюсь, но что мы будем делать, если ялтинцы пришлют артиллерию? Лучше не ложитесь и будьте ко всему готовы. Если нам придется туго, вы сможете, по крайней мере, хоть заряжать винтовки.

Я не мог сдержать улыбки. Моя жена оказалась права.

— Я понимаю, что все это выглядит довольно странно, — добавил Задорожный, — но я хотел бы, чтобы вы уцелели до утра. Если это удастся, вы будете спасены.

— Что вы хотите этим сказать? Разве правительство решило нас освободить?

— Не задавайте вопросов. Будьте готовы.

Он быстро удалился, оставив меня совершенно озадаченным.

Я сел на веранде. Была теплая апрельская ночь, и наш сад был полон запаха цветущей сирени. Я понимал, что обстоятельства складываются против нас. Стены Дюльбера, конечно, не могли выдержать артиллерийской бомбардировки. В лучшем случае севастопольцы доберутся до Дюльбера в четыре часа утра, а самый тихоходный грузовик проедет расстояние между Ялтой и Дюльбером максимум за час.

Моя жена появилась в дверях и спросила, в чем дело.

— Ничего особенного. Задорожный просил меня посмотреть прожекторы. Они опять испортились.

Я вскочил, так как мне показалось, что вдали послышался шум автомобиля.

— Скажи мне правду, — просила жена. — Я вижу, что ты взволнован. В чем дело? Ты получил известия о Ники? Что-нибудь нехорошее?

Я ей в точности передал разговор с Задорожным, и она с облегчением вздохнула. Она не верила, что сегодня ночью с нами случится что-нибудь недоброе, и предчувствовала приближение конца страданиям. Я с ней не спорил. Я только восхищался ее верой и отвагой.

Между тем время шло. Часы в столовой пробили час. Задорожный прошел мимо веранды и сказал, что теперь их можно ожидать с минуты на минуту.

— Жаль, — заметила моя жена, — что они захватили Библию мамы. Я бы наугад открыла ее, как это мы делали в детстве, и прочла, что готовит нам судьба.

Я направился в библиотеку и принес карманное издание Священного Писания, которого летом не заметили делавшие у нас обыск товарищи.

Она открыла книгу, а я зажег спичку. Это был 28-й стих 2-й главы книги Откровения Иоанна: «И дам ему звезду утреннюю».

— Вот видишь, — сказала жена, — все будет благополучно!

Ее вера передалась и мне. Я сел и заснул в кресле. А когда вновь открыл глаза, то увидел Задорожного. Он стоял предо мной и тряс меня за плечо. Широкая улыбка светилась на его лице.

— Который сейчас час, Задорожный? Сколько минут я спал?

— Минут? — он весело рассмеялся. — Вы хотите сказать часов! Теперь четыре часа. Севастопольские грузовики только что въехали сюда с пулеметами и вооруженной охраной.

— Ничего не понимаю... Те из Ялты, они должны были быть здесь уже давным-давно? Если...

— Если... что? — Он покачал головой и бросился к воротам.

В шесть часов утра зазвонил телефон. Я услышал громкий голос Задорожного, который взволнованно говорил: «Да, да... Я сделаю, как вы прикажете...».

Он снова вышел на веранду. Впервые за эти пять месяцев я увидел, что он растерялся.

— Ваше Императорское Высочество! — сказал он, опутив глаза. — Немецкий генерал прибудет сюда через час.

— Немецкий генерал? Вы с ума сошли, Задорожный. Что с вами случилось?

— Пока еще ничего, — медленно ответил он. — Но боюсь, что случится, если вы не примете меня под свою защиту.

— Как могу я вас защищать? Я вами арестован.

— Вы свободны. Два часа тому назад немцы заняли Ялту. Они только что звонили сюда и грозили меня повесить, если с вами что-нибудь случится.

Моя жена впилась в него глазами. Ей казалось, что Задорожный спятил.

— Слушайте, Задорожный, не говорите глупостей! Немцы находятся еще в тысяче верст от Крыма.

— Мне удалось сохранить в тайне от вас передвижение немецких войск. Немцы захватили Киев еще в прошлом месяце и с тех пор делали ежедневно на восток от 20 до 30 верст. Но, ради Бога, Ваше Императорское Высочество, не забывайте, что я не причинил вам никаких ненужных страданий! Я только исполнял приказы!

Было бесконечно трогательно видеть, как этот великан дрожал при приближении немцев и молил меня о защите.

— Не волнуйтесь, Задорожный, — сказал я, похлопывая его по плечу. — Вы очень хорошо относились ко мне. Я против вас ничего не имею.

— А Их Высочества великие князья Николай и Петр Николаевич?

Мы оба рассмеялись, и затем моя жена успокоила Задорожного, обещав, что ни один из старших великих князей не будет жаловаться на него немцам.

Ровно в семь часов в Дюльбер прибыл немецкий генерал. Никогда не забуду его изумления, когда я попросил его оставить весь отряд «революционных» матросов во главе с Задорожным для охраны Дюльбера и Ай-Тодора. Он, вероятно, решил, что я сошел с ума. «Но ведь это же совершенно невозможно!» — воскликнул он по-немецки, по-видимому возмущенный этой нелогичностью. Неужели я не сознавал, что император Вильгельм II и мой племянник кронпринц никогда не простят ему, если он разрешит оставить на свободе и около родственников Его Величества этих «ужасных убийц»?

Я должен был дать ему слово, что специально напишу об этом его начальству и беру всецело на свою ответственность эту «безумную идею». И даже после этого генерал продолжал бормотать что-то об «этих фантастических русских»!

8

Согласно условиям перемирия, немцы должны были освободить Крымский полуостров, а также все остальные части Российской империи, занятые ими весной 1918 года.

В Севастополь прибыл британский военный флот, и его командующий адмирал Кэльторп сообщил нам о предложении английского короля дать в наше распоряжение пароход для отъезда в Англию. Вдовствующая императрица поблагодарила своего царственного племянника за внимание, но отказалась покинуть Крым, если ей не разрешат взять с собою всех ее друзей, которым угрожала месть большевиков. Король Георг изъявил на это свое согласие, и мы все стали готовиться к путешествию.

Желая увидеть глав союзных правительств, собравшихся тогда в Париже, чтобы представить им доклад о положении в России, я обратился к адмиралу Кэльторпу с письмом, в котором просил его оказать содействие моему отбытию из Крыма до отъезда нашей семьи, которая должна была тронуться в путь в марте 1919 года. Адмирал послал за мною миноносец, чтобы доставить меня из Ялты в Севастополь, и мы условились с ним, что я покину Россию той же ночью на корабле его величества «Форсайт».

Странно было видеть севастопольский рейд, пестревший американскими, английскими, французскими и итальянскими флагами. Я напрасно искал среди этой массы флагов русский флаг или же русское военное судно. Взглянув на ветки остролистника, украшавшие мою каюту, я вдруг вспомнил, что русское 11 декабря соответствовало западноевропейскому Сочельнику. Было бы неудобно нарушать веселое настроение моих хозяев своим горем, а потому я извинился, что не буду присутствовать на торжественном обеде в кают-компании, и поднялся на палубу.

«Форсайт» увеличивал скорость, и береговые огни мало-помалу скрывались из вида. Когда я обернулся к открытому морю, то увидел Ай-Тодорский маяк. Он был построен на земле, которую мои родители и я возделывали в течение последних сорока пяти лет. Мы выращивали на ней сады и трудились на ее виноградниках. Моя мать гордилась нашими цветами и фруктами. Мои мальчики должны были закрывать рубашки салфетками, чтобы на запачкаться, поедая великолепные сочные груши. Было странно, что, утратив так много лиц и событий, память моя сохранила воспоминание об аромате и вкусе груш из нашего имения в Ай-Тодоре. Но еще более странно было сознавать, что, мечтая 50 лет своей жизни об освобождении от стеснительных пут, которые на меня налагало звание великого князя, я получил наконец желанную свободу на английском корабле.

Глава XIX

После бури

1

В Париже пахло зимой, жареными каштанами и тлеющими в жаровнях угольями.

Слепой музыкант стоял перед Кафе-де-Ля-Пэ и пел дрожащим голосом веселую песенку:

Мадлон, наполни стаканы

И пой вместе с солдатами.

Мы выиграли, наконец, войну.

Веришь ли ты, что мы их победили?

Последняя строка, которая своим резким стаккато подражала военному маршу, как будто требовала большого воодушевления от французов, англичан и американцев, сидевших за мраморными столиками кафе. Но они сидели неподвижно. Перемирие было объявлено два месяца назад, и все они сознавали трудности, ожидавшие их по возвращении к нормальной жизни, которая исчезла 1 августа 1914 года. У них отняли молодость, и теперь они хотели забыть все, что касалось войны.

Я отправился в Версаль с докладом о положении в России, который я приготовил во время путешествия на «Форсайте». Я хотел переговорить с Клемансо до открытия мирной конференции, хотя представители союзных держав, которых я посетил в Константинополе и Риме, проявили весьма ограниченный интерес к действиям Ленина, Троцкого и других носителей «трудных русских имен».

— Не тревожьтесь, Ваше Императорское Высочество, — заявил мне один французский генерал, известный своими победами на Ближнем Востоке. — Мы собираемся скоро высадить одну или две дивизии в Одессе с приказом идти прямо на Москву. Вы скоро опять вернетесь в ваш петербургский дворец.

Я поблагодарил почтенного генерала за добрые слова и не вступил с ним в пререкания, не желая принимать на себя одного непосильную задачу борьбы с невежеством официальной Европы.

Я надеялся на лучшие результаты от переговоров с Клемансо. Можно было думать, что всем известный цинизм этого старца поможет ему разобраться и найти верный путь среди того потока красноречия и идиотских теорий, которые владели тогда умами. Мне не хотелось верить, что Клемансо не поймет той мировой опасности, которая заключалась в большевизме.

Мирная конференция должна была открыться через несколько дней после моего приезда в Париж. Залы исторического дворца французских королей в Версале были полны политических интриг и слухов. Румыны, чехословаки, португальцы и другие спорные участники победы раздирали трупы трех павших империй. Приходили на ум знаменитые слова Бисмарка: «Румыны — это не нация, а профессия».

Никто не желал помнить, что бывшая Российская империя сражалась на стороне союзников; многочисленные русские губернии переходили Румынии и новосозданным государствам — Польше, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Грузии и Азербайджану, — их интересы представляли в Версале бывшие

русские провинциальные адвокаты, ставшие вдруг чрезвычайными и полномочными послами.

Уполномоченные 27 наций, собравшиеся в Версале, клялись именем американского президента Вильсона, но фактически все дела вершила так называемая Большая четверка — Франция, Англия, Италия и Япония. Глядя на знакомые лица, я понял, что перемирие уже вызвало пробуждение самых эгоистических инстинктов: основы вечного мира вырабатывались теми же государственными людьми, которые были виновниками мировой войны. Спектакль принимал зловещий характер даже для выдавших виды дипломатов. Бросалась в глаза фигура Артура Бальфура, посветившего много лет жизни насаждению вражды между Лондоном и Берлином. Он стоял, пожимая всем руки и время от времени изрекая афоризмы.

— Вот и я, — казалось, говорила его капризная усмешка. — Я готов принять участие в мирной конференции в обществе всех этих старых лисиц, которые сделали все от них зависящее, чтобы поощрить мировую бойню. В общем, ничего не изменилось под солнцем, несмотря на уверения газетных публицистов. Вильгельм может оставаться в заключении в Доорне, но дух его продолжает витать среди нас.

За исключением американской делегации, состоявшей из весьма неопытных и неловких людей, возглавляемых «сфинксом без тайны» полковником Хаусом, все остальные делегаты были виновниками преступления 1914 года.

Ни один из всезнающих газетных репортеров не имел мужества напомнить о прошлом этих «миротворцев». Призывать проклятия на головы славных дипломатов выпало на долю полковника Лоуренса. Немного театральный в своем белом бурнусе бедуина, молодой герой независимой Аравии с первого же дня конференции понял, что Большая четверка не выполнит обещаний, которые он дал «вождям пустыни» в 1915—1916 гг. в вознаграждение за их помощь против турок. Являя собою олицетворение вечного протеста, бедный Лоуренс разгуливал по Версальскому парку, с ненавистью глядя на аристократическое лицо и плохо сидевший костюм Артура Бальфура. Мои симпатии были всецело на стороне Лоуренса. Мы оба говорили о прошлом с людьми, которые признавали только настоящее. Мы оба прибыли сюда напомнить об оказанных «услугах» государственным деятелям, которые никогда не держали своих обещаний. Мы оба призывали к чести людей, для которых «честь» была лишь относительным понятием.

2

— Господин председатель мирной конференции очень хотел бы поговорить с вами, — сказал мне личный секретарь Клемансо. — Но у него в данный момент столько работы, что он просил меня принять вас.

Это звучало по-французски великолепно. В настоящее время я не без удовольствия вспоминаю элегантность стиля и безупречный французский язык секретаря г-на Клемансо. Но в январе 1919 года для меня это означало, что председатель мирной конференции Жорж Клемансо не хотел, чтобы его беспокоили разговорами о России, ибо справедливость, отданная им России, могла бы помешать его планам вознаградить поляков и румын.

— Каковы планы господина Клемансо относительно бывшего союзника Франции? — спросил я, сдерживая себя.

Молодой человек любезно улыбнулся. Он радовался случаю представлять главу французского правительства. Он начал говорить с большим жаром. Говорил долго. Я не прерывал его. Я сидел спокойно, вспоминая о том, что было в 1902 году во время визита в Россию президента Лубэ. Господин Лубэ говорил тогда так же хорошо, как этот юный представитель Ж.Клемансо, хотя речь, которую произносил Лубэ перед русским царем, была несколько иная. Теперь мне говорили, что Франция не может вмешиваться в дела Восточной Европы, а в то время императору Николаю II давалось торжественное обещание, что «никакие враждебные ветры не смогут погасить пламя традиционной франко-русской дружбы». Теперь официальный представитель победоносной Франции предложил мне удобное кресло и папиросу. В то время господин Лубэ дошел в своем пафосе до того, что возложил на гробницу императора Александра III художественной работы золотую шпагу, отделанную слоновой костью с надписью «Помню о союзе» по-латыни.

Я всегда буду помнить о нашем союзе.

Но что-то происходит за семнадцать лет даже с самыми замечательными латинскими изречениями.

В 1902 году президент Французской Республики помнил о долге благодарности своей страны творцу франко-русского союза императору Александру III. В 1919 году премьер-министр Франции объяснял через своего секретаря двоюродному брату того же императора Александра III, что он слишком занят, чтобы помнить о договорах, подписанных его предшественниками. Но тогда, в 1902 году, русское правительство еще платило проценты по русским займам, размещенным во Франции, и русская армия была готова проливать кровь за Францию.

— Таким образом, — заключил секретарь Клемансо свою речь, — обстоятельства изменились. Если бы в России не произошло этих ужасных событий, мы в точности выполнили бы все наши обязательства.

— Я не сомневаюсь.

— Но при существующей обстановке Франция должна думать о своем будущем. Наш долг перед нашими детьми — предвидеть возможность реванша со стороны Германии. Поэтому мы должны создать на восточной границе Германии ряд государственных новообразований, которые в совокупности составят достаточно внушительную силу, чтобы исполнить в будущем роль, которую ранее играла Россия.

— Однако вы мне еще не сказали о том, что предполагает французское правительство предпринять в отношении большевиков?

— Это очень просто, — продолжал молодой дипломат, пожимая плечами. — Большевизм — это болезнь побежденных наций. Господин Клемансо подверг русскую проблему всестороннему изучению. Самой разумной мерой было бы объявление блокады советскому правительству.

— Чего?

— Блокады, санитарного кордона, как его называет г-н Клемансо. Подобная блокада парализовала Германию во время войны. Советское правительство не

сможет ни ввозить, ни вывозить. Вокруг России будет воздвигнуто как бы колоссальное проволочное ограждение. Через короткое время большевики начнут задыхаться, сдадутся, и законное правительство будет восстановлено.

— Разве ваш шеф примет на себя ответственность за те страдания, которым подобный метод подвергает миллионы русских людей? Разве он не понимает, что миллионы русских детей будут от такой системы голодать?

Молодой человек сделал гримасу:

— Но тем самым, Ваше Императорское Высочество, русский народ получит повод, чтобы восстать.

— Вы, молодой человек, ошибаетесь. Я уверен, что ваша блокада явится только орудием для пропаганды большевизма и объединит население России вокруг московского режима. Это и не может быть иначе. Поставьте себя на место среднего русского обывателя, ничего не понимающего в политике, который узнает, что Франция является виновницей голода в России. Как я ни уважаю авторитет господина Клемансо, я считаю эту идею и нелепой, и крайне опасной.

— Что же вы предлагаете?

— То же, что я предложил французскому высшему командованию на Ближнем Востоке. Не нужно кровопролития. Не нужно блокады. Сделайте то, что так блестяще удалось немцам прошлым летом в юго-западной России. Пошлите в Россию армию, которая объявит, что она несет мир, порядок и возможность устройства свободных выборов.

— Наше правительство не может рисковать жизнью французских солдат после подписания перемирия.

Я посмотрел ему прямо в глаза. Я желал всей душою, чтобы на его месте сидел Жорж Клемансо. Я бы спросил его, не забыл ли он битвы при Танненберге в августе 1914 года, когда 150 тысяч русских солдат были обдуманно посланы на неминуемую гибель в ловушку, расставленную им в Восточной Пруссии Людендорфом для того, чтобы облегчить положение французской армии под Парижем? Мне хотелось также напомнить ему, что настоящим победителем на Марне был не Жоффри, а Самсонов, этот подлинный мученик и герой битвы при Танненберге, заранее знавший судьбу, ожидавшую его и его солдат. Но все это было делом прошлого, а дипломатов никогда не обвинишь в том, что они позволяют прошлому влиять на будущее. Я встал и вышел.

С Клемансо и французами все ясно. Оставались англичане, американцы, итальянцы и японцы.

Синьор Орландо, очень любезный глава итальянского правительства, в шуточной форме признался мне в своей полной неспособности понять русскую проблему. Он очень бы хотел, чтобы его соотечественники получили обратно собственность, отнятую у итальянцев большевиками, но не шел так далеко, чтобы возложить на итальянскую военную силу исполнение своего желания. Внутреннее политическое положение в Италии с каждым днем становилось все хуже и хуже: еще шесть месяцев войны привели бы «идеальное государство» Муссолини к революции по русскому образцу.

Японцы были готовы содействовать борьбе с большевиками ценою крупных территориальных компенсаций в Маньчжурии и Сибири. Их неумеренные требования вызвали раздражение американской делегации. Президент Вильсон был, вне всякого сомнения, выдающимся и дальновидным государственным деятелем, стоявшим в резкой оппозиции дальнейшему развитию японской империи. К сожалению, русский вопрос он знал только теоретически. 14 февраля 1919 года Уинстон Черчилль произнес на закрытом заседании мирной конференции горячую речь в пользу немедленного вмешательства в русские дела и борьбы с большевизмом. Во время этой речи Клемансо откинулся в кресле и закрыл глаза — поза, которую он принимал в тех случаях, когда разговоры на конференции не касались Франции. Орlando с любопытством смотрел на Черчилля: не понимая ни слова по-английски, он удивился волнению английского делегата. Старый, умный японец посмотрел, улыбаясь, на Вильсона.

— Очень сожалею, — сказал президент США, опираясь о кресло Клемансо, — но я уезжаю сегодня в Америку. Я должен иметь достаточно времени, чтобы обдумать предложения мистера Черчилля. Россия является для меня задачей, решение которой мне еще неизвестно.

Нужно добавить, что во время мирной конференции Уинстон Черчилль являлся единственным европейским государственным деятелем, который ясно отдавал себе отчет в опасности большевизма. Инстинкт опытного охотника и боевого солдата диктовал ему быстрые и действенные меры. Если бы окончательное решение русского вопроса было предоставлено Уинстону Черчиллю, Британская империя не имела бы сегодня никаких хлопот с советскими пятилетними планами. Однако случилось так, что британская делегация подчинилась директивам Артура Бальфура и Ллойд Джорджа. Первый вообще не имел понятия о России, а второй обладал всеми типичными чертами рядового англичанина. Ллойд Джордж долго говорил об успехах в гражданской войне русского «генерала Харькова», не имея представления о том, что Харьков — русский город. Он передал все дело Бальфуру, который изложил английскую точку зрения следующим образом:

— Мы отказываемся от того, — объявил этот парламентский деятель, известный своими блестящими талантами и глубоким пониманием иностранной политики, — чтобы наша армия продолжала бороться после четырех лет крайнего напряжения в чужой необъятной стране, реформируя государство, не являющееся более нашим союзником.

Все мои усилия были тщетны. Если выдающийся мыслитель современной Англии считал борьбу с большевиками «политическими реформами», то чего же можно было ожидать от других англичан, обладавших еще более узким кругозором.

3

Весною 1919 года в России последовал целый ряд авантур наших бывших союзников, которые способствовали тому, что большевики были возведены на пьедестал борцов за независимость России.

Известно, что в то время в России вели борьбу с большевиками три белые армии, которые могли бы победить, если бы белым серьезно помогли англичане и французы.

Бывшему главнокомандующему Русской армией генералу Деникину удалось захватить Северный Кавказ, где он рассчитывал на помощь донских, кубанских и терских казаков.

Бывший главнокомандующий Черноморским флотом адмирал Колчак наступал на Европейскую Россию из Сибири, опираясь на ту помощь, которую могли бы ему дать японцы.

Бывший командующий нашей Кавказской армией генерал Юденич имел задачей захватить С.-Петербург. Его разъезды к концу лета 1919 года находились в десяти верстах от столицы.

Таким образом, большевики находились под угрозой с северо-запада, юга и с востока. Красная армия была еще в зародыше, и сам Троцкий сомневался в ее боеспособности. Можно смело утверждать, что появление тысячи тяжелых орудий и двух сотен танков на одном из трех фронтов спасло бы весь мир от постоянной угрозы. Многочисленные военные эксперты, инспектировавшие армии Деникина, Юденича и Колчака, были единодушны в своих заключениях о их боеспособности. «Все зависит от того, будут ли они иметь необходимое снабжение», — заявили они Клемансо и Ллойд Джорджу по возвращении в Париж.

Но затем произошло что-то странное. Вместо того, чтобы следовать советам своих экспертов, главы союзных государств повели политику, которая заставила русских офицеров и солдат симпатизировать Троцкому.

Англичане появились в Баку и создали независимое государство Азербайджан с целью овладения русской нефтью. Батуми стал «свободным городом» под английским протекторатом с гражданским губернатором, который наблюдал за доставкой нефти в Англию.

Миролюбивые итальянцы появились почему-то в Тифлисе и помогли образовать самостоятельную Грузию в южной части Кавказа, которая была известна своими марганцевыми месторождениями.

Французы заняли Одессу, главный пункт южнорусского экспорта, и стали благосклонно прислушиваться к предложениям лидеров «самостийной Украины», которые еще месяц назад исполняли роли тайных и явных агентов германского командования. Французский оккупационный отряд состоял из нескольких военных судов, одного полка зуавов и двух греческих дивизий пехоты. Дело окончилось полным конфузом, когда среди французов, распропагандированных прибывшими из России француженками-коммунистками, началось брожение, а греки были разбиты в районе Николаева небольшой группой большевиков. На французских судах, стоявших в Севастополе, вспыхнул военный бунт. Высшее французское командование издало приказ об эвакуации в два дня, и Одесса была брошена на милость ворвавшихся в нее большевиков.

Примерно в то же время небольшой контингент американцев и японцев высадился во Владивостоке, а британские корабли бросили якорь в Ревеле на

Балтийском море, объявив о создании независимых государств Латвии и Эстонии, в тылу армии генерала Юденича.

Всего же целых девять независимых государств было организовано союзниками весной 1919 года на территории России, да еще румыны оккупировали русскую Бессарабию задолго до соответствующего решения мирной конференции.

Русские были поражены. Поведение наших бывших союзников производило на них отвратительное впечатление, в особенности по той причине, что вновь образованные государства держались в отношении белых армий почти враждебно, запрещая транспорт русских добровольцев через свои территории и арестовывая агентов Деникина и Юденича.

— По-видимому, «союзники» собираются превратить Россию в британскую колонию, — писал Троцкий в одной из своих прокламаций в Красной армии. И разве на этот раз он не был прав? Инспирируемое сэром Генри Детердингом, всемогущим председателем компании «Ройял-датч-шелл», или же просто следуя старой программе Дизраэли, британское министерство иностранных дел обнаруживало дерзкое намерение нанести России смертельный удар путем раздачи самых цветущих русских областей союзникам и их вассалам.

Когда необходимое вооружение — пушки, танки и самолеты — было готово к отправке, оно было отправлено в Польшу, и армия Пилсудского вторглась в Россию и захватила Киев и Смоленск. Вершители европейских судеб, по-видимому, восхищались собственной изобретательностью: они надеялись одним ударом уничтожить и большевиков, и возможность возрождения сильной России.

Положение вождей белого движения стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что не замечают интриг союзников, они призывали своих босоногих добровольцев к священной борьбе против Советов, с другой стороны, на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи, апеллируя к трудящимся всего мира.

Ничто лучше не доказывает эгоизма союзников, чем так называемые условия, на которых Франция готова была оказать поддержку белым армиям. Главой французской военной миссии, командированной к генералу Краснову, атаману Войска Донского, был капитан Фуке. Все мы знаем авторитет, которым пользовался генерал Краснов, талантливый и просвещенный военачальник, освободивший от большевиков Донскую область и собиравшийся начать наступление на север. Как и все вожди белых армий, он испытывал острую нужду в самом необходимом. Он написал об этом несколько писем главнокомандующему французскими вооруженными силами на Ближнем Востоке маршалу Франше-д'Эспрей. Наконец, 27 января 1919 года в Ростов-на-Дону прибыл капитан Фуке, привезя с собою длинный документ, который должен был подписать генерал Краснов.

«Донские казаки, — говорилось в этом удивительном документе, — должны предоставить все свое личное имущество в виде гарантии требований французских граждан, понесших материальные потери вследствие революции в

России. Донские казаки должны возместить убытки тем из французских граждан, которые пострадали физически от большевиков, а также вознаградить семьи убитых в гражданской войне. Донские казаки обязуются удовлетворить требования тех французских предприятий, которые вынуждены были ликвидировать свои дела из-за беспорядков в России. Последнее относится не только к предприятиям, которые закрылись из-за революции, но и к тем, что были вынуждены правительством принять предписанные им низкие цены во время войны 1914—1917 годов. Французские владельцы предприятий и французские акционеры этих предприятий должны получить в виде вознаграждения всю сумму прибылей и дивидендов, которые они не получали с 1 августа 1914 года. Размер означенных прибылей и дивидендов должен соответствовать средним прибылям довоенного времени. К означенным суммам следует прибавить пять процентов годовых за срок, протекший между 1 августа 1914 года и временем уплаты. Для рассмотрения требований французских граждан должна быть образована особая комиссия из представителей французских владельцев и акционеров под председательством французского генерального консула».

Другими словами, донские казаки, которые воевали с немцами в 1914—1917 гг. и с большевиками в 1917—1919 гг., должны были возместить французам все убытки, причиненные последним немцами и большевиками.

— Это все, что вы требуете? — спросил атаман Краснов, едва сдерживая свое негодование.

— Все, — скромно подтвердил Фуке. — Дорогой друг, разрешите вам кое-что заметить, во избежание излишней потери времени. Если вы не подпишете этого документа в том виде, как он есть, ни один французский солдат не будет отправлен в Россию и ни одна винтовка не будет дана вашей армии. Попрошайки не привередничают, так что решайте сразу.

— Довольно! — крикнул атаман Краснов. — Я сочту долгом сообщить моим казакам о тех условиях, на которых нам собирается помочь их великий и благородный союзник. Всего хорошего, капитан Фуке. Пока я остаюсь атаманом, вы не получите ни сантима.

4

«Франция совершила величайшую историческую ошибку, — писал в ноябре 1920 г. известный французский военный корреспондент Шарль Риве, сопровождавший армию генерала Деникина в ее победном марше на Москву, а также во время ее отступления. — Мы не поняли того, что помощь белым армиям являлась залогом победы над тем злом, которое угрожает всему цивилизованному миру. Мы заплатили бы за этот залог сравнительно скромную сумму, если принять во внимание размеры этой опасности: всего лишь две тысячи орудий и два-три парохода с военным снаряжением, которое мы получили от немцев бесплатно и которое нам было не нужно. Мы, обычно столь осторожные и мудрые в нашей политике, в русском вопросе оказались глупцами. Мы страхуем нашу жизнь, страхуем дома и рабочих от несчастных случаев и безработицы, но мы отказались застраховать наших детей и внуков от

красной чумы. Наши потомки сурово осудят преступную небрежность наших политических вождей...»

Это горячее воззвание было напечатано на страницах «Temps» два дня спустя после того, как голодная и полузамерзшая армия генерала Врангеля оставила Крым и находилась на пути к Константинополю. То был конец борьбы против большевиков в России. Офицеры и солдаты врангелевской армии, размещенные в концентрационном лагере Галлиполи, в котором в 1914—1918 годах наши союзники содержали военнопленных турок, имели много времени, чтобы размышлять на вечную тему: о человеческой неблагодарности. Европа, пославшая этих мальчиков с суровыми лицами, безоружных и раздетых, против красных полчищ, теперь, когда они были побеждены, отказывалась их принимать. Они оставались в Галлиполи в течение трех лет, пока Лига наций не предложила им на выбор поступление в Иностранный легион или работу по постройке дорог в балканских странах.

И все же они еще должны были почитать себя счастливыми. Более горькая доля постигла адмирала Колчака. Верховный правитель России был предан большевикам генералом Жаненом, который являлся главой французской военной миссии на Востоке.

Трагедия Колчака составляет одну из самых жутких страниц русской революции. Бывший адмирал Черноморского флота, всем известный герой мировой войны, Колчак принял в 1918 году предложение союзников организовать регулярную армию из бывших австрийских военнопленных чехословацкого происхождения.

Союзное командование рассчитывало, что адмиралу Колчаку удастся восстановить противогерманский фронт на востоке России. После заключения перемирия союзники потеряли всякий интерес к этому предприятию, а между тем адмирал Колчак стоял во главе значительной армии, которая успешно продвигалась вперед против большевиков. Не имея никаких директив из Парижа и делая все возможное, чтобы удержать на фронте чехословаков, Колчак посылал Черчиллю одну телеграмму за другой. Он ручался за взятие Москвы, если ему будут предоставлены танки, аэропланы и теплое обмундирование, без которого никакие операции в Сибири не были возможны.

Этот вопрос «изучали» Клемансо, Ллойд Джордж и Бальфур, и лишь 26 мая 1919 года, то есть спустя семь месяцев после получения первого рапорта от адмирала Колчака, Верховный Совет в Версале протелеграфировал в Иркутск длинный контракт на подпись Колчаку от имени «будущего русского правительства». Содержание этого документа в общем совпадало с бумагой, которая была представлена капитаном Фуке на подпись атаману Краснову. На этот раз требования о возмещении материального ущерба сопровождались параграфом о признании всех «независимых государств», так расточительно созданных нашими союзниками вдоль окраин России.

Адмирал Колчак, учитывая критическое положение своей армии, решил подписать версальский контракт. Он был немедленно признан Англией, Францией и Японией в качестве верховного правителя России, но обещанное снаряжение так и не прибыло в Сибирь. Голодная и полуодетая сибирская

армия продолжала отступать перед красными по бесконечной сибирской тайге в направлении Иркутска.

Около 80 000 чехословаков наотрез отказались воевать. Они требовали возвращения на родину, и большевики выражали свое согласие на пропуск их до Владивостока и на погрузку на пароходы при условии выдачи адмирала Колчака в Иркутске. Следует ли добавлять, что все эти переговоры, которые вел генерал Жанен с большевиками, содержались в полнейшей тайне от верховного правителя России. Жанен несколько раз давал адмиралу «слово солдата»: что бы ни произошло, жизнь верховного правителя находится под охраной союзников.

Четырнадцатого января 1920 г. два длинных поезда подошли к Иркутску. В одном из них ехал адмирал под охраной чехословаков. В другом находились 650 миллионов золотых рублей, которые составляли часть русского золотого запаса и были захвачены армией Колчака под Казанью.

Командир батальона чехословаков вошел в вагон адмирала с докладом.

— Господин адмирал, мною получена важная телеграмма от генерала Жанена, — сухо сказал он.

— В чем дело? — спросил Колчак, продолжая смотреть на карту.

— Генерал Жанен приказал мне арестовать вас и передать местным властям в Иркутске.

Колчак посмотрел на своего адъютанта Малиновского, единственного оставшегося в живых свидетеля этой трагедии, который помнит ту ужасную сцену в малейших деталях. Оба они прекрасно понимали, что означали зловещие слова «местные власти Иркутска»!

— Что же, — сказал адмирал спокойно, — по-моему, это чудовищная измена наших союзников. Еще только вчера генерал Жанен гарантировал мне беспрепятственный проезд на восток. Кому же достанутся эти 650 миллионов рублей?

Чехословак покраснел.

— Мы передадим эти деньги советскому правительству. Таков приказ генерала Жанена.

Колчак усмехнулся. Он прекрасно знал, что это ложь. Он пожал руки офицерам своего штаба и вышел к чехословацким солдатам.

Генерал Жанен, миссия союзников и храбрые чехословаки продолжали свой путь на восток. Адмирал Колчак был заключен в тюрьму в Иркутске и три недели спустя — 7 февраля 1920 года — расстрелян.

Солдаты отряда, который должен был приводить смертный приговор над Колчаком в исполнение, дрожали при виде стройной, прямой фигуры правителя, с наполеоновским профилем, который резко выделялся на белой стене тюремного двора. Колчак вынул из кармана массивный золотой портсигар, украшенный бриллиантами. Высочайший подарок, пожалованный адмиралу за его успешные боевые действия в 1916 году, и сосчитал папиросы.

— Достаточно на каждого из нас, — спокойно заметил он. — Чего же вы дрожите? Будьте спокойнее. Вы же убили так много братьев! Кто возьмет мой портсигар? На том свете у меня не будет карманов.

Союзные правительства назначили особую комиссию для расследования действий генерала Жанена. Однако дело кончилось ничем. На все вопросы генерал отвечал фразой, которая ставила допрашивавших в неловкое положение: «Я должен повторить, господа, что с его величеством императором Николаем II церемонились еще меньше». Это уж точно: союзные государства проявили к судьбе царя еще меньший интерес, чем к судьбе адмирала Колчака.

До настоящего времени участники сибирской эпопеи — как в красном лагере, так и в белом — стараются установить, кто захватил по частям 650-миллионный золотой запас. Советское правительство утверждает, что его потери выражаются в сумме 90 миллионов. Черчилль говорит, что летом 1920 года в один из банков в Сан-Франциско был сделан таинственный вклад группой людей, говоривших по-английски с акцентом. Французские эксперты поднимают вопрос о происхождении золота, которое объявилось в Праге. Во всяком случае, все сходятся на том, что тридцать сребреников Иуды в январе 1920 года были выплачены золотом.

5

Все это происходило на расстоянии многих тысяч километров от Парижа, где я в пятьдесят два года стал эмигрантом, человеком без родины, «бывшим великим князем». Я не только ничего не мог сделать, чтобы помочь армиям Деникина и Колчака, но, наоборот, опасался, как бы какое-либо открытое проявление моих симпатий вождям белых армий не повредило достижению их целей. И без того французские социалисты были крайне встревожены присутствием «стольких Романовых» в столице Франции.

В действительности от большевиков удалось спастись лишь незначительной части русской императорской семьи. Кроме нашей «крымской группы», состоявшей из вдовствующей императрицы Марии Федоровны, моей невестки, великой княгини Ольги Александровны, жены, великой княгини Ксении Александровны, двоюродных братьев великих князей Николая и Петра Николаевичей и моих шести сыновей и дочери, всего лишь четверем великим князьям и двум великим княгиням удалось бежать из России за границу.

Великий князь Кирилл Владимирович, законный наследник русского престола и старший сын моего двоюродного брата Владимира Александровича, рассказал мне захватывающую историю своего бегства из Петербурга. Он перешел пешком замерзший Финский залив, неся на руках свою беременную жену, великую княгиню Викторию Федоровну, а за ними гнались большевистские разбегды.

Его два брата, великие князья Борис и Андрей Владимировичи обязаны спасением своих жизней поразительному совпадению, к которому, если бы его описал романист, читатель отнесся бы с недоверием. Командир большевистского отряда, которому было приказано расстрелять этих двух великих князей, оказался бывшим художником, который провел несколько лет жизни в Париже в тяжелой борьбе за существование, тщетно надеясь найти покупателя для своих картин. За год до войны великий князь Борис Владимирович, прогуливаясь по Латинскому кварталу, наткнулся на выставку художественно нарисованных подушек. Они понравились ему своею

оригинальностью, и он приобрел значительное количество. Вот и все. Большевистский комиссар не мог убить человека, который оценил его искусство. Он посадил обоих великих князей в автомобиль, принадлежащий коммунистической партии, и отвез их в район белых армий.

Мой племянник, великий князь Дмитрий Павлович, не уцелел бы, если бы не участвовал в убийстве Распутина. Когда он был выслан государем в Персию, то добрался до британского экспедиционного корпуса, который действовал в Месопотамии, и таким образом эмигрировал из России. Его сестра, великая княгиня Мария Павловна, вышла во время революции замуж за князя Сергея Путятина, и так как у нее был паспорт с именем мужа, то большевики при ее бегстве за границу не распознали в «гражданке Марии Путятиной» великой княгини.

Все остальные члены русской императорской семьи были расстреляны по приказу советского правительства летом 1918 года и зимой 1918—1919 годов.

Мои братья, великие князья Николай Михайлович и Георгий Михайлович, встретили смерть в Петропавловской крепости, где, начиная с Петра Великого, были погребены все русские цари и великие князья. Максим Горький просил у Ленина помилования для Николая Михайловича, которого глубоко уважали даже в большевистских верхах за его ценные исторические труды и всем известный либерализм.

— Революция не нуждается в историках, — ответил глава советского правительства и подписал смертный приговор.

Великий князь Павел Александрович — отец великой княгини Марии Павловны — и великий князь Дмитрий Константинович были расстреляны 18 января 1919 года в один день с моими братьями. Тюремный надзиратель, некий Гордиенко, получавший в свое время от царя подарки на Рождество, командовал казнью. Если верить советским газетам, великий князь Николай Михайлович держал до последней минуты на коленях своего любимого персидского кота. Дмитрий Константинович — человек глубоко религиозный — громко молился о спасении души своих палачей.

Мой третий брат, великий князь Сергей Михайлович был убит несколько месяцев спустя вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной (старшей сестрой императрицы), тремя юными сыновьями великого князя Константина Константиновича и князем Палеем, морганатическим сыном великого князя Павла Александровича. Все шестеро были живыми сброшены в угольную шахту вблизи Алапаевска в Сибири. Их тела, найденные по приказанию адмирала Колчака, свидетельствовали о том, что они умерли в невыразимых страданиях. Они были убиты 18 июля 1918 года, т. е. два дня спустя после убийства царской семьи в Екатеринбурге.

Точная дата убийства младшего брата государя, великого князя Михаила Александровича, так и не была установлена. Его взяли из дома вместе с секретарем англичанином Джонсоном пятеро неизвестных, заявивших, что они посланы адмиралом Колчаком. По всей вероятности, они были убиты в Пермских лесах. Его морганатическая жена графиня Брасова, прибывшая в Лондон в 1919 году, и по сей день отказывается верить в его смерть.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна тоже так никогда и не поверила советскому официальному сообщению, которое описывало сожжение тел царя и его семьи. Она умерла в надежде все еще получить известие о чудесном спасении Ники и его семьи. Моя жена и невестка разделяли ее надежды. Я щадил их чувства, но знал большевиков слишком хорошо, чтобы верить в возможность счастливого исхода.

Несколько лет назад странная, психически неуравновешенная девушка приехала в Америку и заявила, что она великая княгиня Анастасия, младшая дочь царя. Она уверяла, что ее спас один из солдат, участвовавших в расстреле, и что в результате шока она перестала свободно говорить по-английски и по-французски. Вполне правдоподобное объяснение. Я мог бы только мечтать, чтобы любимая дочь царя и моя внучатая племянница оказалась жива и находилась тут, в Нью-Йорке. Я даже был готов закрыть глаза на то, что чертами лица она мало походила на Анастасию. К сожалению, врачи безапелляционно заявляют, что никакой нервный шок не приводит к тому, чтобы русский человек заговорил с польским акцентом...

Я, однако, не сомневаюсь, что рано или поздно появится более талантливая самозванка, которая будет говорить о чудесном спасении и попыбует получить дивиденды от трагедии семьи Романовых.

Заклучение

Вот уже тринадцать лет, как я веду жизнь эмигранта. Когда-нибудь я напишу другую книгу, которая будет повествовать о впечатлениях — порой радостных, порой грустных, — ожидавших меня на пути скитаний, уже не освещенных лучами Ай-Тодорского маяка.

Моя врожденная непоседливость, соединенная с неугасимым стремлением к духовному совершенствованию, удерживала меня вдали от Парижа, где царил атмосфера бесполезных сожалений и вечных вздохов. Когда я нахожусь в Европе, я всегда испытываю чувство, как будто гуляю по красивым аллеям кладбища, на котором каждый камень напоминает мне о том, что цивилизация покончила самоубийством 1 августа 1914 года.

В 1927 году я посетил Абиссинию. В декабре 1928 года я в третий раз поехал в Америку, чтобы начать новую жизнь. Моя теперешняя деятельность в Америке, мои первые десять лет службы во флоте и годы, проведенные с семьей, — единственные периоды жизни, которые мне кажутся светлыми. Все остальное принесло только горе и страдания. Если бы я мог начать жизнь снова, я начал бы с того, что отказался бы от великокняжеского титула и стал проповедовать необходимость духовной революции. В России это было бы невозможно. В Российской империи я подвергся бы преследованию «во имя Бога» со стороны служителей православной церкви. В советской России меня бы расстреляли «во имя Маркса» служители самой изуверской религии победоносного пролетариата.

Я ни о чем не жалею и не падаю духом. Мои внуки — у меня их четверо, — вероятно, достигнут чего-нибудь лучшего. Я не считаю современную эпоху ни цивилизованной, ни христианской. Когда я читаю о миллионах людей, умирающих от голода в Европе, Америке и Азии в то время, как на складах

гниет несметное количество хлеба, кофе и других продуктов, я признаю необходимость радикальных изменений в условиях нашей жизни. Судьба трех монархий поколебала мою веру в незыблемость политических устоев. Тринадцать лет коммунистического опыта над несчастной Россией убили все мои иллюзии относительно человеческого идеализма. От людей, находящихся в духовном рабстве, и нельзя ожидать ничего иного.

Официальное христианство, обнаружившее свою несостоятельность в 1914 году, прилагает все усилия к тому, чтобы превратить нас в рабов Божьих, приводя нас таким образом к фатализму, который несет страшную ответственность за трагический конец России и ее династии. Религия Любви, основанная на законе Любви, должна заменить все вероисповедания и превратить сегодняшних «рабов Божьих» в активных сотрудников Бога. Если наши страдания нас ничему не научили, то тогда жертва Христа была бесполезна, тогда действительно прав тот, кто утверждает, что последний христианин был распят тысячу девятьсот лет тому назад.

Горько сознавать, что церковь сегодняшнего дня далеко отошла от Христа, но это так. Недостающего звена она создать не может, ибо закону Любви она не следует, все налицо: догматы, таинства, обряды, тысячи молитв, за которыми скрывается ее духовное бессилие, но нет любви.

Кого и что мы должны любить?

Силу Высшую — Бога, не словами, не низкопоклонством и рабским пресмыканием, а мыслями и делами любви ко всем одинаково, и к близким и к дальним, и к друзьям и к врагам, и ко всем творениям. Любить мы должны весь мир, ибо мы составляем его нераздельную частицу, сознавая в то же время, что мы произошли от Высшей Силы и к ней вернемся только тогда, когда мы станем самостоятельной, самосознательной, сильной духом личностью. Вне мыслей и дел любви не может существовать любви к Силе Высшей — Богу; этой Силе мы нужны постольку, поскольку мы, исполняя законы мировые, не тревожим гармонии мира.

Любить мы должны все чистое, красивое, природу и все проявления ее, любить мы должны жизнь земную, ибо она есть одна из ступеней жизни вечной, проведя которую в правде, чистоте и любви, мы получим возможность подняться на ступень выше. Я понимаю, что трудно любить жизнь тем, для кого она проходит в постоянной тяжелой работе, в постоянных заботах о прокормлении своих семей. Но ведь если сравнить нашу жизнь с жизнью наших сестер и братьев, оставшихся в России, то, право, лучше быть свободным бедняком, чем бедняком-рабом.

Кроме того, ведь не нам одним тяжело живется, все население земного шара, за исключением состоятельного меньшинства, живет в тех же условиях, что и мы.

Надо твердо уяснить себе, что возврата к прошлому нет; если мы вернемся на родину, то и там будем работать не покладая рук; нам самим придется строить свое благополучие, помощи ждать будет не от кого. Кроме того, резкая перемена, которая произошла в нашей жизни, с точки зрения духовной есть великое благо, и кто это понял, тот глубоко использовал это обстоятельство для

своего восхождения по пути к совершенству. И вот с этой точки зрения мы должны любить жизнь.

Следует рассматривать свою жизнь не с точки зрения узкой, земной, преходящей, а с точки зрения вечной, духовной. На себя надо смотреть не как на тело, в котором мы временно живем, а как на дух, которого наше «я» есть выражение, который есть житель Мира, для которого нет ни времени, ни пространства, который живет, где хочет, который не подчинен ни законам природы, ни законам людским, права которого безграничны, ибо жизнь в нем самом, и который ответствен только пред Силою Высшею — Богом. Ничто земное ни в чем и никогда не может тронуть нашего духа, он вне досягаемости земных, людских притязаний, но связь с Духом Высшим всегда в его полной досягаемости. Сознывая великую истину только что сказанного и прочувствовав эту великорадостную истину до конца, мы поймем, насколько все, что касается нашего тела, мелочно, насколько все, на земле происходящее, не существенно.

Скажите себе: «Я дух вечный, свободный, от Бога исшедший и к Богу идущий; я имею в себе все для того, чтобы быть в вечном общении с Богом, и это все заключается в слове «любить» — слове, которое действительно выражает основной, положительный закон Мира».

Любить мы должны Россию и народ русский. Эта любовь наша должна выразиться в стремлении понять новое мировоззрение русских людей, которое явилось результатом безбожного и бездуховного воспитания, получаемого ныне миллионами русских детей.

Но мы должны найти в этом новом миросозерцании те стороны, которые и нами могут быть восприняты.

Принцип, проводимый в жизнь: «Работа каждого во имя блага государства», вполне приемлем для каждого из нас; он послужит тем звеном, которое нас, представителей старой России, соединит с людьми России новой. Мы одухотворим этот принцип законом Любви, мы будем ему следовать не только во имя блага государства, а главное, во имя исполнения воли Божьей, которая имеет свое выражение в этом законе.

Раз навсегда мы должны ясно понять, что новой России мы ничего не можем дать, кроме любви. И вот, готовясь к часу нашего возвращения на родину, мы должны в себе и в детях наших вытравить все чувства, идущие вразрез с законом Любви. Только при этом условии народ русский нас примет и поймет.

Мы должны стать тем духовным основанием, на котором будет строиться Царство духа, которое заменит ныне существующее Царство материи. К этому Царству народ русский уже близок: оно даст России духовную власть над всеми остальными народами — власть любви и мира, ту власть, которая всем людям завещана Христом[15].

Было бы бесцельно писать эту книгу, если она не будет иметь нравственного влияния хотя бы на некоторых из моих читателей. Для меня все пережитое — это урок, полный значения и богатый предостережениями. Снова и снова я думаю о друзьях моего детства, стараясь видеть их не такими, какими они были в последние годы трагедии, а какими я их знал в более счастливые дни нашей молодости. Я вижу часто во сне Ники, Жоржа, Сергея и самого себя

лежащими в густой траве Императорского парка в Нескучном под Москвою и оживленно беседующими о том таинственно-прекрасном будущем, огни которого мелькали на далеком горизонте.

Немного терпения — и мы все до него доживем.

Нью-Йорк — Париж.

1931 г.

15 Этот и предшествующие двенадцать абзацев отсутствуют в английском тексте воспоминаний, но присутствуют в русском тексте 1933 года. — Прим. ред.

КНИГА ВТОРАЯ



*Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был
И заживо, как небожитель.
Из чаши их бессмертье пил!*

Ф.И. Тютчев. Цицерон

Предисловие

В то время как первый том моих воспоминаний стал отчетом об утратах и упущенных возможностях, второй — это опись возвращенных ценностей. На этот раз события происходят вне России. Количество царствующих монархов уменьшилось с шестнадцати до десяти, что оставило пробел, удачно заполненный властителями Америки и Абиссинии.

Продолжения не будет. Его не может быть у жизни, спасенной в последний миг. Она просто идет себе дальше.

Не могу не выразить признательности молодому пианисту, который живет в доме напротив и вот уже несколько месяцев работает над программой своего первого сольного концерта, целиком состоящей из Баха. Мне кажется, будто я в Нью-Йорке.

Великий князь Александр Михайлович.

Приморские Альпы,

январь 1933 г.

Глава I

Воскрешение Лазаря

1

Мы можем страдать так сильно, а потом, когда уже готовы разmozжить себе голову о стену, что-то щелкает у нас внутри и посылает блуждать без руля и без ветрил новыми, неведомыми путями, на которых мы в конце концов обретаем забвение.

Этот таинственный механизм самосохранения заработал во мне в тот сумеречный январский день 1919 года, когда на станции Таранто, стоя у окна парижского экспресса и пытаясь перекричать визгливые голоса итальянских носильщиков, я прощался с офицерами корабля его величества «Форсайт», который увез меня из охваченной революционным пожаром России.

— Жаль, что не могу доставить вас прямо в Париж, в пальмовую рощу «Ритца», — пошутил капитан.

— Мне тоже, — сказал я в тон ему, а сам подумал: «Слава богу...».

Я был глубоко признателен им за трогательное внимание и великодушие, но все четыре дня плавания меня ни на минуту не покидало невыносимо острое чувство унижения от того, что внука императора Николая I англичанам приходится спасать от русских. Я как мог старался отогнать эти горькие мысли. Я судорожно силился быть веселым и проявлять интерес к их рассказам о Ютландском сражении и четырехлетней морской блокаде Германии, но внутренний голос, жесткий и саркастический, непрестанно шипел мне в уши.

— Старый глупец, неисправимый мечтатель! — повторял он снова и снова. — Так ты думал, что сбежал от своего прошлого, — а вот оно, пялится на тебя изо всех углов и закоулков... Видишь этих англичан? Молодцы, правда? И корабль у них превосходный, а? А как же двадцать четыре года, что ты убил на русский флот? Ты морочил себе голову пустыми мечтами, что сделаешь его мощнее и лучше английского, а вот чем все кончилось... Ты — эмигрант,

пользующийся гостеприимством своего царственного британского кузена, его люди спасли тебя от рук твоих собственных матросов, ты пьешь за здоровье его британского величества, когда твой император расстрелян, а твои братья каждую ночь ожидают своей участи, и корабль твой лежит на дне Черного моря! Прекрасный ты адмирал, нечего сказать...

Сидя за столом в обществе капитана, я прибегал ко всевозможным уловкам, лишь бы не смотреть на портрет Георга V, висевший прямо напротив моего места. Сходство черт британского монарха и покойного государя, вообще поразительное, сейчас, на борту «Форсайта», было решительно непереносимо. Мной овладевали неотвязные воспоминания, я будто вновь слышал Ники, который часто шутил, что если бы он надел цилиндр и визитку и появился бы под ручку с кузеном Джорджем на королевской трибуне в Эпсоме, то немалая часть зрителей кинулась бы делать ставки на «кто есть кто».

Ночами я лежал в каюте без сна, сжав кулаки и уставившись в иллюминатор. Мне казалось, что не имеет смысла затягивать агонию, что прыжок за борт разом положил бы конец всем моим невзгодам. Оставались, конечно, дети — семеро детей, — но я боялся, что потерпел крушение не только как адмирал и государственный муж, но и как отец. Если я без колебаний бросил их в России, не было ли это лучшим доказательством моей уверенности в том, что их вырастят и воспитают и без моего участия? Я не мог помочь им деньгами и ничему не мог научить. В отличие от их матери и бабушки, продолжавших верить в непогрешимость дома Романовых, я знал, что все наши истины — обман, а мудрость — лишь колоссальное скопление размытых миражей и прокисших банальностей. Я не мог воспитать сыновей в духе нашей официальной религии, поскольку она обанкротилась четыре года назад на полях Марны и Танненберга. Я не мог быть их наставником в таком внушающем трепет предмете, как «долг перед государством», потому что изгнанник, умерший неоплаканным, как бродяга под забором, ничего не должен государству...

Так я лежал, мужчина пятидесяти трех лет, без денег, без занятия, без страны, без дома и даже без адреса, пугающийся от одной мысли, что заснет и увидит во сне тех, кого больше нет, и откладывающий самоубийство с ночи на ночь из какого-то старомодного опасения повредить репутации радушного капитана «Форсайта».

2

Двадцатичетырехчасовая стоянка в Константинополе, вместо того чтобы развлечь меня, на что я надеялся, чуть было окончательно не свела меня с ума. Я рассчитывал провести весь день в благотворном уединении мечети Ая-София, но представитель британского верховного командования, поднявшийся на борт, едва мы вошли в Золотой Рог, передал мне записку от графини Брасовой, морганатической жены моего покойного шурина великого князя Михаила Александровича. Восемь месяцев не имея новостей о муже (он был расстрелян большевиками в июне 1918 года), она отказывалась верить сообщениям советских властей о его смерти и думала, что я везу ей письмо от ее дорогого Миши.

— Ваше Императорское Высочество найдет ее в отеле «Токатлиан» в Ферапии, — объяснил англичанин. — Она хочет, чтобы, придя, вы не сообщали портье своего имени, а остались на веранде, обращенной к морю, так, чтобы она видела вас из окон своего номера.

— Зачем такие предосторожности? Прямо детектив какой-то. Кого она боится?

— Большевиков, — сказал он, смутившись, явно жалея несчастную графиню.

— Большевиков? Здесь, в Константинополе?

— Видите ли, Ваше Императорское Высочество, графиня боится, что агенты Советов могут попытаться похитить ее сына и, зная, что она ожидает вашего посещения, могут проникнуть к ней под вашим именем.

Должен признаться, мне совсем не хотелось сходить на берег. Я заранее знал, что встречу очередную жертву трудноизлечимой болезни, которую я зову «большевикофобия» и которая превращает многих, во всем остальном вполне здравомыслящих людей, в маньяков, видящих во всем, что происходит под солнцем, «длинную руку Советов». И потом, что я мог сказать бедной женщине? У меня не было письма для нее, и было бы просто бесчеловечно с моей стороны пытаться разрушить ее надежду на встречу с мужем. За последние шесть месяцев я истощил свое терпение и логические способности в разговорах с женой, свояченицей и тещей, которые со всем пылом истинной веры утверждали, что Всевышний спас их брата и сына Ники от рук большевистских палачей в Сибири. Не надо было говорить с Брасовой, чтобы предсказать, что никакие доводы, доказательства и свидетельства очевидцев не перевесят ни слепой веры влюбленной женщины, ни ее жажды чуда. Если бы я убеждал ее оставить бессмысленное ожидание и обратить всю свою любовь только на сына, она решила бы, что я, Романов, все еще недоволен женитьбой государева брата на дважды разведенной дочери московского юриста.

— Могу я узнать, посетит Ваше Императорское Высочество графиню Брасову или нет? — спросил наконец англичанин, вероятно, прочитав мои мысли.

Я вздохнул, и мы отправились в Ферапию играть в прятки с воображаемыми большевиками.

После долгих проволочек, сидя на веранде с видом на Мраморное море и глядя на греческое грузовое судно, идущее в сторону России, я вдруг услышал легкое постукивание по стеклу. Я огляделся по сторонам. Рядом никого не было, но стук продолжался. Казалось, он доносился откуда-то сверху. Я задрал голову и в одном из окон второго этажа увидел руку, просунувшуюся между плотно задернутых занавесок. Затем стук прекратился, и рука стала делать знаки растопыренными пальцами. Один... два... три... потом пауза и один палец. Хочет сказать, что она в шестнадцатом номере, решил я и направился к вестибюлю, борясь с волной раздражения, которую вызвали во мне эти потуги на секретность.

У дверей шестнадцатого номера меня встретила немолодая женщина и попросила пройти в гостиную и присесть. К моему величайшему удивлению, вместо того, чтобы доложить обо мне Брасовой, она осталась стоять посреди

комнаты, пристально вглядываясь в мое лицо. Поначалу я делал вид, что ничего не замечаю, но в конце концов не выдержал и закричал вне себя от гнева:

— Послушайте, не знаю уж кто вы такая... Это уже слишком. Я не намерен больше этого терпеть. В конце концов я тоже человек, у меня тоже есть нервы. Если вам все не верится, что я это я, подойдите и подергайте за бороду — вдруг фальшивая, но, ради Бога, прекратите эту отвратительную комедию!

— Теперь я вижу, что это и впрямь великий князь Александр,— раздался из смежной комнаты знакомый голос, и влетела Брасова, сама не своя от волнения, с ворохом оправданий относительно того, что она назвала «необходимыми мерами предосторожности, продиктованными здравым смыслом».

Ее вид и поведение поразили меня. Мало что осталось от той необыкновенно холодной, властной и величественной женщины, что некогда заставила моего шурина потерять голову и променять свой титул, положение и владения на жизнь в изгнании. Она сохранила высокую тонкую фигуру «некоронованной императрицы» и капризное выражение плотно сжатых губ, которое в сочетании со шрамом на подбородке придавало ее лицу странное, вызывающее очарование, но ледок в этих властных светло-карих глазах растаял, и глубокая скорбная складка пролегла по лбу, направляясь к пробору в волнистых каштановых волосах, тронутых сединой.

— Мне столько нужно у вас спросить, — начала она и осеклась, глядя на мои руки и не видя в них письма.

— Буду счастлив ответить на все ваши вопросы, — пробормотал я неловко, надеясь вопреки всему, что она избавит нас обоих от ненужного и тяжелого испытания.

— Когда вы в последний раз получали новости от Миши?

Она подошла ко мне вплотную, и я не мог отвести глаз.

— Больше года назад, — сказал я чужим голосом.

— И он все это время не мог с вами связаться?

— Каким образом? Не забывайте, что его содержали под стражей на севере, а вдовствующую императрицу, великую княгиню Ольгу, великих князей Николая и Петра, меня, Ксению и детей — в одном из крымских поместий, далеко на юге.

— Но неужели вы даже не пытались послать на север какого-нибудь преданного офицера, чтобы тот связался с Мишей?

Послать на север «преданного офицера»? Такая попытка без сомнения оказалась бы фатальной как для нас, так и для Миши. Трудно было бы доставить большую радость советским властям, нежели дать им поймать нас при попытке установить сообщение с государем и его братом.

— Так вы хотите сказать, — прервала она мои вымученные объяснения, — что у вас вообще нет для меня новостей?

— Нет. По той простой причине, что сам я знаю не больше того, что пишут в советских газетах.

— Я вам удивляюсь! — воскликнула она в гневе. — Как вы можете верить этим лжецам? Ни один русский, будь это даже сумасшедший мужик, не поднимет руку на человека, по доброй воле отказавшегося от престола. Все понимают, как благородно было со стороны Миши отречься вслед за братом и

предоставить своему народу свободу выбора. Да если бы Мише нужна была власть и корона, он никогда бы на мне не женился.

В таком духе она продолжала очень долго, заново пересказывая историю Мишиного отречения 15 марта 1917 года, когда, вопреки пожеланиям императора и советам умеренных революционеров, он оставил Россию без государя и уединился с женой, предвкушая бесконечную идиллию ничем не нарушаемого счастья.

Голова моя раскалывалась. Уши горели. Я машинально кивал каждый раз как она прерывала свою патетическую речь, ожидая моего одобрения. Открой я рот, я закричал бы ей, что не моя вина, если ее муж со своим братом приняли истеричный вой толпы за голос Всевышнего.

— Вы, должно быть, устали с дороги, — сказала она наконец, заметив мое состояние.

— Да, очень. Честно говоря, я не смыкал глаз с тех пор, как покинул Россию.

— В таком случае не буду вас задерживать. Надеюсь скоро увидеть вас в Лондоне. Миша любит Англию, будет очень мило снова там поселиться.

Я вскочил, схватил шляпу и выбежал вон. Соображения учтивости, вечный страх ранить чьи-либо чувства, сострадание к этой полусумасшедшей женщине — ничто не имело больше значения. Мне надо было побыть одному. Все оставшиеся силы употребил бы я на то, чтобы перечеркнуть свое прошлое и все, что было с ним связано.

3

Вернувшись в каюту, я налил себе полный стакан бренди и выпил залпом. Потом упал на койку и стал молиться. Но спиртное не оказало желаемого действия, и знакомые слова, вбитые в меня еще в детстве, звучали на редкость фальшиво, вызывая в памяти седобородых попов, что благословляли чудотворными иконами полки желторотых юнцов, отправлявшихся на заклание.

Остаток путешествия — путь до Италии занял еще тридцать шесть часов — память моя не сохранила. Вероятно, я ходил и разговаривал, и расхваливал хозяевам их прекрасный корабль, но все это в каком-то отупении. Требовалось что-то еще помимо церковнославянских молитв, трехзвездочного бренди и гладко выбритых англичан, чтобы вывести мой ум из оцепенения и заставить меня забыть кошмары прошлого. Это «что-то» я повстречал на вокзале в Таранто, за несколько секунд до отправления парижского экспресса.

Перед окном моего купе остановился бродяга, толстый коротышка, и, невыносимо фальшивя, затянул «O Sole mio», словно давая понять пассажирам экспресса, что чем дольше они будут затягивать внесение пожертвований на благо искусства, тем тяжелее последует наказание.

— Неплохи же дела в здешних краях, — сказал я вслух по-итальянски, обращаясь, главным образом, к самому себе, — если здесь еще распевают «O Sole mio».

Певец ослепительно улыбнулся, отступил на несколько шагов, снял шляпу и поклонился в пояс.

— Красивый иностранец прав, тысячу раз прав, — сказал он с пафосом. — Жизнь в нашей божественной Италии по-прежнему прекрасна. Бутыль доброго вина, взгляд хорошенькой девчонки, пара лир в кармане — и пусть милосердный Господь сам заботится о мертвых...

Он протянул руку, грациозно поймал монетку, и этим все кончилось. Раздался свисток, и поезд пошел мимо красно-белых строений вокзала к зеленым долинам с апельсиновыми рощами и виноградниками, нежащимися в ласковых лучах итальянского заката.

То, что случилось со мной тогда — полная метаморфоза, произошедшая менее чем за секунду, — не поддается объяснению. Возможно, это была просто реакция здорового человека. Возможно, я достиг предела человеческих страданий. Знаю лишь, что невероятное чувство переполняющего меня счастья, возникшее из ниоткуда и в таких обстоятельствах, вероятно, кощунственное, внезапно потрясло меня подобно электрическому заряду. «Наконец я свободен!» — произнес я прежде чем успел осознать значение этих слов. Тогда мне захотелось пробежать по поезду и найти хоть кого-нибудь, кому я мог бы сказать, что кончились пятьдесят лет моего великокняжеского рабства, невзгод, террора и хаоса, и теперь я вступаю в мир простых мужчин и женщин, живущих сегодняшним днем и не утруждающих себя заботами о делах империи.

Выскочив из купе, я увидел на полке стопку телеграфных бланков и тут же понял, как отстоять эту новообретенную свободу. Я решил телеграфировать всем своим римским друзьям и родственникам, что никак не смогу остановиться в Риме, поскольку «дела чрезвычайной важности» требуют моего безотлагательного отъезда в Париж. Я боялся, что стоит мне провести несколько часов с моими царственными итальянскими родичами, как драгоценное чувство беспечного счастья улетучится. Король, без сомнения, будет жаждать узнать все подробности кончины Ники, а Королева засыплет меня вопросами относительно состояния, в котором я оставил ее сестер Стану и Милицу, жен моих кузенов Николая и Петра.

— Держись! — сказал я себе, наскоро набросав несколько строчек. — Ты развязался с прошлым, так не собираешься же ты ездить по миру с жалобными рассказами о конце империи. Хватит тебе завтракать во дворцах. С этого дня ты будешь есть в обычных ресторанах — если только вообще будешь есть.

Написав и отправив телеграммы, я пошел в вагон-ресторан, насвистывая французскую песенку пятилетней давности и бесцеремонно разглядывая изумленных пассажиров, которые решили, должно быть, что бедный русский великий князь утратил теперь и последние остатки рассудка.

Я еще не встречал метрдотеля, который не работал бы в свое время помощником официанта в парижском «Ритце», и потому не удивился, когда старший официант парижского экспресса ринулся ко мне с лицом человека, который вдруг обрел давно пропавшего брата.

— Я думал, мсье будет обедать в купе. Я составил особое французское меню, в которое входят...

— Мне все равно, что туда входит, — оборвал я его французскую скороговорку. — Принесите мне спагетти. Прямо сюда.

— Правильно! — заметил справа от меня сиплый голос с американским акцентом. — Мы, моряки, никогда не опустимся до французской кухни.

Я повернулся и узнал известного американского адмирала, с которым свел знакомство много лет назад во время моего пребывания на Востоке. В следующую секунду мы оба что-то кричали, так что не знавшие английского могли ожидать потасовки. Давно забытые парусники, вечера в «Американской концессии» в Шанхае, ожесточенное соперничество из-за одной златовласой красавицы в Гонконге, общие друзья в Сан-Франциско, Вашингтоне и Ньюпорте, сравнительные достоинства гаваней Ванкувера и Сиднея — все это ожило вновь под взрывы раскатистого смеха — не без помощи двух литров «кьянти».

Человек, потрепанный жизнью, отличается особенным тактом. Ни за обедом, ни после, в купе, не подал этот здоровяк и виду, что знает о трагической подоплеке моего истерического веселья. Безошибочное чутье морского волка подсказало ему, что перед ним судно, потерпевшее кораблекрушение, и любое упоминание о пяти роковых годах, протекших с той поры, как я в последний раз был в Ньюпорте, в нашей беседе неуместно. Эта встреча в поезде и разговор о тысяче вещей, не интересных ровным счетом никому, кроме нас двоих, дали мне чудесную возможность подхватить нить жизни с того самого места, где я некогда обронил ее.

Я проговорил бы с ним до самого Парижа, но ему надо было выходить в Риме. Мы пожали друг другу руки и условились увидеться на следующей неделе в Париже, и тут он поднес руку к карману моего пальто и опустил туда что-то тяжелое.

— Что это? — спросил я. Его жест застал меня врасплох.

— Ничего, — ответил он, поворачиваясь, чтобы уйти. — Одна безделица, которая может вам пригодиться. Я слышал, на улицах Парижа полно ненавоевавшихся молодчиков.

И он вышел прежде, чем я успел выяснить, что это за безделица. Это оказался револьвер. Кольт 45-го калибра. Мужской подарок от настоящего мужчины.

4

Впервые в жизни о моем приезде в Париж никто не возвестил и никто меня не ожидал. Ни представителей русского посольства в моноклях на перроне Лионского вокзала, ни посланников президента Французской Республики в золотых галунах, рвущихся вперед, дабы препроводить меня к «отдельному выходу».

— К такси или в метрополитен? — спросил носильщик в синей рубашке, и на этом церемония встречи закончилась.

Несомненно, продираться сквозь полуденный уличный поток в тряском допотопном такси было и вполтину не так эффектно, как мчаться по рю де Риволи в «Делоннэ-Бельвиле» с платиновым капотом под бдительным присмотром мотоциклетной полиции, но в радостном возбуждении от того, что добрался до цели благополучно, я счел эти мелкие неудобства милыми и

забавными. Я снова был среди людей, сохранивших способность улыбаться, и прочее меня не заботило!

Я и с закрытыми глазами мог бы сказать, что мы едем по улицам Парижа: подобно другим столицам мира его всегда можно узнать по запаху. Берлин пахнет сырой кожей, Лондон — рыбой и сыром, Нью-Йорк — выхлопными газами, Париж — свежевыпеченным хлебом... Никакие дорогие духи не сравнятся с этим ароматом. Глядя по сторонам в поисках следов войны, я не обнаружил ничего, что свидетельствовало бы о недавних бедствиях, никаких перемен, ничего необычного. Лишь кое-где на открытых террасах кафе прохлаждались англичане и американцы в хаки, но в остальном это был все тот же ни о чем не помнящий Париж, где мастерски и выразительно бранились таксисты, вялые полицейские на ходу клевали носом, а пожилые румяные джентльмены провожали томным взглядом ножки пробегающих мимо мидинеток.

Еще поворот на улицу, запруженную автомобилями, и мой седоволосый водитель резко затормозил свой утлый ковчег.

— Что случилось? — спросил я рассеянно.

— Ничего, — сварливо ответил он, — но вы ведь сами сказали в «Ритц».

«Ритц»? Только подумать, что каких-то пять дней назад я сидел все в том же крымском своем доме, где более тринадцати месяцев ежеминутно ожидал, что меня схватят и расстреляют.

— Так вы будете выходить? — спросил водитель.

— Уж в этом можете не сомневаться! — воскликнул я с чувством и, очертя голову выскочив из такси, словно за мной гнались фурии, врезался в нарядно одетую женщину, стоявшую на бровке тротуара и, видимо, поджидавшую свой автомобиль.

— Куда вы смотрите? — зашипела она презрительно.

— Ваша красота ослепила меня, милая Марта, — кротко признался я, узнав знакомые черты своего старого друга Марты Летелье, одной из первых красавиц Парижа.

Она пристально взглянула на меня и смертельно побледнела. Не подхвати я ее, она упала бы прямо на тротуар.

— Воды, скорее! — крикнул я ошоломленному швейцару. — Что с вами, Марта? Вам плохо? Вы недавно болели?

Она оттолкнула меня и твердо произнесла:

— Это обман. Я знаю, это просто обман. Вы выглядите и говорите как великий князь Александр, но этого не может быть, вы — не он!

— Но, Марта, дорогая...

— Вы самозванец! — продолжала она в гнев. — Но вы затеяли очень опасную игру — весь Париж знает, что великого князя Александра несколько месяцев назад расстреляли большевики. Да я сама заказала по нему службу в церкви святой Магдалины...

Она говорила громко и возбужденно, так что прохожие, привлеченные странным диалогом, стали останавливаться. Положение определенно становилось неловким. Если уж старый друг не признал меня, чего я мог ожидать от людей незнакомых?

— Убедит ли вас дипломатический паспорт, выданный командованием союзников? — спросил я смеясь, но на деле встревожившись не на шутку.

— Да, но не думаю, что он у вас есть.

— Может, продолжим разговор в фойе?

— Хорошо, но предупреждаю вас еще раз: я вам не верю. Вы — самозванец.

Мы устроились на двух стульях у гостиничной стойки, и моя прекрасная подруга внимательнейшим образом рассмотрела все бумаги: дипломатический паспорт, визу, выданную мне министром иностранных дел Франции, письма от лондонских родственников на мое имя и прочее.

Закончив, она разрыдалась, и пришлось снова нести воду.

— Нет прощения моей грубости, — проплакала она в кружевной платочек, — но вы должны понять — так странно встретить человека, которого считала мертвым.

— И что, Марта, хорошая была служба?

— О, неподражаемая. Был этот чудесный русский хор, он пел ваши любимые вещи. Пришли все ваши друзья... до единого... и мы говорили о вас весь вечер... наверное, вам это смешно?

— Ну что вы, Марта, — мягко заверил я ее, — напротив, должен признаться, я глубоко польщен таким вниманием. Но скажите, что же именно пел этот хор?

Она подняла на меня заплаканные глаза, и мы оба расхохотались. Меня, разумеется, интересовала точная дата моей гибели, и из рассказанного Мартой я заключил, что, не зная о том, что прошлой весной меня в Крыму спасли немецкие войска, мои друзья в Париже решили, что я разделил судьбу своего шурина. «Михаил Александрович» и «Александр Михайлович» для французского уха почти одно и то же, так что сообщение советских властей об убийстве первого местные газеты расценили как известие о моей собственной кончине.

— Какова бы ни была ошибка, молитвы нашего заведения услышаны, — благочестиво заключил радушный управляющий «Ритца», присоединившийся к нашей оживленной беседе в фойе, и я отправился наверх, чувствуя себя современным Лазарем из Вифании.

5

Отель был забит полномочными представителями союзников и экспертами всех мастей, прибывшими поприисутствовать на Версальской конференции и спасти человечество; все с женами, детьми, друзьями и секретарями. Мне пришлось довольствоваться тем, что нашлось — каморкой, расположение которой позволяло жильцу вести точный учет вылетающих пробок шампанского в ресторане этажом ниже.

Два равно виртуозных оркестра — местный и американский — ночь напролет играли, сменяя друг друга, и еще задолго до рассвета, не вставая с постели, я наизусть выучивал все новые песни о доброй мамочке, умирающей в убогой комнатенке где-нибудь в нью-йоркском Ист-Сайде, пока ее блудный сын выступает в одном ужасно-ужасно развратном ночном клубе в Чикаго. Такое внимание к «материнской теме» в современной музыке удивило меня: до войны

существование наших матерей все мы принимали как само собой разумеющееся.

Не то чтобы слащавая сентиментальность американских песенников так уж действовала мне на нервы, но чем чаще по коридорам «Ритца» разносилось слово «мама», тем яснее я понимал, что не осмелюсь уклониться от поручения, возложенного на меня тещей. Она взяла с меня клятву, что я немедленно отправлюсь в Лондон к вдовствующей королеве Александре с подробнейшим отчетом о наших крымских злоключениях. В Риме я избегнул этого испытания, нарушив таким образом волю жен моих кузенов, но верхом жестокости было бы так сильно огорчить женщину семидесяти с лишним лет, у которой только и оставалось в этом мире, что страстная привязанность к сестре.

Так что поездка в Лондон, по меньшей мере дня на три, была неизбежна. В первый день я нанес бы визит королеве Александре, второй посвятил бы моему брату Михаилу Михайловичу, с 1893 года пребывавшему в английском изгнании после того, как в ранней юности он женился на девице «из простых», а третий, про запас, оставил бы на малоприятные встречи с теми благосклонными к нам пророками, что всегда предрекали династии Романовых бесславный конец.

Но прежде всего следовало подумать о гардеробе. Я не мог ехать в Англию в гимнастерке, а гражданской одежды не захватил по той причине, что в России у меня ее и не было. В былые времена я имел привычку хранить ее в Париже, в квартире на рю Анатоль де ла Форж. Когда разразилась война, я велел секретарю известить ее хозяина, что вынужден отказаться от квартиры, но буду благодарен, если он возьмет на хранение мои личные вещи, мебель и несколько чемоданов с ценной нумизматической коллекцией до тех пор, пока не представится возможность переправить все в Россию. Возможность так и не представилась, но в честности и благожелательности хозяина у меня не было причин сомневаться. То обстоятельство, что я своевременно и аккуратно платил за квартиру в течение четырнадцати лет, хотя никогда не занимал ее более двух недель в год, давало мне право рассчитывать на его дружескую помощь. Но первое жестокое разочарование в Новой Жизни ждало меня как раз на рю Анатоль де ла Форж.

— Восславим Господа! — возопил мой маленький круглощекий хозяин, когда я вошел в его кабинет, отделанный красным деревом. — Какая радостная встреча! В нашу прекрасную Францию возвращаются добрые времена! Жанна, Жанна, иди скорее, смотри, кто пришел.

Влетела запыхавшись Жанна — его лучшая и бОльшая половина. Какое-то время мы наперебой состязались в восторженных возгласах и восклицаниях. Потом — дело есть дело — он намекнул, что теперь, вернувшись, я вновь могу стать его «самым почетным жильцом». Я ответил, что был бы счастлив разделить кров со столь очаровательными людьми, но боюсь, что моя нынешняя стесненность в средствах не позволит мне вновь удостоиться этой чести.

Он протестующе махнул рукой:

— Ваше Императорское Высочество шутит. Победоносная Франция позаботится о том, чтобы ее благородные друзья вернули себе свои несметные богатства.

«Несметные» он произнес с благоговейным восхищением.

— Будем надеяться, вы правы, — сказал я спокойно, — но до той поры я лучше поостерегусь брать на себя слишком обременительные обязательства.

— Пустяки, пустяки! — дружески возразил он. — Вашему Императорскому Высочеству не стоит беспокоиться. Случись самое худшее, за одну только нумизматическую коллекцию вы выручите немалую сумму.

Последняя фраза меня встревожила. Это значило, что мои чемоданы открывали, и их содержимое оценивали эксперты.

— Хорошо, что вы завели об этом разговор, — заметил я как мог непринужденно. — Я уезжаю в Лондон и хотел бы, чтобы вы отправили мои вещи в «Ритц». По приезде я решу, что делать с мебелью. Может быть, я даже рискну снова снять эту квартиру.

Повисло молчание, хозяин и жена многозначительно переглянулись. Последняя внезапно вспомнила, что ей нужно в город за покупками. Она выразила надежду на скорую встречу. Я тоже.

— Мсье, должно быть, помнит, — начал хозяин, едва мы остались одни, — что последний чек из России я получил первого января 1914 года.

— Верно. Таким образом, полагаю, я оплатил квартиру по тридцать первое декабря 1914 года.

— Именно так! — моя памятьливость привела его в восторг. — Иными словами, теперь, когда мсье здесь, счастливо избегнув гибели от рук дикарей, могу я иметь честь предъявить счет за три года с первого января 1915-го по тридцать первое декабря 1918-го?

Я не поверил своим ушам.

— Но вы наверняка должны были получить письмо от моего секретаря, написанное ранней осенью 1914 года, где тот извещал вас, что я не смогу продлить аренду.

— Я не получал такого письма! — улыбка исчезла с его лица, и голос стал жестче. — Полагаю, мсье сохранил копию?

— Вы шутите. Не думаете же вы в самом деле, что, покидая страну таким образом, я вообще мог захватить с собой какую-либо корреспонденцию, тем более копии писем моего секретаря?

— Очень прискорбно, — вздохнул он. — Если бы мсье мог предъявить копию, я бы с радостью закрыл глаза на тот факт, что не получал никаких писем от его секретаря.

— А теперь?

— Теперь я вынужден настаивать на полной оплате счета.

Продолжать этот разговор не имело смысла. Меня положили на лопатки, и я понимал это. Закон был на его стороне.

— Хорошо, — сказал я, поднимаясь, — я оплачу ваш счет по возвращении из Лондона. Не пришлете ли мои вещи в «Ритц» до полудня?

Он тоже встал.

— Я буду счастлив сию же минуту отослать ваши вещи в «Ритц» при условии, что управляющему отеля будет поручено уплатить по счету.

— Неужели вы не понимаете, что, прежде чем оплатить этот возмутительный счет, я должен раздобыть денег, а я не смогу этого сделать, пока не получу назад нумизматическую коллекцию.

— Сожалею, — сказал он сухо, — но не могу принять предложения Вашего Императорского Высочества.

Я вышел как оглушенный. Что я мог поделать? Теперь все зависело от того, сколько франков мне удастся выручить в обмен на немецкие марки и австрийские кроны, поскольку, уезжая из области России, оккупированной центральноевропейскими державами, я не взял с собой других денег. 124 580 франков значилось в сумме счета (так дотошен оказался хозяин в своей бессовестной жадности, что даже прибавил пеню в шесть процентов за три года), и я сомневался, дадут ли мне столько за мои пачки синих и желтых бумажек. Я не решился зайти в банк из страха слишком скоро узнать горькую правду, и решил отдать свою судьбу, а также марки и кроны в руки управляющего «Ритца».

Медленно брел я по Елисейским Полям мимо людных кафе и нарядно украшенных зданий, размышляя о собственной глупости, и сердце мне сжимала горечь. Чья вина была, что, распоряжаясь за свою жизнь миллионами долларов, фунтов и франков, я оказался практически без гроша в тот самый момент, когда деньги мне были нужны более чем когда-либо? Сколько раз предупреждали меня друзья в Лондоне и Нью-Йорке! Сколько раз и до, и во время войны говорили они мне, чтобы по крайней мере четверть своих капиталов я перевел за пределы России, а лучше всего и за пределы Европы! Ясный, пронизательный взгляд и решительный подбородок одного из них — известного американского промышленника — вдруг вспомнились мне на мгновение. При последней нашей встрече в С.-Петербурге в 1915 году, когда я помог в делах его концерна в России, он спросил меня напрямик: «Есть у вас деньги за пределами России?» — «Как можно?» — отвечал я. — Если слух об этом дойдет до общественности, это вызовет панику на рынке». — «К черту рынок! — закричал он в сердцах. — Почему вы не думаете о детях? Попомните, придет день, когда вы пожалеете о своей патриотической щепетильности!». В тот день он несколько часов уламывал меня, умоляя, чтобы я разрешил вложить за меня в Америке хотя бы несколько сот тысяч долларов, но я отклонил его предложение. «Я выстою или паду вместе с Россией», — заявил я с пафосом. Какого же дурака я сваял! Россия, о которой говорил я, пала, а я еще «стоял»... Стоял посреди Елисейских Полей в Париже и ломал голову, где бы раздобыть денег, чтобы заплатить за квартиру.

Глава II

Пребывание в «Ритце»

— Чем больше размер банкнот, тем меньше их действительная ценность, — назидательно заметил управляющий «Ритца», раскладывая стопки моих бумажек с водяными знаками и орлами на своем массивном столе.

Я понимающе кивнул. Русские пятисотрублевые билеты, едва ли не самое крупное «произведение», когда-либо выпущенное каким-либо казначейством, дали бы мне сейчас еще меньше, чем эти сине-желтые останки бывшего величия кайзера и Священной Римской империи.

Управляющий взял карандаш, методично его очинил и начал строчить один за другим столбцы устрашающих цифр. Поскольку деньги центральных держав на Парижской фондовой бирже официально не обращались, ему пришлось продираться сквозь джунгли марок и крон, делая крюк через фунт и доллар. Это потребовало времени и основательных консультаций по телефону.

По прошествии, как мне показалось, нескольких часов эксперты пришли к заключению, что за мою коллекцию германских и австрийских орлов мне полагается сто пятьдесят тысяч франков. Более чем достаточно, чтобы уплатить по счету хозяину квартиры и покрыть расходы на поездку в Англию.

— Кошмар, — вздохнул управляющий, — просто кошмар. Как подумаешь, что каких-то пять лет назад вы бы получили по меньшей мере пару миллионов. Я бы вам посоветовал отвергнуть это нелепое предложение и дожидаться, когда Европа придет в себя, пусть даже на это уйдет несколько месяцев.

— Несколько месяцев на это уйдет, — весело ответил я, — а то и больше. Поэтому я принимаю предложение ваших банкиров. Я бы предпочел дожидаться, когда Европа придет в себя, в Лондоне, где я смогу избавиться от своей нумизматической коллекции. Отходит ли сегодня вечером с Северного вокзала восьмичасовой поезд?

— Да, разумеется. А документы у вас в порядке?

— Как это понимать — «документы»?

— Паспорт и британская виза.

— Разве мне это нужно?

Управляющий улыбнулся.

— Вы еще не раз убедитесь, что мир уже не тот, каким вы знали его в четырнадцатом году. Думаю, вам лучше не откладывая навестить в британское паспортное бюро, если хотите отправиться сегодня же. Еще лучше — дайте мне ваш паспорт, а об остальном позаботится рассыльный.

— Нет, спасибо, — отказался я, вспомнив, что так или иначе хотел увидеться с лордом Дерби. — Я сейчас же пойду к британскому послу. Мы с ним старые друзья.

По дороге в британское посольство — всего в нескольких минутах ходьбы от «Ритца» — я подготовил речь к лорду Дерби. Я решил говорить с ним прямо и откровенно, поскольку человек с его влиянием на руководство Консервативной партии как раз и мог посоветовать, к кому мне стоит навестить в Лондоне. До войны мы не раз встречались в различных клубах в Англии и на континенте. Во время войны мы состояли в непрерывной переписке, когда, будучи военным министром, он снабжал меня аэропланами и пилотами-инструкторами. Он был осведомлен о многочисленных потерях, понесенных русской армией в 1914—1916 гг., и я не сомневался, что он будет

только рад помочь мне открыть его правительству глаза на истинные масштабы большевистской опасности.

Меня ждало разочарование. С живым интересом выслушал он очевидца того, что случилось с расхваленным до небес русским «паровым катком». Искренне согласился, что членам коалиционного кабинета Ллойд Джорджа следует немедленно получить сведения о положении в России из первых рук — в любом случае прежде, чем они усядутся за длинный стол в Версальском дворце.

— Но беда в том, — сказал лорд Дерби, — что мнений на тот счет, что следует делать с Россией, столько же, сколько прибывает в Лондон русских. Лично я верю каждому вашему слову, но кто убедит мое начальство? Есть ли среди ваших людей такие, кто обладал бы достаточным авторитетом, чтобы быть услышанным на Даунинг-стрит и в то же самое время мог бы избежать обвинений в политическом экстремизме?

Это было резонно. Я с готовностью согласился, что его начальство вполне справедливо могло усомниться в утверждениях представителя дома Романовых.

— К счастью, — объяснил я, — у меня нет намерений пытаться повлиять на их мнение. Все, что мне нужно, это снабдить их достоверными сведениями, которые очень легко проверить.

— Достоверными сведениями! — печально повторил он. — Разве могут быть о России хоть какие-то достоверные сведения? И к тому же вы сейчас здесь, в Париже, а все разъяснения надо делать в Лондоне.

— Но я сегодня же выезжаю в Лондон.

— Неужели?

— Несомненно. Я обещал своей теще, что без промедления встречусь с вдовствующей королевой.

Он неожиданно сделался задумчив. Знаменитая лучезарная «улыбка Дерби», столь знакомая многочисленным завсегдатаям английских ипподромов, внезапно исчезла с его румяного лица, уступив место хмурой, нескрываемой серьезности.

— Мой предстоящий визит в Англию вас, похоже, тревожит, — заметил я, смеясь, но и одновременно гадая, в чем тут могло быть дело.

— Гораздо хуже, — ответил он, опуская глаза, — он вселяет в меня самые безрадостные чувства.

— Вы шутите?

— Хотелось бы! — воскликнул лорд Дерби удрученно. — Видит Бог, я желал бы, чтобы меня избавили от необходимости делать все эти разъяснения, но этого, видимо, не избежать. Сегодня утром я получил из министерства иностранных дел телеграмму, предписывающую мне отказать вам во въезде в Соединенное Королевство!

— Но, лорд Дерби...

Я осекся. Это было так, будто мне вдруг сообщили, что меня зовут не Александр. Я не знал, что сказать. Непонятно зачем я достал свой паспорт и положил на стол.

— Здесь явно какое-то недоразумение, — пробормотал я безотчетно, еще надеясь, что на лицо лорда Дерби вернется улыбка и он признается, что всего лишь невинно меня разыгрывал.

— Ни малейшего, — простонал он и взял верхнюю телеграмму из стопки перед собой. — Вот она. Черным по белому! Никаких объяснений. Никаких лазеек. Только приказы. Не побоюсь признаться, что это самое тяжелое поручение, какое мне приходилось выполнять за все время службы.

— Но, лорд Дерби, как можно отказать в праве въезда в Англию человеку, который не только приходится близким родственником его величеству, но который и сражался также, сражался почти три года за общее дело союзников? Поймите меня правильно: у меня нет желания силой добиваться от вашей страны гостеприимства, но я все-таки полагаю, что мне по меньшей мере должны предоставить какие-то объяснения. Что я такого сделал, чтобы ваше министерство иностранных дел меня отвергло? С каких пор мое присутствие в Лондоне стало угрозой интересам Британского Содружества? И зачем, во имя всех святых, было вашему правительству посылать в Россию линейный крейсер спасать меня, если я недостаточно благонадежен, чтобы сойти на английский берег? Это же нелепо от начала до конца!

— Это нелепее, — мрачно подтвердил лорд Дерби, — чем что-либо, с чем мне приходилось сталкиваться по службе. Однако вы должны понимать, что послу его британского величества не позволено разглашать мотивы тех или иных решений министерства иностранных дел. Как джентльмен джентльмену, я бы посоветовал вам заглянуть в английские газеты.

— В английские газеты? — я был совершенно сбит с толку. — Им-то что до моей поездки в Лондон? Чем я их не устраиваю?

— Ничем. Да они и не пишут сейчас ни о чем, кроме нарастающих беспорядков в Англии. Подъем коммунизма... создание рабочими «Советов действия»... и все такое прочее. Исходя из этого, министерство иностранных дел не исключает, что прибытие в Лондон члена русской императорской семьи может стать причиной всякого рода нездоровых волнений и провокаций.

— А как же достославная британская доктрина о политическом убежище для всех и каждого? Что случилось с этим бесценным достоянием Альбиона?

Он пожал плечами и молча указал на телеграмму у себя на столе. Приказы! Вместо классической доктрины — приказы! Страна, которая в прошлом давала приют анархистам и цареубийцам всех мастей, теперь считает своим долгом захлопнуть дверь перед родственником его британского величества.

— Полагаю, — произнес я, протягивая руку, — что это мое последнее «прости» Британским островам.

— Необязательно. Через месяц-другой положение может улучшиться, и министерство иностранных дел, возможно, пересмотрит свое решение.

— Даже если так, — заключил я с покорностью. — Думаю, я останусь там, где нахожусь.

— Что ж, — заметил лорд Дерби. — Франция — прекрасная страна, не так ли?

— Необычайно привлекательная, сэръ.

Жаль, я не рассказал ему о сражении на рю Анатоль де ла Форж, потому что в свете этих новых и буквально ошарашивающих обстоятельств мелочность и подлость моего маленького круглолицего хозяина казались совершенно обоснованными, чуть ли не добропорядочными.

2

Сказать лорду Дерби с наигранным безразличием: «Думаю, я останусь там, где нахожусь», — не составило большого труда. Всего лишь улыбка, взмах рукой. Куда более тяжелой задачей оказалось осознать, что мне и впрямь заказан въезд в Англию — королевство, где правит мой кузен, страну, где я больше двадцати раз подряд проводил лето и за чьи интересы сражался с русскими дипломатами и германскими войсками, остров, где боготворили имена самодержцев, сыгравших такую роль в моей личной жизни... Я вспоминал старую королеву Викторию, мысленно рисуя ее такой, какой видел в последний раз — восседающей в непомерной величины кресле в отеле «Симьез» в Ницце и ведущей в своей живой лаконичной манере беседу о неисчислимых задачах, ожидающих грядущие поколения Виндзоров и Романовых. Я вспоминал наши традиционные семейные съезды в Копенгагене, где вдовствующая королева Александра, тогда еще принцесса Уэльская, неизменно приветствовала нас с борта своей яхты, окруженная детьми, сгорающая от нетерпения узнать, перерос ли наконец сын Джордж ее племянника Ники. Я вспоминал рокочущий голос и содрогающиеся плечи дяди Берти, короля Эдуарда VII, и тот нажим, с каким он бывало разглагольствовал о «взаимных выгодах», которые принесет союз России и Британии.

И тут я вспомнил об изгнаннике кайзере! Я не мог не думать о нем, потому что даже со своей кровати в отеле «Ритц» в Париже я слышал злорадный, гортанный, немного истерический смех, которым, несомненно, приветствовалась бы в замке Доорн весть о моем унижении. Его русские кузены! Эти олухи несчастные, которые вообразили, будто смогут переплюнуть величайшего из Гогенцоллернов, и за чье слепое преклонение перед Англией отплатили отказом в каком-то трехдневном пребывании в Лондоне! Разве он их не предупреждал? Разве не пытался неустанно вбить в их тупые головы, что его дружбой следует дорожить, поскольку ничего хорошего от их кретинского заигрывания с «лондонскими бакалейщиками» и «девонширскими молочниками» ожидать не приходилось?

Как ни беспорядочны и неуправляемы были эти мысли, они помогли мне принять одно разумное решение. Я осознал, что беседу с лордом Дерби от вдовствующей королевы надо скрыть. Разумеется, она была бессильна вмешаться в действия министерства иностранных дел, так зачем причинять старушке страдания? Первое, что она предпримет, это вызовет к себе сына, а тому придется объяснять ей, что бывают времена, когда даже король Англии не может контрабандой провезти русского великого князя в Лондон. Я сел и написал два письма: одно в Крым, своей теще, где рассказал все, как есть, другое — ее величеству, где подробно описал положение ее оставшихся в живых российских родственников и извинялся за невозможность приехать. «Вот-вот откроется Версальская конференция, и мне бы очень не хотелось,

дорогая тетушка, упустить возможность побеседовать с нашими союзниками». Предлог весьма убедительный для почтенной, седовласой дамы, в глазах которой я все еще сохранял былое величие. А ведь ни у одного ее племянника никогда не забирали пожитки в залог неуплаты за постой.

3

В последующие два месяца я вел, выражаясь языком газетчиков-криминалистов, «двойную жизнь». Я говорю «два месяца», потому что ровно на столько хватило моих денег.

Забившись в свою каморку, я строил планы и писал письма — письма политическим деятелям о «положении в России», письма родным о дороговизне проживания в Париже, письма друзьям о том, каково быть бедным.

Спустившись в ресторан, я расхаживал с поднятой головой, расправив плечи, улыбаясь и шутя, и обычно принимал участие в изумительной «игре в перемирие», заключавшейся в том, чтобы делать вид, будто между первым августа четырнадцатого и одиннадцатым ноября восемнадцатого года ровным счетом ничего не произошло и что жизнь идет своим чередом.

Мимо сновали официанты, провожая индийских раджей и усыпанных драгоценностями дам к «самому лучшему столику в “Ритце”».

Юные блондинки из Америки, высокие, светлоокие, семенили, словно пони для игры в поло, и заразительно хохотали, потягивая «Мартини».

Плоские в груди, узкие в бедрах молодые люди неопределенной национальности заявлялись стаями послушать знаменитый оркестр и полюбоваться бриллиантами коренастых испанских матрон.

«Вторые скрипки» Версальской конференции часами просиживали за обеденным столом, к благоговейному недоумению младших официантов, и объясняли, и словами и мимикой с жестами, как валлийский маг Ллойд Джордж обедеет вокруг пальца Клемансо.

Военная форма варьировалась от приглушенного хаки англичан до фантастических плюмажей и султанов на громадных шляпах невоспетых героев Португалии, и нигде на свете, за исключением циркового представления, невозможно было увидеть медалей в таком ассортименте, как на груди героев, увешанных наградами победоносных правительств Черногории и Сан-Марино.

И все это орало, пило, перевирало песни и пыталось забыться. Это нужно было или безоговорочно принять, или с отвращением уйти. Я принял и делал все согласно сценарию. Вздыхал о старых добрых временах с официантом, которому больше не мог давать чаевых. Раздавал автографы милым дамам в летах, которые заходили в «Ритц», потому что слышали, что там рассадник греха. Беседовал с заезжими американскими журналистами, которые писали статьи обо мне еще до того, как они со мной увиделись! И выслушивал бредовые рецепты уничтожения большевизма, предлагаемые случайными людьми.

Чуть не каждую минуту натывался я на того или иного из прежних парижских знакомых, и приглашения на коктейли и обеды следовали одно за другим. По прошествии пяти лет наши отношения утратили всякое содержание, но, по-видимому, так мило было иметь возможность на следующее утро сказать:

«И еще у нас был этот бедный русский великий князь. Боже мой, подумать только! Он потерял всех своих братьев и кузенов до единого!».

На самом деле, к тому времени — середине января 1919-го — я еще и сам не знал, потерял я или нет «всех до единого» братьев и кузенов. С предыдущей весны я не получал вестей о своих братьях Николае и Георгии, томившихся в петербургском застенке, и еще надеялся, что мой младший брат Сергей избежал в Сибири гибели. Некоторые из прочих членов нашего некогда многочисленного семейства исчезли, казалось, бесследно, а с революцией я усвоил, что отсутствие новостей неизменно означает плохие новости.

Как-то утром — было это, кажется, на третьей неделе моего пребывания в Париже, — сидя в пальмовой роще гостиницы, я заметил молодого британского офицера, чье лицо показалось мне мучительно знакомым. Несколько минут я вглядывался в него, перебирая в памяти имена, и тут с изумлением осознал, что это не кто иной, как великий князь Дмитрий, сын моего двоюродного брата Павла. Странно было видеть русского великого князя в униформе иной державы, но спасенным выбирать не приходится: своей жизнью и прекрасно сшитым мундиром Дмитрий был обязан «жестокой несправедливости» царя, обрушившейся на его семью за два года до этого. Изгнанный в Персию за участие в убийстве Распутина, он таким образом смог не только избежать смрадной атмосферы предреволюционного С.-Петербурга, но и спастись от большевиков и вступить в Британскую армию, действовавшую в Месопотамии. Я впервые увидел Дмитрия с той самой ночи, когда, после тщетного своего заступничества перед Ники, я посадил его на поезд и тот увез его на юг. Оглядывая его сейчас, высокого, сильного и как никогда красивого, я не мог не улыбнуться при мысли о горе, постигшем остальных его родичей. Соизволь тогда царь отпустить этого юношу с миром, не стоять бы Дмитрию в январе девятнадцатого в вестибюле «Ритца», восхищая женщин и имея всю жизнь впереди.

4

Все в один голос предсказывали, что правительство Соединенных Штатов призовут исполнять роль эдакого великодушного диктатора всей Европы, и я, естественно, был заинтересован в возобновлении и укреплении дружеских отношений с членами американской делегации. Большинство их были люди с наилучшими намерениями, гордые своей победой, тронутые бедствиями Европы и твердо убежденные в окончательном триумфе правого дела. Говорили они горячо, энергично пожимали руки и обладали неким неистощимым источником веселости. Мой друг генерал Чарлз Г. Дауэс составлял в этой компании неизлечимых оптимистов единоличное меньшинство, утверждая, что «настоящая» беда еще впереди и что никакие благородные речи не в силах возместить утрату десяти миллионов живых и здоровых людей. Если бы версальские «всемогущие» соизволили прислушаться к его мудрым словам, они состряпали бы намного лучший договор. А последуй я сам его дружескому совету, то избавил бы себя от стольких ненужных унижений.

— Даже не пытайтесь встретиться со «всемогущими», — говорил он мне, как всегда просто и отрезвляюще, — они вас не примут, проигравшие им ни к чему.

— Плюньте вы на Дауэса, — говорили бодрые делегаты, — он мрачный от рождения. И на европейцев не тратьте попусту время. С кем вам нужно увидеться, так это с Лансингом. Напишите ему, и все устроится.

Люди, которые хотят быть обманутыми, сами попадают впросак. 9 января 1919 года я направил секретарю Лансингу письмо, где просил у него одолжения в виде аудиенции и упоминал, что едва ли задержусь в Париже надолго. Последний ход был подсказан моими американскими друзьями, объяснившими, что это «прием старика Вашингтона», непревзойденный по действенности.

Прошла неделя. Шестнадцатого января я получил от Лансинга ответ следующего содержания:

«Великому князю Александру

Отель «Ритц»

Париж

Сэр!

Имею честь подтвердить получение вашего письма от 9 января касательно аудиенции, которую вы хотели бы у меня получить, и выразить сожаление, что в связи с упоминанием в вышеозначенном письме о вашем немедленном отъезде оно было оставлено без ответа.

Так или иначе, назначить в настоящий момент прием, к сожалению, не представляется для меня возможным ввиду того, что все мое время по необходимости занято официальными совещаниями.

Буду рад известить вас в случае возможности устроить с вами встречу.

Благодарю за честь,

искренне ваш

Роберт Лансинг».

Стоит ли добавлять, что «случай», на который надеялся мистер Лансинг, так и не представился. Веселые делегаты покачали головами и хором заключили:

— Ну, разумеется. Ничего иного от Лансинга и ожидать не следовало.

У меня отвисла челюсть.

— Но ведь это вы мне сами посоветовали.

— Верно, но мы ошиблись. Написать хорошее письмо президенту — вот что вам надо сделать.

— Как это понимать — «хорошее» письмо?

— Такое, что убедит его в непредвзятости вашей точки зрения и горячем желании говорить правду и ничего, кроме правды.

— Думаете, он меня примет?

— Наверняка.

Генерал Дауэс выругался и сказал, что я попусту трачу уйму времени, которое мог бы с пользой провести на площадках для гольфа в Сен-Клу. Опять я не послушался этого человека с трезвыми взглядами и вместо того, чтобы натянуть гольфы, заперся в душной комнатенке и стал вымучивать письмо президенту Вильсону.

«Президенту Вильсону

Париж

27 января 1919 г.

Уважаемый господин Президент!

Мне бы хотелось встретиться с вами и поговорить просто как человек с человеком. Забудьте, что я русский великий князь. Помните лишь, что я русский, чья единственная цель — помочь своей родине.

Горячо веря в Божественную справедливость, я вижу в вас не только Президента Соединенных Штатов, но и доброго христианина, который борется за установление на земле Вечного Мира.

Я не состою ни в одной партии. И никогда не состоял. Если бы мне нужно было обозначить свои политические убеждения, я бы сказал, что всегда был либералом и всегда видел избавление от всех зол во вселенском триумфе разумной Демократии, построенной на принципах Евангелия.

Жизнь моя была не легче, чем у многих, я прошел через три войны и три революции и шесть месяцев провел в плену у большевиков. Я видел различные приемы, которыми Меньшинство вводит в заблуждение Большинство и так рождает все возрастающую опасность для будущего человечества.

Вы, сэр, занимаете сегодня положение, неведомое еще ни одному смертному за всю историю Христианского мира. На вас устремлены взоры всех народов земли, и они видят в вас свое спасение. Поэтому я и обращаюсь к вам. Будь на то ваша воля, вы смогли бы помочь ста шестидесяти миллионам русских построить по-настоящему свободную Россию, свободную от неравенства как бывшего, так и нынешнего. Однако если вы промолчите, вы бросите их на произвол судьбы среди хаоса моральной и материальной катастрофы.

Не откажите мне во встрече. Уверен, вы найдете интересным то, что я хочу сказать. Я прошу всего нескольких минут вашего времени.

Позвольте еще раз напомнить, что это письмо написано не великим князем, а просто русским.

Как всегда,
искренне ваш
Александр».

Два дня спустя я получил на свое письмо следующий ответ:

«Великому князю Александру

Отель «Ритц»

Париж

28 января 1919 г.

Сэр!

Президент просит меня подтвердить получение вашего письма и поблагодарить за него. Президенту было бы очень приятно встретиться с вами и обсудить обстановку в России, представься хотя бы малейшая возможность, но поскольку все свое время Президент без остатка посвящает процессу мирных переговоров, у него не остается ни единого часа в сутках, который он мог бы считать личным временем, поэтому от действий подобного рода ему приходится воздерживаться.

С огромным сожалением,

искренне ваш

Гилберт Ф.Чейз,

Личный Секретарь Президента».

Должен признаться, я ничуть не удивился. Как и мои американские «советчики»! Они мудро улыбнулись и сказали:

— Вы, конечно, понимаете, что это означает?

— Конечно. Это означает, что президент не желает меня видеть. В какой-то мере я не виню его. Зачем ему компрометировать американское правительство, открыто встречаясь с Романовым?

— Как можно быть столь наивным! — они взглянули на меня с сожалением и упреком. — Вы не можете прочесть эту строчку?

— Могу. Здесь говорится: «...от действий подобного рода ему приходится воздерживаться».

— Почему вы не выделяете два слова — «подобного рода»? Вы и это не можете расшифровать?

— Будь я проклят, если могу.

— Это значит — полковник Хаус! Полковник Хаус! Теперь понимаете, простак вы эдакий? Это значит, что все действия подобного рода президент поручает полковнику Хаусу.

— Но почему было президентскому секретарю так и не написать в своем письме?

После того, как смолкли взрывы хохота, вызванного этим вопросом, мне сообщили, что, во-первых, я никогда не стану хорошим политиком и что, во-вторых, мне немедленно следует встретиться с полковником Хаусом, от чего я наотрез отказался. Мне уже как-то приходилось встречаться с полковником, и я знал, что «конфиденциальная беседа» с ним ничего не прибавит ни к его всемирной репутации современного Сфинкса, ни к моим весьма сомнительным политическим талантам. Артур Бальфур, министр иностранных дел Великобритании, оставался единственным из версальских «всемогущих», с которым я еще хотел увидаться. Не столько для того, чтобы «открыть» ему глаза на Россию, — с задачей подобного масштаба не справилась бы и дюжина таких, как я, — сколько для того, чтобы напрямик спросить его: «Что я такого натворил, чтобы меня не пускали в Англию?». Я получил послание от вдовствующей королевы, выражавшей крайнее недовольство моим «нежеланием» заехать в Мальборо-Хаус «хотя бы на выходные», и, поскольку мой запас лжи во спасение начисто иссяк, мне хотелось заручиться помощью Бальфура, чтобы пополнить перечень своих отговорок.

— Мистер Бальфур предпочел бы встретиться с вами у себя в отеле, — сказал его весьма снисходительный секретарь, явно раздосадованный моей решимостью нарушить покой его хозяина. Я ответил, что мне плевать, в какой обстановке суждено состояться нашему свиданию, если, разумеется, прославленный философ и государственный муж выполняет договоренности о встречах. Я прихожу за пять минут до назначенного часа, называю свое имя портье. Выйдя из лифта на этаже Бальфура, вижу тощую, мешковатую фигуру министра иностранных дел Великобритании, улепетывающего по коридору от верной смерти к «пожарной лестнице». Я хотел было его окликнуть, но тут меня

осеняет. В конце концов, у всех нас есть маленькие странности, и поведение Бальфура можно объяснить заведенным обычаем делать легкие пробежки по коридорам парижских отелей. Однако на лице секретаря, покрасневшем и перепуганном, было написано иное объяснение.

— Мистер Бальфур сожалеет, что совещание крайней степени важности лишило его удовольствия побеседовать с Вашим Императорским Высочеством. Он дал мне указание слово в слово передать ему все, что вы пожелаете сообщить.

Бедняга запинался на каждом слове. Думаю, ему было немного стыдно за поведение своего хозяина. Я улыбнулся и направился к двери.

— Вы ничего не хотите передать мистеру Бальфуру? — спросил он почти умоляюще.

— Хочу, — сказал я, — непременно. Передайте ему, что человеку его возраста следует пользоваться лифтом.

Глава III

Нумизмат платит по счетам

1

Нет лучшего лекарства от воображаемых несчастий, чем встреча с настоящими. Я месяцами горевал бы, вспоминая Бальфура, Вильсона и Лансинга, если б не администрация «Ритца», портной, галантерейщик и сапожник. Я задолжал им. Они требовали денег. Это подлинное несчастье затмило политику торжествующих союзников по отношению к России.

Я не мог достать денег в Париже — городе, где привык только тратить. Вероятно, в Лондоне я бы их нашел, но туда меня не пускали. Так что требовалось что-нибудь придумать и побыстрее: каждое утро приносило с собой кипу счетов и писем, составленных в самых учтивых выражениях, но не оставлявших сомнений в серьезности намерений их авторов. Если бы тогда кто-нибудь вошел в мой номер и увидел на письменном столе листки со странными записями, я бы до конца своих дней не вышел из психиатрической лечебницы. Написано там было следующее:

1. Дорийцы из Гераклеи в Херсонесе и ионийцы из Милета в Феодосии. Около 650 до Р.Х. Написать в Женеву толстому итальянцу. Может покрыть четверть счета за гостиницу.

2. Готы (250 по Р.Х.), гунны (376 по Р.Х.), хазары (около 740 по Р.Х.). Пристроить трудно. Возможно, в Бостон. Отправить в выходные каблогранму — авось выгорит. Хватит, чтобы сшить два демисезонных костюма.

3. Фарнак II (63 до Р.Х.). В память возведения на трон Боспорского Царства Помпеем. Сапожник? Не исключено, если жив еще в Риме этот плут-заика.

4. Византийцы (1016 по Р.Х.) и кипчаки (1050 по Р.Х.). В обычное время за глаза хватило бы и на «Ритц», и на Пасху в Биаррице. Теперь крайне нежелательно. Написать в Лондон, Женеву и Нью-Йорк.

5. Македонцы. Восемь и двенадцать финикийских драхм. Вероятно, эпохи царствования Александра I (498—454 до Р.Х.). Как звали того англичанина, что давал за них любые деньги наследникам Абдул-Хамида? Написать нашему бывшему послу в Константинополе — может, вспомнит. Если да, то все отлично.

6. Фессалийская федерация (196-146 до Р.Х.). Голова Зевса в дубовом венке и Афина Итония. Никогда особо не ценились. Фердинанд дал бы адрес возможного покупателя, но как связаться с Фердинандом? В любом случае, не раньше, чем подпишут мир. При лучшем исходе не хватит и на сапожника.

7. Коринф. Скорее всего, 500 до Р.Х. Голова Афины. Беллерофонт верхом на Пегасе и Химера. Очень красивые, как всё, что я получил от Абдул-Хамида, но пристроить трудно. Если выручу за обе хотя бы десятую часть того, что заплатил, с портным рассчитаюсь полностью.

8. Малая Азия. Лидийский электр (вероятно, 700 до Р.Х.). Много, но все довольно примитивные — несколько линий на аверсе. Стоили мне трех месяцев работы в Трапезунде и Бог знает скольких денег. Но для Женевы это не аргумент. Наверняка продам, но выйдет только на чаевые Оливье.

9. Испания (вероятно, 350 до Р.Х.). Фокейская драхма и драхма Эмпории. Не то, что купят в первую очередь. Кому нынче нужны греки? Устроит любая цена, даже если хватит лишь на спальный вагон до Биаррица.

2

Нет, я не бредил. Я лишь вкратце набрасывал для себя различные соображения по поводу своей нумизматической коллекции. Станным казалось, что по той единственной причине, что несколько дорийских купцов, недовольных положением в Гераклее в 650 году до Р.Х., отплыли к неведомым берегам и высадились на южном побережье будущей Российской империи, администрация отеля «Ритц» сполна получит за комнаты, занимаемые великим князем Александром в январе 1919 г. по Р.Х., но связь между этими двумя событиями из истории рода человеческого вполне логична и очевидна. Останься дорийцы дома, не было бы ни древнегреческих монет, ни ваз, ни статуй, погребенных в крымской земле, а я не увлекся бы дорогостоящими археологическими раскопками — поначалу в окрестностях своего имения Ай-Тодор, затем в Трапезунде и по всему побережью Малой Азии.

Еще более странно было, что возможность уплатить по счетам в Париже и получить краткую передышку могло дать мне лишь то, что всегда считали «чистым безумием» и «дорогой забавой» непутевого члена императорской семьи. Просматривая записи, я вспомнил слова своего отца: «Только подумай, Сандро, какие возможности ты упускаешь. Да если бы ты вложил хоть крупицу того, что тратишь, роясь в земле в Крыму, в надежные акции и государственные облигации, ты удвоил бы свой годовой доход и никогда бы ни в чем не нуждался. Не нравятся акции и облигации — купи нефтеносные земли, медь, марганец, недвижимость, но, ради Бога, прекрати расшвыривать деньги на этих дурацких древних греков».

Что делал бы я в январе 1919-го, послушайся я советов моего практичного отца и оставь занятия археологией в 1900-х? Акции и облигации? Они пачками

лежали в моем банковском сейфе в С.-Петербурге, но даже укравшие их большевики ни копейки не могли за них выручить, поскольку компании, выпустившие эти акции, развалились в революцию. Нефтеносные земли? Медь? Марганец? Недвижимость? Все это у меня было, но я никак не мог убедить портного с рю дю Фобур Сент-Оноре обменять пару фланелевых брюк на право владения моими доходными домами в С.-Петербурге или нефтеносными землями на Кавказе.

«Безумие окупается», — сказал я сам себе с чувством. Как бы мало я ни получил за финикийские драхмы, Афины и Беллерофонта, что-то да получил бы, и, возможно, достаточно, чтобы выполнить свои обязательства перед кредиторами и посмеяться над теми, кто прежде смеялся надо мной. Кроме того, у меня оставались воспоминания. Никакие Советы в мире не отняли бы у меня радостного волнения от моих археологических предприятий.

Два лета я провел в Трапезунде в обществе таких чудачков, каких не сыщешь и нарочно. Из Берлина я привез седого и близорукого немецкого профессора, не читавшего газет по восемь месяцев кряду и пребывавшего в блаженном неведении относительно последних перемен в мире политики, который мог, однако, догадаться о причинах распада Фессалийской федерации, лишь раз взглянув на золотую монету, подаренную мне царем Болгарии Фердинандом.

Фердинанд и Абдул-Хамид. Вот две воистину колоритные фигуры, которых породил Ближний Восток в двадцатом веке. Не то чтобы великие правители, но яркие личности. Фердинанд, желавший быть отцом всех славян и не имевший равных в искусстве дипломатических уловок. Абдул-Хамид, «кровавый» султан, полагавший, что либо турки должны сожрать армян, либо кончится тем, что армяне слопают турок. Ни с одним из них я никогда не говорил о политике. Мы обсуждали темы, способствовавшие дружеским отношениям. Нумизматику. Французскую кухню. Противоречия в Ветхом Завете.

Лишь однажды Абдул-Хамид высказал свое мнение о том, что ожидает русского царя, но говорил при этом как ученый историк. Тезис был тот, что ни одна династия, как европейская, так и восточная, не продержалась у власти более трехсот лет. «1913 год! После него ваша семья окажется в опасности», — сказал он на превосходном французском. Я поблагодарил его за предупреждение, и мы перешли к традиционному обмену подарками. Я получил несколько македонских монет, а он — крымские груши, персики и виноград в невероятных количествах.

Если верить европейским и американским газетчикам, это было чудовище, кровожадный тиран, садист. Лично я знал его как пожилого джентльмена, не уступавшего никому по части познаний в нумизматике, тонкого ценителя плова из молодого барашка и тушеных баклажанов. Для меня, как и для всякого, кто Свободе предпочитает Жизнь, занятное чудовище — не худший друг, а сентиментальный зануда — смертельный враг. И Абдул-Хамид, и Фердинанд были в высшей степени заняты, даже если первый перерезал огромное число своих подданных, а второй продал «великое дело демократии» кайзеру.

Хотел бы я собрать всех нумизматов у себя в номере, открыть чемодан и сказать: «А теперь послушайте, господа. Видите эту чудесную монету Александра Великого? Я нашел ее в августе 1903 года в захоронении, на том месте, где некогда стоял Херсонес. Лето было ужасно жаркое, и копали мы больше по ночам. Спали от восхода до заката, завтракали в семь вечера и принимались за работу. Впервые за десять лет с того дня, как взошел на трон мой кузен, я мог забыть о существовании С.-Петербурга с его придворными, политиками и революционерами. Помощниками моими были либо нанятые татары, которые почти совсем не говорили по-русски, либо важные эксперты из Берлина. Им было все равно, что я великий князь и государственный муж. Татары любили меня, потому что я любил слушать их монотонные молитвы. Немецкие профессора любили меня, потому что я охотно соглашался, что они знают все, а я — ничего. В четыре утра, когда луна скрывалась за горами, мы открывали бутылку коньяка — не «Хеннесси», не «Мартель», а греческого коньяка, приготовленного тем же способом, каким делали его двадцать пять веков назад наши друзья дорийцы. Ночи внушали благоговение, коньяк тоже. Когда через шесть недель мы докопались до дна захоронения, я чуть не заплакал. Я надеялся, мы проработаем еще месяц. Господа, сколько я должен просить за этого Александра Великого?».

Эту речь я так никогда и не произнес. Я просто написал в Женеву одному торговцу, и следующей же почтой получил ответ. Он знал мою коллекцию и не сомневался в ее подлинности. Но он просил меня понять: мы живем «в безумное время». Он надеялся, что я войду в его положение. Больше всего на свете ему хотелось бы дать за мою прекрасную монету ее настоящую цену. И сердце его разрывалось оттого, что приходилось предлагать цену заниженную.

Цена воистину была занижена. Она составляла менее пяти процентов от стоимости монеты согласно довоенным каталогам и менее сотой процента от той суммы, в которую она обошлась мне самому. Я отправил телеграмму о своем согласии. Мой портной сидел внизу в холле — ждал и надеялся.

Через десять лет я прочел в лондонской «Таймс», что среди предметов нумизматики, представленных на частной выставке, была и «одна из редчайших монет Александра Великого, принадлежавшая прежде члену Российской Императорской фамилии и приобретенная мистером *** из Женевы за головокружительную сумму в...».

Цена, указанная в лондонской «Таймс», и сумма, полученная мной в 1919-м, различались на два нуля. Удар был силен, но я выдержал. За десять лет, прошедших между двумя сделками, я многому научился. Я благодарен тому жевевскому торговцу: ничто не мешало ему заплатить еще меньше.

Основная часть моей коллекции пошла с молотка — что-то в Швейцарии, что-то в Англии. Мне не терпелось поскорее получить деньги, и, хотя сам я на аукционах не присутствовал, нетерпение мое не могло укрыться от покупателей. Один из них написал мне длинное письмо, уверяя, что будет беречь сувениры моего археологического прошлого. Все были довольны. Администрация «Ритца». Метрдотель ресторана. Галантерейщик. Портной. Сапожник. Даже я сам. В душе я так и остался нумизматом.

В настоящее время я довольствуюсь тем, что читаю каталоги и выписываю специальные журналы. Но если в один прекрасный день мои банкиры известят меня о том, что, проверяя счет, наткнулись на сальдо в мою пользу, я снова вступлю в игру. Все-таки это лучшее капиталовложение — на случай революции.

4

После уплаты по счетам в кармане у меня осталось несколько франков, и я вздохнул с облегчением. Хотя какое-то время мог я не красться через вестибюль с чувством, что обокрал акционеров «Ритца». Я давно не читал и решил наверстать упущенное, поделив дневное время между Национальной библиотекой и Палатой депутатов. В последней книг, разумеется, не было — меня интересовал сам парламент. Я никогда еще не слышал великих политических ораторов, поскольку появление великого князя в Вестминстере или Бурбонском дворце привело бы в ужас наших послов за границей, а дома на меня взглянули бы косо. Наша Государственная дума, будучи прекрасным пособием для изучения способности русских к нескончаемой говорильне, никак не могла служить примером здорового либерального руководства, назначение которого, по словам верховного командования союзнических сил, состояло в охране свобод таких в прошлом угнетенных народов, как французы и англичане. У нас были толпы либералов, получающих от правительства годовое жалованье парламентариев, и они пользовались словами «здоровое» и «руководство», но все речи неизменно сводили на болезни Петра Великого и любовников Екатерины Великой, что было бы интересно почитать изучающим восемнадцатый век, однако страна оставалась все там же, где была, когда они забирались на трибуну.

Один мой знакомый, французский банкир, через которого я в войну покупал аэропланы и пулеметы, недавно был избран депутатом от своего родного города, и это облегчило мне получение пропуска в Бурбонский дворец. В тот день, когда я впервые должен был появиться на парламентской галерке, он позвал меня обедать в ресторанчик, куда ходили почти все его коллеги. Там было тесно и уютно. Большинство депутатов обращались друг к другу на «ты» — восхитительный обычай, заставивший меня вспомнить гвардейские казармы и гримерные императорских театров.

— Передай мне соль.

— Ну и что ты думаешь об этом английском деле?

— Ты видел Лушёра?

Я ждал, что они того и гляди запоют, но при такой вкусной еде было не до песен.

— А теперь я познакомлю вас с самым блестящим оратором социалистической партии, — сказал мой друг и показал на седого коротышку за столиком напротив, углубившегося в большое блюдо с тушеной рыбой.

— Осторожнее. Может, ему вовсе не хочется встречаться с великим князем. Социалистам такие вещи не по вкусу.

— Вы шутите?

— Ничуть. Я говорю совершенно серьезно.

— А как же я? Я ведь сижу с вами за одним столиком.

— Разве вы социалист?

— Еще какой.

— При вашем состоянии?

— Какая связь между моим состоянием и тем фактом, что от той части страны, откуда я родом, в парламент проходят одни социалисты?

— Понятно, — сказал я. — Прошу прощения.

Блестящий оратор оказался светским человеком, мы обнаружили общих знакомых. Он спросил, виделся ли я в последнее время со старой герцогиней ***. Я с ней виделся.

— Очаровательная женщина, не правда ли?

Оратор поморщился — он считал ее невыносимо вульгарной.

— Породу не переменишь, — объяснил он. — Вы конечно, знаете, ее титул — всего лишь наполеоновских времен. В дни Директории ее прадед был пекарем.

Мы все согласились, что герцогине не повезло. Горя нетерпением узнать его мнение о результатах Версальской конференции, я упомянул о своих попытках встретиться с Клемансо.

— Он сейчас слишком занят, — сказал оратор, — бьется с англичанами из-за африканской нефти.

Африканской нефти? Это меня озадачило.

— Ну как же, — воскликнул он нетерпеливо. — Как называется это место, где англичане эксплуатируют бедных негров? Богатейшие в мире нефтяные месторождения. Об этом вечно пишут в английских газетах.

— Вы случайно не о Мосуле говорите? — робко предположил я.

— Да-да, вот именно. Сегодня я буду говорить об этом в Палате. Моя партия не позволит, чтобы англичане продолжали бесстыдную эксплуатацию непросвещенного цветного населения.

Мосул находился в Месопотамии. Негров там не было — одни арабы, которые сильно удивились бы, узнав, что Месопотамия переехала из Азии в Африку. Впрочем, такие мелочи значения не имели. Важно было чувство.

Отобедав, мы перешли улицу и оказались у ворот Палаты депутатов. Завидев моих друзей-социалистов, охранник выпрямился и взял на караул.

— Смотрится молодцом! — заметил я.

— Классический французский солдат, — сказал блестящий оратор. — Лучший в мире. Ни у кого нет такой армии, как у нас. Мы всегда готовы к борьбе за свободу человечества.

Я предвкушал нечто большее, чем удовольствие от обещанной речи по поводу обстановки в районе Мосула. Я надеялся, это посещение поможет мне понять, что такое демократия — может, даже проникнуться ее благородным духом. Едва председатель Палаты, видный мужчина, призвал депутатов к порядку, как началась кутерьма. Высокий худой господин, сидевший на правом краю, перебрался в левую половину зала, подошел к члену социалистической оппозиции и ударил его в глаз. Все это заняло менее десяти секунд. Тут же началась борьба без правил. В ход пошли кулаки, трости и чернильницы.

— В чем причина этой возмутительной сцены? — спросил председатель, когда противники разошлись по местам.

— Этот негодяй, — объяснил высокий худой господин, показывая на левого, — сказал моим друзьям, что я грязный бош.

— Вы оба должны принести извинения друг другу и собранию.

— Не в моих привычках извиняться перед подлецами, — ответил высокий худой господин, дернув головой. И вовремя — тяжелый том в кожаном переплете пролетел мимо.

— Господа, господа, — взмолился председатель. — Не вынуждайте меня вызывать охрану.

Но депутаты не слушали. По их белым манишкам стекали черные и красные чернила.

Председатель вздохнул и надел цилиндр.

— Что скажут трудящиеся Франции, если узнают о поведении своих законодателей? — воскликнул он, обращаясь к членам правительства. Ответа не последовало. Мы поднялись и направились к выходу.

Глава IV

Россия на сене

— Паршивая выездка, вот как это называется! — произнес по-русски хриплый голос позади меня.

— Которого из них вы имеете в виду?

— Да всех троих. Омерзительно, правда?

Я неопределенно улыбнулся. Мы стояли в окне второго этаже ресторана «Фуке» и разглядывали Фоша, Хейга и Першинга, верхом возглавлявших парад Победы. Ничего омерзительного в посадке троицы престарелых генералов не было, однако, сколько мы ни искали, ни намек на цвета русского флага среди богатой коллекции штандартов, развевавшихся над головами триумфаторов, так и не разглядели, а это, совершенно естественно, и стало причиной негодования моего соотечественника.

— Будьте справедливы, — сказал я. — В конце концов, кто виноват, что мы прекратили сражаться в тот самый момент, когда были нужны этим людям больше всего?

Он ухмыльнулся и указал на батальон португальцев.

— Ну, а эти? Они-то до черта сражались, да?

Что я мог ответить? Истина состояла в том, что нам следовало бы остаться дома и избавить себя от этого никчемного унижения, но тогда мы не были бы русскими — народом, которому свое горе надо непременно выносить на люди.

Куда бы я ни пошел в тот день, всюду видел русских. Они стояли кучками на Елисейских Полях, на Больших Бульварах и на тенистых улицах Пасси и разговаривали так, как могут только русские. Не слушая друг друга, бесконечно споря об одном и том же, соревнуясь в искусстве пантомимы и достигая невиданных высот драмы. Само собой, было возмутительно, что Франция игнорировала жертвы своего бывшего союзника и что на всем параде Победы

ничто не напоминало миру о трех миллионах русских, которым пришлось погибнуть, чтобы Фош мог прогарцевать под Триумфальной аркой. Но лично меня больше волновала судьба оставшихся в живых. В тот день их было в Париже наверняка не меньше сотни тысяч, и это был только арьергард, лишь малая толика приближающихся сонмов беженцев.

Поражение белой армии Юденича на северо-востоке и сдача Одессы флотом союзников на юго-западе дали толчок движению, которому суждено было продолжаться постоянно усиливающимися темпами пять последующих лет и подобного которому цивилизованный мир еще не видел. Адвокаты и врачи, художники и писатели, банкиры и купцы, офицеры и казаки, политики и предприниматели, крестьяне и домовладельцы — все сословия российского населения были представлены в квартале Пасси, облюбованном беженцами без видимых причин, если не считать того, что это был самый дорогой и престижный район Парижа. Им пришлось покинуть Россию отчасти из страха быть расстрелянными, отчасти потому, что они понимали, что в государстве, управляемом Советами, им места не будет. Они приехали во Францию, потому что из Константинополя ходили пароходы до Марселя и потому что им давно хотелось повидать Париж.

Знай они, что им уже никогда не вернуться, то, возможно, предпочли бы пули и продовольственные карточки. Пока же они ожидали, что в скором времени поменяются с Лениным местами, и у них развилось то, что на языке эмигрантов 1918—1923 гг. называлось «психологией нераспакованных чемоданов». Они жили одним днем, занимали друг у друга деньги и обещали своим домовладельцам и бакалейщикам, что с их счетами все будет улажено, как только «Россия вновь станет Россией». Заголовки их газет — в Париже в ту пору издавались три русские газеты — каждое утро убеждали их, что Красная армия вот-вот взбунтуется и что в Москве в постоянной готовности держится специальный поезд для перепуганных насмерть главарей Советов. Это звучало обнадеживающе. После перепечатки во французской прессе эти вести помогали преодолеть сопротивление мясников и владельцев гостиниц. Видимых причин искать работу или как-то обустроиваться тоже не было, ведь через месяц-другой «порядок» в России будет восстановлен. Вот они и сидели себе на террасах кафе или вокруг зеленых столов в клубах, гадая, в каком состоянии найдут они свое имущество и пытая удачу в «баккара» или «железке».

Удача обычно не улыбалась и съедала все драгоценности и деньги, что они успели захватить с собой, но они неизменно оставались в Париже, городе, принимающем всех, кто понимает, что жизнь коротка, а настоящей радости в ней мало. Возможно, правительство Третьей республики и поступило с Россией подло, но любезный метрдотель Аббэ де Телем, к счастью, не утратил своей сверхъестественной способности обнаруживать наличие тысячефранковой ассигнации в кармане русского мсье, которого он не видел с одиннадцатого года.

— Вы меня помните, Жюль?

— Ну конечно! Мсье из Киева. Любит есть икру столовой ложкой и предпочитает общество образованных дам. Гарсон! Живо неси для мсье бутылку «Клико» 1903 года!

В поисках исторических параллелей парижские газеты вспоминали французскую эмиграцию 1791 — 1793 гг., хотя бегство нескольких тысяч аристократов, напуганных лязганьем гильотины и красноречием Робеспьера, имело мало общего с этим исходом миллионов образованных людей и специалистов. Не только не было в Париже 1919 года Екатерины Великой и настежь распахнутых навстречу российским изгнанникам дворцов, но даже и подобие политических взглядов, которые объединяли собравшихся в Кобленце и С.-Петербурге виконтов и шевалье, в Пасси напрочь отсутствовало. Французские эмигранты 1791—1793 гг. были роялисты, все до единого, будь то сторонники будущего короля Людовика XVIII или поклонники герцога Орлеанского, тогда как русские беженцы 1919-го принадлежали к бесчисленным политическим партиям и ненавидели друг друга много сильнее, нежели большевиков. Подавляющее большинство их были республиканцы: республиканцы буржуазного толка, рассуждающие о свободе в понимании Раймона Пуанкаре и Герберта Гувера; республиканцы того псевдосоциалистического толка, что порождает адвокатов—миллионеров во Франции и миллионеров—издателей радикальных еженедельников в Соединенных Штатах; и, наконец, немало их принадлежало к числу республиканцев — поклонников 2-го Интернационала, которые с радостью приняли бы советскую веру, если бы Ленин пожелал взять их себе в соратники.

Никто, кроме плохо информированных американских корреспондентов, не назвал бы ту разношерстную армию просто «белой русской эмиграцией». Розовые и красноватые, зеленые и белесые, они все ждали, когда падут большевики, чтобы вернуться в Россию и продолжить свою грызню, прерванную Октябрьской революцией. А пока что им приходилось вести баталии на страницах своих парижских газет и с трибуны того самого душного зала на рю Дантон, где в начале девятисотых Ленин изобличал заблуждения Плеханова.

Как-то раз, потягивая аперитив на террасе «Кафе де ла Тур» на площади Альбани, я заметил двух мужчин, которые обменивались взглядами, исполненными нескрываемой ненависти. Их лица казались знакомыми по многочисленным фотографиям и каким-то неприятным воспоминаниям. Между их столиками было значительное расстояние, в кафе было полно народу, и все же они интересовались, по-видимому, только друг другом, словно не желая признать свое поражение в этом поединке взоров. Оба, должно быть, меня знали, поскольку время от времени поворачивались в мою сторону, по всему судя, едва ли из чистого любопытства. Наверняка русские, подумал я, и явно мои враги, но кто? Вгляделся на мгновение в старшего из них и тут вспомнил. Савинков, убийца моего кузена великого князя Сергея, позже военный министр Временного правительства, еще позже — наемный агент союзников в Сибири и человек, за голову которого Советы выплатили бы впечатляющее вознаграждение! Не раз видел я его наполеоновский профиль, сначала в циркулярах тайной полиции, потом на большевистских плакатах, расклеенных по всей России и призывавших «всех сознательных пролетариев пристрелить на

месте эту гнусную буржуазную гадину». Я бы его сразу узнал, но он заметно постарел и немало растолстел.

— Ну-ну, — подумал я. — В этих белых гамашах и с цветком гардении в петлице ты мог бы сойти за английского биржевого маклера на вакациях или отставного крупье из Монте-Карло, кого угодно, только не легендарного бомбиста. Интересно, кто бы мог быть целью твоих гневных взглядов? Возможно, какой-нибудь важный большевик, приехавший во Францию инкогнито.

Но ничто в молодом русском не указывало на предполагаемую большевистскую породу. Начать с того, что одет он был по-мещански старательно, в то время как московские эмиссары или пренебрегали своей наружностью совершенно, или смерть как любили кричащие галстуки и шелковые рубашки. Я было принял его за бывшего агента или провокатора царской полиции, который досаждал Савинкову в довоенные дни, но тут обратил внимание на его глаза и уши. Уши были бескровные и огромные. Они торчали, словно уродливые отростки шеи. Глаза были маленькие и водянистые; в них отражались пустота и подлость. Мне вспомнилось, как Мирабо описывал Барнава: «У тебя холодные застывшие глаза, в тебе нет ничего святого», — и это навело меня на разгадку. Великий оратор русской революции! Премьер-министр, который угрожал «запереть свое сердце и ключи бросить в море»! Человек, который отказался санкционировать депортацию Ники и царской семьи в Англию и настоял на их отправке в Сибирь. Я подозвал официанта.

— Я не ошибся? — спросил я его. — Вон тот господин, это Керенский?

— Прошу прощения, мсье, — был смущенный ответ, — но у нас общественное заведение. К сожалению, мы обязаны впускать каждого, у кого наберется денег на чашку кофе.

Он не мог понять моего истерического смеха. Мало кто из французов смог бы осознать пикантность той сцены. Нужно быть русским и прожить двадцать лет покушений и восстаний, чтобы оценить эту тонкую иронию судьбы. Савинков, Керенский и великий князь — все трое на террасе одного и того же третьесортного кафе в Париже, все трое в совершенно одинаковом положении, задыхающиеся от бессильной злобы, не знающие, позволят ли им остаться во Франции и наберется ли у них завтра денег на чашку кофе. Это было нечто совершенно новое, нечто ни разу не испытанное ни французскими изгнанниками 1790-х, ни несгибаемыми Стюартами. Ни один Робеспьер не сиживал с герцогом Орлеанским в его неоплаченном номере в вонючей грошовой гостинице в Филадельфии, и ни один Кромвель не скакал бок о бок с Карлом II по раскисшим полям Бургундии в поисках снеди и пяти фунтов взаймы.

3

Кафе и рестораны, метрдотели и официанты... Декорации непритязательны, а подбор действующих лиц в чем-то демократичен. Но русским беженцам 1919-го потребовалось еще несколько лет, чтобы достичь земли обетованной сомнительных титулов. Будучи в Европе, в климате, неблагоприятном для произрастания «личных друзей государя» и государыниных «наперсниц», им

приходилось якшаться с мещанами и питаться в вульгарных трактирах. Еще в первые дни на чужбине они познакомились с несколькими американцами, которые говорили приятно, разве что немного громко, и эта встреча навела их на мысль, что на Западе маловато ресторанов.

На всем протяжении великого русского пути, ведущего из Константинополя в Голливуд через Париж, Нью-Йорк и Чикаго, до сих пор можно найти несколько тотемных столбов той причудливой эмигрантской лихорадки начала двадцатых. Они мало смыслили в кулинарном искусстве, еще меньше в закупках и совсем ничего в обслуживании, и все же они становились рестораторами. Горькие пьяницы и добрые едоки, они жевали бутерброды с ветчиной на террасах парижских кафе и мечтали, как будут протирать свои тарелки и серебряные ведерки для шампанского. Как клиентам это было им уже не по карману, как владельцы ресторана они могли легко списать стоимость собственного чревоугодия на дебет-кредит. Отсутствие необходимого оборотного капитала их не смущало.

Есть что-то необыкновенно убедительное в аргументах человека, говорящего по-французски с русским акцентом; им хочется верить. Да, эти люди подозревали, что полиция союзников в Константинополе, французские домохозяева в Париже и церберы сухого закона в Нью-Йорке высосут из них всю кровь, но конечный результат их не заботил. Хотя бы какое-то время им хотелось еще пожить среди звона бокалов и стога цыган, пусть даже бокалы будут от «Вулворта», а цыгане из Бруклина.

Эксперимент вышел потрясающий. За исключением немногих профессиональных российских рестораторов, влившихся в ряды экспатриантов много позже, ни один из самобытных хлебосолов начала двадцатых не сумел продержаться за кассой больше шести месяцев. Генералы и полковники стали вновь прогуливаться по рю Рояль, заглядывая в приоткрытые двери Ларю, а знакомить Запад с котлетами по-киевски пришлось уже настоящим официантам и настоящим поварам.

Последующие тринадцать лет значительно изменили образ мыслей тех двух миллионов мечтателей, которые полагали, будто их злоключения закончились в тот самый момент, когда они ускользнули от разездов Красной милиции. Да, они по-прежнему говорят о возвращении и твердят о поезде, который держат в постоянной готовности для бегства Сталина, но уже распаковали чемоданы и обустроились. Подавляющее большинство их занялось черной работой. Кому-то удалось воспользоваться своими профессиональными навыками и дореволюционным опытом. Некоторые прославились как художники. Иные эксплуатировали свою внешность и титулы. Другие опустили и несут ответственность за ту полупрезрительную насмешку, с которой средний американец говорит о русских беженцах.

В общем и целом, они неплохо устроились — для народа, известного своей непредприимчивостью и неповоротливостью. Англичане или американцы едва ли достигли бы большего, если бы довелось им пройти через подобные лишения и невзгоды. Слыша жалобы своих знакомых с Уолл-стрита, чьи доходы снизила депрессия, я часто спрашивал себя, что бы они, их жены и дети сказали, если б им выдали всего одну перемену платья и предложили убираться, пока целы.

Смогли бы они найти себе место в чужой стране, выучить ее язык, вынести насмешки и унижения, начать новую жизнь? Вопрос немного нелепый, но никак иначе достижения русских беженцев не соизмерить.

К тому же положение нью-йоркского банкира, лишившегося своих капиталов и выброшенного на берег Родезии, было бы намного лучше, чем у его российского коллеги, эмигрировавшего в Америку, поскольку африканским аборигенам все-таки присуща определенная степень уважения ко всякому белому человеку.

4

Словно на радость марксистским историкам, не минутная прихоть или необдуманное решение, но побуждения глубинного свойства руководили беженцами при выборе постоянного местожительства. Как ни тяжело было получить визу и наскрести денег на переезд через Атлантику, все самозванцы так или иначе добивались до Соединенных Штатов.

Я не хочу сказать, что всякий русский, эмигрировавший в Соединенные Штаты, самозванец, но я убежден, что больше ни одна страна в мире не принимала столь впечатляющей дозы русских мошенников. Сначала меня удивляло, почему это Франция, с ее игорными курортами и неиссякаемым потоком доверчивых туристов, притягивает лучших представителей русской эмиграции, тогда как Америка, страна, которая всегда в огромных количествах производила и поставляла собственных проходимцев и жуликов, оказывалась предпочтительнее для авантюристов и самозванцев. Однако дальнейшие исследования помогли мне разрешить эту загадку.

Я понял, что, хотя французы весьма напоминают американцев своим обычаем бить лежачего, они делают это куда элегантнее. В девяноста девяти случаях из ста образованный русский, просящий места во Франции, поощряется даже меньше, нежели в Америке, но ему дают право ссылаться на свой послужной список и признают его профессиональный опыт. Преподавателя международного права Санкт-Петербургского университета могут и отвергнуть в Сорбонне, но его имя известно французским коллегам, его книги читают и его четко отличают от необразованного одесского иммигранта, который начинал мойщиком окон и, развернувшись, приобрел многоквартирный дом. Не то чтобы французы не боготворили денег и не боялись бедности. Но дело в том, что в то время как средний француз в своем мнении о русских отталкивается от воспоминаний о людях, виденных им до войны, представления среднего американца обо всем русском берут начало либо в уличной сцене в Нижнем Ист-Сайде, либо в исполнении «Chauve Souris».

Когда француз сидит в Париже в русском ресторане, он улыбается улыбкой знатока. Он понимает, что в отличие от танца апашей и «La vie parisienne» скверные цыганские песни и крепыши швейцары, разодетые под кавказских горцев, появились единственно, чтобы убажить американские вкусы и никоим образом не представляют Россию — ни былую, ни нынешнюю, ни будущую. Но когда американец заваливается в русский ночной клуб в Чикаго, он неизменно пытается получить нечто, чего за потраченные деньги ему совсем не полагается. Он тут же спрашивает, правда ли, что обслуживающая его официантка

настоящая «принцесса», и правда ли, что дюжий детина, открывший дверь его такси, настоящий «генерал». Если ответ не будет утвердительным, он останется уверен, что у него обманом выманили три доллара. Если бы ему сказали, что эта девушка — полноценная, совершенно настоящая официантка и что швейцар работал раньше швейцаром в московском ресторане до того самого дня в августе четырнадцатого, когда его сделали солдатом, одним из пятнадцати миллионов русских солдат, и что, если не считать американских цыган, у которых профессий вовсе не бывает, все работающие в этом ночном клубе были заняты в ресторанном деле уже ко времени сражения в Манильском заливе, если бы нашему американцу сказали всю эту неприкрытую правду, можно не сомневаться, что он удалился бы в гневе и больше никогда не вернулся.

К счастью для всех сопричастных, не только ответ неизменно дается утвердительный, но и особого красноречия не требуется, чтобы убедить «генерала» продать свой серебряный кинжал, «подарок покойного царя». Бедняга будет рад-радешенек расстаться с проклятой вещицей, как из-за того, что побаивается ее, ни разу до приезда в Америку не держав в руках кинжала, так и из-за того, что его мутит уже от повторения одной и той же лжи по сто раз еженощно. Весьма поучительно будет отметить, что ни один роскошный русский ресторан никогда не имел в Америке успеха, если не жаловал официанткам титулов и не одевал артистов в нелепые наряды.

Среди тех, кто потерпел неудачу унизительную и непоправимую, было заведение, открытое знаменитым петербургским шеф-поваром, повсеместно признаваемым в Европе соперником Эскофье. Его блюда были превосходны, обслуживание изысканно, но его работники имели глупость признавать свое скромное происхождение и отрицать, что они когда-либо видели царя на расстоянии меньше пяти миль. Тщетно предупреждал я его, что никому не дано права на такую роскошь в стране, где даже бродвейские актеры уверяют публику в своей «близкой дружбе» с последней царицей. Он ограничил общение с клиентами советами в выборе соусов и холодных закусок. Протянул шесть недель. А ведь в свои молодые дни он ведал кухней Царскосельского дворца.

5

В скором времени — а сортировка беженцев заняла первые десять лет их изгнания — каждая страна получила ту их разновидность, что более всего отвечала местным требованиям.

Южная Америка привлекала тех, кто любил земледелие, и тех, кому непременно нужно было служить в гвардии, будь то гвардия его императорского величества или охрана какого-нибудь неутомимого претендента на президентство.

Бывшие дипломаты и бывшие банкиры довольно органично вписались в то, что осталось от эдвардианской Англии; их шокирует видеть черных вперемежку с белыми на вечеринках в салонах Мейфер, но тот факт, что клуб «Карлтон» стоит на прежнем месте и что кривлянье Монтегю Нормана так же глупо, как и всегда, помогает им переварить присутствие Рамсея Макдональда на Даунинг-стрит и господство Ноэла Кауарда на Пикадилли. Солидный комфорт жизни в

Британии исцелил их от русской истеричности. Как это все-таки успокаивает, когда открываешь за завтраком утренние газеты и понимаешь, что Лондон всегда останется все тем же ворчливым, угловатым Лондоном, где каждый политик в классической чемберленовской манере предрекает закат империи; где, как в былые дни, лорд Ротермир с пеной у рта поднимает невообразимый шум на страницах своей «Дейли Мейл»; где Бернард Шоу по-прежнему показывает язык далекой Америке; где в разделе частных объявлений почтенной «Таймс» Ричарды клянутся «все простить», а Джулии призывают «начать все сначала». Настолько безупречно и поразительно обританились в Лондоне русские, что, разговаривая с ними, трудно поверить, что на другом берегу Ла-Манша, меньше чем в трех часах лету, можно насчитать сотни тысяч их соотечественников, по-прежнему размышляющих на такие темы, как «истинное лицо» революции или право правительства убивать.

Русскому самозванцу, как правило, приходится в Англии туго. Редакторы разделов светской хроники имеют возмутительную привычку сверяться с «Готским альманахом»; старейшие члены солидных клубов способны даже после десятого «скотча» с содовой назвать имя младшего сына третьего из двоюродных братьев того русского князя, что жил в семидесятых на Керзон-стрит; и наконец, многие и многие британцы до войны часто наведывались в Россию, и принимали их не только в придорожных кабаках. Еще ни один англичанин не обратился ко мне с просьбой подтвердить подлинность того или иного «князя» или «графа». В Англии все, включая газетчиков, понимали, что даже законные носители этих русских титулов никогда не обладали монаршим достоинством и не имели никаких связей с царской фамилией, но были лишь потомками обывателей, призванных некогда на государеву службу. Надо самому желать быть обманутым, чтобы не отличить аффектированного самозванца от человека, воспитанного в среде с чувством определенного достоинства. Вот почему, едва оказавшись в изгнании, я поставил себе за правило никогда не отвечать на запросы касательно подлинности титулов. Я по сей день получаю их сотнями. Без единого исключения все они исходят от людей, которые сами все отлично знают.

— Вы должны сказать мне, — обратилась ко мне американская дама, которая всю жизнь курсировала между Вандомом и входом в «Ритц» со стороны Камбон, — действительно ли князь *** — настоящий князь.

— Я не скажу вам ничего, — ответил я. — Я не справочное бюро. Почему бы вашему мужу не натравить на него своих сыщиков? В конце концов, князь — это не южноамериканский заем. Его не придется продавать вдовам и сиротам.

— Но вы не понимаете, — воскликнула дама, — и моему мужу, и мне самой он нравится, и моя дочь...

— Хорошо, чего вам еще нужно?

— Но князь ли он?

— А те акции южноамериканского займа, что выпустил ваш муж, еще дают дивиденды?

— Не вижу никакой связи.

— А я вижу. Всякий, кто знает так много о том, что случится в Южной Америке в ближайшие девяносто девять лет, обязан что-нибудь знать о русских князьях.

— А что бы вы подумали, — парировала она с кривой усмешкой, — если бы один из ваших сыновей собирался жениться на американской девушке и другой великий князь отказался бы поручиться за законность его титула?

— Мне тут беспокоиться не о чем. Слава богу, все мои шестеро сыновей женились на русских беженках без гроша за душой. Им нет нужды выслушивать околесицу о несчастной наследнице, которая любила добропорядочного американского юношу, но вышла за порочного титулованного чужестранца.

— Вы озлоблены.

— Ничуть. Просто я верю в закон спроса и предложения. Вы все время охотились за принцами и графами. Что ж, теперь они у вас есть, целые тысячи. Так чего вам еще нужно?

6

Среди многочисленных блестящих рассказов, написанных покойным Жюлем Леконтом, один нравится мне особенно. Будь я российским министром просвещения, я велел бы напечатать его на первых страницах букварей. В нем рассказывается о проститутке, которая всю ночь слонялась взад-вперед по Большим Бульварам, тщетно ища клиента. Наконец, незадолго до рассвета, она наткнулась на господина, который ей улыбнулся и, казалось, хотел вступить в переговоры.

— Плохо мужчине одному, — заметила она сочувственно и уже было взяла его под ручку, когда он заговорил. Она остановилась и какое-то мгновение слушала. И тут задохнулась. — Только мне так чертовски не везет, что из всех людей в мире и в такую рань мне попадается русский!

Господин изумился.

— А чем вам не нравятся русские, — спросил он, — мы плохо платим?

— В нашей жизни кроме денег есть еще кое-что, дружок, — отвечала проститутка. — Я лучше пойду с французом, который меня обжулит, или с американцем, который меня отметелит, чем с русским. Вали откуда пришел!

— Но почему? Ты должна объяснить мне причину.

— Почему? И у тебя хватает духу меня спрашивать? Неужто сам не знаешь? Ладно, я тебе объясню. Вы сначала берете все, что может дать женщина, а потом рвете на себе волосы и беситесь, и орете, и рассказываете всю подноготную о своей красавице невесте Сонечке, что она есть чистейшее создание на всем белом свете и что ее надо спасти от губительного союза с мужчиной, который делит постель с французской проституткой. Все, пока! Привет мсье Достоевскому!

О русских изгнанниках я знаю все, что только возможно. Я делил с ними хлеб, и их страсти мне не чужды. Я наблюдал их героические попытки построить новую жизнь и не скрываю их отвратительных изъянов. Я признаю, что на каждого русского самозванца, женившегося на американских миллионах, приходится сотни погибших во французском Иностранном Легионе и тысячи голодавших в Турции; что на каждого дешевого водевильного актера, который

выдает себя на Бродвее за «бывшего солиста его императорского величества», приходится множество безусловно одаренных артистов, которые водят в Париже такси или работают на сталеплавильном заводе в Пенсильвании; что на каждого авантюриста, который вышибает у слушателей слезу рассказами о своих «утраченных миллионах», приходится десятки бывших миллионеров, которые ни разу не помянули своих оставшихся в России железных дорог и фабрик. Но при всем этом есть еще нечто, о чем ни я, ни История не забудем и не сможем забыть: два миллиона русских беженцев — это те самые люди, которые сначала взяли от империи все, что она могла дать — защиту от черни, право эксплуатировать крестьян, недоплачивать рабочим и обманывать вкладчиков, жизнь, полную неги и очарования. А потом, когда от империи стало уж нечего брать, они сели на краю кровати и начали рыдать и каяться, что изменили мечте своей юности, прекрасной деве, называемой Революция.

Порой мне кажется, что царю выпала удача закончить свои дни так, как он их закончил. Что бы он чувствовал, доведись ему жить в Париже или Нью-Йорке и слышать о «славе и блеске империи», расписываемых для ротозеев людьми, что покинули его, когда он более всего в них нуждался? За всю жизнь не было у него ни единого друга среди своих подданных. Теперь же в одном лишь Голливуде он бы враз обнаружил их тысячи. Будь у него хоть когда-нибудь в распоряжении столько «адъютантов» и «гвардейцев», сколько можно за одну неделю повстречать на коктейлях в Нью-Йорке, он был бы поныне жив и восседал бы на троне предков.

Глава V

Случай в Биаррице

1

Как-то утром — это был все тот же январь 1919-го, и я все так же сидел в отеле «Ритц» в Париже и ждал у моря погоды, — едва войдя в ресторан, я попал под перекрестный огонь полулюбопытных-полувзволнованных взглядов. Разговоры за столиками оборвались, и все головы повернулись в мою сторону. Я с сомнением оглядел себя в зеркале, ожидая обнаружить оторванный рукав или, на худой конец, нехватку пуговицы. Лишь грубое нарушение этикета подобного рода могло вызвать такой переполох, поскольку к тому времени я давно перестал быть в «Ритце» новинкой.

Несколько успокоившись, я сел за столик, заказал завтрак и принялся просматривать почту. Возможно, подумал я, пришло какое-нибудь письмо с поразительными новостями, которые уже известны всему Парижу. И тут я ошибался. Я обнаружил лишь несколько счетов, просьбы об автографах и приглашение на званый ужин, который давала этим вечером мой старинный друг герцогиня де Брольи. И всё. Не было даже послания с угрозами от какого-нибудь полоумного коммуниста. Заметив, что на меня еще glareют, я пожал плечами и закрылся утренней газетой.

Мое внимание тут же привлекла плохо пропечатанная групповая фотография на первой полосе. Лиц я не мог разобрать, но все мужчины были в мундирах русской лейб-гвардии. Я поискал глазами заголовки и только тут увидел надпись, занимавшую две колонки:

**РАССТРЕЛЯНЫ ЧЕТВЕРО РУССКИХ
ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ**

ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ НИКОЛАЙ, ГЕОРГИЙ, ПАВЕЛ И ДМИТРИЙ, ДВА БРАТА И ДВА КУЗЕНА НАХОДЯЩЕГОСЯ СЕЙЧАС В ПАРИЖЕ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА, КАЗНЕНЫ ВЧЕРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОВЕТСКИМИ ВЛАСТЯМИ.

Больше ничего. Сама заметка занимала лишь несколько строчек, в ней не сообщалось никаких подробностей, кроме той, что «о месте захоронения четырех великих князей советское правительство умалчивает».

Я помню, как сложил газету и пытался засунуть ее в боковой карман — задача не из легких, если учитывать странный размер французских газет. Не сказать, чтобы я был ошеломлен. Я знал, что рано или поздно это должно случиться. Я ждал этого неделями и месяцами, но теперь, когда это действительно произошло, мозг мой вдруг отказался работать, я никак не мог понять непостижимых причин, крившихся за уничтожением четырех людей, которые всегда держались в стороне от политической сумятицы в России и не могли представлять ровным счетом никакой опасности для победоносного шествия революции.

На минуту я вспомнил всех четверых и избранный каждым из них образ жизни. Николай — мечтатель, поэт, историк, республиканец до мозга костей, разочарованный холостяк, боготворящий память о своей единственной любви — королеве одной скандинавской страны. Георгий — молчун и скромник, мечтавший, чтобы его оставили в покое вместе с картинами и детьми. Дмитрий — орел, страстный кавалерист, ярый и убежденный женоненавистник, изучающий Библию и предрекающий Армагеддон. Павел — добряк и красавец, бесконечно счастливый своим морганатическим браком и ничуть не заботящийся о власти и монархии. Полная бессмысленность этого кровопролития должна была быть очевидна даже самым безжалостным из коммунистов.

Я не знал, что теперь делать и есть ли способ разузнать какие-либо подробности. Обернулся и увидел метрдотеля. Он стоял у меня за спиной с подносом в руках и, вероятно, наблюдал за моей реакцией. Наши глаза встретились. Я вспомнил, что оба мои брата его особенно жаловали.

— Мсье, несомненно, предпочтет позавтракать у себя, — предположил он, понизив голос, и это вернуло мне самообладание. Я почувствовал напряженное ожидание зрителей и понял, что все жаждут эффектного театрального жеста.

— Вы очень добры, Оливье, — сказал я, возможно, чуть более сухо, чем следовало, — но мне вполне удобно и здесь.

Итак, я остался за столиком и медленно съел весь завтрак. Все взгляды в ресторане были прикованы ко мне, словно вопрошая, как может человек намазывать маслом тост и класть сахар в кофе, когда всего двадцать четыре часа назад расстреляли четверых его родных.

В тот вечер я явился на званый ужин, устроенный герцогиней де Броли, и выдержал куда более мощную атаку со стороны оскорбленных условностей.

— Как, вы здесь? — шептали люди, привыкшие измерять глубину горя по унылости физиономии и ширине траурной ленты на рукаве.

— Да, а что? — отвечал я вопросом на вопрос, не вдаваясь в объяснения.

Да и не было смысла объяснять им, что никакая расстрельная команда не в силах уничтожить искру бессмертной энергии и неустанного стремления духа великого князя Николая Михайловича. Вряд ли вообще имеют смысл препирательства между Верой и Предрассудками. Своим убеждениям я не изменил. Злые языки говорили, что я «пил шампанское и танцевал», пока моих убиенных братьев хоронили в общей могиле. Я считал говоривших достойными жалости. Они называли меня дикарем.

2

Даже сейчас, когда от этого поворотного пункта в моей жизни меня отделяют тринадцать лет и несколько новых могил, я не в состоянии объяснить, почему казнь двух моих старших братьев вызвала во мне такое неодолимое желание жить и наверстать все то, чего меня лишили сперва необходимость с молодых ногтей служить империи, а потом два яростных десятилетия войн и революций. Подыскивая прецеденты в истории Французской революции — неизменное занятие любого изгнанника, — я натолкнулся на знаменитый ответ аббата Сийеса, вдохновителя либеральных доктрин 1789 года, вошедшего позднее в правительство при Людовике XVIII, который все вопросы о том, что он делал четыре года красного террора, парировал одной и той же колкой фразой: «Господа, я жил!».

Легче «выжить», чем «жить», и раз уж я не стал учебной мишенью для красноармейцев, то намеревался теперь найти кратчайший путь к той полнокровной и беззаботной жизни, о которой знал до сих пор лишь по книгам да понаслышке. Несмотря на прожитые пятьдесят три года и воспоминания, делавшие меня вдвое старше, я отказывался смириться с невозможностью снова стать двадцатилетним. Будь что будет, я хотел воспользоваться своим правом на то, что упустил, пока обедал во дворцах, сражался со слабоумными сановниками и впадал в спячку на заседаниях Государственного совета. Даже боязнь выставить себя посмешищем не могла разрушить моей мечты — снова, как тридцать лет назад, стать странствующим моряком, верящим, что рано или поздно ему откроется Земля Гармонии.

Вполне естественно, я искал поддержки, но многочисленные советы моих французских друзей только подрезали мне крылья. Они проповедовали благоразумие, расхваливали принцип «синицы в руках» и предлагали «недорогую квартирку», в то время как мне сама идея опуститься до жалкого и однообразного существования «бывшего» претила, как слишком замысловатая форма самоубийства. Париж был мил своей удивительной способностью облагораживать праздность и вымогать звонкую монету за поддельные удовольствия, но Париж символизировал Прошлое. Он напоминал кладбище — кладбище загубленных репутаций и несостоятельных доктрин. Чем дольше я

сидел без дела в «Ритце», чем дольше слушал невнятное бормотание, доносящееся из Версаля, тем меньше мне хотелось оставаться в Европе.

Где-то, в двух тысячах верст отсюда, еще была Россия. Мудрые государственные мужи полагали, что «скоро всё уладится», имея в виду, что великие князья, банкиры и генералы вернутся в С.-Петербург и займут прежние места во дворцах, на фондовой бирже и в гвардейских казармах. Словом «уладится», пожалуй, порядком злоупотребляли, но я никогда не принимал участия в подобных спорах по той простой причине, что Россия мне не нужна была и даром. С ней — монархической, коммунистической, какой угодно — было покончено, и я молил Бога, чтобы мне никогда уже более не довелось увидеть С.-Петербург.

Это ограничило мой выбор двумя возможностями: уехать в Соединенные Штаты и принять покровительство моих американских друзей или отправиться на один из райских островов Тихого океана, где я впервые побывал в конце 1880-х и где даже большая семья может прожить безбедно на сущие гроши. Будь я один, я сел бы на первый же корабль рейсом в Нью-Йорк. Как человек женатый и отец семерых детей, я больше склонялся к островам Фиджи.

Тогда я написал жене и сыновьям пространное письмо, где расписал им томных туземцев, благоуханные цветы и пылающие закаты Великого океана и заклинал уехать в края, где человеку даруется редчайший шанс собрать воедино жизнь, изрезанную в мелкие клочки ножницами истории. Я проявил столько красноречия, что не сомневался в успехе, и начал уже наводить справки об островах Фиджи и готовиться к отъезду. Потом пришел ответ. В нем мои домашние откровенно выражали опасение за мое душевное здоровье. Все мои мечты и планы они окрестили чистым безумием. «С какой стати, — спрашивали они, — должны мы забиться в этот Богом забытый уголок, если законная власть в России может восстановиться в ближайшие шесть месяцев?».

Меня ужаснула их близорукость. Нескончаемые рассуждения на безнадежную тему «возвращения» говорят не столько о наличии патриотической веры, сколько о неумном упорстве дятла. В целом письмо, написанное моей семьей, звучало на редкость мешчански, что, к сожалению, свойственно подавляющему большинству монарших писем и идей.

Второй раз в жизни я почувствовал свой брак помехой и обузой. Двенадцать лет назад, летом в Биаррице я встретил женщину, ради которой охотно бросил бы семью и стал фермером в Австралии, не послушай она проповедей своего духовника. В ней очаровательно соединялись современная спортивность и чисто женское обаяние; она обладала бы всеми качествами идеальной спутницы, будь в ней хоть капля логики и воображения. Мы вместе съездили в Венецию. Мы встретились в Париже. Мы часто бывали в Швейцарии. Ее никогда не приходилось уговаривать. Она встречалась со мной, потому что понимала, что настоящая любовь всегда перевесит некоторую неупорядоченность отношений. В свое время я затронул вопрос о нашем будущем и предложил ей открытую и постоянную связь. Она отказала. Решительно и бесповоротно. Было очевидно, что ее духовник, закрывая глаза на наши редкие поездки, категорически возражал бы против открытой связи с женатым человеком. Моя подруга объяснила, что хочет свадьбы с венчанием.

Она знала, что для этого мне придется просить государя о разрешении развестись с его сестрой — вещь в истории императорской семьи неслыханная, — но это не изменило ее решения. Она сказала, что всему есть предел. Это меня озадачило, поскольку в моем издании Священного Писания не делалось четкого разграничения между связью с женатым мужчиной и браком с разведенным. Я умолял. Я спорил. В конце концов я поговорил со своей женой, имевшей сходную привычку слушаться духовника. Все рухнуло разом. Я перестал быть верным мужем и в то же время упустил величайшую возможность в своей жизни. Ксения решила, что я ее больше не люблю, а моя идеальная спутница пошла своей дорогой. Обе они совершили большую ошибку, обе пали жертвами неверного истолкования христианства.

Я никогда не переставал любить Ксению, хотя мои чувства к ней отличались от чувств, которые я испытывал к женщине из Биаррица. Одна была матерью моих детей, излучала надежность и воплощала собой незыблемый порядок вещей. Она отвечала чертам моего характера, воспитанным годами военной службы, наставлениями в долге и ответственности, церемониями двора, торжественными службами в соборах. Другая затрагивала во мне авантюрную жилку, возвращала мне мимолетную прелесть юности. С ней я снова был самым собой — мальчиком, который боялся стать великим князем.

Все это случилось в 1907-м. Кто-то может подумать, что после двенадцати лет, прошедших под громовые раскаты куда большей трагедии, образ моей любви из Биаррица кажется мне бледным и ничтожным, но на самом деле ничто, даже гибель России, не значило для меня так много, как потеря этой женщины. Ее улыбка, ее гибкая фигура, то, как она, опоздав, входила в комнату, искоса поглядывая на меня, словно забавляясь искусностью и разнообразием своих оправданий, как устраивалась на стуле и зажигала цветную сигаретку, и тот полузабытый день, о котором я никогда не пожалею, день нашей первой встречи — я пронес эти воспоминания через годы войны, я лелеял их в мрачные месяцы своего крымского заточения как то, благодаря чему мог оглянуться на прошлое с признательностью и нежностью.

Мне было бы нетрудно через общих друзей в Париже выяснить, где она живет, но новая встреча с ней могла разрушить мои иллюзии. Я боялся, что теперь выгляжу еще старше своих лет; что же до нее, то я хотел сохранить ее в памяти такой, какой увидел впервые: во всем блеске и очаровании юности, загорелая, она стояла у восемнадцатой лунки на площадке для гольфа в Биаррице и поправляла непослушные каштановые волосы.

Хотя я и не пытался ее найти, я все еще любил ее — отстраненной любовью, не причиняющей страданий, но бесконечно усугубляющей желание вновь посетить места, где был счастлив. Мне больше нечего было делать в Париже, и, едва получив известие о том, что моя семья благополучно села на корабль его величества «Мальборо», я тут же уехал в Биарриц, решив про себя, что останусь там столько, сколько позволят мои быстро тающие средства.

Толпы англичан и американцев съехались в Биарриц на Пасху. Сидя за своим привычным столиком на террасе бара «Мирмон» — тем же столиком, который

еще до войны я занимал всякий раз, как приезжал в Биарриц, — я вел неослабное наблюдение, ежеминутно боясь и надеясь увидеть свою идеальную спутницу 1907-го.

За тридцать лет, что я знал Биарриц, ничто в нем не изменилось. Другими стали моды, а губная помада приобрела репутацию изделия вполне респектабельного, но правила игры остались все те же — в 1919-м, как и 1889-м, между заинтересованными сторонами существовал негласный уговор: все, что случится с ними и между ними в Биаррице, по возвращении в Париж должно быть забыто.

«Ah, la Saison Russe! On n'a vu rien depuis...» (Ах, русский сезон! С тех пор здесь не на что и взглянуть...) — вздыхали седые старожилы, вспоминая времена таких щедрых кутил и удалцов, как мой покойный кузен великий князь Алексей. Точно так же, как в дни Алексея, вздыхали они о временах императрицы Евгении: и в этом сохранил восхитительный баскский курорт свои канонические черты столицы курортного романа, управляемой на современный фасон, но вдохновленной тенями героев-любовников дней минувших.

Я каждый день играл в гольф и иногда, если вставал достаточно рано и появлялся на площадке до того, как туда съезжались банкиры и брокеры на «Испано-Суизах» с капотами цвета платины, от которых так и несло 1919 годом, я смотрел на неменяющуюся гладь безмятежного океана, шел к восемнадцатой лунке, находившейся прямо напротив моей бывшей виллы, и мне чудилось, что я снова в 1907-м. Дойдя до лунки, я останавливался и ждал. Я не смел спросить себя, чего я жду, потому что тогда пришлось бы признать, что в глубине моей души таится детская, безумно детская надежда, что вот она возникнет из ниоткуда на том самом месте, где мы впервые встретились, и подойдет ко мне.

Прошли две недели. Я спокойно и терпеливо ждал. Дух блаженной лени, пропитывающий воздух Страны Басков, мало-помалу совершил обычное чудо: принес гармонию в сердце, давно привыкшее биться не в такт. Я много гулял, мало пил и проводил долгие часы за чтением Библии. Откровение Иоанна Богослова, которым я зачитывался в годы войны, здесь, под небом Биаррица, оставляло меня равнодушным, и я обратился к Песне Песней. Отрадно было думать, что, и лишившись всех земных богатств, я все же мог позволить себе роскошь потягивать красное вино и читать строки, обессмертившие прелесть Суламиты:

«Оглянись, оглянись, Суламита; оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя...».

Тут, на первом стихе седьмой главы, мое чтение прекращалось. Это был как бы условный знак — я откладывал Писание и погружался в мечты. Я представлял себя фермером в Австралии, за тысячи миль от всего, что творится в России, блаженствующим со своей возлюбленной. В мыслях я видел свою вторую семью, созданную так, как хотел я, а не по избитому шаблону, установленному моим сумасшедшим прадедом императором Павлом для всех грядущих поколений Романовых! Воспитанные в другой атмосфере, вероятно, они привнесли бы в царствующий дом, страдающий от всевозможных наследственных недугов, свежую кровь и свежие идеи...

Я бредил и бредил, до мельчайших деталей представляя себе жизненный путь своей австралийской семьи. Я ничего не упустил. У меня родились бы три мальчика и девочка. Они никогда не увидели бы моей родины. Я желал уберечь их от той нескончаемой трагедии, которой была, есть и останется Россия...

Должно быть, чары этих ребяческих мечтаний всецело завладели мной, потому что в один прекрасный день я вдруг вскочил, оделся и поспешил на площадку для гольфа — во второй раз за этот день.

Приближалось время ужина, игроки торопились обратно в город, и на какое-то время я остался один у первой лунки. Послышался рев мощного мотора. Я обернулся и увидел, что в сотне метров от меня остановился синий «Роллс-Ройс». Из него вышла высокая женщина в белом, водитель подал ей сумку для гольфа. В следующее мгновение я бежал со всех ног. Я был уверен, что это она. У кого еще могли быть эти широкие плечи и удивительно узкие лодыжки? В лицо мне бил горячий ветер, в ушах звенели слова: «Оглянись, оглянись, Суламита». Казалось, и за вечность не пробегу я разделяющей нас сотни метров. Она размахнулась и ударила по мячу, не замечая бегущего к ней мужчины без шляпы, и когда с губ моих готово было сорваться ее имя, она обернулась, чтобы поправить желто-красный шарфик. Это не она.

Та же фигура, тот же рост, те же непослушные каштановые волосы, тот же овал лица и бледность, но этим сходство и ограничивалось. В голубых глазах этой женщины читались холод и раздражение; зеленые глаза той, другой, всегда искрились лукавой смешинкой. На вид ей было лет двадцать восемь — тридцать, но по тому, как она нахмурилась и с преувеличенным равнодушием смерила меня взглядом, можно было предположить, что она либо не столь бесчувственна, либо англичанка.

Я поклонился, не получил ответа и отошел в сторону. Она продолжала играть, и я прошел за ней девять лунок, держась на приличном расстоянии. Мое любопытство все возрастало: эта тонкая высокая женщина с широкими плечами и узкими лодыжками так живо напоминала о моей идеальной спутнице, что, будь такая необходимость, я шел бы за ней до тридцать шестой лунки. Но она прошла только девять и вернулась в машину, так и не удостоив меня еще одним взглядом.

— Ну все, хватит, — сказал я вслух и солгал, потому что знал, что она произвела на меня сильное впечатление, и я сделаю все, чтобы увидеть ее снова.

Сразу же после ужина я пошел в казино, якобы перекинуться парой слов с друзьями-американцами, а на самом деле в надежде отыскать леди из синего «Роллс-Ройса».

Ее там не было, и я сначала расстроился, а потом разозлился на себя — два безошибочных признака зарождающегося чувства. К полуночи я признал горькую правду и свел разговор за столом на «новые лица», появившиеся в Биаррице после войны.

— Не знаете ли вы часом, — спросил я своих приятелей, — как зовут ту прелестную молодую даму, что приезжает играть в гольф перед ужином на синем «Роллс-Ройсе» и играет одна?

Нет, они не знали, но полагали, что это нетрудно выяснить, если подстеречь ее в баре «Мирмон» и спросить метрдотеля.

— Но так придется ждать до завтра! — мое наивное восклицание вызвало громовой хохот и град шуток.

— Многие мудрецы, — сказал один ворчливый господин, — становились круглыми дураками только потому, что выходили на поле перед ужином... В такую игру, как гольф, безопаснее играть по утрам.

Он явно не знал, что в 1907-м я играл только утром.

4

На следующий день я крепко обосновался в «Мирмоне» за столиком напротив входа, откуда мог видеть всех входящих. Я так боялся пропустить свою таинственную даму, что вчерашних друзей встретил с прохладцей. Я заранее знал, что они предложат мне подсесть к ним, но боялся оставить наблюдательный пост. Они не обиделись и прислали записку: «Терпение, терпение и еще раз терпение...». И вдруг перед «Мирмоном» остановился уже знакомый «Роллс-Ройс». Я привстал, чтобы лучше видеть. К ней кинулся метрдотель, но она лишь отмахнулась от него.

— Я ищу знакомых, — сказала она нарочито резким тоном, который усвоило себе новое поколение англичанок.

Не успел я поздравить себя с верной догадкой, как она вошла и направилась прямо к столику, где сидели мои друзья. Было неудобно подсаживаться к ним после того, как я отклонил их приглашение, но я не преминул это сделать. Я готов был нарушить все правила этикета и приличия, лишь бы познакомиться с этой женщиной. И к тому же, успокоил я свою совесть, зачем они соврали вчера вечером, что не знают ее?

Представившись, как подобает, — ее имя ничего мне не сказало, обычное английское имя, я сел рядом с ней и для начала заметил, что накануне мы чуть не вплотную столкнулись на площадке для гольфа. «Правда?» — сказала она холодно, и это было все, что она произнесла в нашу первую встречу. Спустя несколько минут она поднялась и ушла.

Мне не пришлось много спрашивать. Это и не требуется, если пьешь с американцами в Биаррице. После третьего мартини меня завалили сведениями касательно немногословной леди. Ей было двадцать пять, она была разведена. Прочее составляли слухи, сплетни и банальности.

Настали мучительные дни. Библия была закрыта и душевный покой улетучился, я курсировал между площадкой для гольфа и «Мирмоном», тщетно высматривая синий «Роллс-Ройс». Наконец, не выдержав неизвестности, я решился объехать все отели. Я узнал, что она жила в «Палэ», но уехала в Париж пять дней назад — ровно через два часа после нашей встречи в «Мирмоне». Эту ночь я провел в поезде.

5

Мастера в искусстве обольщения говорят, что можно покорить практически любую женщину, дело лишь в упорстве. Я был упорен. Возможно, даже докучлив. Но было бы большим преувеличением сказать, что я и вправду ее покорил. Никто в пятьдесят три не покорял и не покорит двадцатипятилетних. В 1919-м я пренебрег этой самоочевидной истиной. Начни я жизнь сначала, я бы с

радостью проигнорировал ее снова. Пока на земле остается хоть один мужчина, он не перестанет рисковать тем, что у него есть, в отчаянных попытках обрести то, чего ему не суждено.

У меня была Ксения. Это был непреложный факт, как в 1907-м, так и в 1919-м. В 1907-м я хотел бросить ее, потому что желал быть двадцатилетним мичманом, а не сорокаоднолетним адмиралом в отставке; в 1919-м, потому что встретил женщину, похожую на ту, что отвергла меня двенадцать лет назад...

Оглядываясь на крушение своей последней любви — на этот раз самой последней — я ловлю себя на том, что никогда не различал для себя эти три лица. Каждое было драгоценным. Каждое было притягательным. Ксения, идеальная спутница из Биаррица, голубоглазая англичанка — мне были нужны все три, и любовь к ним внушили мне три совершенно разные, но одинаково грозные силы. Семейные обязанности. Воспоминания. Погоня за молодостью.

Каждый раз, когда передо мной стояла необходимость сделать решающий выбор, я останавливался в нерешительности — не из-за трусости, а просто потому, что не мог выбрать.

В общих чертах печальная история 1919-го повторяла роман 1907-го, с тем, разумеется, отличием, что теперь мне одновременно помогало и мешало прибавленное к титулу слово «бывший». Утрату богатств я возместил обретением свободы. С одной стороны, я вышел из-под охраны тайной полиции, с другой — я уже не мог окружить роскошью женщину, которую любил.

Я ухаживал за ней три года и исколесил всю Европу. Привыкнув проводить время в разъездах между Парижем, Довилем, Лидо, Биаррицем и Французской Ривьерой, она, разумеется, ожидала, что я последую за ней повсюду, и не имела ни малейшего желания изменять раз и навсегда заведенному порядку. Она сказала, что если моя любовь к ней под стать моей настойчивости, то кульминацией должен стать брак...

И вновь мне пришлось говорить с Ксенией. Я не хотел этого делать, мне казалось бесчеловечным усугублять трагедию моей жены требованием развода, но другого выхода не было. Сдав без боя свое счастье в 1907-м, я был намерен бороться за него сейчас. Удручало то, что слишком неравной была бы борьба: ни разу со дня нашей свадьбы не позволила себе Ксения упрекнуть меня или повысить голос.

Объяснение наше было болезненным и бесполезным. Как я и ожидал, она приняла все совершенно спокойно. Ни слова упрека. Бровью не повела. Сам ее покойный брат не мог бы выказать большей кротости.

Я говорил. Она слушала. Все это время я не мог понять, что у нее на уме. Потом она улыбнулась улыбкой Ники и сказала, что ради моего счастья с радостью пожертвует всем, чем угодно, но прежде ей надо спросить у духовника. Что бы ни менялось под солнцем, ее представления о христианском долге оставались неизменны... И я не мог втолковать ей, как нелепо ее решение. Как несколько лет назад не мог убедить ее брата уберечь Россию от войны с Японией. Оба обладали странной особенностью характера, часто ошибочно принимаемой за слабость, но позволявшей им выдержать любые удары.

Стоит ли говорить, что духовник воспротивился. Это не был бы русский духовник, будь он хоть чуточку в ладах с жизнью.

Я сходил с ума. Я угрожал. Я хрипел в агонии. Все напрасно. Ксения была достойной сестрой своего брата, так что к будущей невесте я вернулся с дурными вестями.

— Я привыкла точно знать, куда иду, — сказала она твердо, и это был конец.

Она встала — мы сидели на террасе в «Мирмоне», — повязала свой желто-красный шарф и подала знак водителю.

Я остался один. Я один и сейчас. Мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, что и духовники бывают правы — по крайней мере, иногда.

Глава VI

Наши любящие кузены

1

1920-е вломились, словно толпа буйно помешанных.

Изгнанника кайзера обещали повесить к Рождеству; юного короля греческого до смерти закусала его ручная обезьянка.

Тело Неизвестного солдата перенесли величаво покоиться под Триумфальной аркой, а вдоль пути шествия торжественной процессии искалеченные просили милостыню.

Включили двадцать громоподобных сирен, дабы известить население Парижа о том, что человека по имени Жорж Карпентье только что послали в нокаут в далеком Нью-Джерси; а президента Франции, одетого в шелковую небесно-голубую пижаму, обнаружили на рассвете на рельсах.

Было написано сорок тысяч слов, объясняющих политическим деятелям Германии, что уплата шестидесяти четырех миллиардов долларов — это почетная привилегия, а перепись населения Берлина показала, что подавляющее большинство его детей о существовании сливочного масла знают лишь понаслышке.

1920-е шли дальше, мимо ночных клубов и очередей за хлебом.

Затаив дыхание, взирал я на это изумительное представление. Я ни за что не хотел пропустить его. Да, конечно, приход Новой Эры я встречал на обочине, в роли стороннего наблюдателя и в компании трех миллионов прочих российских беглецов, добравшихся кто пароходом, кто поездом, кто пешком, кто верхом на лошади, а кто и на верблюде; но даже и на миг не пожалел я, что не значусь в списке действующих лиц. Это освобождало меня от ответственности за успех представления. Давало возможность веселиться и свистеть. Поскольку наиболее знаменитые из исполнителей были по большей части моими родственниками или друзьями, мне разрешалось видеться с ними за сценой. По правде говоря, в двадцатые годы лучшие свои дни я провел, курсируя между Лондоном, Римом и Копенгагеном, где члены моей семьи пользовались гостеприимством наших венценосных кузенов.

Поначалу мы явно болезненно переносили присутствие друг друга. Слова наши были бессмысленны, молчание красноречиво. Нам, Романовым-

изгнанникам, мешал избыток застенчивости. Они, Виндзоры, Савойи и Глюксберги, пытались скрыть смущение за непроницаемой вуалью преувеличенной вежливости. В глубине души мы полагали, что рано или поздно они вольются в наши ряды. Они в глубине души считали, что виной всем нашим невзгодам — наша собственная глупость. Мы пытались предупредить их. Они молились Богу, чтобы наш недуг не оказался заразным. Непревзойденные эксперты по части революций, мы напускали на себя вид знатоков, наблюдая за демонстрацией безработных у королевского дворца, и эта наша «профессиональная привычка» едва ли действовала успокаивающе на его хозяев, которых мутило от России.

Внешне, однако, мы оставались столь же близки, как и раньше: называли друг друга семейными прозвищами, осведомлялись о здравии жен и вставляли в заключительную строку письма непременно «твой любящий кузен».

Со стороны казалось странным, что письмо из Бекингемского дворца, адресованное в скромную двухкомнатную квартирку в Париже, надо подписывать: «Твой любящий кузен Джордж, R.I.»^[16]. А один мой американский знакомый заключил, что мы «прямо как южане». Сравнение столь же остроумное, сколь неточное: помощь, оказываемая преуспевающим уроженцем Виргинии своему менее удачливому собрату из Алабамы, не порождает никаких неодобрительных отзывов среди соседей первого, в то время как наши одиннадцать «любящих кузенов» ни на миг не забывают о существовании оппозиционных партий в их многоуважаемых парламентах.

2

Одной моей племяннице, которой некая балканская монархия предложила для поездки в Париж личный поезд, в последний момент сказали, что ей придется искать иные средства передвижения, поскольку радикальные газеты вот-вот обвинят ее величество в молчаливом отказе от притязаний ее страны на одну бывшую российскую область.

Другой мой немолодой уже кузен, намеревавшийся пустить корни в Италии, к ужасу своему узнал, что его присутствие в этой стране может стать для двора причиной всевозможных осложнений. Народ готов был «простить» его за то, что он возглавлял «армии реакции», но тот факт, что его жена доводилась сестрой королеве итальянской, делал связь двух семейств слишком близкой, чтобы устроить политиков.

В довершение всего, словно чтобы еще более усложнить наше положение, очень быстро выяснилось: для того, чтобы остаться в странах-союзниках «персонами грата», мы должны воздержаться даже от переписки с нашими немецкими родственниками. Мне так не терпелось повидать племянницу, кронпринцессу Германскую, и любимого своего кузена, князя Макса Баденского, но нельзя было забывать и о сыновьях в Лондоне и Риме...

Со временем эти жестокие предрассудки отступили, и теперь я получаю от кронпринцессы множество писем, исполненных безграничного понимания и трогательного участия; однако князь Макс, к несчастью, умер, пока возобновление исконной дружбы с последним канцлером Германской империи еще считалось в высшей степени меня компрометирующим. По-видимому,

«непростительным преступлением» считалось то, что он остался столь же верен своей родине, сколь королевские фамилии Англии, Бельгии и Италии — своим. Кто бы мог подумать несколько лет назад, когда мы с ним тайком приударяли за юными американками на теннисных кортах Баден-Бадена, что настанет день, когда я не осмелюсь отправить моему бедному Максиму даже сочувственного послания!

Когда первые восторги по поводу нашего чудесного спасения поутихли и наши «любящие кузены» узнали все, что можно было узнать о конце Ники, а репортеры перестали преследовать нас в погоне за «горячим материалом», наступил момент, когда мы не могли более закрывать глаза на необходимость переустройства. Мы взялись за дело храбро, но неуклюже. Поскольку каждой европейской державе выделялась своя квота приема оставшихся в живых Романовых, мы попробовали последовать по пути наименьшего сопротивления. Как мы осознали впоследствии, это была серьезная ошибка, но в то время ничего лучшего мы не придумали.

Великий князь Борис был в прежние дни на дружеской ноге с королем испанским, и он отправился в Мадрид. Его брат Андрей считал себя необычайно популярным на Французской Ривьере, значит — на Ривьере. Их старший брат Кирилл последовал за женой в Румынию, страну ее сестры, нынешней вдовствующей королевы Марии.

Мое же семейство, хотя и званное всем составом в Лондон, обнаружило неожиданное здравомыслие и разделилось на две партии: теща, жена и младшие дети воспользовались гостеприимством моей тетушки, вдовствующей королевы Александры, в то время как дочь со своим мужем князем Юсуповым и двое моих младших сыновей устроились в Риме.

Взяв эти перемещения за образец, великой княгине Марии и ее брату Дмитрию следовало бы направиться в Грецию, страну их покойной матушки, а великим князьям Николаю и Петру (женатым на сестрах королевы Итальянской, как и она, черногорках) стоило оказать предпочтение Италии либо Черногории. К несчастью, с Александром, королем Греческим, расправилась крошечная обезьянка; союзники практически так же поступили с Черногорией; что же до Италии, эта страна мучилась конвульсиями предмуссолиниевского периода. Вот и получилось, что Марии и Дмитрию пришлось делить свое время между Парижем и Лондоном, а Николай с Петром удалились в тихий домик на Французской Ривьере.

Последующие годы стали свидетелями все новых и новых переездов, но таков был «расклад» Романовых в двадцатые годы.

3

Стоит ли говорить, что ни у одного из нас не было заслуживающей упоминания суммы. Мой зять князь Юсупов слыл меж нас богачом, сумев вывезти из России двух из своих многочисленных Рембрандтов, которые были впоследствии проданы за четыреста пятьдесят тысяч долларов мистеру Джозефу Виденеру из Филадельфии. До революции ежегодный доход Юсупова могло выразить лишь восьмизначное число — факт, сам по себе достаточный, чтобы понять, сколь ненадолго хватило выручки от Рембрандта.

У каждого из нас были кое-какие драгоценности. В любых иных руках это было бы равносильно обладанию немалым состоянием. В нашем случае все свелось к нескольким неуклюжим попыткам повыгоднее сбыть их с рук. Мы не осмеливались лично появиться в качестве продавцов в магазинах, постоянными клиентами которых мы были не одно поколение, и приходилось прибегать к платным услугам третьих лиц. Ювелиры охали и говорили:

— Это, несомненно, замечательная нитка жемчуга. Продана в Россию великой княгине Ксении двадцать пять лет назад. Как музейный экспонат она представляет собой большую ценность, но как товар — практически ничто. Теперь, когда ни Романовых, ни Габсбургов, ни Гогенцоллернов больше нет, кто сможет купить такую вещь?

Они умело спорили и действовали с умом. Меньше чем за неделю весть о том, что мы «избавляемся от камешков», достигла ушей каждого торговца в Париже, Амстердаме, Лондоне и Нью-Йорке, и цены поползли вниз. В конце концов мы были невообразимо счастливы получить чуть меньше двадцати процентов того, что сами заплатили двадцать пять лет назад. Я помню тот день. Созвать семейную встречу и объявить результаты должен был я. Моя жена полагала, что теперь мы обеспечены на пять лет вперед, и решила переехать в Копенгаген. Я заявил, что если наши деньги с толком вложить, мы сможем ни о чем не беспокоиться до самых тридцатых годов. Мы оба ошибались. Ксенин жемчуг мы прожили ровно за три года.

Но в Копенгаген она все же переехала. Она уже вполне насмотрелась на Лондон и надеялась, что скромный, почти провинциальный образ жизни, который вела королевская семья Дании, будет более подходящей средой для воспитания наших сыновей. Она обожала короля Георга и любила младших Виндзоров, но, находясь на вершине величайшей империи мира, они, естественно, были бы обязаны поддерживать ту атмосферу древнего величия, что впечатляет простолюдина, но совершенно непереносима для рассудка, отягощенного воспоминаниями трагического прошлого. Уезжая в Копенгаген в гости к долговязым, молчаливым Глюксбергам, моя жена и сыновья фактически удалялись на ферму, в поисках непритязательной обстановки и «здорового» сельского воздуха. Последнее слово было за моей тещей. Я опасался, как бы это внезапное возвращение в страну, которую она покинула пятьдесят пять лет назад, чтобы стать императрицей всероссийской, не стало для нее потрясением — возможно, опасным для жизни. Однако она уже приняла решение.

— Я умру в Гвидоре, — твердо заявила вдовствующая императрица, и я тут же умолк. Гвидором назывался просторный дом, построенный ею в 1890 г. в качестве штаб-квартиры наших весенних слетов в Дании. Он стоял прямо на море. Сидя в своей сурово обставленной гостиной, старушка могла наблюдать корабли, плывущие по направлению к России. Все в доме и вокруг него хранило отпечаток посещений ее покойного мужа, императора Александра III. Его любимое большущее кресло в библиотеке, колода карт, которыми играл он в «волков», его адмиральская фуражка на столе, его охотничьи трофеи на стене... В каждый его приезд в Копенгаген двое дюжих казаков заступали в караул у главных ворот, и к своему огромному удивлению, я увидел их вновь, когда провожал тещу на вокзале в Лондоне. Насколько я могу судить, они, возможно,

приходятся сыновьями или даже внуками стражникам моего тестя, но так или иначе, старушка намеревалась поставить пару своих казаков — ростом с каланчу, косая сажень в плечах — у главных ворот Гвидора.

— Как в былые времена, — смеясь, заметил я ей.

— Ты имеешь в виду казаков, — ответила она без удивления. — Ну, дорогой мой, чего же ты хочешь? Не могу же я бросить этих бедолаг в Лондоне на произвол судьбы.

Я кивнул. Культ императора Александра III обсуждению на вокзале не подлежал.

4

Закоренелый дикарь, я отказывался признать, что у меня не осталось иного выбора, кроме как жить щедростью своих венценосных родственников. Навещал я их часто, но предпочитал оставаться парижским жителем.

Из каждой поездки в Лондон, Рим или Копенгаген я возвращался с чувством, что зря потратил уйму времени. Приученному изгнанием беседовать обо всем открыто и без задних мыслей, мне претило задействовать свой старый арсенал уловок и прибегать к притворству, когда речь заходила на ту или иную неприятную тему. Их было предостаточно: в Англии — индийская проблема, в Италии — политика фашистов, в Дании — целесообразность торговых связей с Советами. И выходило так, что почти неизменно я оказывался категорически несогласен с точкой зрения, разделяемой моими «любящими кузенами», а это означало, что разговор приходилось ограничивать «нейтральными» темами. Что, в свою очередь, меня утомляло. Я стал замечать, что отпрыски монарших фамилий, предоставленные сами себе и временно освобожденные от тягот служения, собеседники чрезвычайно неважные. Нескончаемые разговоры о принце таком-то, не желающем брать в жены принцессу такую-то, меня не занимали, поскольку и упрямый жених, и встревоженная невеста представлялись мне людьми незначительными.

Я желал им счастья, однако нудное повторение их имен наводило на мысль, что еще можно поспеть на ночной парижский экспресс...

5

Застольная беседа при дворе среднего европейского самодержца выигрывает в сравнении с тем, что можно услышать в доме влиятельного уолл-стритского банкира, но она куда менее живая, нежели за ужином в шикарном заведении на пятидесятых улицах Ист-Сайда. Ей чужда напыщенность, но не хватает остроумия.

Более стесненные, нежели их заокеанские сотрапезники, и намного хуже осознающие степень собственной значимости, короли и королевы Старого Света предпочитают пищу, не приправленную подобострастием.

Я заговорил о еде, обедах и ужинах, поскольку лишь за столом монарх может расслабиться. Надо давать аудиенции прибывающим и отъезжающим послам, надо ежедневно закладывать краеугольные камни, надо посещать бесчисленные «годовщины», сельскохозяйственные и промышленные выставки, скотоводческие ярмарки и художественные салоны — все, разумеется,

жизненно важные. Даже столь явно развенчанный король, как Виктор Эммануил Итальянский, лишь изредка может провести несколько часов в узком семейном кругу.

Тяжелы и неумолимы обязанности монарха, и можно себе представить их влияние на характер своих жертв. То был крик души, когда в ответ на обвинение: «богачи и бездельники», брошенное рабочим-кокни, нынешний принц Уэльский сказал: «Богачи? Возможно. Но, черт побери, дружище, не бездельники!».

Так что совершенно естественно, что, оставшись наконец со своими детьми и родственниками, европейские самодержцы едва ли пожелают пересказывать основные события своего рабочего дня или обсуждать проблемы мирового значения. Неизменно нуждаясь в какой-то разрядке, каждый находит свое любимое занятие.

Если в семье есть маленькие дети, как в случае с царствующим королем югославским, речь скорее всего пойдет об их шалостях и незаурядных изречениях. Пусть завтра конец света, но юный престолонаследник балканской державы должен поведать отцу о сражении с невидимыми войсками воображаемого неприятеля, которое он разыграл сегодня в дворцовом саду.

Сколько раз разряжал тяжелую атмосферу, царившую в замке Балморал в дни болезненной реформы Палаты лордов, любимый внук покойного короля Эдуарда Дейвид, нынешний принц Уэльский. Поглощенный своими мыслями, усталый и измученный, король спрашивал его, просто чтобы поддержать беседу: «Скажи, Дейвид, что ты думаешь о возможности унаследовать трон своих предков?» — «Это сущий ад», — отвечал Дейвид, и гости уходили в тот день довольные, оставляя короля в добром расположении духа...

Общеизвестно, что большую часть свободного времени царствующая королевская чета Англии проводит с внуками, сыновьями своей дочери, принцессы Марии, и дочерьми второго сына, герцога Йоркского. Не говоря уже о естественной нежности, которую невозможно не испытывать к этим милым, веселым малюткам, посмеяться над очередными подвигами белокурой принцессы Елизаветы — куда большее облегчение, нежели говорить о том, что каждому за столом прекрасно известно: империя, несомненно, переживает период невиданных коллизий.

Каждый раз, когда я возвращался в Париж, неизменную свою резервацию на чужбине, из поездки к тому или иному царствующему родственнику, друзья просили рассказать им, «под строжайшим секретом», разумеется, какие вести я привез и что говорилось в интимной обстановке королевской столовой. Мне стоило немалых трудов убедить их, что главной темой разговоров во дворце в Скандинавии был невероятный удар слева Вильяма Тильдена, в то время как влюбленный в железные дороги король бельгийский в подробностях обсуждал достоинства и недостатки моста через озеро Соленое. «А в Лондоне? Что говорят в Лондоне о будущем фунта? Когда, по-вашему, станет возможно стабилизировать британскую валюту?». Краснею. Вздыхаю. Признаюсь, что «они» говорили о рождественских подарках, полученных принцессой Елизаветой, и спорили, целесообразно ли позволять девочке так часто фотографироваться.

А книги, современная музыка, театр? Интересуются ли царственные собеседники искусством? И да и нет. Все зависит от того, о каком дворе речь.

Излишне напоминать, что принц Уэльский далеко ушел от своих ближайших родственников и европейских кузенов в том, что касается современных искусств. Завсегдатай премьер, он не только неизменно в курсе «горячих новостей» сцены, но еще и в состоянии с высокой степенью технической точности рассуждать о методах оркестровки Пола Уайтмана и о различиях между джазом «переулка жестяных кастрюль» и изначальным джазом хлопковых плантаций. Испанская революция лишила его единственного «конкурента» в королевских рядах. До осени 1931 года оставался открытым вопрос: кто лучший знаток всего современного — «счастливый принц дома йоркского» или испанский король Альфонсо.

Вкусы прочих членов королевской семьи Великобритании кажутся несколько старомодными на фоне воззрений наследника престола. Киплинг и Гарди в литературе, Бетховен и Вагнер в музыке по-прежнему определяют художественные наклонности короля и прочих членов его семьи. Открыто, публично выступая против, как он выразился, «безнравственной» литературы нашего времени, принц Георг выражал, помимо собственного, мнение своих родителей и двух братьев, герцогов Йоркского и Глостерского, но едва ли принца Уэльского. Последний прекрасно осведомлен о существовании Эрнеста Хемингуэя, Вильяма Фолкнера и их британских последователей, и очень маловероятно, что он отнес бы их книги всего лишь к «безнравственной» литературе.

Я искренне сожалею о том, что мистер Аль Капоне временно удалился на покой. Была же когда-то тема, неизменно манившая и увеселявшая августейших пленников европейских дворцов! Поскольку далеко не каждый из них был столь же близко знаком с богатой перипетиями карьерой этого господина, как испанский король Альфонсо (он укорял меня за незнание истинной природы связи Капоне с Даймондом по прозвищу «Ноги»), любой только что вернувшийся из Америки гость мог ублажить царственных хозяев пересказом того или иного эпизода походов Капоне. Должен признаться, что во время своего недолгого пребывания во Флориде я не пожалел усилий, чтобы получить от местных жителей точное описание островка Капоне, потому что знал, что эти данные окажутся чрезвычайно желанными в Европе, за обеденными столами, сервированными тревогами и крайней нуждой в психологической разгрузке.

6

Мне хотелось чем-то себя занять, не важно, за жалованье или нет. Меня удручало, что надо вставать поутру, не имея никаких планов на день, не считая званого обеда, чая или ужина. Другие великие князья, ведшие в С.-Петербурге праздный образ жизни, были лучше подготовлены к своему нынешнему бездействию. Что касается меня, то с шестнадцатилетнего возраста вплоть до революции я неизменно был занят созидательным трудом. Я командовал флотом, руководил морской торговлей, строил аэропланы; но какой бы ни был мой пост, я был занят на нем с восьми утра до семи вечера.

Я хотел найти работу, поэтому принялся телефонировать знакомым — банкирам и кораблестроителям. Они смеялись. Мысль о том, что можно нанять великого князя, казалась им нелепой фантазией. Они просили меня не беспокоиться. Они напомнили мне о существовании в Англии закона, согласно которому человек официально считается мертвым спустя десять лет после своего исчезновения.

— Ну и что? — спросил я в недоумении.

— А вот что: через пять лет вы с вашей женой вступите во владение царскими миллионами в Английском банке.

Я ругался. Сколько бы я ни объяснял своим знакомым, что царь ни фартинга не оставил ни в Английском банке, ни где-либо еще за границей, они упрямо твердили эту глупую сказку о романовских двадцати миллионах фунтов.

Наконец я встретил человека, который, похоже, отнесся ко мне серьезно.

— Вам нужна работа, — произнес он задумчиво. — Это я вполне понимаю. Но по какому профилю? Что вы умеете?

Я вздохнул с облегчением и стал перечислять свои дарования. Упомянул об опыте администратора, о теоретических и практических познаниях во всем, что касается кораблей и кораблестроения, о владении многими языками. Когда я кончил, он печально покачал головой.

— Боюсь, вам будет весьма нелегко извлечь пользу из этих навыков. Ваш опыт администрирования мог бы пригодиться империи, но где теперь империи? Пароходные компании неуклонно терпят убытки и даже не мечтают о постройке дополнительных судов. Что же до языков, позвольте мне выразиться прямо и грубо: вы явно слишком стары, чтобы стать переводчиком в нашем министерстве иностранных дел, и я не в силах вообразить себе, что вы захотите наняться секретарем к путешествующему миллионеру. Разумеется, я могу ошибаться, но так мне это видится.

7

Он не ошибался. Мои кузены, племянники и племянницы на опыте убедились в его прозорливости.

Одна великая княгиня вообразила, что сможет зарабатывать на жизнь, став лондонской модисткой. Она сняла небольшую квартирку и начала придумывать свои фасоны. Посетители повалили валом, осматривали ее модели и говорили, что она «молодец», «слабая женщина, а такая негибкая». Поскольку в данный момент у них не было нужды в новом платье, они уверяли, что рекомендуют трудолюбивую великую княгиню своим многочисленным подругам. Шли недели. Восхитительные, прелестные платья оставались непроданными. Надо было что-то немедленно предпринять. Великая княгиня поборолась в себе гордость и, хотя ей меньше всего хотелось это делать, призналась в своих трудностях одному из членов королевской семьи. К несказанному облегчению она услышала, что помощь немедленно прибудет.

На следующее утро в дверь позвонил посыльный в золотых галунах. Письмо ее императорскому высочеству. Конверт был толстый и с печатью. Его вид наводил на мысль о деньгах. «Слава Господу!» — сказала великая княгиня и трясущимися руками открыла его. Несть числа способам оформить поручение

банку выплатить ту или иную денежную сумму, и сначала ей показалось, что эти три листа веленовой бумаги содержат соответствующие указания. Она внимательно прочла письмо. Там были имена, имена, имена — двадцать четыре дамы, которые могут пожелать стать ее клиентками.

Другой великий князь пришел к заключению, что выбор профессии должен основываться на имеющемся любительском опыте. Его мысли уносились к городу Реймсу с верстами его погребов, полных шампанского. «Проклятое зелье стоило мне в прошлом стольких денег, — говорил юный великий князь, — так что пришел его черед поддержать меня. При всей своей скромности не могу не настаивать, что в приготовлении шампанского я смыслю больше, чем сама вдова Клико». И он отправился в Реймс и целую неделю посвятил тщательнейшей проверке различных винокурен. Он полагал, что только самая лучшая достойна услуг царственного суперкоммивояжера. Пополоскав рот и посмаковав, он выбрал широко известную марку и подписал соглашение с производителями. Затем он отправился в дорогу, весьма довольный собственной решимостью.

По словам Советов, «кто не работает, тот не ест». Юный великий князь хотел есть. Без проволочек прибыл он по адресу своего первого вероятного клиента, крупного торговца, в прошлом поставщика двора его императорского величества. Их взаимный восторг от встречи можно легко понять. Стали говорить о старых добрых временах трех превозносящих шампанское империй. Расчувствовались. Распили бутылку «особого». Торговец сказал, что вина такого качества в Реймсе больше не сыскать ни за какие деньги. Великий князь улыбнулся и достал свою папку. Он думает, что запросто сможет отблагодарить радушного хозяина, продав ему тысячу дюжин шампанского даже более высокой пробы, за цену, которая ниже, чем в каталогах всех конкурентов. Торговец широко открыл рот. Он хотел что-то сказать, но юного великого князя было не остановить. Последнее слово, однако, осталось за торговцем. Оно было: «Нет».

— Бедная Франция, бедное шампанское! — воскликнул он удрученно. — Если продавать его должен уже и русский великий князь, то кто, черт возьми, будет его покупать?

Так благородное производство лишилось своего великого коммивояжера.

8

Перепробовав два десятка профессий, стоически, но безуспешно, мужская часть моей родни, похоже, обратилась к исконной, и в начале двадцатых годов среди них объявились три претендента на несуществующий российский трон.

Первый — мой племянник Кирилл — имел на это право, являясь законным престолонаследником.

Остальные двое — мои двоюродный брат Николай и племянник Дмитрий — пали жертвами беспочвенного воодушевления своих сторонников.

Столкновение их притязаний, в условиях бедности и изгнания, повергло здравомыслящих наблюдателей в состояние глубокого изумления. Поскольку Советский Союз вступал в шестой год своего существования, эта трехсторонняя схватка представлялась по меньшей мере преждевременной, и все же была со

всей серьезностью воспринята многочисленными русскими беженцами. Они носились, объединялись, интриговали. И как истинные русские, заговаривали друг друга до отупения. Оборванные и бледные, они собирались на монархистские сходки в душных, прокуренных залах Парижа, где чуть не до рассвета выдающиеся ораторы обсуждали достоинства троих великих князей.

Одни слушали пространные цитаты из Основных Законов Российской империи, подтверждающие неотъемлемые права Кирилла; их зачитывал какой-то престарелый сановник, облаченный в длиннополый сюртук и похожий на поставленный стоймя труп, который поддерживали сзади невидимые руки. Другие слушали разодетого генерал-майора, кричавшего, что «огромные массы населения России» желают видеть Николая, бывшего Верховного Главнокомандующего русской армией, на троне его предков. Третьи млели от сладкоречивого московского адвоката, который защищал права юного Дмитрия столь проникновенно, что наверняка вышиб бы из присяжных слезу. И все это происходило в двух шагах от Больших Бульваров, где толпы жизнерадостных парижан пробавлялись легкими и крепкими напитками, совершенно позабыв о важности выборов самодержца всея Руси.

Поскольку мои политические взгляды были хорошо известны русским монархистам и явно ими не разделялись, ни разу за время той жаркой кампании мое имя не было произнесено даже шепотом. Но однажды тихим декабрьским утром я проснулся и обнаружил, что мой сын Никита должным образом избран царем на собрании «отколовшейся» фракции роялистов. Эта новость огорчила меня. Я горячо запротестовал. То, что начиналось как невинное времяпрепровождение, явно принимало масштабы трагического и сомнительного фарса. Каким образом решали вопросы личного обустройства мои кузены и племянники, меня совершенно не касалось, но своего мальчика я хотел уберечь от удела всеобщего посмешища. Он работал в банке, был счастлив в браке с подружкой своего детства графиней Воронцовой и не имел ни малейшего желания состязаться с великим князем Кириллом. Последовало абсурдное и тяжелое объяснение. Бывшие российские либералы, обращенные материальными затруднениями в монархизм, заявили мне, что расценивают мое вмешательство как лишнее доказательство «сближения с большевиками». Скажи эти слова кто-либо иной, я бы взбесился, но брошенные кучкой болтунов, несущих прямую ответственность за крушение империи, они звучали комплиментом.

9

Мне пришло в голову, что, хотя я и не большевик, однако не мог согласиться со своими родственниками и знакомыми и безоглядно клеймить все, что делается Советами *только потому*, что это делается Советами. Никто не спорит, они убили трех моих родных братьев, но они также спасли Россию от участи вассала союзников.

Некогда я ненавидел их, и руки у меня чесались добраться до Ленина или Троцкого, но тут я стал узнавать то об одном, то о другом конструктивном шаге московского правительства и ловил себя на том, что шепчу: «Браво!». Как все те христиане, что «ни холодны, ни горячи», я не знал иного способа излечиться от

ненависти, кроме как потопить ее в другой, еще более жгучей. Предмет последней мне предложили поляки.

Когда ранней весной 1920-го я увидел заголовки французских газет, возвещавшие о триумфальном шествии Пилсудского по пшеничным полям Малороссии, что-то внутри меня не выдержало, и я забыл про то, что и года не прошло со дня расстрела моих братьев. Я только и думал: «Поляки вот-вот возьмут Киев! Извечные враги России вот-вот отрежут империю от ее западных рубежей!». Я не осмелился выражаться открыто, но, слушая вздорную болтовню беженцев и глядя в их лица, я всей душою желал Красной армии победы.

Не важно, что я был великий князь. Я был русский офицер, давший клятву защищать Отечество от его врагов. Я был внуком человека, который грозил распахать улицы Варшавы, если поляки еще раз посмеют нарушить единство его империи. Неожиданно на ум пришла фраза того же самого моего предка семидесятидвухлетней давности. Прямо на донесении о «возмутительных действиях» бывшего русского офицера артиллерии Бакунина, который в Саксонии повел толпы немецких революционеров на штурм крепости, император Николай I написал аршинными буквами: «Ура нашим артиллеристам!».

Сходство моей и его реакции поразило меня. То же самое я чувствовал, когда красный командир Буденный разбил легионы Пилсудского и гнал его до самой Варшавы. На сей раз комплименты адресовались русским кавалеристам, но в остальном мало что изменилось со времен моего деда.

— Но вы, кажется, забываете, — возразил мой верный секретарь, — что, помимо прочего, победа Буденного означает конец надеждам белой армии в Крыму.

Справедливое его замечание не поколебало моих убеждений. Мне было ясно тогда, беспокойным летом двадцатого года, как ясно и сейчас, в спокойном тридцать третьем, что для достижения решающей победы над поляками советское правительство сделало все, что обязано было бы сделать любое истинно народное правительство. Какой бы ни казалось иронией, что единство государства Российского приходится защищать участникам 3-го Интернационала, фактом остается то, что с того самого дня Советы вынуждены проводить чисто национальную политику, которая есть не что иное, как многовековая политика, начатая Иваном Грозным, оформленная Петром Великим и достигшая вершины при Николае I: защищать рубежи государства любой ценой и шаг за шагом пробиваться к естественным границам на западе! Сейчас я уверен, что еще мои сыновья увидят тот день, когда придет конец не только нелепой независимости прибалтийских республик, но и Бессарабия с Польшей будут Россией отвоеваны, а картографам придется немало потрудиться над перечерчиванием границ на Дальнем Востоке.

В двадцатые годы я не отваживался заглядывать столь далеко. Тогда я был озабочен сугубо личной проблемой. Я видел, что Советы выходят из затянувшейся гражданской войны победителями. Я слышал, что они все меньше говорят на темы, которые занимали их первых пророков в тихие дни в «Кафе де Лиля», и все больше о том, что всегда было жизненно важно для русского народа как единого целого. И я спрашивал себя со всей серьезностью, какой

можно было ожидать от человека, лишенного значительного состояния и ставшего свидетелем уничтожения большинства собратьев: «Могу ли я, продукт империи, человек, воспитанный в вере в непогрешимость государства, по-прежнему осуждать нынешних правителей России?»

Ответ был и «да» и «нет». Господин Александр Романов кричал «да». Великий князь Александр говорил «нет». Первому было очевидно горько. Он обожал свои цветущие владения в Крыму и на Кавказе. Ему безумно хотелось еще раз войти в кабинет в своем дворце в С.-Петербурге, где несчетные книжные полки ломились от переплетенных в кожу томов по истории мореплавания и где он мог заполнить вечер приключениями, лелея древнегреческие монеты и вспоминая о тех годах, что ушли у него на их поиски.

К счастью для великого князя, его всегда отделяла от господина Романова некая грань. Обладатель громкого титула, он знал, что ему и ему подобным не полагалось обладать широкими познаниями или упражнять воображение, и поэтому при разрешении нынешнего затруднения он не колебался, поскольку попросту обязан был положиться на свою коллекцию традиций, банальных по сути, но удивительно действенных при принятии решений. Верность родине. Пример предков. Советы равных. Оставаться верным России и следовать примеру предков Романовых, которые никогда не мнили себя больше своей империи, означало допустить, что советскому правительству следует помогать, не препятствовать его экспериментам и желать успеха в том, в чем Романовы потерпели неудачу.

Оставались еще советы равных. За одним-единственным исключением, они все считали меня сумасшедшим. Как это ни покажется невероятным, я нашел понимание и поддержку в лице одного европейского монарха, известного пронизательностью своих суждений.

— Окажись вы в моем положении, — спросил я его напрямик, — позволили бы вы своей личной обиде и жажде мщения заслонить заботу о будущем вашей страны?

Вопрос заинтересовал его. Он все серьезно взвесил и предложил мне перефразировать вопрос.

— Давайте выразим это иначе, — сказал он, словно обращался к Совету министров. — Что гуще: кровь или то, что я назвал бы «имперской субстанцией». Что дороже: жизнь ваших родственников или дальнейшее воплощение имперской идеи? Мой вопрос — это ответ на ваш. Если то, что вы любили в России, сводилось единственно к вашей семье, то вы никогда не сможете простить Советы. Но если вам суждено прожить свою жизнь, подобно мне желая сохранения империи, будь то под нынешним знаменем или под красным флагом победившей революции — то зачем колебаться? Почему не найти в себе достаточно мужества и не признать достижения тех, кто сменил вас?

И так прошло три года. Три года долгих странствий и весьма скромных достижений, трехгодичный отпуск, прожитый на деньги от Ксениного жемчуга.

Приход 1924 года грубо вернул нас к действительности. Обменяв Рембрандтов и драгоценности на кров, стол и железнодорожные билеты, мы вновь сказали, что надо «что-то сделать», и вновь не знали, что же нам собственно делать.

В разговорах преобладало слово «Америка». Одному из моих сыновей посчастливилось найти работу в Национальном городском банке Нью-Йорка, и его оптимистические письма были единственным светлым пятном на нашем мрачном горизонте. Признаюсь, я завидовал ему и был бы не прочь обменяться с кем-нибудь нашими привилегиями. Великая княгиня Виктория, жена великого князя Кирилла, проводя последнюю зиму в Нью-Йорке, не жалела превосходных степеней, когда описывала привлекательность светской жизни на Манхэттене. Она считала, что нам всем следует перебраться на Парк-авеню.

Замечательно; но я знал Парк-авеню. Изумительная улица для того, кто идет в гору. Я боялся, что на спуске она покажется кошмаром. Не то чтобы у меня не доставало приглашений, но сама мысль поехать в Америку в качестве нахлебника своих старых друзей мне претила. Это противоречило тому, что еще оставалось от моей гордости, и я решил остаться в Париже и ждать некоего маленького чуда, какого — и сам не знал. Как это ни было печально, я надеялся, что мы все усвоили свой урок и были бы не прочь забыть, что вообще когда-то жили в России...

Тут пришло письмо из Копенгагена. Я не забуду его до того самого дня, когда архангел протрубит в свою трубу.

«Вот-вот наступит Рождество, — писала вдовствующая императрица, — и надо будет раздать в Гвидоре множество подарков, но министерство двора до сих пор не выслало мне денег. Теряюсь в догадках, что может крыться за этой непонятной задержкой».

Я протер глаза, взглянул на дату и раскрыл рот. Пятого декабря 1924 года, спустя почти восемь лет с момента падения самодержавия, моя теща все еще ожидала своего содержания от министерства российского двора! Готовясь разменять восьмой десяток и пережив четырех российских императоров, она наотрез отказывалась признать новый порядок вещей. Она знала, что ее сестра, вдовствующая английская королева Александра, окружена тем же почитанием, что и в былые времена, и не видела причин, по которым ей, императрице еще более великой державы, следовало бы мириться с положением изгнанницы. Было бы совершенно бесполезно пытаться объяснить ей, что и само здание в С.-Петербурге, где ранее помещалось нерадивое министерство, теперь занимал комсомольский клуб. Я послал ей почтой чек, насколько мог, а также горячие пожелания, чтобы Рождество было как можно веселее, а наступающий 1925 год лучше — о! много лучше, — нежели оказался двадцать четвертый. И я писал искренне. Окажись наступающий год еще хуже уходящего, двадцать шестого уже и вовсе бы не настало, если иметь в виду нашу семью.

16 Аббревиатура от латинского «Rex et Imperator». — Прим. ред.

Глава VII

Кирилл и его невидимая империя

1

Он переместил российскую столицу в селение Сен-Бриак на скалистом берегу Бретани и там один в своем кабинете в цокольном этаже не слишком впечатляющего сельского дома ежедневно с шести до девяти занимается делами своей невидимой империи.

Если верить местной полиции, ведущей тщательное наблюдение за всеми до единого иностранцами, проживающими в их округе, это «бывший русский великий князь Кирилл, находящийся во Франции по визе, дающей право на бессрочное пребывание».

Если верить пятистам тысячам русских беженцев-монархистов, прозябающим в тридцати с лишним странах к востоку и западу от Суэца, это «император Кирилл I, самодержец всея Руси», законный наследник трона Романовых, от которого Николай II отрекся 15 марта 1917 года.

Расхождение между этими двумя мнениями, пускай громадное и очевидное, не порождает слишком заметных волнений в кругах ученых правоведов по той простой причине, что ни силы сен-бриакской полиции, ни энтузиазм верноподданных русских эмигрантов не смогут столкнуть Союз Советских Социалистических Республик с его четко прочерченного курса. На тот момент, когда я пишу эти строки, для полного и окончательного триумфа великого князя Кирилла нет никаких предпосылок, если иметь в виду единственно пушки и штыки, однако последнее слово все же принадлежит верному другу и безотказному утешителю всех притязующих — Истории.

Истории, которая учит нас, что лишь в геометрии прямая линия — кратчайший путь от точки до точки, но только не в жизни народов, только не в чередовании революций и контрреволюций. Истории, которая дарит нам поучительную историю про оборванного немолодого изгнанника, долгих двадцать три года влачившего полуголодное существование и ставшего впоследствии королем Франции Людовиком XVIII. Истории, напоминающей нам о невероятных достижениях другого француза, молодого парижанина без особых дарований, которого язык довел от террас уличных кафе до покоев дворца Тюильри и который известен последующим поколениям как император Наполеон III. Истории, что хранит в своих анналах имена Карла II Английского, Луи Филиппа Французского и Фердинанда VII Испанского — этих трех неунывающих, которые завоевали трон исключительно силой и терпением, да еще благодаря бесценной помощи от сочувствующих бакалейщиков и хозяев постоянных дворов, веривших им в долг. Истории, которая безоговорочно признает нынешнюю неограниченную власть Сталина, но одновременно указывает на тот факт, что был когда-то давным-давно маленький неукротимый корсиканец по имени Буонапарте...

Несть числа проделкам истории, и именно поэтому, когда казалось бы умные люди спрашивают меня тоном уязвленной гражданственности: «И что вы скажете о поведении вашего племянника Кирилла? Разве не кажется вам нелепым то, что он возомнил себя царем всея Руси?», — я неизменно отвечаю, не без некоторой торжественности: «Нет, не кажется. Я верю в Историю.

Приходится. Я и сам великий князь, неужели не понимаете?.. Я жил достаточно долго, чтобы понять, что множество сегодняшних нелепостей, назовут, — возможно, не позже чем завтра, — замечательными примерами мужества и выдержки».

2

Но, что он «возомнил» себя царем, это правда. Даже изображает из себя царя. Подписывает высочайшие указы, раздает монаршие благодарения, повышает в чинах и выступает с посланиями своим сторонникам, где дает им руководство к действию.

Его жизнь — это нескончаемые страдания, потому что быть царем, вопреки, мягко говоря, не в меру радужным представлениям, — это то же самое, что пребывать в кошмаре наяву, ведь надо править империей, которой уже нет, когда твои подданные водят парижские такси, работают официантами в Берлине, танцуют в бродвейских кинотеатрах, подрабатывают в массовках в Голливуде, разгружают уголь в Монтевидео или умирают за добрый старый Китай в жалких трущобах Шанхая. Управление многоязыкой Австро-Венгерской империей былых дней было синекурой в сравнении с нынешней задачей великого князя Кирилла.

В этих условиях свою державность ему приходится утверждать исключительно по почте. Не то чтобы он верил во всеилие пера, просто ничего другого у него нет.

Каждое утро у порога импровизированного императорского дворца появляется дюжий, загорелый сен-бриакский почтальон, отдувающийся и согнувшийся под тяжестью пачек писем, на которых наклеены марки чуть не всех стран на свете. Зарубежные представители теневого российского императора ежедневно снабжают его сведениями о моральном и материальном состоянии его далеких подданных, хотя они с готовностью бы признали, что лишь некоему сверх-Моисею под силу разрешить беспросветно запутанные проблемы русских изгнанников.

Он сидит и читает. Предмет его чтения — урок географии и изучение психологии человеческой зависимости.

Русские, русские и снова русские... Русские по всему миру! Мечтательные мудрецы и чудачи с прожекторами, несчастные герои и беззащитные трусы, кандидаты в зал Славы и полностью готовые пациенты доктора Зигмунда Фрейда.

Похоже, что красные агитаторы, действующие на Балканах, достигли значительных успехов в работе среди русских беженцев в Югославии и что только «личное послание его величества» может спасти положение в столь опасный момент...

Великий князь Кирилл задумывается. Жизнь — странная вещь. Югославия — страна, освобожденная его дедом, земля которой пропитана кровью двух поколений русских солдат. Кто бы мог предположить, что она переживет своих благодетелей, дом Романовых?

У него нет времени на долгие размышления, потому что из Нью-Йорка пришло письмо с пометкой «чрезвычайно важно». Кризис занятости в

Соединенных Штатах не ослабевает, и «несколько слов монаршего участия были бы с благодарностью восприняты обедневшей русской колонией в Гарлеме».

Гарлем. Джаз. Костюмы в крупную клетку и кричащие галстуки. Синтетический джин и синтетический порок. И русские, ожидающие нескольких слов монаршего участия! Какая нелепость, какая трагическая и безграничная нелепость.

Следующее письмо переносит его в Китай. Военачальники Маньчжурии не оставляют попыток привлечь на службу бывших русских офицеров, и последние обращают взоры к Сен-Бриаку в надежде на совет и наставление...

И так всегда. Его верноподданные обладают непостижимым талантом пускать корни в странах, которые немедленно после этого поражают революции или войны.

Вспомнить ту кучку казаков, которые только что обосновались на границе между Боливией и Парагваем и теперь обязаны выбирать: вернуться в Европу или сражаться за совершенно чуждое дело.

Вспомнить того храброго генерала в Индии, что гадает, «достойно и почетно» ли для бывшего командующего Императорской армией защищать раджу от его восставших подданных.

И вспомнить еще того блестящего кавалериста в Чили — если и был на свете беззаветный роялист, то это он, — который вдруг обнаружил социалистические тенденции в политике правительства, которому служит...

Теперь — пачка жалоб. Прошедшие восемнадцать лет так и не смогли повлиять на их авторов. Их часы остановились 31 июля 1914-го.

Бывший член Московской судебной палаты — он по сю пору подписывается полным титулом, хотя сейчас и чернорабочий на фабрике в Канаде — хочет, чтобы в Сен-Бриаке четко осознавали, что один молодой русский, занятый в монреальской пекарне, это очень опасный радикал, которого не следует пускать в Россию, когда восстановят монархию.

Бывший гвардейский капитан — ныне мойщик посуды в столовой самообслуживания где-то на Среднем Западе — глубоко уязвлен тем, что его не упомянули в последнем «высочайшем указе о повышениях». Он уверен, что по возрасту и заслугам достоин полковничьего чина. «Я узнал, — добавляет он с нескрываемым возмущением, — что несколько моих знакомых уже произведены в полковники, хотя покинули Россию всего лишь лейтенантами». Гори все огнем, он желает, чтобы великий князь Кирилл «повысил его в чине», даже если ему уже никогда не суждено надеть полковничьи погоны и получить «жалованье», причитающееся ему с семнадцатого года.

3

Пафос попеременно с комедией и слепота, погоняемая надеждой, образуют костяк этого отстраненного мира условностей. Ничего реального, все бутафория. Повышения и понижения, меры и контрмеры, поощрения и выговоры, обещания и угрозы, жалованья и прибавки — все с непременным использованием «когда», «если» и «как только». Окончательное решение остается за Историей.

Само собой, непосвященный посетитель Сен-Бриака приходит с предвзятыми представлениями о том, как должен выглядеть теневой российский император, и без сомнений готовится встретить персонажа из Страны чудес, героя с фантастическими чертами. Никто не ожидает увидеть необычайно статного мужчину, несущего груз своих пятидесяти с лишним лет с уверенностью и достоинством, редко наблюдаемыми в действительных обладателях трона. И столь безупречно царственна внешность великого князя Кирилла, что, когда он выходит на утреннюю прогулку по Сен-Бриаку, чудится, будто эскадрон кавалергардов в шлемах, увенчанных имперским двуглавым орлом, сейчас выстроится вдоль пыльных немощеных улочек этого рыбацкого поселка.

Посетитель, заметно изумленный, смотрит на великого князя и думает: «Что с этим человеком? Зачем он ломает эту комедию? Может, он маньяк, застарелый мечтатель или жалкий безумец?»

Ни то, ни другое, ни третье. Разгадка всей этой тайны очень проста. Так вышло, что великий князь Кирилл является первым в ряду престолонаследия, в то время, как я, к счастью, десятый. Поэтому я могу писать книги и статьи, играть в бридж и в трик-трак, посещать коктейли и собачьи бега, путешествовать и развлекаться как угодно, но он обязан поддерживать пламя монархической идеи. Я говорю «он должен», потому что мы оба принадлежим к семье, где столетиями внушалось, что ничто, даже угроза осмеяния, не должно помешать нам в исполнении своего долга. Как полагает великий князь Кирилл, долг его и его сына состоит в обеспечении русских монархистов за рубежом действенным главою и пересмотре обветшавших заповедей монархии, чтобы сделать их приемлемыми для русских и России.

— Я тружусь ради спасения нашей родины, — сказал он мне во время нашего недавнего разговора. — Я достаточно хорошо знаком с законами механики, чтобы понимать, что каждое сильное отклонение маятника влево неминуемо влечет за собой равносильное отклонение вправо. Мой долг, как и долг всякого здравомыслящего государственного деятеля, быть готовым к моменту этого противохода и сделать все, что в моей власти, чтобы ограничить его размах и пресечь его разрушительное действие. Эту задачу нельзя выполнить не создав новый свод здоровых национальных идеалов, которые несли бы в себе как способность предотвратить еще один кровавый потоп, так и притягательную силу для всех созидательных сил нашей страны. Для меня нет партий. Я не принимаю обязательств ни перед одним из сословий. Моя задача состоит в том, чтобы прервать невнятные стоны лишенного сейчас гражданских прав большинства русского народа, большинства, которому не разрешается посылать представителей в Советы, большинства, которое сыто по горло революцией и ее так называемыми завоеваниями, большинства, которое громко требует простой мирной жизни и личного счастья. Я выполняю свой долг и учу сына продолжать мое дело.

Он говорит хорошо, как трезвомыслящий и не питающий иллюзий наследник престола, который понимает, что девятнадцатое столетие в России уже давно умерло. Да и во всем остальном мире тоже. Его слова звучны, а фразы легки, но как можно создавать «новый свод здоровых национальных

идеалов», сидя взаперти в деревушке Сен-Бриак? Как можно отличить «созидательные» силы современной России от «разрушительных» на расстоянии двух тысяч верст, разделяющих скалистые берега Бретани и страну красных флагов и бледных, бескровных лиц?

Постороннему ни на йоту не удастся разобраться в озадачивающем поведении великого князя Кирилла, если не рассказать историю его жизни. Здесь мы имеем дело с претендентом на трон, одержимым идеей, что он орудие Провидения.

4

Старший сын моего двоюродного брата Владимира и племянник императора Александра III, он провел юность, типичную для великого князя. Не скупился на чаевые, часто путешествовал, хорошо танцевал. Сложенный, словно Аполлон, великодушный и веселый, он унаследовал от отца значительное денежное состояние. Это в высшей степени привлекательное сочетание светских добродетелей сделало его необычайно популярным и не оставляло желать ничего большего даже взыскательным метрдотелям парижского «Ритца».

Мы, старшие члены фамилии, немного завидовали его дарованиям. Где бы мы ни появлялись, нам встречались люди, ожидавшие, что мы окажемся достойными образцов обаяния и щедрости, заданных нашим племянником Кириллом.

Идол всех женщин и друг почти всех мужчин, он был в С.-Петербурге предводителем «золотой молодежи» — великолепный в мундире Гвардейского экипажа, благосклонный и величественный. Когда разразилась русско-японская война, он попросился в бой, как и должно было поступить двадцатилетнему великому князю. Смерти он не боялся, хотя, естественно, надеялся вернуться и найти своих друзей и веселую жизнь точно такими же, какими их оставил.

Он шел через войну с улыбкой, писал письма, получал ответы, и лишь японской торпедой удалось положить конец этому самодовольному существованию. Однажды — это случилось весной 1905 года, когда он служил офицером на «Петропавловске», — вдруг обнаружил, что цепляется за обломки шлюпки, с обожженным лицом, оглушенный и в полубессознательном состоянии. Из восьмисот офицеров и матросов после взрыва выжило лишь пятеро, и среди них великий князь Кирилл.

Никто, заглянув в лицо смерти, не останется прежним человеком. Никто, чудом избежав гибели, не избежит фатализма. В великосветском обществе, готовившемся с размахом отметить возвращение своего идола, никому не пришло в голову, что тот беззаботный юный великий князь, которого они знали, на самом деле утонул вместе с «Петропавловском» и что в Петербург возвращается совершенно иной человек. Его молчаливость заметили, но решили, что это последствия шока. Но он знал, в чем дело. Память о том дне в Тихом океане останется с ним на долгие годы — как знак Провидения, предвещающий великое будущее. Зачем же иначе суждено ему было выжить, когда все остальные сгинули?

Словно чтобы укрепить в великом князе Кирилле веру в его звезду, судьба подарила ему еще одну возможность ощутить трепет и потрясение чудесного избавления через четырнадцать лет после потопления «Петропавловска». На сей раз ему пришлось переживать за свою жену на сносях и маленькую дочку. Зимой 1919-го они втроем переходили по льду Финский залив, преследуемые по пятам большевистскими разъездами, оставив позади себя город, где недавно расстреляли четырех членов их семьи. Прицелься кто-нибудь из преследователей получше или останься им бежать саженой на десять больше, селение Сен-Бриак упустило бы возможность попасть на страницы российской истории.

5

Мне еще не попадалось предубеждения, которое не оказалось бы полезным по меньшей мере в одном отношении: чем больше узнаю я о «сугубо реалистических методах демократии», тем меньше я склонен недооценивать счастливую звезду своего племянника Кирилла. Ведь необязательно быть великим князем или монархистом, чтобы признать завидную силу человека, который верит в свое Божественное предначертание.

Укажем хотя бы на тот факт, что его непоколебимая вера в неотвратимость своей окончательной победы помогает оберегать как теневого императора, так и его невидимую империю от всякого рода бедствий. Твердо убежденный, что рано или поздно час его пробьет, он держится в стороне от всех глупых попыток организовать в России преждевременное восстание, и ему вполне достаточно сидеть у себя в кабинете и трудиться над «новым сводом здоровых национальных идеалов». Какова бы ни была истинная ценность последних, несомненно, что великий князь Кирилл оказывает в высшей степени благотворное влияние на разрозненные когорты своих оборванных сторонников. Для них он символизирует надежду на лучшее будущее, на иную Россию, где они смогут найти применение новоприобретенным познаниям в различных ремеслах и насладиться плодами своих нынешних тяжелых трудов. Как ни печально читать письмо от судомойщика, желающего, чтобы его произвели в полковники, не исключено, что его автор уже давно предался бы отчаянию, если бы не его слепая вера в чудотворные способности своего государя из Сен-Бриака.

И так проходят годы: мир движется навстречу радикальным переменам и новым формам, но пятьсот тысяч русских изгнанников-монархистов идут дальше своею дорогой, которая в конце концов приведет их или на землю обетованную, или в тупик. Они согласны ждать, и их император тоже.

Дни в Бретани длинные и тихие. Все встают на рассвете, и в семь утра ту, к которой почитатели обращаются «Ваше Императорское Величество», можно застать в саду за работой. Сад большой и впечатляющий. Что-то в разнообразии цветов смутно напоминает английскую сельскую местность, что вполне понятно, ведь жена великого князя Кирилла — не кто иная, как «Уточка», вторая из четырех дочерей Альфреда, герцога Эдинбургского, а три оставшихся ныне известны как вдовствующая румынская королева Мария, принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская и испанская инфанта Беатриса. От внучек королевы

Виктории нужно ожидать королевской осанки и манеры держаться, однако когда они вчетвером собираются на залитой солнцем сен-бриакской вилле, кажется, будто прозаический двадцатый век вдруг уступил место блестящей эпохе первой индийской императрицы.

Проведя жизнь в четырех различных, но одинаково беспокойных странах Европы, они многого навидались и стали соучастницами не одной трагедии. Они говорят друг с другом по-английски, предоставляя замечательную возможность попрактиковаться княгине Кире и князю Владимиру, детям великого князя Кирилла. Было бы еще более благотворно для этих юных созданий, если б можно было привить им мудрость и опыт, накопленные их тетками и родителями. А так, детям позволено уяснить себе, что спички обжигают, придворные лгут, а революционеры стреляют.

Кире девятнадцать лет. В настоящий момент она готовится вступить в брак со старшим сыном изгнанного испанского короля. Владимиру тринадцать. Мать произвела его на свет сразу же после спасения от пуль красных солдат. Это большущий красивый мальчуган, вылитая копия своего двоюродного деда императора Александра III. Он плавает, играет в теннис, водит автомобиль и обладает всеми прочими достоинствами, завезенными в Сен-Бриак его частым гостем и неизменным приятелем-учителем Генри Лумисом из Нью-Йорка.

Обитатели Сен-Бриака — и взрослые и дети — не торопятся собирать чемоданы. Опытные мастера ожидания, они знают: для того, чтобы сохранить психическое равновесие, нужно сосредоточиться исключительно на дне сегодняшнем. Если бы, встав поутру, они стали разговаривать о возможности возвращения в Россию, нервы бы у них не выдержали и нескольких недель. Людям в их положении необходима разрядка, и нет ничего более действенного, нежели неукоснительное соблюдение заведенного режима.

Порядок в Сен-Бриаке прост. В то время как отец занимается делами государства, мать рисует, дочь читает или работает в саду, сын готовит уроки. Вечера они проводят вместе за обеденным столом, но присутствие гостей позволяет сыграть партию в бридж. Время от времени они ненадолго приезжают в Париж навестить друзей и сделать покупки. Великий князь — страстный игрок в гольф, и даже еще через двадцать лет не наберет и восьмидесяти штрафных очков.

Я часто думаю о них, когда пересекаю Атлантику или любуюсь пейзажем Флориды из окна своей гостиной во время ежегодного паломничества на юг. Мне вдруг кажется несправедливым, что я, будучи старше его, живу в свое удовольствие и путешествую, в то время как великий князь Кирилл должен сидеть и ждать запозднившегося поворота колеса Фортуны. Но я полагаю, он получит солидную награду Истории за то, что лишен преходящих радостей жизни. И то и другое иметь невозможно.

Глава VIII

Эфиопская интермедия

Сорок четыре года пролегло между датой на фотографии, что стояла на каминной полке в моей парижской квартире, и той, что значилась в телеграмме у меня в руках.

Примитивный дагерротип помутнел от времени. На нем была изображена семнадцатилетняя девушка с добрыми глазами и сдержанной улыбкой, в тяжелом платье из серебряной парчи и в громоздкой короне, усыпанной бриллиантами и жемчугами. Внизу — двуглавый орел и подпись золотыми буквами: «Ее Императорское Высочество великая княжна Анастасия Михайловна, дочь Его Императорского Высочества великого князя Михаила Николаевича, наместника Кавказа, и невеста Фридриха, великого герцога Мекленбург-Шверинского; снято в городе Тифлисе в 1879 году».

Телеграмма была с пометкой «срочно». Ее только что принесли, она еще пахла свежей краской. Она была отправлена «7 апреля 1923 года из селения Эз, что в Приморских Альпах, и гласила: «Ваша сестра скончалась сегодня утром, сообщите час приезда».

Я стоял и смотрел то на фотографию, то на телеграмму. Сорок четыре года пролетели слишком быстро, и пусть моей сестре исполнился шестьдесят один год и у нее уже были внуки, мне все казалось, что я еду хоронить девушку в серебряной парче. Смерть великой герцогини Мекленбург-Шверинской большого значения не имела. На секунду я задумался, позволят ли французские власти германской кронпринцессе приехать в Эз и вместе с сестрой, королевой Дании, постоять у могилы матери, и вновь мысленно перенесся в старый дворец наместника в Тифлисе. Это был конец, конец нашей дружной семьи; оборвалась последняя нить, связывавшая меня с большими надеждами моего кавказского детства.

Оставался еще, конечно, мой старший брат Михаил, наслаждавшийся жизнью в Лондоне, куда его выслали из России лет тридцать назад, но я считал его англичанином. Ничего общего не могло быть у меня с его дочерьми-англичанками, маркизой Милфорд Хейвен и леди Зия-Вернер. Подруги детства принца Уэльского, они вели беззаботное существование типичных лондонских богачек, и эпопея Романовых была для них лишь волнующим фоном, призванным подчеркнуть их холодную, всеми признанную красоту. Ничто не выдавало в них русских, ни одна не могла заменить мне сестру.

Выйдя замуж за немца и будучи до конца дней своих на чужбине любимицей света, Анастасия так и осталась кавказской дикаркой до кончиков ногтей. Ни близость к кайзеру, ни годы, проведенные в атмосфере праздности и легкомыслия, не изгладили из ее памяти горных вершин за наместническими садами. Встретившись с сестрой после долгой разлуки, я без труда подхватил нить разговора, прервавшегося в Тифлисе лет тридцать назад. Мы читали друг у друга в душе, мы говорили на языке, совершенно непонятном посторонним, и список словечек, придуманных нами для таких бесед, составил бы целый том. Корил ли я ее за то, что она бросается деньгами в Монте-Карло, или она выговаривала мне за мои бесконечные влюбленности, она неизменно обращалась со мной как с упрямым Сандро, кошмаром педантичных церемониймейстеров, а я по-прежнему видел в ней прелестную темноволосую девушку, которая влетела как-то раз в мою классную комнату, запыхавшись и

пылая гневом, чтобы объявить, что скорее смиритесь с тиранством наших учителей и воспитателей, чем выйдет за шелкуна-немца из Мекленбург-Шверина.

А теперь она умерла, и тело ее выставили для прощания на ее вилле на Французской Ривьере — рукой подать до казино, где она танцевала и играла в карты, известная чужестранцам как последняя из «самых великих» герцогинь. От второй родины ее отрезала война, от настоящей — революция.

Чемоданы были уложены, пора было выезжать; я бросил последний взгляд на фотографии, стулья, коврики и настольные безделушки. Квартира принадлежала Анастасии и, пока ее не было в Париже, она разрешила мне здесь пожить. Я не думал сюда возвращаться и хотел впитать в себя все, что напоминало о сестре. В Эзе я увидел бы ее тело; здесь, в Париже, я мог прочувствовать утонченность ее вкуса и тепло красоты. Второй раз в жизни я прощался с девятнадцатым веком; впервые за годы изгнания утратил интерес к дню завтрашнему. И готов был идти куда глаза глядят.

2

Ривьера цвела, и сильный аромат багряных и белых цветов, плывший в солнечном воздухе набитого битком собора, сгладил обычную отвратительность государственных похорон. Чистые голоса торжественно певшего русского хора поднимались над скорбью, и если б не длинный ряд лысых сановников в медалях, ослепительно блестящих при свете высоких свечей, я мог бы, пожалуй, поверить, что присутствую на истинно христианской церемонии. Все было, как и должно быть в конце жизни, прошедшей в веселье и радости, и, едва закончились похороны, я отправился в Монте-Карло, чтобы провести день в обстановке, которую любила моя сестра.

С самой довоенной поры не был я в благословенном царстве рулетки, но один вид солидных картежников-греков, дремлющих под кокетливыми зонтиками, мгновенно меня успокоил: хотя бы здесь все шло по-прежнему.

Величавые манекены парижских портних, слишком тяжело, пожалуй, обремененные драгоценностями, чтобы сойти за настоящих светских красавиц, выгуливали перед казино породистых пекинесов. Тщательно отутюженные английские лорды разъезжали по улицам, обсуждая подагру, стерлинги и дела своей империи. Щегольские яхты американских мультимиллионеров, обосновавшиеся в гавани, навевали мечты о далеких, не средиземноморских землях. Владельцам этих роскошных яхт я открыто завидовал и полагал, что на их месте проявил бы куда больше здравомыслия, выбирая порты захода.

Потягивая бренди с содовой и пытаюсь отрешиться от несмолкающего гула голосов в кафе, я с головой ушел в составление маршрута воображаемого тропического круиза, когда настойчивые улыбки моего соседа слева навели меня на мысль, что это, должно быть, кто-то знакомый. Я вопросительно взглянул на него и без особой охоты ответил на его поклон. Смуглая кожа и галстук с громадной черной жемчужиной заставляли предположить в нем восточного торговца древностями, и я решил, что чем скорее развею его иллюзии относительно моего нынешнего финансового положения, тем лучше будет для нас обоих. Он встал и направился к моему столику, расплывшись в

улыбке и поигрывая рубиновыми и изумрудными перстнями, которыми были унизаны длинные тонкие пальцы его смуглых рук. «Наверное, продавец индийских камней», — сказал я себе и приготовил лаконичную речь.

— Могу я позволить себе похитить у Его Императорского Высочества несколько минут его драгоценного времени? — начал он, вытянувшись передо мной во фронт, и настолько неуместно звучало это в людном уличном кафе, что я почувствовал, что опасался не без оснований: никто, кроме восточных купцов, не станет говорить на придворном французском восемнадцатого столетия.

— Разумеется, можете, — отшутился я, — хотя бы по той причине, что больше похитить у меня нечего. Вас это, вероятно, разочарует, но такова горькая правда.

Он улыбнулся еще шире и сказал что-то в том духе, что утрата земных богатств лишь увеличивает ценность даров, которыми мы обязаны Всевышнему.

— Именно так, — согласился я от всей души, — но сомневаюсь, чтобы люди вашей профессии принимали чеки, выданные Его банком...

На секунду он растерялся, потом опять улыбнулся.

— Людей моей профессии, — заметил он спокойно, — другого рода чеки и не интересуют.

Тут я сдался.

— Ну что ж, садитесь, — сказал я покорно, — будем менять материальные блага на духовные. Что у вас, изумруды или рубины?

Он оглянулся на соседние столики и покачал головой.

— Я предпочел бы удостоиться личной аудиенции монсеньора у него на квартире.

Его настойчивость меня озадачила. Столь впечатляющая личность должна быть, наверное, величайшим купцом Востока. Дабы положить конец нашей странной беседе, я сказал, что в Монте-Карло у меня нет квартиры, что этим же вечером я возвращаюсь в Эз и что с его стороны ехать со мной было бы бессмысленной тратой времени. По-видимому, это его огорчило. Улыбка исчезла с его лица, и он умолк. Я надеялся, что он встанет и уйдет.

— Не будет ли с моей стороны самонадеянностью, — предложил он внезапно с огнем решимости в черных глазках, — просить монсеньора соизволить посетить мои комнаты в «Отель де Пари»?

— Послушайте, — воскликнул я нетерпеливо. — Как вы не понимаете, что мой визит был бы для нас обоих пустой тратой времени? Сколь бы великолепны ни были ваши камни, у меня нет денег, чтобы их купить. Я ясно выражаюсь?

— Весьма, — отвечал он очень серьезно, — и только теперь я вижу, что монсеньор не шутил и действительно принял меня за торговца камнями. Мое имя Абуна Матеос. Я был уверен, что монсеньор узнал меня, когда ответил на мой поклон...

Абуна Матеос? Имя мне ни о чем не говорило, но сама мысль о том, что я, возможно, обидел ни в чем не повинного человека, заставила меня отказаться от дальнейших отговорок.

— Мне ужасно жаль, — сказал я со всей живостью, на какую был способен при данных обстоятельствах, — но память моя уже не та. Со дня нашей последней встречи прошло, должно быть, немало времени.

— Двадцать один год. Я имел честь отобедать в вашем дворце в Санкт-Петербурге весной 1902 года.

— Да, конечно, — кивнул я (хотел бы я узнать хотя бы его национальность!). — Доводилось вам с тех пор бывать в России?

— Увы, монсеньор. Объявление мировой войны застало меня в Джибути, как раз когда я ехал в Санкт-Петербург с посланием Вашему Императорскому Высочеству от моего повелителя, великого Негуса Лиди Лассо...

Это случайное упоминание имени императора Абиссинии повергло меня в ужас: мой «продавец рубинов» оказался почтенным эфиопским вельможей, радушно принятым в свое время при российском дворе, которого я лично представил государю. Я уже готов был рассыпаться в извинениях, но господин Матеос взмахом руки остановил меня. Теперь, когда его личность была установлена, он мог позволить себе посмеяться над недоразумением. Так мы и смеялись по дороге в «Отель де Пари», и я готов был поклясться, что попадавшиеся нам по дороге знакомые решили, что я покупаю ковер или перстень.

3

Наша беседа длилась три часа. Абуна Матеос оказался блестящим оратором, и я с радостью ограничился ролью потрясенного слушателя, лишь изредка встречая с вопросами. Насколько я понял в тот памятный день в Монте-Карло — на разъяснение запутанных деталей своего весьма необычного предложения у г-на Матеоса ушло несколько недель, — он и его повелитель ожидали, что я помогу Абиссинии вернуть права на некую часть святых мест в Иерусалиме... По словам эфиопского вельможи, выходило, что я и только я — единственный человек, способный заставить живущих в Палестине армян и коптов вернуть абиссинскому духовенству обитель Дар-эс-Султан и две церкви, примыкающие к храму Гроба Господня...

Сказать, что я был ошарашен, значит ничего не сказать. Я не только ровным счетом ничего не понимал во взаимоотношениях коптов, армян и абиссинцев в Иерусалиме, но впервые в жизни услышал, что русское правительство потратило пять лет и более миллиона долларов, дабы раскопать в Турции документы, подтверждающие законность эфиопских притязаний.

— Вашему правительству, — объяснил г-н Матеос, — удалось найти даже подлинный фирман халифа Омара, изданный в шестьсот тридцать шестом году.

Это не произвело на меня никакого впечатления. Я не мог понять, зачем растрачивать деньги русских налогоплательщиков на поиски фирманов какого угодно халифа, о чем и сказал своему темнокожему учителю истории святых мест.

Он воздел руки в отчаянии.

— Начнем с того, монсеньор, что это не были деньги налогоплательщиков, поскольку всю сумму до цента пожертвовала ваша кузина великая княгиня Елизавета. И потом, когда Абиссиния вступит во владение двенадцатью

спорными участками, она тут же передаст два из них Русской православной церкви для возведения часовни.

Необыкновенная щедрость «тети Эллы» не удивила меня: радетельница Русской православной церкви, она должна была проникнуться нуждами абиссинцев по причине близкого сходства наших религий и, без сомнения, за одну лишь надежду утвердиться на Святой Земле отдала бы все свое изрядное состояние. Все это, будучи вполне типичным для моих благочестивых родственников, имело, однако, очень мало отношения к 1923 году и тому русскому великому князю, который приехал в Монте-Карло посидеть на солнышке и отдохнуть. Впрочем, век живи — век учись. И хотя я был рад случаю узнать, что нынешние правители Абиссинии ведут свой род от сына, рожденного царицей Савской после дружеского визита к царю Соломону, я по-прежнему опасался, что Абуна Матеос и его повелитель сильно преувеличивают мое влияние на вероломных коптов и армян Иерусалима.

— Еще семь лет назад, — сказал я мягко, — я мог бы ходатайствовать за вас перед армянским католикосом в Палестине, но, боюсь, теперь мой голос не имеет большого значения для его святейшества.

Г-н Матеос встал, подошел к столу и извлек машинописный лист бумаги.

— Это, — провозгласил он, — английский перевод письма, написанного нашим вождем Расом Али ее британскому величеству в 1852 году. Я бы хотел, чтобы монсеньор прочел его.

Я с радостью согласился. Письмо было любопытно.

«От Судьи Судей, Али, слуги Господа, Царя Царей, единого в трех лицах. Да дойдет это до Королевы Англии! Как поживаете? Здоровы ли, равная Небу и Земле? Жажду и надеюсь быть в дружбе с вами, да возжелаете и вы моей дружбы. Как может быть, что вы живы, а мое наследие отнято у меня? Каждый владеет своим наследием, а я лишен моего. Так сделайте, что нужно, дабы не был я лишен моего наследия, ибо лишили меня части земли, принадлежащей Абиссинии в Иерусалиме... Предаю дело в ваши руки. Скажите лишь слово, и пришлю вам все, чего пожелаете...»

— Пыталась ли королева помочь Расу Али? — спросил я, представив себе тихое веселье королевы Виктории.

— Пыталась.

— И что же?

— Даже она не смогла заставить армян вернуть нам нашу собственность...

— Вот видите, — сказал я, воспрянув духом. — И вы думаете, русскому великому князю в изгнании удастся то, что не удалось могущественной королеве?

Он взглянул на меня в нерешительности, и я понял, что объявление своих истинных намерений он приберег, в духе восточных традиций, под конец. Я взял шляпу и сделал вид, что ухожу. Лишь тогда он решил коснуться главной темы.

— Документы, подтверждающие наши права, — начал он, опустив глаза, — в настоящее время находятся в руках бывшего представителя русского правительства в Константинополе.

Я ждал.

— Этот человек, — продолжал он после долгой паузы, — категорически отказывается отдавать их кому-либо, кроме родственников последнего царя. Действуя согласно приказам его величества и на средства покойной великой княгини Елизаветы, он считает своим долгом предоставить документы в распоряжение их наследников и правопреемников.

Я ждал. Он тоже. Я уже готов был снова встать, как он взял со стола копию письма Раса Али и, поднеся поближе, ткнул пальцем в последнюю строчку: «Скажите лишь слово, и пришлю вам все, чего пожелаете». Этот жест, продиктованный чрезвычайной обеспокоенностью, показался мне слишком грубым для обходительного восточного дипломата и неприятно поразил. Выглядело так, будто он ожидал, что я запрошу точную сумму за каждый из двенадцати спорных участков Святой Земли.

— Воздух Монте-Карло очень плохо на вас действует, господин Матеос, — сказал я строго, на сей раз твердо решив уйти. Он ринулся вперед и, когда мы оба столкнулись в дверях, бросился передо мной на колени и заговорил. Его вычурный французский вдруг изменил ему, и большей части сказанного я не понял, но сам вид этого увешанного драгоценностями человека, стоящего на коленях перед иностранцем в отеле в Монте-Карло, показал мне всю нелепость моего негодования. Из того, что он знал о белых людях, он сделал вывод, что их неподкупность всегда стоит определенную сумму; если русское правительство готово было брать комиссионные участками Святой Земли, с чего бы простому великому князю обижаться на предложение денежного вознаграждения за свои дружеские услуги? Я похлопал господина Матеоса по плечу и помог ему подняться. Он поправил галстук, бывшая обходительность вернулась к нему, и мы уехали плести заговор против армян.

4

Порой я сомневаюсь, что все это было на самом деле. Прочти я об этом в книге, я направил бы резкое письмо автору, осмелившемуся состряпать столь нелепую историю, полную неправдоподобных приключений. Но в огромном чемодане в моей парижской квартире лежит объемистая папка с «абиссинскими документами», а в ней — длинный сухой отчет ученых специалистов, зарегистрированный в Лиге Наций в Женеве и заверенный в ее «подкомиссии по мандатам».

Выходит, что я все-таки не сплю и что в результате моего «дружеского вмешательства» в Константинополе нынешний император Абиссинии получил во владение некоторое количество халифских фирманов, королевских писем, патриарших заключений и постановлений великих визирей, устанавливающих на веки вечные неотчуждаемые права эфиопов на двенадцать участков Святой Земли в древнем городе Иерусалиме, примыкающих к храму Гроба Господня. Во вступительных строках отчета, представленного Лиге Наций профессором Нольдом из Парижа и профессором Шарлем де Виссером из Брюсселя, говорилось: «Написано на основании документов, собранных Его Императорским Высочеством русским великим князем Александром и переданных им Его Императорскому Высочеству Таффари Меконнену, наследнику Трона Эфиопии».

То был радостный и знаменательный день моей жизни в изгнании, когда я прибыл в Марсель, чтобы сесть на французский пароход, который должен был доставить меня в Порт-Саид. Я был счастлив, что судьба дала мне такой шанс покинуть Европу. Я помню, как секретарь сказал мне: «Попрощайтесь с берегами Франции, мы выходим в открытое море», и я ответил с жаром: «Слава богу! Если б только никогда не возвращаться!».

Я знал, что в Абиссинию мы попадем прямо на сезон тропических дождей, но что могло быть хуже докучливой осады, которой я подвергся в последние два месяца в Париже? Стоило мне объявить о своем намерении принять приглашение Раса Таффари, как моя квартира стала магнитом для всякого рода маньяков, прожектеров и авантюристов.

Бывшие владельцы икорных заводов в России хотели, чтобы я взял их с собой, и заявляли, что могут разводить в Красном море осетров. Вездесущие герои науки желали посвятить свое время и силы изучению особенностей эфиопских москитов, дабы положить конец засилью желтой лихорадки. Представители банкиров с Уолл-стрит рассыпались мелким бесом, выказывая чрезвычайный интерес к абиссинским притязаниям на святые места и полагая, что могут помочь своим добрым друзьям в этом деле, если им пообещают девяностодевятилетнюю концессию на разработку соляных копей на озере Тана. Я в жизни не слышал о существовании озера Тана, но это не помешало делегатам трех великих держав в Париже сообщить мне «неофициально и строго конфиденциально», что мои «честолюбивые танские проекты» неизбежно повлекут за собой многочисленные и весьма неприятные международные осложнения.

Кто-то, вероятно, те же самые разочарованные представители уолл-стритских банкиров, распространил слух, что мою поездку финансирует «одна могущественная нью-йоркская фирма», и какое-то время казалось, что французское правительство вот-вот затребует у меня письменные объяснения по поводу целей моего путешествия. Тщетно я показывал копию фирмана халифа Омара. Тщетно говорил об обители Дар-эс-Султан, незаконно занятой армянами и коптами. До тех пор, пока я упорно отрицал наличие каких-либо планов на соляные копи озера Тана, я был интриган, манипулятор и человек, с которым надо держать ухо востро. Абсурдность ситуации достигла пика в канун моего отъезда, когда один состоятельный герцог, мой дальний родственник, спросил меня напрямик, могу ли я еще принять предложение его группы разработчиков. Они хотели построить что-то вроде гигантской дамбы и использовать воду все того же рокового озера Тана для увеличения площади орошаемых полей в Судане, где можно выращивать хлопок для фабрик Ланкашира. Абиссинцы были христиане. Члены группы разработчиков тоже.

5

Путешествие было долгим, жара томительной, а императорский поезд, присланный за мной в Джибути, из страха перед бандитами останавливался каждый вечер с заходом солнца. Но от одной мысли о том, что я наконец сбежал от парижских шакалов, и рев африканских львов казался приятным.

На вокзале в Аддис-Абебе меня встретили с почестями, каких мне не оказывали с 1917-го. Играла музыка, солдаты брали на караул, а премьер-министр Эфиопии, пожилой господин с хитрыми глазами и ослепительной улыбкой, приветствовал меня по-французски и сказал, чтобы я готовился к волнующему сюрпризу — фраза, посеявшая в сердце моего секретаря самые дурные предчувствия, поскольку Африку он ненавидел и приятных сюрпризов от нее не ждал. Твердо веря в современную медицину, он захватил с собой полный чемодан всевозможных пилюль, спасающих от любых болезней, включая самый воздух Аддис-Абебы, и, пока мы шли вдоль почетного караула, я заметил, как он проглотил пару таблеток. В следующую же секунду мы услышали первые такты русского военного марша и увидели группу наших соотечественников. Я был поражен, а премьер-министр удовлетворенно засмеялся.

— Их здесь семьдесят пять, — пояснил он с ноткой гордости. — Строят дороги, служат в нашей армии. Ваши люди здесь не в новинку. Воспитанием нашего бывшего императора Лиди Лассо занимался русский учитель.

— Чем, без сомнения, и объясняется неспособность Лиди Лассо удержаться на троне, — добавил шепотом мой секретарь, и я закусил губу.

По пути с вокзала во дворец мы стали свидетелями трогательно спланированных сцен, призванных изобразить «неподдельный энтузиазм». Народ кричал, человек сто всадников галопировали за нашей машиной. Наверяд ли хоть дюжина из них могли произнести мое имя или интересовались моей высокопоставленной особой, но приказ есть приказ; будь то хоть в Аддис-Абебе, хоть в Париже, никакое правительство не станет рисковать репутацией гостелюбцев, полагаясь на стихийные чувства толпы. Так заведено веками, и я не чувствовал себя слишком уж большим лицемером, когда через несколько минут, пожимая руку Расу Таффари, благодарил его за необычайную доброту его подданных.

— Я никогда не забуду, как принимали меня в Аддис-Абебе, — пообещал я в лучших своих довоенных традициях, удивляясь про себя, как это после семи лет революции и изгнания у меня еще сохранилась способность врать не краснея.

— Хвала Всевышнему, приславшему столь высокого гостя в землю возлюбленных детей его, — ответил Рас Таффари и степенно поклонился. Говорил он плавно и обладал грацией движений, совершенно неожиданной в таком крепко сбитом коротышке. Теперь, при виде этих буравящих глаз и ослепительно белых зубов, я вспомнил историю, рассказанную мне в Джибути. Чтобы как-то оправдать захват трона, Рас Таффари разослал по всей стране ловко сфабрикованную фотографию своего предшественника, где голова Лиди Лассо была приставлена к телу мусульманина, поглощенного чтением Корана... Согласно той же истории, захватив в плен злополучного Лиди Лассо, он опустился перед ним на колени, воздал хвалу его досточтимым предкам и лишь затем отдал приказ заковать свергнутого императора в цепи.

Ни в первую встречу, ни в течение трех последующих месяцев о настоящей цели моего визита не было сказано ни слова. Я был гость Раса Таффари, «христианин с дружеским визитом у христианина», и в этом качестве сполна

изведал эфиопского гостеприимства. Я побывал в церкви святого Стефана и осмотрел мумии славных императоров абиссинских; увидел пресловутое озеро Тана, оказавшееся внутренним морем миль в шестьдесят длиной и в двадцать пять шириной; ездил в американском автомобиле его величества по дорогам, где в сезон дождей не пройдет даже буйвол; и в первый же вечер в гостях у Раса Таффари, вернувшись к себе после ужина, обнаружил на полу у кровати двух причудливо причесанных девочек лет двенадцати — лучший из императорских подарков, который я с сожалением отклонил, сославшись на усталость и условности своего воспитания.

6

Начался сезон дождей, запас чудодейственных таблеток у секретаря подходил к концу, а никого так и не интересовало, когда я намерен передать свою коллекцию фирманов и эдиктов.

Мы каждый вечер ужинали с Расом Таффари, но разговор наш был ограничен темами сугубо европейскими. Как абсолютный монарх, если такие вообще бывают, он был обескуражен самим существованием демократии, и вопросы его обнаруживали забавную смесь ребячества и мудрости. Он полагал, что ни один «христианский государь» не «дозволит» выборов в парламент, но в то же время беспощадный анализ истинных причин мировой войны говорил о циничной проницательности его ума.

— Зачем вы, русские, воевали с Германией, — спрашивал Рас Таффари, — когда на самом деле воевать должны были Германия и Англия? Почему вы не сохранили нейтралитет? Пусть бы ваши соседи перерезали друг друга.

Отвечать было нечего, как и на любой вопрос, заданный с позиций чистого здравого смысла, и чем больше говорил он об ошибках, совершенных моими родственниками, тем яснее мне становилось, что во главе Государственного совета надо было поставить абиссинца.

Как-то вечером, слегка устав от постоянных экскурсов в прошлое, я намекнул Расу Таффари, что было бы целесообразно поговорить о чем-нибудь, ближе касающемся святых мест. Он секунду подумал, взвешивая предложение, и сказал:

— Приезжал сюда как-то раз английский генерал — обсуждать новый договор. Человек он был славный, все его любили. Мы подписали бы договор, если бы он уважал наши обычаи. Он же пытался приучить нас к темпу лондонской жизни, а это мы делать отказались. Согласно нашим традициям, ему следовало ждать по меньшей мере месяц, прежде чем коснуться цели визита, но, понимаете, это был всего лишь англичанин...

Рас Таффари задумчиво погладил черную бороду и вздохнул. Этот жест встревожил меня.

— И чем все закончилось?

— Это грустная история, — признался Рас Таффари. — Пришлось дать ему урок эфиопского этикета, так что для начала мы сказали, что мой четвероюродный брат скончался в путешествии и до конца траура никаких дел вести нельзя. Мы носили траур шесть недель. Потом настал Великий пост. Он продолжался еще семь недель. Тем временем наступила весна и подошел день,

когда, согласно древней эфиопской традиции, императорский двор и все сановники должны принять сильную дозу одного снадобья. На нашем языке он называется «Касса», и мы не даем аудиенций неделю до него и две недели после...

В обеденной зале Императорского дворца в Аддис-Абебе повисло долгое молчание. Я хотел было узнать точную дату начала Кассы, но ужасная судьба английского генерала заставила меня умерить свое любопытство.

Так прошел еще месяц. Наш хозяин начал проявлять интерес к фашистскому режиму в Италии, так что забрезжила надежда, что оттуда мы через Средиземное море перейдем к Палестине.

Однажды утром — это было, если быть точным, наше сто двадцать пятое утро в Эфиопии — нам нанес визит достопочтенный премьер-министр. Его глаза сверкали, и то, как путано он изъяснялся по-французски, выдавало всю степень его волнения. Впервые за всю историю потомков царицы Савской императрица Абиссинии изъявила желание вкусить пищу в присутствии чужестранцев: божественная Заудита, дочь величайшего императора Эфиопии Менелика II и тетя нашего дорогого друга Раса Таффари приглашала меня как почетного гостя на торжественный ужин, который должен был состояться на следующий вечер. Слова были бессильны выразить мой восторг, так что я молча поклонился. Когда дар речи вернулся к премьер-министру, он заметил, что теперь самое время передать его господину мою коллекцию фирманов. Это весьма дельное предложение было поддержано моим смертельно бледным секретарем с несколько излишним энтузиазмом.

— Потихе, потихе, — сказал я ему по-русски, сохраняя на лице маску полнейшей невозмутимости. — День Кассы может настать раньше, чем нам кажется.

Следующие сутки были отданы изучению правил этикета. За отсутствием прецедентов специально назначенной комиссии из четырех дворцовых министров предстояло решить, как вести себя чужестранцу, сидящему по правую руку от императрицы Абиссинии. Четыре мудреца, уstraшенные неподъемностью задачи, обратились к моему опыту: не соглашусь ли я быть одновременно церемониймейстером и почетным гостем? Я согласился, и решил вести себя с божественной Заудитой, как с ребенком, который впервые ужинает в ресторане. Меня ждал мгновенный успех — как у Заудиты, так и у трясущихся придворных.

Я начал с комплимента хозяйке по поводу расположения бриллиантов в ее короне. Она была весьма польщена и осведомилась, доволен ли я эфиопской кухней.

— Вам, вероятно, надоело дважды в день есть курицу, — сказала она скромно, — но в сезон дождей невозможно подвозить провизию из Джибути.

Я отвечал, что курицу очень люблю, хотя бы по той причине, что нечасто могу позволить ее себе в Париже. Она уронила вилку и пришла в крайнее замешательство. Сама мысль о том, что у брата великого белого царя может не хватать денег на жареную курицу, была выше ее понимания. Премьер-министр поспешил с объяснениями, суть которых осталась мне неизвестна: говоря в

присутствии императрицы, он должен был закрывать лицо платком, дабы не «осквернить» ее своим «нечистым дыханием».

После ужина меня пригласили осмотреть дрессированных диких зверей ее императорского величества, и мы очутились среди двух десятков львов, тигров и пантер, свободно разгуливавших по просторной зале. Мой секретарь попытался было избежать этого лишнего проявления монаршего гостеприимства, но услышал от Заудиты, что человек с таким широким кругозором многое потеряет, если не ознакомится с результатами методов дрессировки, применяемых в Абиссинии. Губы его шевелились в горячей молитве, и, когда я предложил ему погладить по голове одну пантеру, особенно красивую, он посерел и проглотил пару таблеток.

На следующее утро я передал пресловутую папку с документами своему другу Расу Таффари. Вся церемония длилась меньше пяти минут, хотя путь к ней занял сто двадцать семь дней. Моя задача была выполнена, дело было за Лигой Наций. По последним известиям, летом 1932 года ее «подкомиссия по мандатам» все еще обещала вынести «быстрое и справедливое» решение.

— Может, побудете в Аддис-Абебе еще месяц? — спросил Рас Таффари. — Тетя осталась очарована беседой и была бы счастлива еще раз вас увидеть.

Я полностью разделял дружеские чувства императрицы, но, как выяснилось, дела чрезвычайной важности требовали моего немедленного возвращения в Европу... Мы пожали друг другу руки и пообещали, что скоро встретимся. Рас Таффари сказал, что ждет меня на следующий год и надеется, что я пробуду в Аддис-Абебе гораздо дольше. Ему нравились рассказы о царствовании моих родственников — по ним он учился, чего не следует делать.

Я вновь услышал знакомый мотив русского военного марша, понимая, что, возможно, в последний раз в жизни мне оказывали почести, подобающие члену императорской фамилии. Нужно чуть больше шести недель ехать пароходом, поездом и на буйволах, чтобы найти людей, которые еще уважают прошлое.

Глава IX

Пузыри земли

1

Вскоре после возвращения из Абиссинии в Париж, в начале 1926 года, я впервые встретился с Альфредом Ловенштейном, финансистом.

У меня зазвонил телефон, и низкий, звучный голос произнес:

— Я говорю по поручению господина Альфреда Ловенштейна.

— Да, — отозвался я, и голос добавил:

— Господина Альфреда Ловенштейна из Брюсселя.

— Да, — повторил я и тут же вспомнил автомобиль, украшенный золотом и платиной, величиной с трамвай, который часто попадался мне на глаза перед входом в «Ритц» и рядом с которым двое шоферов, один великолепнее другого, с энтузиазмом объясняли прохожим, что это чудовище принадлежит господину Ловенштейну из Брюсселя.

— Мой патрон хотел бы встретиться с вами по делу чрезвычайной важности и не терпящему отлагательств, — пояснил представитель человека, чье баснословное состояние, если верить европейским сплетням, затмевало богатства царя Мидаса и Джона Д.Рокфеллера.

Я был польщен, хотя и несколько удивился. Было очень мило со стороны господина Ловенштейна пожелать встретиться со мной, и я не сомневался, что проблемы, его занимающие, непременно должны быть «чрезвычайными» и «не терпящими» — но я-то чем мог услужить этому Наполеону европейского послевоенного предпринимательства?

— Одну минуту. — Я прикрыл трубку ладонью и повернулся к своему секретарю. — Что вы об этом думаете?

Он пожал плечами.

— Ничего. Правда, я знаю, что его дом в Брюсселе построен из черного мрамора и что он заявляет, будто прибрал к рукам все мировое производство искусственного шелка.

— Ну и что? Вы полагаете, теперь он хочет посоветоваться со мной, как быстрее лишиться и своего дома, и своей промышленности?

— Кто знает.

Мой секретарь явно бросал на ветер свои таланты; такого расторопного помощника стоило бы привлечь к работе в совете Лиги Наций. Я снял руку с телефонной трубки и дал согласие на встречу с господином Ловенштейном, к нескрываемой радости его представителя.

— Премного благодарен, — сказал он. — Мой патрон несомненно оценит вашу благосклонность. Наша машина будет ждать по вашему адресу завтра ровно в два часа пополудни.

— Прошу вас, не надо! — невольно воскликнул я, содрогаясь при мысли, что буду ехать по улицам Парижа на платиновом монстре господина Ловенштейна. — Я бы предпочел приехать сам.

— Но от Парижа до Бурже почти двадцать километров.

— Почему Бурже? Вы имеете в виду аэродром Ле Бурже?

— Именно. Там вас будет ожидать самолет господина Ловенштейна.

— Вы шутите? Или ваш патрон привык проводить деловые беседы на определенной высоте?

— Не совсем. Ну как вы не понимаете — до завтра он не может знать, примет ли вас у себя дома в Брюсселе или на своей вилле в Биаррице. В любом случае наши пилоты позаботятся, чтобы вы не испытали при перелете никаких неудобств.

Он прибавил что-то относительно типа двигателей, которые применяются исключительно в воздушном флоте господина Ловенштейна, и повесил трубку, пока я еще подыскивал подходящие слова, чтобы выразить свое изумление.

Я выругался. И он и его хозяин, похоже, позаимствовали манеры вести переговоры у героев голливудских фильмов. Единственным логичным выходом, казалось, начисто забыть все случившееся и не откликаться, когда завтра позвонят в дверь. Но судьба распорядилась иначе. Получалось так, что куда бы я ни пошел в тот день, я всюду натыкался на имя господина Ловенштейна. Оно смотрело на меня с заголовков газет, описывавших его «благородный

поступок», заключавшийся в предоставлении бельгийскому правительству займа в сто миллионов франков, а громадные плакаты, расклеенные вдоль Больших Бульваров, выражали надежду, что его «славный пример» вызовет во французских финансистах патриотическое воодушевление. Мое любопытство разгорелось, и я решил позвонить своему старому знакомому, известному парижскому банкиру, и спросить, что ему известно об этом примечательном брюссельце. Мой друг рассмеялся — полудружески-полузавистливо.

— Значит, и вы не устояли перед шармом господина Каннитверстана?

— Как вы его называли?

— О, это всего лишь псевдоним, которым мы называем его в нашем банке.

Помните тот бородатый анекдот об иностранце, приехавшем в Амстердам?

— Навряд ли. И что с ним случилось?

— А вот что: каждый раз, когда он спрашивал у встречаемых, кто владелец того или иного здания или фабрики, он неизменно получал один и тот же ответ: «Kan nit verstan», что на местном наречии значит «Я вас не понимаю». Ну, и к концу первой недели в Голландии наш иностранец вздохнул и задумчиво воскликнул: «Этот Каннитверстан, должно быть, сказочно богат, раз владеет всей этой собственностью...».

— Иными словами, — сказал я, расслышав горечь, с которой мой друг рассказывал эту маленькую историю, — вы склонны подвергать достижения Ловенштейна сомнению. Что это, профессиональная ревность или надежные сведения?

— Ни то ни другое, — ответил он угрюмо. — Почему бы мне не усомниться в репутации человека, о котором никто и слыхом не слыхивал еще восемь лет назад, но который теперь в состоянии диктовать условия правительствам могущественных держав... В конце концов, я всего лишь банкир, а не чудотворец. У моих предков два столетия ушло на создание нашего банка, и хуже всего то, что, когда Альфреда Ловенштейна и след простынет, отдуваться придется нашему брату. Боюсь, именно нам придется расплачиваться за хаос, который сотворили все эти сверхгении!

— Значит, вы бы не советовали мне с ним встречаться, так?

— Как раз напротив! И поторопитесь, потому что, сдается мне, золотые деньки финансистов-фокусников подходят к финалу. Вспомните Шекспира:

«Земля, как и вода, содержит газы —

И это были пузыри земли.

Куда они исчезли?»

— Вы, должно быть, много читаете, — заметил я осторожно.

— Мне только этим и осталось заниматься, — отозвался он саркастически.

— Нам, замшелым, старомодным трудягам, не тягаться с Крейгерами и Ловенштейнами. Мы ползаем — они летают!

— Да уж, — согласился я. — Он настаивает, чтобы я прилетел к нему по воздуху...

— Почему нет? — проворчал мой друг. — Бог свидетель, он и из воздуха делает приличные суммы.

Летчики — целых трое — встретили меня у въездных ворот Ле Бурже. Оказалось, что господин Ловенштейн пожелал, чтобы я выбрал самолет: «Хендли-Пейдж», или «Фоккер», или «Буазен», или...

— Эй, постойте, постойте, — перебил я, еще мучаясь глазной болью от слишком долгого пребывания в золотом с платиной интерьере автомобиля-чудовища. — Мне кажется, вам самим следует знать, какой из самолетов в лучшем состоянии?

Они были, похоже, уязвлены, почти оскорбились.

— Мы хотели сказать, — произнес высокий, властный англичанин, — что если вам необходимо по пути следования выполнять письменную работу или диктовать, вам было бы удобнее заниматься этим на борту «Фоккера», поскольку в нем имеется полностью оснащенный кабинет. С другой стороны, если вы расположены любоваться панорамой, вам следует выбрать двухместный «Буазен».

Выбор между диктовкой и панорамой решился в пользу последней, и я осведомился, могу ли узнать, куда мы направляемся, в Брюссель или в Биарриц?

— Приказания при мне, в пакете, — объяснил англичанин. — Ваш пилот вскроет его на высоте двух тысяч футов, как обычно.

— Как обычно? Разве война еще не закончилась?

Нет, он знал, что война закончилась победой восемь лет назад, но мистеру Ловенштейну было бы нежелательно, чтобы репортеры следили за перемещениями его гостей.

— Лучше принять все меры предосторожности, когда работаешь с таким важным человеком, как мистер Ловенштейн, — заключил англичанин.

Я вздохнул. Я начинал ненавидеть само слово «важный».

Взлетали мы в атмосфере, полной секретности и перешептываний между служащими аэропорта. Пилот спросил, приходилось ли мне летать раньше, и я понял, что моя личность не была раскрыта ни ему, ни его товарищам. Когда высота в шестьсот метров была набрана, он разорвал большой запечатанный пакет и передал мне лист плотной бумаги с водяными знаками. Там значилось «Биарриц» и вместо подписи стояла одна-единственная буква «L». Я почувствовал облегчение: удовольствие от нескольких часов в Биаррице вполне стоило того, чтобы вытерпеть эту нелепую комедию.

Я ожидал, что мы сядем в Байонне, поскольку это был единственный аэродром на весь юго-западный угол Франции, однако я недооценил безграничные возможности господина Ловенштейна. Пролетев около пятидесяти километров, мы опустились на широкую взлетную дорожку, непосредственно примыкавшую к тому, что господин Ловенштейн называл своим «скромным уголком для уик-эндов», но что выглядело как самый большой загородный дом к северу от Суэца.

Еще одно путешествие, на сей раз сквозь анфиладу блестящих покоев и монументальных дворцовых, и я предстал пред светлые очи Альфреда Ловенштейна. Он стоял за неожиданно маленьким письменным столом в своем кабинете, невзрачный мужчина лет сорока пяти, одетый в костюм из тяжелого английского твида и производивший впечатление крайней нервозности и беспокойства. Я заметил, как лицо его передернулось, когда он попытался

изобразить подобие приветливой улыбки, и это мало соответствовало сложившемуся у меня представлению о бойком нуворише. Ничто в его внешности не говорило о подсознательном высокомерии обладателя громадного богатства, столь непривычного как для уолл-стритских дельцов, так и для проживавших на войне европейских воротил. Он бы легко сошел за скромного немецкого торговца на вакациях, но по-французски говорил с явным бельгийским выговором. Это была французская речь человека, занявшегося грамматикой довольно поздно.

— Не хотел причинять вам столько беспокойства, — затараторил он, проглатывая большую часть слов и предоставляя моему воображению завершать фразы, — но понимаете... Дело в том.... Позавчера... Или это было на прошлой неделе? Нет, это было позавчера, мне о вас рассказали столько приятного, чрезвычайно лестного. Знаете, кто ваш лучший друг? Кто любит вас? Кто желал бы вам помочь?

Нет, я не знал никого, кто бы соответствовал этому описанию. А хотелось бы.

Он засмеялся и махнул рукой.

— Я вас не виню... Нисколько.... Горький хлеб изгнания... Воспоминания прошлого... Пренеприятнейшее положение... Но послушайте совета знающего человека — мужайтесь! Еще не все потеряно... Я говорю, мужайтесь! Прежде чем покинуть этот дом, вы станете другим человеком... Никогда ни в чем не будете нуждаться до конца жизни... Не странно ли, что нам с вами приходится знакомиться вот так?

— Да, странно, но я еще не услышал имени своего загадочного верного друга.

— А! — лицо его снова передернулось, изображая улыбку. — Мне бы не следовало раскрывать его имя, но я раскрою... Я *должен*, потому что нам с вами предстоит совершить великие дела. Ваш друг, который рассказал мне о вас, не кто иной, как его величество ***.

И Ловенштейн назвал имя одного европейского монарха, хорошо известного своим героическим поведением во время войны. Он, конечно же, лгал, потому что у того человека не было ни малейших причин разговаривать обо мне с кем-либо, тем более с Альфредом Ловенштейном.

— Как это было мило со стороны Его Величества дать мне столь блестящую рекомендацию, — сказал я кротко. — Я напишу ему и поблагодарю за доброту.

Ловенштейн нахмурился.

— На вашем месте я бы этого не делал. У нас были секретные, строго секретные переговоры. Его Величество просил меня помочь его министру финансов, и я, естественно, с радостью предложил предоставить в его распоряжение все мое состояние, до последнего франка. Деньги меня больше не интересуют. У меня их много, бочки, тонны. Если бы я даже дожил до тысячи лет, я бы и частицы своего состояния не израсходовал. Я не похож на этих глупых американцев, которые умирают за рабочим столом, пересчитывая свои доллары. Американцы! — он усмехнулся и щелкнул пальцами. — Я же показал им, как делать деньги, разве не так? Я показал им, кто настоящий хозяин индустрии меди и искусственного шелка, разве не так?

Я кивнул. Пришлось кивнуть, потому что он ждал этого. Насколько я знал, он вполне мог показать американцам все это и еще больше.

— Но все это в прошлом, — продолжал разговорчивый хозяин. — Теперь, когда я стал тем, кем стал, я должен осуществить три своих намерения. Прежде всего я должен выиграть скачки в Эпсоме не позже весны 1930 года. Я дал себе пять лет на то, чтобы выполнить этот трюк.

Господин Ловенштейн проявил большую осмотрительность, предоставив себе значительное время. Тем не менее я бы не поручился за то, что даже человек столь впечатляющего могущества может заставить лошадь первой прийти к финишному столбу в Эпсом-Даунсе.

— Вы думаете купить жеребят? — осведомился я, надеясь, что он спутал меня с моим кузеном Дмитрием, знаменитым своими познаниями по части лошадей.

— Никоим образом, — ответил Ловенштейн с брезгливой гримасой. — Где гарантии, что они смогут в будущем стать чемпионами?

Гарантий не было, я с готовностью согласился.

— Нет, мой дорогой великий князь, — сказал господин Ловенштейн, похлопывая меня по плечу. — Я воспользуюсь совершенно иными методами. Я просто каждую весну, все следующие пять лет буду покупать среди лучших участников Эпсомских скачек наиболее вероятных победителей... Замечательная мысль, а?

Я с трудом сглотнул и осторожно предположил, что некоторые из англичан, владельцев участников Эпсомских скачек, возможно, откажутся продавать своих скакунов.

— Знаю я их всех, включая Ага Хана, — сказал господин Ловенштейн. — Вопрос только в деньгах, больше ни в чем. Сто тысяч фунтов больше или меньше, и вы увидите, как я поведу победителя к Королевской трибуне. Ну, у нас осталось еще два моих намерения, и именно тут мне нужна ваша помощь.

Он понизил голос, взглянул мне прямо в глаза и выпалил:

— Я хочу титул и положение в высшем свете.

Мое недавнее общение с правителями Эфиопии, ожидавшими, что я верну им абиссинскую обитель в Иерусалиме, существенно уменьшило мою способность удивляться, однако данный поворот событий неприятно меня поразил.

— Титул и положение в высшем свете, — повторил я машинально, — и именно это заставило вас вызвать меня в Биарриц?! Мне казалось, ваш представитель упомянул о деле чрезвычайной важности и не терпящем отлагательств.

— Это важнее, чем что бы то ни было, а что до безотлагательности, то чем быстрее, тем лучше! Насколько я понимаю, владелец победителя в Эпсоме, как правило, титулованная персона с самым высоким положением в обществе.

— Совершенно верно, — подтвердил я, уже не сомневаясь, что бедняга повредился в уме. — Но зачем вам понадобился я? Я не жалую титулы и никогда не был светским львом. Что я могу сделать?

— Многое. Помочь мне сломать социальные барьеры в Париже и Лондоне, а об остальном я позабочусь сам. Вот перечень людей, которых я хочу видеть у

себя в гостях на выходные. Если мне удастся заполучить их сюда, я со всеми буду на широкой ноге и без малейшего труда получу титул от моего собственного королевского двора!

Я взглянул на перечень. Это было словно сжатое издание «Готского альманаха». Никто рангом ниже виконта не был допущен в ряды предполагаемых гостей господина Ловенштейна.

— Очень славные имена, — поздравил я его.

— Первоклассные. Этот список составлен двумя дипломатами высшего ранга из министерства иностранных дел. Ну теперь перейдем к делу.

— К делу?

— Да. Я готов платить вам две тысячи долларов в неделю в течение пяти лет.

— И чем я должен заниматься взамен?

Он достал из стола лист бумаги и передал мне. Затем откинулся в кресле и закурил сигару. Похоже, он считал, что его работа закончена, а сейчас пора мне приступить к своей.

— Что это? Приглашение? — спросил я, увидев, что первая фраза просила об «удовольствии видеть ... на приеме в саду, который будет дан» и т. д.

— Что вы скажете о подписи?

— О подписи?

Я посмотрел и задохнулся. Там значилось: «По поручению Альфреда Ловенштейна — Александр, Великий Князь Российский»!

— И это все, что мне от вас надо, — сказал Ловенштейн, попыхивая своей огромной черной сигарой. — Всего лишь подписывать мои приглашения! Не слишком обременительная работа, учитывая жалованье, которое я предлагаю, не так ли?

Столь искренним было его восхитительное невежество, столь поучительно было наблюдать, как этот финансовый гений Европы одновременно признавался как в презрении, так и в обожании большого света, появившегося задолго до него, что с моей стороны было бы непростительным ребячеством устроить сцену и попытаться отрезвить его. Я впервые с четырнадцатого года рассмеялся, и мы расстались друзьями. Я обещал внимательно наблюдать за его приближением к Королевской трибуне; он, в свою очередь, не сомневался, что я пересмотрю свое глупое решение и приму его чудесное предложение.

— Я с вами скоро свяжусь, — говорил он, пожимая мне руку перед среброкрылым «Вуазеном». — Даю вам две недели на размышления, но потом мне придется сделать следующую ставку.

3

Его «следующей ставкой» оказался молодой французский герцог, носитель одной из древнейших в мире фамилий и вдобавок племянник популярного царствующего монарха. По-видимому, родители молодого человека, разгневанные его похождениями, снизили ему содержание, и он оплатил им, приняв предложение Ловенштейна.

Я бы ни за что не поверил, что подобное и впрямь может случиться, но у меня на столе лежало приглашение на тот самый широко обсуждаемый прием в

Биаррице за подписью: «По поручению Альфреда Ловенштейна — Герцог ***». К нему прилагалась коротенькая записка: «Полагаю, теперь вы будете раскаиваться, — писал мой великодушный друг, — особенно если я сообщу вам, что заполучил этого мальчишку за четверть той суммы, что готов был платить вам».

Я прочел и перечел невероятное приглашение. В нем были признаки надвигающегося общественного скандала, и я ожидал фейерверка сплетен, бури негодования и величественных протестов со стороны разгневанных родственников и друзей герцога. Я ждал напрасно. Случись подобное до четырнадцатого года, высокородному наемнику господина Ловенштейна закрылся бы доступ во все клубы Европы, но теперь все просто пожимали плечами и говорили: «А чего вы хотели? Лучше уж быть секретарем сумасброда, чем остаться вообще без гроша. Ведь наш бедный франк потерял девять десятых своей прежней стоимости, так что мальчика надо похвалить за деловую хватку. В конце концов, он будет брать у Ловенштейна то, что Ловенштейн отобрал у всех нас». Вот и все. Никто не удосужился подумать, чего придется ожидать от аристократии, если коварному франку вздумается упасть еще раз.

Я не пошел на тот знаменитый прием в отличие от почти всех своих знакомых. Авангард 1-го Крестового похода не мог бы похвастаться более блестящими именами. Перечень титулованных особ обоего пола, откликнувшихся на призыв молодого герцога, можно было принять за реестр потомков первых крестоносцев, собравшихся на съезд на вилле в Биаррице.

Чрезвычайной «широте взглядов» высшего общества, вполне объяснимой в то лето финансовой паникой во Франции, суждено было получить дополнительный импульс несколько недель спустя, когда стало известно, что Ивар Крейгер предоставил правительству Пуанкаре значительный кредит. Он был единственным в Европе капиталистом, который по-прежнему верил в стабильность Франции! Местные газеты испытывали ощутимые трудности при написании имени благодетеля страны, однако в общем и целом было сочтено вполне уместным и справедливым, что спасти Французскую республику должен шведский спичечный фабрикант.

Прочтя новость о присуждении Крейгеру ордена Почетного легиона, я на мгновение задумался о том, как триумф заклятого скандинавского конкурента скажется на моем амбициозном друге из Брюсселя. Столь велико было различие их по складу характера, что порой невозможно было почувствовать поразительное сходство их методов. Рассматривая их на удалении, я понимаю, что и холеный викинг, и неотесанный бельгиец принадлежали к той же породе, что произвела Уго Стиннеса в Германии, Кларенса Хэтри в Англии и с дюжину гениев биржевых махинаций на Уолл-стрите. Явившиеся на свет в день Перемирия 1918 года, они дружно испарились к концу двадцатых. Ни один из них не пережил Век джаза, и если какие-то восемь лет отделяют крах империи Стиннеса от самоубийства Крюгера, это обстоятельство — не более чем заслуга умственных способностей немцев либо расплата за глупость американских инвесторов. Теперь, когда Стиннес, Крейгер и Ловенштейн покоятся в земле, а

Хэтри отбывает в тюрьме двадцатилетний срок, в Европе не осталось никого, кто бы поддерживал ритм двадцатых годов. Пузыри земли исчезли бесследно.

4

Все это кажется теперь ясно и просто — мы все крепки задним умом. Но летом 1926 года, когда я впервые встретился с Ловенштейном и возобновил знакомство с Крейгером, понадобился бы ум куда более аналитический, нежели мой, чтобы предсказать полный крах этих двух завоевателей. Я всегда относился к Крейгеру с большой симпатией. Он хорошо говорил, держался истинным джентльменом и обладал чрезвычайно редким даром понимать склонности и принимать терминологию любого, с кем ему доводилось в данный момент иметь дело. Его представили мне незадолго до войны во время моего летнего пребывания в Лондоне. В последующие годы я ничего о нем не слышал, за исключением того, что писали газеты о его гигантских деловых предприятиях.

С немалым удивлением и еще большим удовольствием нашел я, просматривая однажды утром свою почту, письмо за его подписью. Он писал, что только что прочел французское издание моей книги «Спиритическое образование» и хотел бы поговорить со мной. Это случилось на той же неделе, когда он пожаловал заем правительству Франции, и мне было вдвойне приятно осознавать, что такой занятой человек, как Крейгер, выкроил значительное время на столь далекое от денег занятие.

Я пригласил его поужинать в небольшом ресторане в старой части Парижа, где, как я знал, нам будет докучать не слишком много сплетников. Уже в машине я честно признался ему, что едва ли могу поверить, что он и впрямь интересуется спиритизмом. Он улыбнулся и ответил, что успехи в этом мире не мешают ему испытывать любопытство к потустороннему. Он осведомился, основаны ли мои теории об общении с духами на непосредственном опыте, или же меня ввел в заблуждение недобросовестный медиум. Я объяснил ему и методы, и результаты своих собственных экспериментов, и тут он неожиданно спросил:

— Если у вас нет планов на завтрашний вечер, не покажусь ли я слишком назойливым, если попрошу вас продемонстрировать мне, как это делается?

Я согласился, хотя и почувствовал себя неловко, зная, насколько бессмысленно проводить спиритический сеанс в присутствии скептиков и неверящих. Мы условились, что он придет ко мне на следующий вечер сразу после ужина.

Вылезая у ресторана из машины Крейгера, я заметил громадный предмет, поблескивавший в темноте. Наш шофер включил фары, и я узнал знаменитый экипаж Альфреда Ловенштейна. Я был поражен. Не в таком месте следовало обедать человеку, который решил выиграть скачки в Эпсоме. Быть может, подумалось мне, это его секретарь или шофер. Мы прошли внутрь, и там, за небольшим столиком у самой террасы, я увидел Великого Человека из Брюсселя, в одиночестве сидящего перед коктейлем. Все это казалось слишком примечательным, чтобы быть простым совпадением, и я вопросительно

взглянул на Крейгера. Он встретил мой взгляд невозмутимо, с выражением полной невинности.

— Что-то не так? — спросил он.

— Ничего, если не считать того, что Альфред Ловенштейн, по-видимому, не меньший любитель укромных ресторанов.

Крейгер оглядел весь зал и лишь затем повернулся к столу прямо напротив нас.

— Могу лишь сказать, — сказал он небрежно, — что этот человек и впрямь похож на Ловенштейна, по крайней мере на его фотографии.

— Вы с ним когда-нибудь встречались?

— Нет, — ответил он с легкой улыбкой, — хотя осмелюсь предположить, что он знает обо мне все.

Все это время Ловенштейн был сосредоточен на содержимом своего бокала. Похоже, он пытался разрешить задачу: почему засахаренная вишня плавает на поверхности вместо того, чтобы кануть на дно. Лишь когда мы уселись за стол напротив, он поднял свои бегающие глаза. Тут он изобразил неопишное удивление. Помахал рукой, крикнул «добрый вечер», лицо его скривилось в полуулыбке, и наконец он вскочил и направился к нашему столу.

— Ну, — сказал я, — после всего, что было, вам придется пожать руку своему конкуренту.

— Я не возражаю, — сказал Крейгер. — Не имею против него решительно ничего. Может, пригласите его присоединиться к нам?

Злобная мысль промелькнула у меня. Какую великолепную шутку можно было бы сыграть с обоими интриганами, попросту пожав Ловенштейну руку и отослав его обратно за свой стол... Увы! Мне так и не представилось такой возможности.

— Только русскому под силу устроить встречу между шведом и бельгийцем, — воскликнул Ловенштейн, приближаясь к нам с вытянутыми руками.

— Что этому русскому и впрямь нужно было сделать, — отозвался я, — так это вручить шоферу господина Крейгера запечатанные указания с условием вскрыть их только уже в пути.

И эта моя шутка пропала в тот вечер втуне. Столь велико было желание их обоих выказать свое дружелюбие и, должно быть, столь трудно было им решить, кому сделать первый шаг, что они перестали обмениваться комплиментами не раньше, чем нам подали ликеры. Тут Крейгер сказал:

— Почему бы не пригласить Ловенштейна на наш завтрашний сеанс?

Это было уже слишком. Я горячо запротестовал и не жалел слов, предлагая им встретиться где-нибудь в другом месте. Мы бились до полуночи. Разумеется, я проиграл.

— Только помните, — предупредил я Ловенштейна, — духи не питают интереса к производству искусственного шелка.

— Неужто я не знаю? — ответил он. — Они все свое время посвящают пересчитыванию спичек Крейгера.

Оглядываясь на тот жаркий, душный летний вечер в двадцать шестом году, я не питаю ни малейших иллюзий относительно причин, приведших Крейгера и Ловенштейна в мою скромную парижскую квартирку. Я понимаю, что, испытывая ко мне чувство благодарности за невольное посредничество, они хотели быть вежливыми до конца и продолжали разыгрывать комедию. И все же, вспоминая ясные глаза и красивое лицо Крейгера, я думаю, по меньшей мере его интерес был не полностью наигранным. Очень многое в скандинавском характере роднит его с русским: оба скрывают неподдельное спиритическое влечение под маской цинизма, и их недоверие к установленным наукой фактам лишь свидетельствует о глубоко укоренившейся жажде подлинного знания.

Если бы не присутствие Ловенштейна, мы бы вполне могли получить «результаты», но он начал смеяться и беспрестанно спрашивал, нельзя ли ему посоветоваться с «духом покойного Карнеги» относительно будущего сталелитейной промышленности. В конце концов я с отвращением прекратил сеанс, и мы скоротали остаток вечера за обсуждением политической ситуации в Европе. Насколько я помню, оба моих гостя придерживались того мнения, что ключом к стабильности в мире является франко-германский союз. Ни один из них не предвидел возможности кризиса в Америке, до которого оставалось три года. Посторонний, послушав разговор Крейгера и Ловенштейна, был бы весьма разочарован в своих ожиданиях. Они беседовали совершенно в духе двадцатых и не видели туч на горизонте.

В последнюю мою встречу с Крейгером, весной 1930-го в Нью-Йорке, я напомнил ему о его оптимистических речах и спросил, как человек с таким громадным опытом мог пребывать в таком счастливом неведении о надвигающейся катастрофе.

— Я и сейчас оптимист, — сказал он убежденно. — Мы переживаем кризис, но будем свидетелями еще большего процветания. Я никогда не был биржевым махинатором в отличие от нашего друга Ловенштейна и поэтому отказываюсь преклоняться перед его истерическим Рынком. Ловенштейн рухнул потому, что попытался подменить выдержку строителя лукавством игрока. Он мог протянуть еще год или около того, но конец был бы тот же самый — прыжок с самолета или пуля в лоб... Ему и ему подобным никогда не победить.

Больше я Крейгера не видел. Охотно признаюсь, что до той самой мартовской субботы, когда парижские газеты напечатали экстренное сообщение о его самоубийстве, я продолжал думать, что нашему перевернутому с ног на голову миру очень повезло, что человек калибра Ивара Крейгера все еще в числе живущих. Поэтому даже сегодня, невзирая на все сенсационные признания и ошеломляющие открытия, я отказываюсь верить, что он был всего лишь проходимец. Возможно, жертва. Возможно, козел отпущения. Но не проходимец.

Крейгер пережил Ловенштейна на три года восемь месяцев, и то, что он увидел за это время, должно быть, заставило его пожалеть, что он так долго ждал. Его бельгийский соперник утешился хотя бы в одном: выпрыгнул ли он в июле двадцать восьмого из самолета, или его труп швырнули в Ла-Манш убийцы (расследование Скотланд-Ярда показало, что открыть на лету дверь ловенштейнов-ского «Фоккера» под силу лишь троим великанам) — ему почти

удалось осуществить свое намерение номер 1! Да, это был Большой Парижский стипль-чез вместо Эпсом-ского дерби, но он все-таки услышал, как толпа восславляет его блестяще-золотые цвета, пусть даже ему пришлось за баснословную сумму купить победителя у его предыдущего владельца прямо накануне заезда, и пусть даже ему пришлось довольствоваться одобрителем отзываютом всего лишь от президента республики вместо короля. Того скакуна звали Магеллан, а заезд проводился в Отейле пятнадцатого июня 1928 года. Президентом Соединенных Штатов был Кальвин Кулидж, а «Дженерал Моторс» только что достиг «небывалого расцвета».

Глава X

Повесть о двух сестрах

1

Обе они дожили до восьмидесяти.

Когда умерла старшая, вместе с ней похоронили Старую Англию. Когда, спустя три года, за ней последовала младшая, исчезла последняя частица Российской империи.

Обе были датчанки, по происхождению и по характеру. Назови их кто-нибудь датчанками в лицо, обе смертельно бы обиделись. Александра была англичанкой — более чем сам «Юнион Джек». Мария была русской — больше, чем все московские колокола. Безгранична приспособляемость датских принцесс.

В моих мыслях они всегда были неразделимы. Когда бы ни спросили меня: «Как поживает ваша теща?» — я отвечал почти машинально: «Замечательно, она только что получила чудесное письмо от сестры».

И до самого конца, до того дня, когда я увидел ее в гробу в Копенгагенском кафедральном соборе, не приходило мне в голову, что моя теща никогда не жила «замечательно» и что три с лишним тысячи писем, полученных ею от сестры из Англии — по одному в неделю на протяжении более чем шестидесяти лет — дали ей три с лишним тысячи поводов прочувствовать пугающую разницу между двумя империями.

В 1860-х выбор между принцем Уэльским и цесаревичем был делом случая. Обе партии были для датской короны весьма выгодны. Обе принцессы — милы и хороши собой. Передумай в последний момент почтенные Канцелярии, и Александре достались бы С.-Петербург и хаос, а Марии — Лондон и гармония. Когда они уезжали с Копенгагенского вокзала, Александра завидовала Марии: Романовы неслыханно богаты, и в России нет королевы Виктории.

Богов тут упрекнуть не в чем: они сделали все, чтобы предупредить Марию. Ее нареченный, цесаревич Николай Александрович, умер вскоре после ее приезда в С.-Петербург. Особа суеверная кинулась бы обратно домой и постаралась бы выйти за любого из пятидесяти имевшихся в наличии германских владетельных князей. Но был еще отец, король датский, и он ожидал, что дочери обеспечат его стране то, в чем она всегда нуждалась:

дружественный флот и дружественную армию. Датский министр в С.-Петербурге полагал, что еще не все потеряно. Он перенес внимание на нового цесаревича, Александра Александровича. Правда и то, что расстроенная принцесса была предполагаемому жениху едва по локоть, но это полностью соответствовало лучшим традициям расхожей евгеники: муж-богатырь и миниатюрная жена. Причины, двигавшие Россией в ее решимости иметь на троне датскую принцессу, остались неизвестны. Вероятно, нашему министру иностранных дел не терпелось насолить королю Пруссии. В делах сватовства русские дипломаты всегда отличались смелостью.

Итак, брак состоялся, и моя будущая теща упустила возможность бежать. «Так было предназначено», — сказала она и потом никогда не жаловалась. Как-то раз, когда средства наши истощились, а будущее виделось особенно мрачным, я высказал мысль, что судьба обошлась с ней жестоко; она же решила, что я сошел с ума. Она не поменялась бы судьбой со своей сестрой Александрой, даже если бы ей предложили всех индийских раджей и все алмазы Южной Африки.

Она чувствовала: так уж было «суждено», чтобы пятьдесят лет их разделяла пороховая бочка Европы, а остальные восемь — щепетильность демократии. С 1863 по 1917 год печальной обязанностью Марии было помнить, что между львом и медведем не может быть крепкой дружбы даже в безумные три года их военного альянса. С 1917 по 1925 год до сведения ее британского величества постоянно доводилось, что Британии нет резона оказывать особое гостеприимство престарелой даме, бывшей некогда императрицей всероссийской. К англичанам можно отнести слова, сказанные Гейне о другом народе: «Для бывших места нет».

К счастью для Александры, мнение Даунинг-стрит на том свете в счет не идет, и она смогла позволить себе роскошь посмертного жеста: когда вскрыли и прочли ее завещание, выяснилось, что большую часть драгоценностей и немного денег она отказала семидесятисемилетней сестре. Она полагала, что ее горячо любимый сын Джордж и невестка Мария, люди вполне обеспеченные и живущие в условиях разумного комфорта, поймут ее желание помочь удрученной изгнаннице. Они поняли.

В Сочельник 1925 года в кабинете большого дома Гвидор в Дании сидела пожилая стройная женщина. В руках она держала список адресатов, которым к Рождеству всегда посылала телеграммы, и в голове у нее не укладывалось, что имя, возглавляющее список, надо вычеркнуть.

— Даже в семнадцатом году, — сказала она, — когда нас арестовали большевики, я ухитрилась послать телеграмму в Англию. За шестьдесят три года я не пропустила ни единого раза.

2

Искусство невинной лжи может привлекать честолюбивых дилетантов — об этом свидетельствуют трогательные усилия американских президентов — но тонкостями его владеет только профессионал. Даже в вечно улыбающейся Европе дней минувших две царственные датские сестры были по этой части непревзойденными виртуозами. Когда утром они выезжали на прогулку —

Александра в Гайд-парк, а Мария по Невскому — казалось, что Маркс еще не писал свой «Капитал», а мир по-прежнему состоит из верных подданных, обожающих их величества. Величавость они получили в наследство, блеск — собственными неустанными трудами. Бесконечно терпеливые, они очаровывали, когда хотели учинить разнос, и вековое умение источать благодушие достигло при них пышности брахманского культа.

За словами «прекрасно» и «замечательно», которыми пестрила их переписка, скрывалось гордое нежелание признаться хотя бы собственной сестре, что дела идут все хуже.

— «Боевой дух русского народа замечателен», — писала Мария в трагические дни русско-японской войны.

«Все прекрасно», — писала Александра, когда о затяжных визитах короля Эдуарда на юг Франции узнали и в С.-Петербурге.

Каждую весну они встречались в Копенгагене. Длились эти встречи по три недели. Они обнимались, беседовали о милых пустячках, вздыхали: «Ах, как летит время», затем снова обнимались и говорили: «Ну, до следующей весны».

Ни слова о нарастающих беспорядках в России, ни намек на семейные осложнения в Бекингемском дворце.

— Как дела в России?

— Замечательно.

— А Ники? Я слышала, его популярность растет с каждым днем.

— Так и есть. А что Берти?

— Прекрасно. Я так счастлива.

— Рада слышать. А дети?

— Знаешь, Джордж скоро женится.

— Славный мальчик. Для меня он все еще ребенок.

И так бесконечно.

Обе, конечно, понимали, что Ники никогда не стать хорошим императором, а звания «идеальный муж» не присвоил бы Берти ни один придворный лизоблюд, но между сестрами был молчаливый уговор: щадить иллюзии друг друга. Благополучие, как они его понимали, состояло целиком из иллюзий, а те основывались на невинном притворстве.

Расположившись на яхтах в нейтральных водах Дании, на приличном расстоянии от европейских петушинных боев, эти три недели они проводили в атмосфере взаимного обожания и ободрения. Сам король Эдуард подчинялся правилу, согласно которому ни о какой политике, ни о чем, касающемся русско-британских разногласий и способном омрачить отношения двух лучезарных леди, три недели не может быть и речи. Для него, должно быть, было мукой часами сидеть за обеденным столом и не поруководить импровизированной международной конференцией, но с детьми секретных договоров не обсуждают, тем более если у детей уже седина.

Дети на обедах и ужинах сидели самые разные и самых разных возрастов. Только смерть могла бы помешать моим родным приехать на весенний слет в Копенгаген. Даже сейчас я словно вижу эти лица: принц и принцесса Уэльские (впоследствии король Эдуард и королева Александра), император Александр III и императрица Мария Федоровна, цесаревич Николай Александрович (впослед-

ствии царь Николай II), императрица Александра Федоровна, Альберт Виктор, герцог Кларенский, Джордж, герцог Йоркский (нынешний король Георг V), принцесса Луиза (впоследствии герцогиня Файфская), принцесса Виктория, принцесса Мод (впоследствии королева Норвегии), великий князь Георгий, великий князь Михаил, великая княгиня Ксения (впоследствии моя жена), великая княгиня Ольга, весьма юный Дейвид (нынешний принц Уэльский), его сестра Мэри (ныне принцесса) и брат Джордж (нынешний герцог Йоркский), я с братьями, моя сестра, великая герцогиня Мекленбург-Шверинская, и две ее дочери (нынешние датская королева Александрина и германская кронпринцесса), датский принц Христиан и датский принц Карл (нынешние короли Дании и Норвегии) и прочая, и прочая.

С благоговением сходились мы в святилище двух царственных матриархов — они сидели с противоположных концов длинного стола, с высокими прическами, прямые и торжественные, наблюдая, как детям раздают «сюрпризы», благожелательно улыбаясь взрослым и всем своим видом говоря: «Вот видите, в кругу семьи так легко забыть о существовании тайных канцелярий. Узы крови крепче секретных договоров». Но что бы они ни говорили, словами или улыбками, это никогда не звучало банальностью. Обе были на редкость искренни, и потому избитые пословицы в их устах не резали слух даже циникам. Когда Александра, взяв под локоть своего дюжего зятя императора Александра III, говорила, что отношения между великими державами должны основываться на бескорыстии, он чуть ли не с жаром говорил: «Вы правы». Любому другому за такой совет не сносить бы головы.

Лишь мировой войне удалось вычеркнуть весенние копенгагенские собрания из календаря европейских дворов. Когда я в последний раз поднялся на яхту королевы Александры — весной 1924-го после десятилетнего перерыва, я пожалел, что приехал. Одно дело знать, что многих из сидевших за длинным столом уже нет в живых, а дру-гое — видеть пустые места в столовой и слышать, как тихо стало на яхте.

— Совсем как в старые времена, — сказала теща и героически улыбнулась. Ничто, кроме присутствия двух лучезарных леди, о старых днях не напоминало.

Король Георг, королева Мария и их дети задержались в Лондоне. Кронпринцесса германская по-прежнему считалась «врагом» и приехать, само собой, не могла. Дети моей свояченицы, великой княгини Ольги, сидели на местах своих покойных кузин, дочерей их покойного дяди Ники. «Пошли на палубу, поиграем в теннис», — сказал я им и выскочил из каюты. Они последовали за мной — с интересом и скептицизмом.

— Вы играете в теннис, дядя Сандро?

— Да, — сказал я, — мы всегда играли в теннис на этой самой палубе.

— А царь тоже любил играть?

— Еще как. Они с вашим покойным дядей, герцогом Кларенским, были у нас чемпионы.

— А плавать вы умеете?

— А как же. Видите тот английский миноносец? — я показал им на пятнышко в полумиле от нас. — Раньше там стояла яхта российского

императора. Мы плавали отсюда туда, выпивали стакан молока, а потомплыли обратно.

— На эсминце продают молоко?

— Нет, — объяснил я, — там раньше стоял другой корабль. Русский.

Дети пошептались и с сомнением взглянули на меня.

— Что такое? — спросил я.

— Мы хотели спросить, дядя Сандро, — сказал старший, — вам с дядей Ники трудно было получить разрешение, чтобы приехать?

— Разрешение? Какое?

— Но вы же говорили вчера маме, что вам в датском консульстве в Париже несколько дней не давали визы.

— Верно, — согласился я. — Но просто датский консул в Санкт-Петербурге нас хорошо знал.

Слишком долго пришлось бы объяснять моим юным племянникам, что не в привычках царя и его родственников было путешествовать с паспортом. Они родились в Копенгагене уже после революции, жили с матерью в обстановке предельной умеренности и были уверены, что всякий русский всегда был в Дании *persona non grata*.

3

То что обеим сестрам, когда они умерли, было только восемьдесят, просто не укладывается в голове. Столько эпох, империй и политических курсов они пережили, что, казалось, им должно быть далеко за двести.

Когда они уезжали из родной Дании, Дизраэли еще только прорывался к власти, а лучшие стратеги Европы пророчили победу генералу Роберту Ли.

В день смерти Марии Федоровны Уинстон Черчилль публиковал четвертый том своих мемуаров, а американские банкиры бились над проблемой европейских репараций.

До последних своих дней они говорили о короле Георге как о мальчишке («Вечно он забывает надеть теплое пальто»), а при упоминании Бисмарка их красивые лица неизменно хмурились («Ох уж эти прусские юнкера, все они обманщики»). Не то чтобы они не помнили основных событий европейской истории или точного возраста своих детей и современников, просто, всю жизнь играя в бесконечной пышной постановке, они не считали нужным различать вчера и завтра. Старший сын Александры, герцог Кларенский, умер в 1892-м. Второй сын Марии Федоровны, Георгий, скончался от туберкулеза в 1899-м. Короля Эдуарда не стало в 1909-м. Царя вместе со всей семьей убили в 1918-м. Даты разнились, но значение имели не даты, а сами четыре трагедии, само сознание утраты.

— Большое счастье для сестры, — сказала однажды Александра, — что она не верит в смерть Ники.

Она имела в виду, что тоже хотела бы сомневаться в смерти мужа и любимого сына.

— Как прекрасна и гармонична была ваша жизнь, — сказал я ей как-то. — Вам выпала радость увидеть, как Великобритания становится самой могучей страной в мире. Вы были свидетелем величайших триумфов вашего мужа и

второго сына. Вас любит вся Британская империя, а ваш внук — кумир всего света.

— Но в то же время я похоронила двух самых дорогих мне людей, — ответила она спокойно, — и, к несчастью, дожила до дня, когда увидела гибель всего, чем дорожила сестра.

Оба мы были правы. Значит, не прав был кто-то другой. Последние восемь лет жизни Александры и одиннадцать лет жизни Марии были посвящены неблагодарной задаче — найти этого другого. Ревностные христианки, они верили в конечную мудрость деяний Творца, и готовность возложить вину за трагедии своей жизни на себя самих и свои недостатки спасла их от компромиссов с совестью. «Люди страдают за грехи свои». Это было довольно просто. Трудности начались, когда они попытались определить, должен ли праведник А. страдать в силу наказания, определенного грешнику Б. Всё это слишком по-русски, но русское отношение ко Всевышнему характерно для всех пожилых людей, будь это невозмутимые датчане или скептики французы.

Прибавилось ли счастья в мире оттого, что рухнула Российская империя? Спасло ли хоть единую душу то, что шестьдесят лет назад ее, тогда еще принцессу Дагмару в мирной Дании, привезли в Россию, где ей пришлось пережить убийство свекра, двух сыновей и пяти внуков?

— Бог дал, Бог и взял, — обе сестры верили, что в этой сентенции заключен ответ на все их сомнения. Александра часто ее повторяла. Мария тоже. Они всегда думали в унисон, даже если одна жила в Лондоне, в холодной роскоши Мальборо-Хауз, а другая горевала в одиночестве в Дании.

— Надо было вам остаться в Англии, — сказал я теще вскоре после ее переезда в Данию в 1924-м. — Разлука с сестрой плохо на вас действует. Вы захандрили.

Она покачала головой.

— Ты не понимаешь, Сандро. Мы с ней гораздо ближе друг другу на расстоянии. Когда я жила в Лондоне, я чувствовала себя чужой.

Гордость и застенчивость не позволили ей признать, что она просто отказалась делить сестру с ее семьей и Англией. Здесь, в Гвидоре, между ними было море, но образ Александры был при ней неотлучно. В Лондоне же, в Мальборо-Хауз, немало вечеров просидела она одна в своих покоях, пока у Александры был прием или торжественный ужин. Здесь ничего не изменилось, для своих домочадцев она по-прежнему была императрицей. Там ей ни на минуту нельзя было забыть, что с точки зрения Даунинг-стрит она лишь бедная родственница и компрометирующая гостья.

4

Королева Александра умерла 20 ноября 1925 года. В ответ на мое письмо с соболезнованиями король Георг написал:

«Дорогой Сандро.

Я глубоко благодарен тебе за сердечное письмо и за все твоё сочувствие в связи со смертью моей бедной матери. С её уходом образовалась пустота, которую нечем заполнить; порвалась последняя нить, связующая меня с моим счастливым детством. Но, слава богу, она обрела покой и избавилась от

дальнейших страданий. Умерла она прекрасно — просто тихо уснула. Я был рад предоставить в распоряжение милой Ксении домик во Фрагморе, где она живет с внуками, и помочь ей, насколько было в моих силах.

*С наилучшими пожеланиями от супруги
и самыми искренними заверениями,
твой любящий кузен
Джордж, R.I.».*

Несмотря на все сочувствие королю Георгу, меня, разумеется, больше беспокоила моя теща. Я понимал, что теперь ее очередь, и что ни я, ни ее дочери не в силах возместить ей утрату сестры. Для короля Георга его мать была «последней нитью», связывавшей его со счастливым детством. Для моей тещи сестра была единственной нитью, связывавшей ее с жизнью. Она любила детей и обожала внуков, но всегда говорила, что они справятся и без нее. С 1918-го ее миром была Александра. Теперь этот мир опустел, и ей не терпелось покинуть его.

Она прожила еще три года, но, кроме обычных повседневных забот, ее ничто уже не интересовало. Она никогда не отвечала на письма из Парижа, где ей сообщали о распрях между сторонниками Кирилла и приверженцами старого великого князя Николая Николаевича. Что до нее, то для нее в России был один император — ее сын Ники. Она была убеждена, что он еще жив. Так она, по крайней мере, говорила. Все прочие были нелепы или несносны или и то и другое.

Она считала, что было бы ниже ее достоинства принимать чью-то сторону, издавать манифесты и поднимать бурю в стакане воды. Лишь однажды выступила она с протестом, и больше ее голоса не слышали. Случилось это, когда она узнала, что некая полячка в Нью-Йорке выдает себя за великую княжну Анастасию, младшую дочь царя. «О чем они думают! — воскликнула она. — Что я буду сидеть в Гвидоре и не вступлюсь за свою внучку?» Я попытался объяснить ей, что с пристрастием американцев к чужакам и самозванцам бороться бесполезно, но она смертельно обиделась.

В начале осени 1928-го она расхворалась, а 12 октября того же года я получил от жены телеграмму с просьбой немедленно выехать в Данию. Когда я приехал, теща уже скончалась. Известие о ее смерти потрясло воображение датчан, и хоронили ее с почестями. Сама она, конечно же, предпочла бы лежать рядом с сестрой, но это было невозможно. Александра принадлежала Англии. Мария — империи, которой больше не было. Так что пришлось ей остаться там, где она родилась, среди людей, ставших для нее чужестранцами.

В последний раз за годы земного странствия и впервые после революции оказалась она во главе той процессии, что следует за всеми монархами, пока те способны раздавать награды и жаловать чины. В день своей смерти вдовствующая императрица всероссийская вдруг вернула себе то, что утратила в день отречения сына — центральное место на сцене. И пусть ближайшие ее родственники были изгнанниками без гроша за душой, за гробом ее шло чуть не полсотни коронованных особ, и столько посланников и чрезвычайных послов набилось в Копенгагенский кафедральный собор, что впору было развязывать еще одну мировую войну. Будь она жива и пожелай путешествовать,

большинство из них отказали бы ей в визе. Они приехали, чтобы попасть на фотографии американских репортеров и поднабрать материала для будущих мемуаров. «Она умерла, как жила, — трагическая императрица», — сказал один напыщенный дурак, которого я знал давным-давно. При звуке его голоса — голоса старого евнуха — меня охватило неодолимое желание схватить тяжелый подсвечник и ударить его по голове.

После похорон я несколько часов жал руки и беседовал с царственными европейскими кузенами — некоторых из них я не видел с 1914-го. Как жаль, говорили они, что из-за «чрезмерной гордости» усопшей они в последние десять лет ничем не могли ей помочь. «Совершенно верно», — соглашался я. Дурной тон — назвать короля лжецом на похоронах.

Вернувшись в Гвидор, я нашел там двух верных казаков. Они сидели на крыльце, уставившись в пустоту, осунувшиеся и безутешные. Что ждало их в будущем? Всю свою жизнь, как до, так и после революции, они состояли при императрице. Из всей ее некогда многочисленной свиты лишь эти двое остались верны ей в несчастьях 1917—1918 годов.

— Не тревожьтесь, — сказал я. — Я знаю, Ее Величество упомянула вас в завещании.

— Не в том дело, — сказал младший из них, бородатый силач саженого роста.

— А в чем же?

— Тоскливо без Ее Величества, — ответил он застенчиво.

5

Болтовня... Болтовня... Болтовня...

Словно все кузены соревновались в пустословии, и каждый боялся проиграть.

— Воистину великая женщина.

— Прекрасная мать.

— Благородное сердце.

— Совесть европейских монархов.

— Само обаяние.

— Трагический образ трагической эпохи.

Когда, наконец, они надели цилиндры и ушли — до следующих похорон — я отвел жену и свояченицу в памятную комнату, где тридцать лет назад мы играли в «волков» с императором Александром III. Нам нечего было сказать друг другу. Мы понимали: пришел конец России, которую мы любили, и очередь теперь за нами. Жизнь была еще прекрасна, и прямо под окнами плескалось море, но плыть нам отныне предстояло в одиночку. Ни одна душа на свете не могла теперь сказать: «Не волнуйся за Сандро, пусть перебесится. Он всегда возвращается». Как и положено эгоисту, я думал о себе и сокрушался, что потерял единственную женщину, к которой относился действительно с сыновним чувством. Моя мать умерла, когда мне было двадцать пять, и моя к ней привязанность никогда не выходила за рамки должного почтения.

На следующее утро прочли завещание. Как мы все и ожидали, за исключением пособия слугам, все свое имущество, собственные драгоценности

и те, что были унаследованы от королевы Александры, моя теща оставила двум своим дочерям. Единственным своим душеприказчиком она назначила короля Георга, что было благом для имущества и трагедией для парижских дельцов и ювелиров, которые, естественно, предпочли бы увидеть все эти ценности в руках своей излюбленной жертвы. Но, сколь плохо ни разбиралась старая императрица в делах денежных, и она понимала, что нет в мире человека менее способного сражаться с лощеными бандитами с рю де ла Пэ, чем ее посевший зять Александр.

Глава XI

Anima naturaliter christiana^[17]

1

Друзья, чье мнение я уважаю, не советовали мне писать этой главы.

— Над вами будут смеяться, — говорили они. — Вы должны понять, что никому нет дела до ваших спиритических опытов. Пишите о дворцах, королях и принцах, о ваших разнообразных приключениях, но, ради Бога, ни слова о спиритизме. Это так же скучно, как технократия, и далеко не так волнующе. Лучше поведайте еще что-нибудь о судьбе фамильных драгоценностей Романовых. Скажем, обедали вы как-то в Нью-Йорке, в «Колонии», или еще лучше — в клубе «Эверглейдс» в Палм-Бич, и вдруг за соседним столиком увидели женщину, на которой был жемчуг вашей жены. Разве не захватывающе?

Полагаю, да. Беда в том, что я никогда не видел таковой женщины и не узнал бы жемчуга своей жены, даже если бы разглядывал его до окончания Великой депрессии. Также никогда не тянуло меня проливать слезы по дворцам прошлого. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, нежели провести остаток дней своих в стране, где все дома свежестроенные и ни у одного из обитателей нет предков. А что до насмешек, то меня они не пугают; христианину не страшен этот дьявол атеистов. Всегда кто-то бывает объектом насмешек. И я был — в очень важные моменты истории своей родины. В 1902 году, когда предсказывал войну с Японией и настаивал на постройке второй колеи Сибирского пути. В 1905-м, когда считал, что Романовы должны или уйти, или вызвать революцию на решающий поединок. В 1916-м, когда советовал царю вышвырнуть из России британского посла и заменить разболтавшийся Петроградский гарнизон отборными частями гвардии и «Дикой» Кавказской кавалерийской дивизии. В 1919 году, когда клялся в Париже перед членами американской делегации, что через двадцать лет от Версальского договора не останется и камня на камне и что Советы закрепились в России надолго. В 1923-м, когда написал в парижской газете, что Гогенцоллерны еще заявят о себе.

Надо признать, что весьма лестно подвергаться насмешкам поколения, которое породило вашингтонских авторов «договора о вечном мире» и непоколебимых женевских защитников Китая.

Чтобы начать с начала, я вернусь в год своего пленения большевиками в Крыму. Разумеется, у меня не было особенной уверенности в том, что мне когда-нибудь удастся вырваться. Мне очень не хотелось умирать, но я ничем не смог бы помешать своим тюремщикам расстрелять меня, когда им вздумается. Члены моей семьи и двое старших великих князей полагали, что нам нужно использовать те немногие связи, что у нас оставались, как-то: написать письмо бывшему другу, имевшему тогда влияние в Советах, обратиться к скандинавским правительствам, но это был чистейший вздор. Той толики истории, что я усвоил, было достаточно, чтобы понять: уничтожение всех до единого членов императорской фамилии должно значиться первым пунктом в программе любой революции. Еще за несколько лет до революции я прочел статьи Троцкого, напечатанные в одной киевской газете, и помню, что в них он обнаружил глубокие познания в истории Французской революции. Не похоже было, что он повторит ошибку якобинцев и даст русским сродственникам Артуа и Орлеанских бежать.

Осознав это, я должен был найти, чем заполнить оставшиеся мне часы. Моя теща не выносила бриджа, а играть со старшими великими князьями я боялся. Внешне наши отношения были дружественны, но не успели бы мы назвать ставки, как я бы высказал великому князю Николаю, что я думаю о нем как о Верховном Главнокомандующем русской армией и политическом советнике государя. В свою очередь, он, несомненно, заставил бы меня выслушать свою оценку моих дарований, разумеется, чрезвычайно нелестную.

Итак, за бридж мы не сели. Старшие великие князья играли со своими женами в бесконечную игру «шестьдесят шесть». Теща читала Библию. Жена проводила дни с детьми. Меня оставили одного в кабинете. На меня взирали длинные ряды полок с книгами. С книгами о флоте и о нумизматике. Ни один из этих предметов не мог в то время хоть сколько-нибудь меня заинтересовать. Мои тюремщики и будущие палачи были матросы, что показывало, насколько мало узнал я о флоте из этих книг, а о своей коллекции монет мне хотелось забыть, потому что иначе я стал бы думать о Турции, Малой Азии, Палестине и всех прочих странах, где я провел самые счастливые часы своей жизни.

Я просто сидел и размышлял. «Если бы», все эти «если бы» молотом стучали в голове. Что бы со мной было, если вместо того, чтобы вернуться в 1893 году в Россию, я остался бы в Нью-Йорке и играл роль Жерома Бонапарта? Принесло хотя бы какую-то пользу, если бы я сумел подавить в себе презрение к Распутину и попытался бороться с его влиянием более продуманными методами? Смог бы я удержать Ники от отречения, поспеши я к нему в самый первый день беспорядков в Петрограде?

С места у открытого окна, где я обычно сидел, были видны два матроса у крыльца, и вид гранат у них на ремнях помогал мне анализировать все эти «если бы». Одно за другим я отмел те, что касались России вообще, Ники и его детей, моих братьев и моей семьи. Бесполезно было делать вид, будто меня беспокоило что-то еще помимо того обстоятельства, что сам я вот-вот исчезну из этого мира. Я посмотрелся в зеркало. Выпрямился. Казалось невозможным, что человеческое существо, которое я называл собой, и вправду может

прекратить существование. Я был по-прежнему сравнительно молод. Я по-прежнему любил хорошие вина. Меня по-прежнему влекло к женщинам. Почему я должен умереть и стать ничем?

Я зажег спичку, поднес ее на мгновение к левой ладони, затем задул. Спичка умерла, но энергия, заключавшаяся в ней, не пропала: моя левая рука стала теплее. Это обнадеживало, хотя в самом эксперименте не было ничего нового, ничего, что могло хотя бы йоту добавить к физическому закону о превращении энергии. Я вдруг вспомнил своего старого учителя физики, и чувство горечи охватило меня. Меня возмутила самонадеянность науки. Кто дал этим надменным ослам право провозглашать, что единственный вид энергии, способный пропадать даром, это энергия, заключенная в человеческом теле? В следующий миг я осознал, что сам рассуждаю, как осел, поскольку нет другой такой плодородной почвы, как кладбищенская земля. Я вспомнил изумительную последнюю страницу «Земли» Золя — описание той невероятно высокой пшеницы, которая росла на поле, ранее занимаемом кладбищем. Тепло от спички. Высокая пшеница от великого князя Александра. Логика тут была, куда ни кинь, но то была логика ученых. Стала очевидна необходимость перестать мыслить категориями науки.

Я завидовал своей теще. Ее слепая вера в истинность каждого слова Писания давала еще нечто более прочное, нежели просто мужество. Она была готова ко встрече с Создателем; она была уверена в своей праведности; разве не повторяла она все время: «На все воля Божья»? Ее метод был восхитителен в своей простоте. Хотел бы и я принять его, но тогда пришлось бы принять и все то, что к нему прилагалось. Священников. Соборы. Чудотворные иконы. Официальное христианство с его циничной доктриной о грешности плоти. Я знал, что в любую минуту меня могут расстрелять, но, до тех пор пока я видел на горизонте белый парус рыбацкой лодки и чувствовал запах сирени под окном, я отказывался верить, что земля — это лишь громадная юдоль слез. Земля, которую я знал, была неизменно радостной — возможно, потому, что я никогда не ходил в церковь общаться с Богом, но оставался в своих крымских виноградниках, благодарный за темно-красную сочность гроздей, дрожа от сознания, что владею всеми этими — насколько хватает глаз — виноградниками, садами, полями и горами.

Мои ученые старшие братья называли меня «пантеистом», но от этого слова начинаешь думать о душевных библиотеках и сморщенных старичках, согнувшихся над своими трактатами. Каким бы «-истом» я ни был, я боготворил Жизнь во всех ее формах и проявлениях. Трескучие московские зимы. Недвижность тропической ночи на Цейлоне. Мутные голубые туманы над Золотыми Воротами. Величественная ширь Сиднейской бухты. Пронзительный голос Константинополя. И тот ранний сентябрьский вечер в Нью-Йорке, когда, проезжая через Центральный парк, я увидел, как окна отеля «Савой» запылали закатом.

Странно, что человека, стоящего на пороге смерти, почему-то окрылила эфемерная красота далекого прошлого, но именно благодаря тем мгновеньям экстаза, которые испытал несколько лет назад, когда сидел в кресле перед открытым окном и разглядывал своих тяжеловооруженных тюремщиков, я

узрел лучезарный лик и благословляющую улыбку моего Бога. Не грозного Иегову Иова. Не угрюмого Господа косноязычного варвара Павла. Но Символ и Суть радостной вселенной, великолепия жизни.

«Смерти нет, — сказал я себе, — нет последнего «прости». Узам между мной и тем, что я любил с ревнивым пылом обладателя, никогда не быть разорванными. Я всегда останусь собой, связанным с этим миром той самой энергией, что заставляла меня высаживать сады и чувственно трепетать, когда я прикидал лицом к ветке сирени. Не с тем, что я любил, мне предстоит расстаться, но с тем, к чему испытывал равнодушие или отвращение».

Мои мысли были очень наивны, возможно, отмечены истерией, естественной при тех обстоятельствах. Но я был на верном пути. Продлись мое заключение еще несколько месяцев, я дошел бы до извращенного бреда о законе Любви. Честно говоря, я уже к этому подбирался.

3

Прошло пять лет. Я снова вел жизнь, которая, как меня учили, была единственно правильной и неизбежной.

Еда трижды в день. К обеду белое вино. К ужину бутылка шампанского. Осенью Париж. Весной Ривьера. Летом к морю. Газеты. Болтовня. Денежная нужда. Все больше всяческих «если». Вздохи. Новые знакомства, подозрительно напоминающие старые отсутствием общих интересов. «Этот несчастный великий князь», — написано на их лицах. «Какие зануды, какие ужасные зануды», — единственная мысль у меня в голове.

Я вовсе не забыл о своем необычном крымском переживании, но боялся повторить его. В нашей семье бытовало поверье, будто мой двоюродный дед император Александр I погубил свою жизнь, заинтересовавшись спиритизмом. Люди, сочинившие эту легенду, наверняка были те же самые идолы либерализма, что изрекли, будто современные машины приносят счастье и перед Демократией все люди равны, однако в первые годы изгнания я был весьма подвержен влиянию идолов либерализма. Я даже высидел как-то длинную лекцию знаменитого итальянского историка, который ко всеобщему удовлетворению доказывал, что Муссолини — супостат всего человечества, потому что не позволяет крестьянам продавать свои голоса тому, кто больше заплатит.

«Ты должен стоять на твердой земле, — советовал я себе. — Больше никакой бессмыслицы. Сейчас век просвещенной и победоносной науки».

И я отправился на субботу в Довиль. Довиль был твердой землей. Смуглокожие молодые люди в двубортных смокингах вели упорную осаду бриллиантовых колье почтенных английских вдов. Тонкоголосые, багряногубые девушки-хористки из Нью-Йорка объясняли своим низкорослым спутникам из местных, что в Америке все должны работать. В отдельном зале играл в карты принц Уэльский, окруженный компанией здоровенных пенсильванских миллионеров, которые не могли взять в толк, почему их венценосный друг отказывается делать ставку за их счет. Напротив принца сидела махарани средних лет, положив на кучки своих фишек большую перламутровую черепаху. После каждой сдачи она терла голову черепахи, закрывала поблекшие

черные глаза, бормотала короткую молитву и лишь после этого открывала свои карты. Игра у нее шла. В танцевальном зале звучала музыка, американская фокстротная версия «Песни индийского гостя» Римского-Корсакова. Вокруг воняло надушенными людьми и затхлым шампанским. Вдобавок к завыванию саксофона слышалось визгливое хихиканье двух знаменитых танцовщиц из Америки, толстогубых, немолодых уже женщин, к тому же поразительно уродливых.

Я пошел в бар. Воздух там был не такой спертый, а белые куртки буфетчиков казались освежающе-чистыми. Я хотел уже было заказать коктейль покрепче, когда меня охватило неодолимое желание остаться одному. Я выбежал из казино и направился к берегу. Беспрерывно моросил холодный дождь, но вокруг не было ни души, и море приятно пахло. Солью и рыбой. Не духами, не пудрой, не бриолином. Под навесом покинутого прибрежного кафе было совершенно темно. Натыкаясь на груды опрокинутых столов, я нашел стул, уселся, закурил сигару и стал слушать туманные горны. Капитан того парохода курсом на Дувр был, наверное, настоящий мужчина. Мастерство, с которым он лавировал сквозь туман, вселило в меня радость. Я подумал, что было бы неплохо вообще не возвращаться в казино. И тут сзади донесся голос:

— Не слишком приятно в казино, да?

— Весьма гадко, — согласился я.

Незнакомец говорил по-французски с легким акцентом. Угадать его национальность было трудно. Он мог быть южным немцем или австрийцем.

— Сильно проигрались? — спросил он после паузы.

— Нет. Я вообще не играю. А вы?

— Я тоже, — ответил он с легким смешком.

Я продолжал курить. Мне хотелось, чтобы он скорее ушел.

— Любите такой образ жизни?

— Не очень.

— И все равно его придерживаетесь?

— Что я могу сделать?

— Много.

— Например?

— Для начала прекратить дурачить самого себя. Жизнь ваша клонится к закату. Ловите каждый оставшийся солнечный луч.

Должно быть, сумасшедший, подумал я.

— Вы меня, похоже, знаете.

— Знаю.

— А я вас?

— Когда-то знали.

Я рассмеялся.

— Вы прямо-таки дух моего потерянного прошлого.

— Или вашего горестного будущего.

— Не бередите рану, мсье. Она и без того очень болезненная.

— А кто в этом виноват?

— Сдаюсь.

— И это лучшее, что вам когда-либо удавалось сделать. Вы пытались увидеть все грани, слишком много граней и сдавались.

— Опять в точку. А чего вы ожидали? Таков удел всех дилетантов.

— Слишком устал, чтобы любить, и слишком пресытился, чтобы ненавидеть — вот что ты хотел сказать!

— Сударь, не критикуйте меня, умоляю. Наставьте!

— Чушь и бред! Никто не в силах наставить человека, преуспевающего лишь в жалости к самому себе!

— К самому себе?

— Да, к самому себе. Тебя возбуждает думать о себе в третьем лице, как о великомученике века, молчаливом герое, которому выпало жить при самоубийстве империи. Разве не можешь ты увидеть в своих страданиях ничего иного, кроме повода жалеть и восхвалять себя? Неужели ты не разглядел в них предупреждения, урока?

— И что я, по-вашему, должен делать? Проповедовать смирение и все прочие добродетели, которыми никогда не отличался?

— Ты сам должен ответить на этот вопрос. Ты должен решить, было ли в том, что ты пережил, что-нибудь ценное, значительное. Оглянись назад. Подумай, что было у тебя самого дорогого. Деньги? Они никогда тебя не волновали. И ни разу тебе не помогли. Власть? Ты всегда избегал ее. Родные и друзья? В душе ты неизменно воспринимал их как чужих. Религия? Ты так ни одной и не принял. Если бы тебе было суждено умереть сейчас, какой момент своей жизни ты бы вспомнил? Это лакмусовая бумага ценностей — не то, что влечет тебя, когда ты жив и здоров, но то, что заставляет тебя трепетать от нежности, когда ты при смерти. Вспомнил бы ты свой дворец в России? Прямую стрелу Елисейских Полей? День своей свадьбы? День, когда тебя произвели в адмиралы?

— Господи, нет!

— Тогда что?

Несясь галопом через всю свою жизнь, через победы, поражения, наслаждение и горечь, я достиг утра, которое наступило пятьдесят лет назад.

— Знаю! — воскликнул я. — Кавказ. Склон горы позади отцовского дома. Я лежу в высокой траве и люблюсь полетом жаворонка. Повсюду покой, вокруг меня и во мне. Покой, тишина и умиротворение. Взглянув вниз, я вижу лужайки в нашем саду. И еще там движутся чьи-то фигурки. Их лиц я разглядеть не могу, но вижу белый цвет вишен и колышущийся красный ковер роз. Я люблю это, я влюблен сразу в целый свет. Вы слышите меня?

Ответа не было. Я вскочил и огляделся. В темноте ничего не было видно. Я зажег спичку: я был совершенно один среди груд перевернутых столов и стульев.

4

— Это случай для психиатра. Только неуравновешенные люди видят духов и разговаривают с ними.

Этому замечанию моего ученого друга суждено было стать знаменем последующих нескольких лет моей жизни. Равно как и другому:

— Почему бы вам не написать мемуары и сколько-нибудь заработать в Америке вместо того, чтобы тратить время на книги, которые никто не хочет читать?

И еще:

— Что, по-прежнему стучите по столу?

Мое счастье, что по части насмешек я был стреляный воробей. Град издевок, обрушенный на меня либеральными газетами и политиками Российской империи, закалил меня и позволил весьма легко сносить шутки моих восхитительных знакомых в Париже и Биаррице. Я никогда не опускался до объяснений, в чем состоит различие между вращением стола и спиритизмом. С невежеством не спорят. Американским охотникам до человеческих странностей я говорил: «Вам тут нечем поживиться. На первые полосы это не попадет и дохода от этого не жди. Безнадежное дело. Займитесь-ка лучше сюрреализмом, нудистами или пятилетним планом. А то поезжайте в Брюссель сфотографироваться с тамошним исследователем стратосферы. Ротационная машина съест ваш снимок с потрохами. С ним вы продержитесь от выставки лошадей до майских представлений ко двору».

Написание книг оказалось более трудной задачей. Не я владел словами, а слова владели мной. Когда я принялся писать, то думал писать по-французски, поскольку из четырех своих языков владел им лучше всего, но затем выбрал английский, чувствуя, что он поможет мне обрести в ясности то, что я упустил в красноречии. Когда рукопись моей первой книги («Единение душ») была подготовлена, я не знал ни одного издателя в Англии или в Америке и мне было много легче опубликовать ее во Франции. Я не собирался ее продавать, чтобы не стать кому-нибудь причиной убытков и разочарований, я просто отнес ее в типографию и оплатил счет из своего кармана. Те, кому я разослал экземпляры, — по большей части родственники — сказали, что книга ужасно скучна и совершенно нелепа. Лишь трое меня похвалили: мой секретарь, одна русская дама, давнишняя знакомая, и один швейцарец, заведующий лекторием. Последнему моя книга, похоже, очень пришлась по душе, поскольку он даже пригласил меня в Швейцарию прочесть несколько лекций. Будь он американец, я бы заподозрил, что его привлек лишь мой титул: по кассовым сборам русский великий князь, рассуждающий о спиритизме, даст фору говорящей обезьяне Снайдер. Но Швейцария никогда не обращала особого внимания на громкие титулы. Она всегда полагалась на миловидность своих озер на почтовых карточках и обхаживала менее прославленных клиентов — молодоженов и сентиментальных лавочников.

Меня ждали в Цюрихе лекции, что требовало еще одного перевода моей книги, на сей раз на немецкий — язык, на котором я не говорил с 1914 года. Теперь я был благодарен своим лютым учителям, которые не жалели наказаний, дабы внушить мне всю невыразимую важность немецкой грамматики. Когда я услышал, как обращаюсь к аудитории по-немецки, я чуть не сказал:

Stehen auf die Frage wessen.

*Doch ist hier nicht zu vergessen,
daß die diesen letzten drei
auch der Dativ richtig sei,*

что было лишь одним из многих правил склонения в немецкой грамматике, зарифмованных моими учителями.

Читая лекцию, — она продолжалась пятьдесят пять минут — я старался не смотреть на лица в аудитории. Впервые в жизни я стоял за кафедрой и обращался к совершенно незнакомым людям. Когда все закончилось и я предложил слушателям задавать вопросы, служащий зала принес мне записку. Там говорилось: «Я ехал сюда от самого Берлина, чтобы послушать вас, а вы на меня даже не взглянули. P.S. В заключительной части своей лекции вы спутали времена. Надо говорить «*wurde*», а не «*wag*»...»

Только тут я поднял глаза и увидел в первом ряду улыбающееся, румяное лицо моего старого друга, известного немецкого археолога. Последний раз я видел его в 1911 году в Трапезунде, где он возглавлял финансируемую мною экспедицию. И к полуночи не наговорились мы обо всем том, что произошло с нами по дороге из Трапезунда в Цюрих. Он не мог скрыть изумления. Ему, как и всем германцам, казалось невероятным, что член монаршей фамилии может дойти до чтения лекций в Цюрихе, «в обычной аудитории». Тот факт, что я был Романовым, значил немного; а вот при мысли о том, что моя мать принадлежала к «великому Баденскому дому», он вздыхал и качал головой.

— Кто бы мог подумать! Кто бы мог подумать! — повторял он снова и снова.

— Не горюйте вы так, — сказал я. — Лучше скажите, что вы думаете о теме моей лекции.

Ну, с этим дело обстояло весьма просто. Русские всегда были расой сумасшедших. Мой друг был убежден, что ни один Гогенцоллерн не смог бы и не стал бы читать лекции на столь идиотскую тему. История? Да, вне всяких сомнений. Политическая философия? Возможно, хотя он не считал, что представителю королевского дома стоит снисходить до уровня отставных президентов и несчастных экс-премьер-министров. Но спиритизм? Он отказывался относиться к нему серьезно. Как старший по возрасту и как воспользовавшийся некогда моей «щедростью», он счел своим долгом предостеречь меня.

— Вы должны думать о своем будущем, — сказал мой друг, и я заказал еще одну бутылку мозельвейна.

5

Я думал о своем будущем. Беспрерывно. Не будучи еще вполне уверен, что смогу выразить вещи, столь ясные мне самому, я все же продвигался в своей работе. Одна за другой были закончены семь книг. Напечатанные за мой собственный счет, они отражали мои мысли в том виде, в каком они пребывали в то время — беспорядочные в своей искренности и искренние в своей беспорядочности. Мне не нужно было нравиться издателю и угождать публике. Я писал эти книги для себя и тех немногих, кто соглашался их читать. Останься они рукописями у меня в столе, я не смог бы оценить их со стороны. Рукопись представляет настоящее, отпечатанная книга символизирует прошлое. Когда я усаживаюсь за пишущую машинку, это всегда «Я».

«Я пишу это».

«Мне нужно проверить значение этого французского слова».

«Надеюсь, я ясно выражаюсь».

Но как только книга прибывает из типографии и я начинаю ее листать, «Я» немедленно превращается в «Он». В другого, кого я когда-то знал. Мне не по вкусу множество фраз. Я кривлюсь и говорю: «Плохо написано. Не хватает ясности. Все безнадежно запутано. Как можно так выражаться?»

С каждой последующей книгой я становился все более поглощен своим предметом и все менее уверен, что могу отдать ему должное. То, что было захватывающим как мысль, убедительным как видение, на печатной странице выглядело безнадежной догмой. Я перечитал книги выдающихся английских и французских спиритов и увидел, что и они, даже куда более искушенные, столкнулись с неразрешимой проблемой. И они не смогли найти слов, которые схватывали бы истину и воспроизводили бы жар внутреннего переживания. Закон Любви на бумаге казался какой-то доктриной несносных прорицателей или скопищем банальностей. За исключением нескольких романистов, которые все перепутали в сути и целях практики спиритизма, ни один из писавших на данную тему не сумел верно передать это уникальное сочетание сверхъестественных явлений и религиозного экстаза, свойственных настоящему спиритическому опыту. Сэр Оливер Лодж слишком внимателен к возражениям своих ученых коллег, в то время как покойный Конан Дойль потонул совершенно в трясинах своих псевдоспиритических словоизлияний.

Печально, что мне трудно решиться рассказать об одном своем необычном переживании, которое случилось летом 1925 года в отеле «Мена» под Каиром, на пути моего следования в Абиссинию, но я понимаю, что мой рассказ вызвал бы только смех американских книжных обозревателей. Никогда ранее и никогда после этого не получал я столь убедительного доказательства полнокровной правдивости спиритизма. Пятнадцать минут, судя по часам, я разговаривал с человеком, очень дорогим мне в молодости, появление которого было вызвано моими страданиями. При этом не было ни медиума, ни привычных для сеанса принадлежностей, ни «знатоков», прерывающих его толкованиями. Всего несколько знакомых, заинтересованных постольку-поскольку.

Мы сидели в комнате окнами в пустыню, и сияние луны было настолько сильным, что мы видели лица людей во дворике внизу. Фигура духа была отчетливо видна, и голос хорошо слышен. В отношении ее личности не могло быть никаких ошибок. Она говорила по-русски с тем странным, неподражаемым акцентом, который был свойствен только ей, когда она была еще среди нас.

— О, этот свет режет глаза, — были ее первые слова. Она начала говорить и говорила непрерывно несколько минут, и лишь однажды ее прервал мой знакомый, требовавший «дополнительных» доказательств. Он задал ей вопрос, на который, как он знал, могли ответить только я и она. Ей было жаль его. Он, сказала она, раб самой нетерпимой из религий — скептицизма. Затем она говорила о Египте и о том, что нас окружало.

— Но что же это такое, что мы называем «смертью»? — спросил я. — Что будет со мной, когда меня признают «мертвым»?

— Ты перестанешь замечать течение времени, — отвечала она. — Там, где я, времени нет.

— Но помимо этого, останусь ли я самим собою?
— На веки вечные.
— Смогу ли я встречаться с теми, кого потерял?
— Если ты и вправду любил их, то сможешь. Но если тебя связывали с ними лишь узы невольных обыденных отношений, то нет. Все они там же, где я, но я узнаю лишь немногих из них.
— Не потому ли я никогда не слышу других, но всегда легко вступаю в связь с тобою?
— Это так.

И она исчезла. Так же внезапно, как и появилась. Мы вышли на балкон и простояли там до конца ночи. Внизу, по залитому лунным светом дворику, носились взад-вперед проводники из компании Кука, поднимая с постелей многочисленную группу пожилых англичанок, приехавших полюбоваться Рассветом в Пустыне.

6

Раз в год, вернувшись домой после утренней прогулки в Булонском лесу, я находил в своей квартире поджидающих меня энергично жующих молодых людей. Обычно это случалось в начале лета, когда скудость европейских новостей заставляла американских репортеров в Париже вновь открывать для себя существование великого князя Александра.

— Не хотите ли высказаться?
— О чем?
— Ну так, обо всем. О положении на Дальнем Востоке. О красном терроре в России. Будет ли в Европе еще одна война. Что вы думаете об американских девушках. Двух сотен слов достаточно.

На все уходило не больше десяти минут. Мы давным-давно условились, что я должен выражать тревогу по поводу положения на Дальнем Востоке, свидетельствовать свой протест против продолжения красного террора в России, предсказывать неминуемую войну между Италией и Югославией и отпускать парочку галантных замечаний о современных американских девушках, телом достойных Дианы, а разумом — Минервы. Я терпеть не мог этой метафоры с Дианой и Минервой, но меня уверяли, что на Среднем Западе США она имеет потрясающий успех. Дословная точность моих высказываний значения не имела, поскольку, во-первых, это редактор решал, что именно я думаю об американской девушке, и, во-вторых, их так или иначе не собиралась публиковать ни одна газета. Цель журналистского налета была не дать редакции повода обвинить их в безделье. Записав мои высказывания, корреспонденты говорили «спасибо» и спешили обратно к себе в «Гарри» на рю Дону. Я опорожнял пепельницу и возвращался к своим занятиям. Ничего более удобного, нежели это наиприятнейшее соглашение, нельзя было и придумать. Оно не давало моему имени исчезнуть из сообщений «Вестерн Юнион» и напоминало мне, что пора пересмотреть свой летний гардероб. Даже для моего камердинера визит американских корреспондентов стал знаком того, что мои фланелевые брюки пора нести в чистку.

Поэтому для меня стало немалым потрясением увидеть несколько пар ног, заданных на американский манер на мой письменный стол, когда я вернулся домой одним весенним утром 1927 года.

— Неужто Советы избрали меня царем 3-го Интернационала? — произнес я, входя в комнату.

— Нам нужно ваше заявление, — был ответ.

Я был польщен. Два заявления в год! Мои ставки росли!

— Положение на Дальнем Востоке, столь запутанное из-за вмешательства... — начал я, но продолжить мне не позволили.

— К чертям! Хватит. Нам нужно настоящее заявление. На этот раз без шуточек. Нам сообщили, что вы разговаривали с духом покойного царя. Выкладывайте.

Я воспротивился. Хотел бы я услужить им, но всему есть предел.

— Простите, мальчики, — сказал я. — Ссылайтесь на меня по какому угодно поводу, включая Соединенные Штаты Европы и Живительную Простоту Американских Девушек, но о духах забудьте.

— Значит, никаких заявлений?

— Никаких.

Надув губы, они ушли. Через какое-то время мне пришла из Америки газетная вырезка, извещавшая:

Я ГОВОРИЛ С ДУХОМ ЦАРЯ,

утверждает бывший великий князь

Я промолчал. Я знал, что пытаться опровергнуть что-то напечатанное в американских газетах — затея безнадежная.

И тут началось. Один человек из Северной Каролины написал мне, что хотел бы пригласить меня к себе на зиму, потому что всегда «любил духов». Чикагский врач прислал свою брошюрку под названием: «Психоанализ как средство от безумия». Члены женского клуба в Айове предлагали мне «две сотни наличными» и «гостиничные условия проживания плюс купе в пульмановском вагоне», если я соглашусь пересечь океан и поговорить с духом царя в их присутствии. Господин из Бруклина предостерегал, что никакие мои «трюки» не в силах повлиять на «решимость поднимающихся народных масс планеты». А торговец недвижимостью из Лос-Анджелеса прислал письмо, состоявшее из одной-единственной строчки: «Общаетесь с духами? Значит, Южная Калифорния — ваше место на земле».

Двое молодых людей, ответственные за сей фейерверк идиотизма, считали, что я должен сказать им «спасибо».

— Можете не сомневаться, — втолковывали они мне, — теперь люди из «Лаки Страйк» будут вас помогать. В Америке ничто не раскупается успешнее, чем успех. Весь мир у ваших ног.

17 «Душа по природе своей христианка» — из изречения Тертуллиана: «O testimonium animae naturaliter Christianae». — «О, свидетельство души — по природе своей христианки».

Глава XII

Потсдам в США

1

Нет ничего полезнее для изгнанника, чем дорого доставшаяся ему способность пересказывать историю Золушки в обратном порядке. Этой историей зарабатывал себе на хлеб герцог Орлеанский во время своего пребывания в Америке. Она помогла Людовику XVIII пережить в Лондоне голодные годы. В двадцатые она дала не одному русскому беженцу работу за прилавком универсального магазина. Многообразие способов, какими может ее эксплуатировать обедневший аристократ, потрясает воображение. Если верить моей родне, самый низкий из них — это чтение лекций о спиритизме. Весьма сомнительное утверждение, но именно оно подтолкнуло меня принять долгосрочное предложение одного нью-йоркского лектора летом 1928 года. Когда у меня были сомнения, я всегда принимал решение, неприятное моим родственникам.

— Ты безумнее «мартовского зайца», — было их прощальное напутствие, и эта английская поговорка заставила меня наострить уши. Именно в марте лета Господня 1917-го, вопреки советам всех своих братьев, двоюродных братьев и племянников, я отказался подписать «акт об отречении», который Временное правительство сунуло в лицо всем Романовым. Не то чтобы я желал трона себе или своим детям. Упаси Господи. Я просто считал, что человек не может перестать быть сыном своего отца только потому, что кучка разгильдяев грозит ему расстрельной командой. То обстоятельство, что одиннадцать лет спустя, накануне своего отъезда в Америку, я оказался единственным здравствующим великим князем без высочайших претензий и вдохновляющих посланий к ста шестидесяти миллионам русских, укрепляло моих родственников в уверенности, что мне не доставало и разума и патриотизма.

— Пятнадцать лет спустя! — на повторении этой фразы я не раз ловил себя на борту «Левиафана».

— Вы хотите сказать, «Двадцать лет спустя», — откликнулся мой начитанный секретарь, знавший Дюма наизусть.

Нет, я хотел сказать «пятнадцать», потому что как раз столько лет прошло со времени моего последнего приезда в Соединенные Штаты. Когда в конце лета 1913 года я покидал Нью-Йорк, Уолл-стрит еще занимал деньги в Лондоне, а «Дж.П.Морган и Ко» еще было названием одного из банков, а не Тадж-Махала Запада. Перемен я не боялся. Чем больше их, тем веселее. Я боялся самого себя. Я сомневался в своей способности вписаться в картину новой Америки. Судя по перепившимся молодым женщинам, которых я встречал в Париже и Биаррице, после войны американцы сделали, как они считали, шаг вперед, но мне это казалось шагом назад, прямиком в довоенную Европу. Среднезападный выговор, с которым обсуждались в баре «Ритца» Пруст и Фрейд, наводил меня на мысль о России начала века. Печально было осознавать, что здоровая порочность Америки, которую я знал и которой восхищался, уступила место

тошнотворному самосознанию истерического идеализма. Я готов был признать, что это извращение — подходящая тема для разговора незнакомых людей без общих интересов, но мне было весьма неловко за американцев, которые зачем-то цеплялись за то, что стало в Европе пошлостью задолго до появления автомобилей.

И вот, когда я сидел в курительной «Левиафана» и слушал, о чем говорят вокруг меня, мне казалось, будто я перенесся на тридцать лет назад, в гвардейские казармы С.-Петербурга. Та же мешанина плохо усвоенных идей, тот же блеск в глазах при упоминании каких-нибудь заурядных личностей, необычайно популярных из-за своих сексуальных наклонностей, то же заискивание перед модными героями прессы, будь то индусские врачеватели-шарлатаны, биржевые махинаторы с Уолл-стрита, преуспевающие французские модистки или одаренные немецкие математики. Так вот что досталось Америке от версальских трофеев! В голове не укладывалось, зачем какому-либо народу нужно было посылать за океан два миллиона человек сражаться за дело, не имеющее к нему ни малейшего отношения, перекраивать карту мира и давать миллиарды долларов в займы своим конкурентам — и все это с единственной целью перенять наихудшие черты довоенной Европы. Однако имевшиеся данные позволяли сделать только такой вывод. Имевшиеся данные представляли собой восемь сотен американцев на борту «Левиафана». Подозрительные обитатели восточных штатов, снобы южане, говоруны с Запада и визгливые уроженцы Среднего Запада, биржевые маклеры и скупщики мануфактуры, богатые вдовы и золотоискатели, писатели и политики, учителя и карточные шулеры — собрание, безошибочно указывающее на изменение национального характера.

Если бы это была обычная поездка, я мог бы по-британски сказать: «Ну, что ж, в конце концов, меня это не касается». Но я был теперь лектор, человек, которому платят за то, чтобы он располагал к себе и своему предмету аудиторию. Я опасался: как бы для того, чтобы расположить к себе новую разновидность американцев, мне не пришлось превратиться в эдакого русско-германского неврастеника начала века, подопытного кролика для болтливых психологов и псевдофилософов.

— Вы должны понять, — сказала красивая молодая женщина за моим столом, которую бросило в краску, когда ее муж признался, что любит Голсуорси, — что мы, американцы, достигли зрелости. В последние десять лет у нас появилась собственная интеллигенция.

Интеллигенция! Как хорошо была мне известна пагубная сила этого слова! Оно задушило Россию и Германию. Оно подорвало могущество Англии. Оно превратило скандинавов в занудных маньяков. Оно потерпело всего одно поражение с тех пор, как вкралось в европейскую речь. Лишь холодная рассудительность французского гения оказалась в состоянии избавиться от его отравы. Но то была Франция, страна, которая неизменно выходила победительницей из сражений со словами, которая даже трехглавого монстра по имени Свобода-Равенство-Братство ухитрилась превратить всего лишь в декоративный фасад своих банков, полицейских участков и тюрем. Такого защитного механизма, как во Франции, не сыскать больше нигде. Америке

понадобится еще по меньшей мере пятьсот лет, чтобы выработать то просвещенное безразличие, что оберегает французов от разрушительной силы слов. По-моему, у Америки мало надежд. Мне стало ясно, что в процессе своей европейской авантюры она лишилась не только денег, но также и той энергии и незатейливости одинокого слона, что провели ее через джунгли девятнадцатого столетия. Возможно, она и одержала победу при Шато-Тьерри, но то была победа над собственным будущим: она перестала быть Америкой. Затем она отправилась в Версаль, чтобы наблюдать раздачу трофеев своим союзникам, а самой получить небольшую кучку поношенной европейской одежды и прогорклых европейских идей.

2

Единственный сохранившийся кусочек прежней Америки поджидал меня на карантине. Приятно было обнаружить, что иммиграционные чиновники и корреспонденты в порту ничуть не утратили своей грубоватой веселости.

— Улыбочку, Александр.

— Скажите, что там насчет той дамочки с Лонг-Айленда, которая говорит, будто она стопроцентная Романова?

— Положите руку на сердце и поклянитесь, что не верите в полигамию и что, пока вы находитесь в нашей стране, вы не предпримете никаких действий, направленных на подрыв демократической формы правления.

— Сидели когда-нибудь в тюрьме? Шестьюдесятью долларами располагаете?

Я помолодел на пятнадцать лет. Несомненно, это отразилось на моей улыбке — фотограф утверждал, что «несчастный аристократ» должен улыбаться «эдак печально», — но в остальном мы с моими старыми приятелями из нью-йоркской прессы и министерства труда вполне ладили. Когда они наконец отпустили меня, я почувствовал, что не имею ни малейшего желания сойти на берег и променять их компанию на огромное скопище незнакомых лиц под названием Манхэттен.

Я был уже не один. У меня в провожатых появился сын Дмитрий, опередивший меня в бегстве из Европы на четыре года. Во время революции он был еще ребенком, а потому с легкостью забыл все, чему учили его родители. Его непрерывная болтовня по пути в отель выдавала в нем нью-йоркца до мозга костей. Он гордился своим Городом Шести Миллионов и радовался возможности зарабатывать на жизнь самостоятельно. Работая банковским служащим за сорок долларов в неделю, он говорил так, будто отвечал за строительство новейшего небоскреба. Он пообещал показать мне город, и мне пришлось напомнить ему, что я в Нью-Йорке не совсем новичок.

— Разве ты не помнишь, мой мальчик, что еще в 1893-м...

Дата показалась Диме умильной. Он рассмеялся.

— У тебя уйдет некоторое время на акклиматизацию, — сказал он покровительственно, — но уверен, тебе это понравится. Как и большинству европейцев. Ты можешь связаться со мной в банке ежедневно с десяти до пяти. Если что-то покажется тебе непонятным, дай мне знать...

Я обещал. Ничто не показалось мне чересчур непонятным, не считая того, что первую лекцию я должен был прочесть уже через пять дней.

«Начало четвертого декабря, Гранд-Рapidс», — извещала телефонограмма от менеджера, и это меня напугало. Мои американские знакомые в Париже считали, что английским я владею «в совершенстве», но им никогда не приходилось платить за то, чтобы слушать, как я на нем говорю. Потом, нужно было найти подходящую интонацию, в которой выдерживать лекцию. Когда я писал текст лекции в Париже, каждое слово в ней звучало правдиво, но с тех пор я провел шесть дней на борту американского судна.

Выглядывая в окно своего номера на Мэдисон-авеню, я спрашивал себя: что из себя представляют эти спешащие куда-то мужчины и женщины. Возможно, сказал я робко, некоторые из них отличаются от тех, что я видел в курительной «Левиафана». Если так, все в порядке, если нет, я погиб. Беда, как мне казалось, была в том, что я до сих пор не знал ничего о нынешних «американских американцах». Я бы мог для пробы прочесть лекцию своему менеджеру, но его мнение меня не интересовало. Ему было не впервой иметь дело с иностранцем и к тому же он в самом начале наших переговоров дал понять, что хочет всего лишь привезти из Европы «живого» великого князя. В глубине души он полагал, что я или умалишенный, или шарлатан, или и то и другое.

Я открыл записную книжку и взглянул на имена знакомых мне в Нью-Йорке людей. Хозяева международных банков, родом из Германии, властные вдовы-богатки, с главной резиденцией в Париже, игроки в поло, из круга принца Уэльского, владельцы яхт, зимующие в южных морях — ни единого «американского американца» во всей книжке, никого, кто бы мог что-нибудь посоветовать по части возможной реакции публики в Гранд-Рapidс. Конечно, значился там под литерой «S» мой старый друг Чарльз Шваб (Schwab), но у меня не хватало духу просить его отложить в сторону дела сталелитейной корпорации «Вифлеем» и слушать проповедь о счастье в бедности...

Когда опустились сумерки, я все еще искал в Нью-Йорке «американского американца». Управляющий гостиницей выразил согласие вытерпеть пытку лекцией, но его произношение мало отличалось от моего: он был родом из Германии, где его отец трудился по найму над разработкой садово-парковых ландшафтов у моего покойного дяди великого герцога Баденского.

— Я боюсь даже подумать, — сказал он в конце концов с похвальной прямою, — что бы сказал Его Императорское Высочество, если бы узнал, что его племянник станет лектором.

— Я тоже, — ответил я, — но это нас ничуть не приблизило к сердцам гранд-рапидской публики.

Я хотел уже было, отчаявшись, сдаться и сказать «будь что будет» — как вдруг зазвонил телефон. Майрон Геррик, американский посол во Франции и мой стародавний друг, был в Нью-Йорке проездом домой, в Кливленд.

— Эврика! Я нашел американского американца! — закричал я вместо приветствия.

— Спасибо на добром слове, — отозвался Геррик. — Приятно слышать, особенно тому, кого только что прозвали негласным послом Франции в Соединенных Штатах.

Он имел в виду поклев, возводимый на него некоторыми газетчиками, у которых не хватило ума оценить искусную политику Геррика в делах с французами и которые обвинили его в недостатке американского патриотизма.

— Скажите, дружище, — сказал я со всей серьезностью, — вы верите, что в бедности может быть счастье?

— Верю, — ответил Геррик, — но конгресс Соединенных Штатов — нет. Как и французы.

Мы рассмеялись. Я, разумеется, не решался просить его пожертвовать свободным вечером, но как только я объяснил ему суть своих затруднений, он вызвался быть моим первым слушателем. Мало о чем сожалел я в жизни так, как о том, что не записал услышанного в тот вечер от Геррика. Пусть и не «блестящий собеседник», вроде другого знаменитого американского посланника мистера Чоута, он тем не менее владел тончайшим искусством переводить ясные мысли во фразы столь же кристальной ясности. Он терпеть не мог общих мест не потому, что пытался любой ценой быть оригинальным, но потому, что после долгих лет, проведенных в комитетах крупной политической партии и на дипломатической службе, он устал от напыщенного пустословия. Было печально осознавать, что лишь заурядное событие на деловом поприще — банкротство концерна, с которым он был связан, — лишило его возможности баллотироваться в президенты, однако глядя на его элегантную фигуру знатного сеньора и слушая его полные искрометного сарказма замечания, понимаешь, что ему на роду было написано избежать превратностей кампании по обливанию друг друга грязью. Зная, что такое политика, не особенно удивляешься, что людям масштаба Геррика отказано в гран-при Демократии; по правде сказать, совершенно непонятно, как им вообще дозволено служить своей стране.

Он выслушал мою лекцию всю до конца. Несколько раз я прерывался и смущенно говорил: «Вам, должно быть, скучно», — но он качал головой и убеждал меня продолжать. Когда я закончил, он взглянул на меня так, будто в первый раз увидел, и зашелся смехом. Это было неожиданностью. Смешить кого-то в мои намерения не входило.

— Прощу вас, не обижайтесь, — сказал он, — но я не мог удержаться. Мысль, что лекция подобного рода может понравиться американцам, необычайно забавна. Позвольте дать вам один циничный совет. Меньше всего хотел бы говорить вам правду, но иначе вас неизбежно ждет ужасное разочарование.

Он перестал смеяться, и его веселая улыбка сменилась выражением серьезности, смешанной с горечью.

— Поймите одну вещь, — сказал он. — Поймите сейчас, пока еще не поздно. Мои соотечественники так же любопытны, как дети, и так же нетерпимы, как испанские инквизиторы. Методисты и баптисты, католики и евреи — никто из них вашей религией не заинтересуется. У всех есть своя собственная, и все они считают ее единственно правильной. Вычеркните все, что связано с религией, и замените описанием драгоценностей царицы и царских дворцов. Расскажите им о брильянтах и изумрудах, рубинах и сапфирах, но, пожалуйста, ни слова о религии. Вы ведь газеты читаете? Видели,

что случилось три недели назад с одним моим соотечественником, который попытался воззвать к терпимости? Пусть это послужит вам уроком.

Упоминание о поражении Альфреда Смита из уст республиканца масштаба Геррика поставило меня в неловкое положение. Я установил себе за правило никогда не обсуждать политическую жизнь страны, проявившей по отношению ко мне гостеприимство, и знал, что мой ответ на речь Геррика означал бы нарушение этого добровольного ограничения. Поэтому я сменил тему и спросил, виделся ли он уже с Линдбергом. При упоминании его «крестного сына» улыбка вернулась на лицо Геррика. Ему не хотелось увязывать свою несравненную стратегию с неожиданным характером приема, оказанного французами Линдбергу, но факты были сильнее его скромности: менее чем за пять недель до приезда Линдберга антиамериканские настроения в Париже достигли апогея, а толпа хулиганов расколотила окна корпункта одной из американских газет на авеню де л'Опера и разодрала американский флаг на бульваре Пуассоньер.

— Что делать послу, чтобы повлиять на враждебные чувства народа? — спросил я Геррика, немного его подначивая, потому что знал, что он твердо решил отрицать сам факт каких-либо антиамериканских выступлений в Париже.

— Это очень просто, — ответил Геррик. — Послу надо сохранять спокойствие и ждать прибытия Чарльза Линдберга.

— А потом?

— Потом ему достаточно снабдить не успевшего собрать багаж героя пижамой...

3

Несмотря на все свое уважение к Геррику, я решил не следовать его совету. Лишь после того, как я прочел шестьдесят семь лекций и провел в Америке три зимы, я понял, насколько он был прав. Я совершил ошибку, но мое поражение принесло свои плоды. Никаким иным способом не смог бы я избавиться от того, о чем сожалел больше всего в жизни. Согласись я с моим мудрым другом и его вердиктом, я бы просто аннулировал соглашение и вернулся бы в Париж, как прежде проклиная судьбу за то, что родился великим князем, как прежде коря себя за то, что не отказался давным-давно от титула и не обосновался в Америке. К счастью, я проявил упрямство. К счастью, я был не лишен дара проповедника. И вот я оказался лицом к лицу с тысячами людей — «американских американцев» и прочих.

Некоторые из них всполошились: их дочери были замужем за европейскими титулованными особами, и то обстоятельство, что великий князь разъезжает по стране и якшается с членами бизнес-клуба «Ротари», могло отразиться на социальном статусе их зятьев. Некоторые пришли в бешенство: я осмелился оскорбить священных коров либерализма и открыто выразил свои симпатии к людям дела. Некоторые говорили открыто и не стеснялись выражать свои убеждения: есть демократия или нет ее, им нужна помощь воскресных школ и церквей, чтобы держать массы под присмотром.

Я многое понял. Я познакомился с Америкой, и это изменило мои прежние представления об империях. Раньше я упрекал своих родственников в

высокомерии, но я по-настоящему узнал, что такое снобизм, лишь когда попытался усадить за один стол жителя Бруклина из штата Массачусетс и миллионера с Пятой авеню. Раньше меня ужасала неограниченная власть человека на троне, но даже наиболее беспощадный из самодержцев, мой покойный тесть император Александр III, казался самой застенчивостью и щепетильностью по сравнению с диктаторами городка Гэри, штат Индиана. Раньше я краснел при мысли о варварском обращении, которому подвергались национальные меньшинства в России, но это было до того, как я увидел в нью-йоркских газетах объявления, где срочно требовались молодые служащие «нееврейской национальности». Раньше я говорил, что привычка критиковать свои правительства за что ни попадя стоила европейцам места под солнцем, но потом стал свидетелем отвратительного зрелища, когда сто двадцать миллионов американцев освистывали своего президента и требовали чуда.

Я не был разочарован: открытие истины, любой истины, это всегда увлекательно. Но я стал менее желчным в своих изобличениях Европы. Три с половиною тысячи миль Атлантики, казавшиеся пугающей громадой воды в дни моей молодости, сжались до размеров узенького прудика — ведь по обе его стороны люди удивительно походили друг на друга мелочностью добродетелей и избытком пороков, забвением истерии и безрассудностью ненависти. Тот глупый плакат на Итальянском бульваре, утверждавший, что «французы должны благодарить за свои беды Дядю Шейлока», больше меня не возмущает, потому что я видел другую надпись, помещенную у шоссе из Глендейла в Пасадину, которая гласила: «Наша страна не в состоянии отремонтировать дороги, потому что французы не возвращают Соединенным Штатам долги». Так оно и должно быть. Эта война плакатов возвращала мир к «нормальности», в эру, когда народы разговаривали откровенно и без задних мыслей, вместо того чтобы позволять университетским профессорам объяснять, какие чувства должны они испытывать по отношению друг к другу. И разумеется, не было в том ничьей вины, кроме моей собственной, что мне пришлось читать лекции о религии Любви и спать в пыльных пультмановских вагонах, чтобы открыть для себя: Атлантика относится к географии, а ненависть — к людям.

На исчерпывающий рассказ ушли бы тома. Писать историю Перерождения Америки — задача не для странствующего лектора. Он набирается впечатлений всюду, куда попадает, и вечер в непотребной нью-йоркской распивочной может порой оказаться куда более поучительным, чем разговор с Генри Фордом. В распивочную меня привела компания друзей, а вот на встречу с Генри Фордом я пошел один. Все это произошло после Гран-Рапидс.

4

Гранд-Рапидс мне никогда не забыть. То был мой первый «выход» в Америке. Я провел бессонную ночь, прислушиваясь к стуку колес и ежеминутно вызывая проводника.

- Will you bring me another pillow?
- Does this ventilator work?
- I want a glass of charged water.

За моими чемоданами лежали три подушки. Я прекрасно знал, как включать вентилятор. Да и пить мне не хотелось. Мне просто нужно было на ком-нибудь опробовать свое «w». Я не боялся за «th», и разница между долгим «ee» и кратким «i» была мне ясна. Но «w» меня пугало. Несуществующий в русском языке и произносимый немцами и французами как «v», этот предательский звук не давал мне покоя. Майрон Геррик считал, что с моим «w» все в порядке, но все-таки он знал слишком много французских премьер-министров. А вот сонный чернокожий проводник показался мне лучшим экзаменатором моего произношения. Я думал, он будет озадачен. Меня ждало приятное разочарование: каждый раз он только и говорил, что «да, сэр», и приносил мне предмет, содержащий звук «w». Сойдя с поезда в Гранд-Рapidс и ощущая радость победы, я дал экзаменатору щедрые чаевые.

— Все было просто замечательно, — похвалил я его.

Проводник улыбнулся и поклонился.

— Merci beaucoup, — ответил он учтиво.

Я застыл.

— Где вы выучили французский?

— Во Франции, сэр. Я два сезона танцевал в Фоли-Бержер. Поэтому мне легко понимать иностранцев.

По пути в гостиницу у меня не хватало духу взглянуть на моего секретаря. Он делал вид, будто читает газету, но губы его подергивались.

— Хватит ухмыляться, — сказал я. — Будем надеяться, что этот человек не единственный бывший чечеточник в Америке. Возможно, сегодня среди слушателей найдется еще парочка.

Он протянул мне газету.

— Прочтите-ка вот это.

Я прочел три первые строчки, и мы оба покатались со смеху.

«Сегодня вечером в Новой баптистской церкви ожидается большой наплыв публики по случаю лекции русского великого князя Александра на тему...»

Дело было не только в моем суеверии по поводу всего и вся, имеющего отношение к церкви, но и в том, что основная часть моей лекции была посвящена «банкротству официального христианства». Когда мой менеджер обещал «самую что ни на есть достойную обстановку», я думал, он просто хочет сказать, что мне не придется выступать в цирке. Откуда мне или любому другому европейцу было знать, что церковь можно снять для лекции? Будь это католическая церковь или синагога, я мог бы по крайней мере рассчитывать на чувство юмора прихожан, но баптистский молельный дом! Я содрогнулся.

— Отступить поздно, — сказал мой секретарь. — Le vin est tiré[18].

Он имел несносную привычку приводить французские пословицы с видом человека, вещающего последнюю волю и завет Господа Нашего.

Оставшиеся три часа, которые я надеялся посвятить глубоким размышлениям, ушли на посетителей. Репортеры заявили узнать мое мнение о недомогании короля Георга. Я сказал, что это большое несчастье. Выходец из Одессы пришел с семилетним сыном и виолончелью. В Гранд-Рapidс «все» считали, что мальчик играет лучше, чем Казальс. Не хотел бы я послушать его? Пришлось. Затем я подписал ворох книжек, позировал местным фотографам и

попробовал домашнего яблочного пирога, «лучшего яблочного пирога, который когда-либо выпекали к востоку от Скалистых гор». Затем пришел на цыпочках мой секретарь и театральным шепотом произнес: «Пастор ожидает нас внизу».

Пастор оказался приятным, живым человеком. Его рукопожатие и манера разговаривать заставили меня усомниться в правильности моих представлений о баптистах. Он вполне мог сойти за нью-йоркского биржевого маклера.

— Мне спросить его, где можно купить бутылку бренди? — сказал мой секретарь по-французски.

— Мой секретарь хочет узнать, — перевел я пастору, — подходящее ли место молельный дом для моих лекций. Я ведь никогда не был примерным посетителем церкви.

— Никогда не поздно исправиться, — ответил пастор.

Тут нас провели в ризницу, которую мой секретарь упорно называл гардеробной.

Церковь была битком набита. Пастор сообщил, что в зале присутствуют восемьсот пятьдесят человек, но мне они казались восьмьюстами пятьюдесятью тысячами. Ни разу в жизни я еще не был так напуган. Когда пастор произнес: «Мне выпала большая честь представить вам великого русского князя Александра», — мои руки задрожали, а в горле пересохло. Я поднялся и хотел уже было пройти к кафедре, как вдруг грянуло «Боже, Царя храни», и я увидел, что мои слушатели встают. Я оцепенел. Впервые за одиннадцать лет я слышал эту мелодию.

Секретарь сказал мне потом, что я побледнел, как труп. Лично я ничего не помню. Иногда мне кажется, что я просто уснул в своей нью-йоркской гостинице и увидел во сне, будто читаю лекцию в новой баптистской церкви в Гранд-Рапидс. Местные газеты написали, что я говорил «ясным мелодичным голосом, без единого намека на переживания или горечь». Сомневаюсь.

После того дня я прочел еще шестьдесят шесть лекций. В церквях, университетах, женских клубах и частных домах. Я никогда не оспаривал условий договора, место или время, настаивая на одном-единственном пункте: русский национальный гимн не должен исполняться ни до, ни после, ни во время моих лекций. Пережить самоубийство империи нетрудно. Услышать ее голос одиннадцать лет спустя — смерти подобно.

5

В каждый свой приезд в Нью-Йорк я получал кипы приглашений. Не оттого, что все меня любили или находились под сильным впечатлением от сообщений о моих лекциях, но потому, что в Манхэттене считалось хорошим тоном втиснуть русского с «трагической судьбой» между британским малым, знающим, что не в порядке у американок, и немецким экономистом, озабоченным будущим золотого стандарта.

Три наиболее интересных за мою американскую эпопею приглашения пришли одновременно. Группа видных лидеров нью-йоркских иудаистов пригласила меня отужинать с ними и обсудить так называемый еврейский вопрос. В Клубе Армии и Флота полагали, что я должен выступить с речью на тему пятилетнего плана. И какие-то знакомые из Детройта просили меня

приехать познакомиться с Генри Фордом. Я немедленно принял все три приглашения, и так появилась повесть о трех изумительных днях моей жизни в изгнании.

«Иудейский ужин» состоялся в отдельном кабинете питейного заведения, где во времена «сухого закона» нелегально торговали алкоголем — именно там и только там располагаются оазисы хорошей кухни и сердечного товарищества на всем американском континенте.

— Вы не чувствуете себя не в своей тарелке? — со смехом сказал господин, сидевший во главе стола. — Единственный нееврей, вдобавок русский великий князь, в компании шестнадцати иудеев, четверо из которых раввины.

Нет, я не чувствовал себя не в своей тарелке, разве что по той причине, что всего лишь за неделю до этого, находясь в Миннеаполисе, я получил письмо от управляющего местного ресторана, где он уверял, что был бы необычайно счастлив предложить мне «настоящий кошерный ужин».

— И к тому же, — продолжал я, — разве это не естественно для меня, представителя, пожалуй, самого антисемитского режима в мире, встретиться с вами, господа, и спросить: а как с этим обстоит дело в Соединенных Штатах?

— Вы, должно быть, шутите, — воскликнул мой сосед справа, известный бруклинский раввин. — Не хотите же вы и впрямь сравнивать нескончаемые гонения на наш народ в царской России с полной свободой и равенством, которые мы имеем в Соединенных Штатах?

— Свобода и равенство! — повторил я медленно и задумался, зачем столь образованному человеку умышленно не видеть правды. — А скажите мне честно, вы когда-нибудь слышали, чтобы хотя бы один домовладелец в той безжалостной царской России отказался пустить на постой еврея?

— Вы ссылаетесь на то, что имеет место исключительно в этой снобистской части Манхэттена, — сказал он, немного вспыхнув. — Нельзя винить весь народ за невежество и тупость горстки домовладельцев.

— Нельзя, — согласился я, — да я и не собираюсь. Но что вы скажете о так называемых элитных колледжах Америки? О Гарварде, Принстоне, Йеле и многих других, и на восточном, и на западном побережье? Вы хотите сказать, что ваши юноши могут поступить в эти колледжи на равных правах с неевреями? А ваши клубы для избранных? Вы сможете меня убедить, что не существует барьеров, закрывающих людям вашего племени путь по меньшей мере в десяток клубов в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне и Сан-Франциско? Я говорю об этих четырех мегаполисах только потому, что знаю их лучше, а не потому, что в других больших и малых городах положение иное.

— Ну что ж, пусть так, — сказал он примирительно, взглянув на остальных присутствующих. — Но эти колледжи и клубы поступают так не из-за антисемитизма. Просто, зная присущие нашему народу упорство и предприимчивость, там боятся, что полное отсутствие ограничений может создать большие трудности для нееврейских кандидатов.

Мне стоило расхохотаться. Он невольно повторил излюбленный аргумент главарей антисемитизма в России.

— Я начинаю думать, — сказал я, — что мой дед император Николай Первый был куда лучшим иудеем, нежели вы, потому что, когда этот же

аргумент привели ему русские генералы, не желавшие допустить в его армию евреев, он просто сказал, что император всероссийский не может делать разницы между своими подданными неевреями и евреями. Он печется о благе своих верноподданных и наказывает предателей. Всякий другой критерий для него неприемлем, заявил он.

— А! Так то был ваш дед! — воскликнул мой изворотливый оппонент. — А что вы скажете о своем покойном шурине, последнем царе? Что-то не верится, что он хоть раз изрек что-нибудь в духе такой же терпимости...

— Верно, — согласился я. — Его терпимость простиралась не дальше, чем у одного моего американского знакомого, богатого господина из Техаса, который посоветовал мне не принимать приглашение на ужин, потому что приглашавшие были католиками!

Мы спорили пять часов. В три утра мы по-прежнему сидели запершись в прокуренном кабинете уютного заведения в районе 50-х улиц, не в состоянии прийти к согласию и не желая уступить друг другу ни на йоту. Мы проспорили бы так до следующего дня, если бы хозяин заведения не постучал наконец в дверь и не сказал, что пора расходиться. Его терпимость была бесконечна, однако существовало такое обстоятельство, как дозволенное время работы, а хозяин уважал законы.

6

Еще более жаркие дебаты ожидали меня в Клубе Армии и Флота. Его руководство считало само собой разумеющимся, что я буду проклинать Советскую Россию и предскажу неминуемый крах пятилетнему плану. От этого я отказался. Ничто не претит мне больше, нежели тот спектакль, когда русский изгнанник дает жажде возмездия заглушить свою национальную гордость. В беседе с членами Клуба Армии и Флота я дал понять, что я прежде всего русский и лишь потом великий князь. Я, как мог, описал им неограниченные ресурсы России и сказал, что не сомневаюсь в успешном выполнении пятилетки.

— На это может уйти, — добавил я, — еще год-другой, но если говорить о будущем, то этот план не просто будет выполнен — за ним должен последовать новый план, возможно, десятилетний или даже пятнадцатилетний. Россия больше никогда не опустится до положения мирового отстойника. Ни один царь никогда не смог бы претворить в жизнь столь грандиозную программу, потому что его действия сковывали слишком многие принципы, дипломатические и прочие. Нынешние правители России — реалисты. Они беспринципны — в том смысле, в каком был беспринципен Петр Великий. Они так же беспринципны, как ваши железнодорожные короли полвека назад или ваши банкиры сегодня, с той единственной разницей, что в их случае мы имеем дело с большей человеческой честностью и бескорыстием.

Так получилось, что за столом председателя, прямо рядом со мной, сидел генерал ***, потомок знаменитого железнодорожного магната и член советов правления полсотни корпораций. Когда под звуки весьма нерешительных аплодисментов я закончил, наши глаза встретились.

— Странно слышать такие речи от человека, чьих братьев расстреляли большевики, — сказал он с нескрываемым отвращением.

— Вы совершенно правы, генерал, — ответил я, — но, в конце концов, мы, Романовы, вообще странная семья. Величайший из нас убил собственного сына за то, что тот попытался вмешаться в выполнение его «пятилетнего плана».

Какое-то мгновение он молчал, затем попытался уйти от темы:

— Но что бы вы нам посоветовали предпринять, чтобы оградить себя от этой опасности?

— Честно говоря, не знаю, — сказал я. — Да и потом, генерал, это взгляд с вашей колокольни. Я русский, разве не видите.

Что же до остальных членов Клуба Армии и Флота, то я должен честно признать, что, когда первое потрясение прошло, они обступили меня, жали руку и хвалили за «искренность» и «мужество».

— Знаете, что вы сегодня натворили? — спросил президент клуба, когда я собрался уходить. — Вы сделали из меня почти что большевика.

— А что же тогда говорить обо мне? — откликнулся я. — С собой я сотворил нечто похуже. Я отказался от своих прав на несуществующий российский престол.

7

А затем я познакомился с Генри Фордом. Когда я встретился с ним в его усадьбе в Дирбоне, Великая депрессия еще только зарождалась, и еще не все карьеры были загублены. Его по-прежнему почитали как главного пророка Америки, как гения, открывшего секрет нескончаемого экономического блаженства.

Я ожидал этой встречи с нетерпением. Для меня, как и для большинства европейцев, он был символом, легендой, гербом Соединенных Штатов. Я всегда завидовал американцам за то, что у них есть Генри Форд. Мне представлялось, что национальная принадлежность Человека из Дирбона давала остальному миру возможность получить более ясное представление о понятии «американец» во всей его полноте. Вероятно, потому, что никакая другая страна до такой степени не рекламировала своих образцовых граждан — слова «француз», «англичанин» или «русский» не вызывают в уме мгновенной ассоциации с каким-либо определенным именем. Но «американец»... Оно действует безотказно: в девяноста случаях из ста перед глазами встает образ Генри Форда. Крестьянин в далекой Сибири может открыто признать, что понятия не имеет, кто такой Джордж Вашингтон, но он наверняка вспомнит имя этой хитрой штуковины, что бороздит хляби проселочной дороги. А раз так, то вполне логично, что будущее этого русского крестьянина было Генри Форду безразлично. Он начал нашу беседу, спросив, что я думаю по поводу «возможностей» американцев в России. Я ответил, что считаю их весьма широкими, но что до сих пор американские производители неизменно проигрывали в борьбе с агрессивными германскими поставщиками.

— Но деньги, — сказал Генри Форд. — Разве у них есть деньги?

— Нет, — согласился я, — у сегодняшней России денег нет, но у нее есть и всегда будет необъятное сырьевое богатство. Думаю, вам это известно лучше, чем мне.

— Ничуть, — ответил он почти с детским упрямством. — Все, что мне известно, это то, что у них нет денег. Люди из «Дженерал Электрик» продали им кое-что, и, я слышал, сейчас они из кожи вон лезут, чтобы получить по счету.

Это было умирительно. Я, человек, которого советское правительство поставило вне закона, бился с Генри Фордом за дело коммунистической России.

— Как же вы думаете преодолеть нынешний кризис, — спросил я его тогда, — если продолжаете игнорировать крупнейший потенциальный рынок мира? Вам не кажется, что сегодня в Америке депрессия отчасти из-за того, что вы упорно не замечаете существования шестой части суши?

— Сегодня в Америке депрессия, — сказал Форд с довольно саркастическим ударением на слове «депрессия», — только из-за того, что люди у нас слишком размякли. Взгляните хотя бы на наших фермеров...

Он поднялся, подошел к окну, словно для того, чтобы лучше увидеть простиравшуюся за ним Америку, и начал пространно говорить о необходимости поддержки движения «назад, к земле» и «индустриализации» фермерских хозяйств.

Сначала я подумал, что у меня что-то со слухом или что я попросту не понимаю его английскую речь. После всего, что я недавно увидел, проезжая с лекциями по Среднему Западу, мне казалось невероятным, чтобы кто-нибудь, тем более человек с таким чутьем реальности, как у Форда, мог предлагать подъем сельского хозяйства в качестве панацеи от недугов страны. Как ни было нелепо обнищавшему европейцу учить экономике американского миллиардера, взгляды моего гостеприимного хозяина заставили меня забыть разницу в нашем положении.

— Вы кругом не правы! — воскликнул я с большим чувством, и аскетическое лицо Форда приняло странное выражение. Он выглядел совершенно сбитым с толку, словно какой-нибудь школьник прервал чтение энциклики Его Святейшества глупым замечанием. Затем он улыбнулся с жалостью и сочувствием.

— Что ж, — рассмеялся он, — должен признаться, я впервые за последние пятнадцать лет слышу, чтобы кто-то употребил слова «не прав», имея в виду меня. Итак, я не прав — верно?

Он покачал головой. Чтобы разрядить обстановку, я спросил, какого он мнения о моем внучатом племяннике принце Фердинанде Прусском, который работал в то время на одном из его заводов.

— Приятный молодой человек. Способный, — сказал Форд. — Хотите повидаться?

— С огромным удовольствием, — ответил я. Что я действительно хотел сказать, это то, что и нынешний работодатель юного принца, и дед последнего — кайзер были приверженцами одной и той же имперской веры в безошибочность суждений самодержца. Нельзя командовать тринадцатимиллионной армией или обладать миллиардом долларов и не быть «правым» — по меньшей мере в собственных глазах. Только подумать, что я

переплыл океан и проделал весь этот путь до Мичигана, чтобы вновь очутиться в Потсдаме...

18 Поговорка, эквивалентная русской «Взялся за гуж — не говори, что не дюж».

Глава XIII

Лектор видит все

1

В сообщении «Ассошиэйтед Пресс» говорилось: «Русский великий князь Александр прибыл сегодня в Голливуд, где пробудет несколько дней. Многочисленные населяющие город славяне, претендующие на благородное происхождение на том основании, что они якобы состояли в княжеской свите или были генералами царской армии, и прочие «высокопоставленные» плуты обнаружили, что на ближайшие три дня им лучше исчезнуть из города».

Я удивился. У меня и в мыслях не было выяснять справедливость чьих-либо притязаний. Я принимал как должное, что на тучной земле Калифорнии все плодится в изобилии — и апельсины, и русские титулы. Приехал же я, во-первых, по желанию менеджера моего лекционного турне, а во-вторых, потому что всегда был горячим поклонником кинематографа. Особенно меня интересовала одна знаменитость, Джон Гилберт, что было вполне естественно, если учесть, что многие годы он играл русских великих князей.

Я ему завидовал. Завидовал его роскошным боярским костюмам, блестящим званым ужинам, непринужденности манер, паре грациозных тигров без намордников, следующих за ним по пятам, властному обращению с придворными красавицами — все это будило во мне горькие воспоминания о строгих предписаниях, в силу которых я и мои родственники носили простую форму, при выборе домашних любимцев довольствовались немецкими таксами и персидскими кошками и спали на узких железных кроватях, столь непохожих на роскошные широченные ложа, сооруженные в апартаментах мистера Гилберта.

«Великий князь из Санкт-Петербурга встречается с великим князем из Калвер-Сити» — это, думаю, понравилось бы даже моему менеджеру, который без конца жаловался, что я мешаю его «антрепренерской деятельности». К сожалению, эпохальная встреча так никогда и не состоялась. К тому времени, как я прочел лекции в Лос-Анджелесе и окрестностях, меня уже задержали «весьма уважаемые» адвокаты, желавшие встретиться со мной от имени «одного человека», которого я «очень люблю». Пришлось сесть в поезд до Денвера — и на восток.

Загадочный «один человек» оказался не кем иным, как великим князем Михаилом Александровичем, моим покойным шурином, которого двенадцать лет назад в Пермских лесах расстреляли большевики. В Лос-Анджелесе было сразу четверо великих князей Михайлов, и каждый заявлял, что он

«настоящий». Трое из них предпочли снестись со мной через адвокатов, четвертый пришел повидаться лично. Это был пухлый человечек ростом около пяти футов семи дюймов (в моем покойном шурина было шесть футов три дюйма без сапог), говорил он с сильным украинским акцентом и упорно называл меня «Ваше Святейшество». Рост и знание титулов ему заменяла бравада. В его мундире причудливо сочетались боярская Москва и современный Калвер-Сити — ради одного этого зрелища стоило съездить в Лос-Анджелес.

— Вы помните этот мундир, Ваше Святейшество? — воскликнул он с порога.

Я помнил. В последний раз я видел его в романтической пьесе Элинора Глин.

— Как поживает матушка? — был его следующий вопрос.

«Его матушка» уже два года как скончалась.

Он принял это известие мужественно. Лишь поднес к глазам платок с гигантской монограммой и сказал: «Царствие ей Небесное».

— Местная пресса не слишком следит за международными событиями, — пояснил его сопровождающий — седой, почтенного вида человек, смахивавший на старомодного университетского ректора.

Я ждал. Я не торопился выставлять их за дверь — их незатейливый обман был совершенно безобиден.

— У меня есть близкие друзья среди лучших людей города, — сказал господин в медалях.

Я подождал еще.

— Они верят мне безоговорочно, но, думаю, документ, подписанный Вашим Святейшеством, поможет мне обезоружить врагов Романовых.

Я сказал секретарю пару слов по-французски.

— Вы не сердитесь? — спросил сопровождающий.

— Ничуть, — ответил я. — Я просто попросил секретаря принести фотоаппарат.

— Фотоаппарат?

— Вот именно. Хочу сделать снимок вашего друга. У меня уже целая коллекция людей, выдающих себя за великого князя Михаила Александровича, но таких я еще не видел.

— Я раньше носил бороду, — робко заметил самозванец.

— И зря, — посоветовал я дружески. — Больше так не делайте. Оставьте как есть.

— Так вы не подпишете аффидевит?

— Увы, дружище.

— Думаю, нам лучше уйти, — сказал сопровождающий.

И они вышли, как пришли — высоко подняв голову, весь кураж при них, на лицах написаны прямота и честность. От души надеюсь, что их еще принимают «лучшие люди» Лос-Анджелеса. В мире, помешавшемся на достоверности, это последние могикане чистого искусства.

— Так как вас все-таки зовут? — спросил за завтраком мой сосед, услышав, как меня несколько раз называли то «Ваше Высочество», то «превосходительство», то «монсеньор».

— Александр.

— А дальше?

— Все. Просто Александр.

— Нет уж, простите, — сказал он нетерпеливо, — давайте все как есть... У вас что, вообще нет фамилии?

Я признался, что фамилия у нас есть, но в силу установившегося обычая нас по ней никогда не называют. В качестве примера я сослался на тот факт, что, хотя близкие друзья принца Уэльского могут звать его Дейвид или Эдвард, никто тем не менее не обращается к нему «мистер Виндзор».

Мой собеседник с сомнением покачал головой и задумался.

— Ну хорошо, — воскликнул он внезапно, — предположим, к примеру, меня зовут Джонни Уокер. Меня вам представят как мистера Джонни или мистера Уокера?

— Конечно, как мистера Уокера, но если бы так звали меня, я был бы представлен вам как великий князь Джонни.

— Теперь ясно, — мрачно признал он. — Ваша взяла.

Лишь позднее я понял, что мне не следовало с ним спорить. Этот человек, так твердо верящий, что у каждого должна быть фамилия, принадлежал к вымирающей категории американцев, которых не затронуло повальное увлечение всем королевским, присущее их современникам. Я не знаю ни королевства, ни империи, где преклонение перед титулами, голубой кровью и прославленными предками достигало бы таких размеров, как сейчас в Соединенных Штатах.

Американских послов при Сент-Джеймском дворце каждую весну осаждают тысячи просителей, жаждущих быть представленными их британским величествам. Американские девушки из всех штатов стекаются в Лондон, живут там по несколько месяцев и тратят целое состояние на придворные платья, уроки этикета и «светские вечера», тогда как сама церемония длится несколько секунд.

Американские промышленные магнаты спят и видят, как их имена внесут в Светский календарь родного города. Американские советы по связям с общественностью получают немалые деньги за то, что тщательно следят за свободным временем боссов и ведут долгие кампании, в результате которых тем достается кусок ленточки какого-нибудь иностранного ордена.

Знание американцами «Готского альманаха» граничит с чудом. Насколько я могу судить, эта сухая и довольно скучная книга, описывающая родословные аристократов, в Соединенных Штатах идет нарасхват. Я никогда не забуду беседы с дамой, которую встретил на вечере в доме одного политика. Беседа, впрочем, была весьма односторонней. Добрые двадцать минут, ни разу не запнувшись на дате, титуле или имени, говорила она о моих русских, английских, датских, немецких и испанских родственниках. Она рассказала мне о них больше, чем знал я сам. Не меньшие познания выказала она, говоря о 1-м Крестовом походе и нынешних французских потомках его участников, и в

подробностях поведала судьбу всех до единого сподвижников Вильгельма I Завоевателя. Когда под конец она перескочила на список пассажиров славного корабля «Мейфлауэр», мне стало не по себе. Казалось, ее скороговорка преодолела время, и я вот-вот лицом к лицу столкнусь с хмурыми голодными сквайрами, высадившимися на берег в тот достопамятный последний четверг ноября 1620 года.

Обладательница всех этих поразительных знаний жила в маленьком глухом городке и, учитывая скромный масштаб амбиций ее труженика мужа, я сильно сомневаюсь, что ей вообще когда-либо приходилось применять их на практике. Это был классический пример слепого подражания. Благодаря ей я впервые понял, что мои друзья-американцы становятся все большими «роялистами», в то время как сам я становлюсь все большим «демократом». Несмотря на расплывчатость обоих понятий, я не нахожу слов, лучше выражающих мое изумление перед умонастроениями современного американского общества. Во времена манхэттенских «четырёхсот» — именно столько семей принадлежало к высшему свету Нью-Йорка в конце прошлого века — это был просто снобизм, теперь же это напоминало австрийский императорский двор. Лишь покойный обер-гофмейстер Габсбургов мог бы по достоинству оценить все хитросплетения головоломного американского закона социальных приоритетов, согласно которому пальма первенства отдается Бостону, на Нью-Йорк косятся с подозрением, а города Среднего Запада удостаивают кислой мины.

Я честно признаюсь в полнейшей неспособности понять таинственную связь между географическим положением города и оценкой, которую верхушка американского общества выставляет его уроженцам. Могу лишь сказать, что всякий раз, как я возвращался в Нью-Йорк из Дейтона, штат Огайо, Спрингфилда, штат Иллинойс, Саут-Бенда, штат Индиана, или любого другого места к западу от реки Гудзон, манхэттенские дамы восклицали с неподдельным сочувствием: «Ужас! Просто ужас! Ну и намаялись вы с ними, наверное!»

Я как мог старался опровергнуть это утверждение. С величайшим жаром говорил я о том, как приятно проводил вечера у гостеприимных хозяев на Среднем Западе, но неизменно натывался на ласковую, чуть ироничную улыбку, говорившую о том, что вежливость мою ценят, но в искренности сомневаются.

Так во времена королей человек был во Франции никем, пока не переезжал в Париж и не селился в пяти минутах ходьбы от Королевского дворца. Так на Корсике стало непреложной истиной, что только плохой корсиканец вопреки примеру Бонапарта останется там, где родился.

К тому времени как приезжий в Америке усваивает первые уроки социальной географии, перед ним встает еще одна нелегкая проблема: пробыв несколько недель в Бостоне, Филадельфии или Нью-Йорке, он обнаруживает существование внутри одного и того же общества бесчисленных кругов и подразделений. Сколько ни жил я на востоке Штатов, столько и повторялся по разным поводам следующий типичный диалог:

— Придете в четверг к нам на ужин?

— Мне очень жаль, но я уже принял приглашение мистера и миссис ***.

— Чье приглашение?

Пришлось повторять имя, которое знает любой американец.

— Никогда о них не слышала. Кто это?

— Ну, я знаю лишь то, что отец мистера *** отвечал за строительство одной из крупнейших западных железных дорог. По моему убеждению, именно его труд явился завершающим в деле обустройства вашей страны — так, по крайней мере, учили меня учителя лет пятьдесят назад. Не скажу, правда, точно, каким кораблем прибыли его предки в Америку. Насколько я знаю, они могли добраться и вплавь.

— Определенно никогда о них не слышала, — повторила упрямая дама, и мы оба рассмеялись. Так уж случилось, что мистер и миссис *** были из другого круга.

История сообщает об одном известном английском лорде, который был крайне недоволен тем, какой шум поднимают вокруг мистера Ньютона. В конце концов, кто такой этот Ньютон? Его Светлость был совершенно уверен, что никогда не встречал его при дворе их величеств.

3

Как любой лектор, я гордился, что мне приходят письма. Писали в основном собиратели автографов и чудаки. Если первых еще можно найти в Германии и Англии, то вторые водятся исключительно в Соединенных Штатах.

Были письма с требованиями денег и угрозами. Суммы просили самые разные: от состояния в сто тысяч долларов — столько я должен был положить в почтовый ящик в Сан-Бернардино, штат Калифорния, — до такой мелочи, как половина моей доли «царских миллионов в Английском банке», — их я сразу отправил г-ну Т.Б.К. до востребования, Сиэтл, штат Вашингтон. Надеюсь, он их получил. Ведь я сделал точно, как было сказано: выписал чек на предъявителя с оплатой наличными в Английском банке, Лондон, Треднидл-стрит, на сумму в «пятьдесят процентов от доли великого князя Александра в царских миллионах».

Угрозы были оригинальнее. Просто застрелить меня моим корреспондентам было мало. В Чикаго «друг Советской России» хотел взорвать отель «Дрейк». Борец за дело «балканских национальных меньшинств» из Монреаля обвинял меня в том, что я веду пропаганду в интересах короля Югославии Александра, и за это в моем утреннем кофе будет «столько микробов, что хватит на эпидемию брюшного тифа». «Враг всех паразитов» из Палм-Бич собирался продемонстрировать силу своего секретного изобретения, «смертоносных лучей», разрушив с расстояния десяти миль мою квартиру в Эверглейдс. Был еще «честный русский из Гарлема», каждый мой приезд в Нью-Йорк встречавший посланием: «Никакой Гровер Вейлен не спасет вас от гнева рабочего класса». Отставка г-на Вейлена не произвела на него впечатления. Он упорно отказывался использовать имя его преемника Малруни.

К концу третьей зимы моей работы в Америке у меня завелись любимцы среди чудаков. Я узнавал их по почерку и почтовой бумаге. Я думал, что знаю уже все об этом разрастающемся классе американского общества, когда председатель известного нью-йоркского банка свел меня с главным сумасбродом Америки. Он пришел с «предложением». Он выстроит мне «храм». Я получу чуть не миллион долларов за четыре года, в течение которых

должен прочесть двести лекций. Выбор тем и длина лекций — по моему усмотрению. Никакой входной платы и денежных сборов.

— Вам так нравятся мои книги? — спросил я.

— Никогда не читал, — ответил он честно.

— Вы спирит?

— Еще чего не хватало. По-моему, это чушь собачья.

— Тогда зачем вы пришли?

— Тут вот какое дело, — сказал он доверительно, наклоняясь ко мне. — Я нашел причину войн и революций. Это пища, которую мы едим.

— Пища?

— Вот именно. Мясо. Птица. Рыба. Из-за них-то мы и ведем себя как звери.

— Понимаю. Вы вегетарианец.

— Да, и желаю, чтобы все были вегетарианцами. Шесть месяцев строгой овощной диеты, и вы не узнаете этот мир. Другого пути к Вечному Миру нет.

— Вы работаете на какого-то определенного производителя овощей?

Он нахмурился.

— Вы меня, кажется, не поняли. Я не работаю ни на что, кроме Вечного Мира. Мое предложение не коммерческое. Я только хочу, чтобы в конце каждой проповеди вы объявляли, что свое чудесное спасение объясняете тем фактом, что не берете в рот мяса и всегда питались одними овощами.

— Почему вы думаете, что это произведет впечатление?

— Я знаю.

Когда он ушел, я перечитал рекомендательное письмо, которое дал ему мой друг банкир. В нем говорилось: «Мистер *** — наш ценный клиент. Я готов поручиться за его честность и выступить гарантом любого предложения, какое он вам сделает».

4

Завершив курс лекций, я уехал в Вашингтон на встречу с собственным прошлым, поджидавшим меня в доме миссис Х., где я часто ужинал летом 1893-го. Хозяйке было под девяносто, и она прошла школу кризисов и депрессий. Это был, похоже, единственный житель Америки, который еще помнил, что происходило больше шести месяцев назад. Сущим наслаждением было смотреть, как она читает газеты.

— «Самое жаркое двадцать пятое мая за всю историю Соединенных Штатов»... — бормотала она, просматривая заголовки. — Че-пу-ха. Сами знают, что это вранье. Да я сама помню лет двадцать назад, когда двадцать пятого мая было куда жарче. «Трое скончались от жары». Ну да, трое... Одного, наверно, сбил грузовик, а двое отравились каким-нибудь пойлом. Зачем все валить на погоду? «Самый критический момент за всю историю Соединенных Штатов, говорит министр финансов». Ну что ж, все и так знают, что у него плохо с памятью. А как же 1873 год, когда лопнули чуть не все сберегательные банки и железнодорожные компании? «Эти выборы будут помнить грядущие поколения, говорит кандидат». Так говорят все кандидаты с того самого дня, как Грант победил генерала Ли. Да через четыре года имени проигравшего не вспомнит ни одна живая душа в Америке... Порой я радуюсь, что живу в

Вашингтоне и не могу ни за кого голосовать. В этой стране девяносто девять процентов населения надо лишить избирательных прав.

— И кто же останется?

— Профессиональные политики. Мальчики на побегушках и живодееры местного значения. Все равно они правят страной. Чего вообще суетиться?

Она говорила это не как старая брюзга, что вечно оплакивает «старые добрые времена», но как решительный и здравомыслящий человек, который отказывается воспринимать всерьез трескотню и истерию американского политического балагана. Само выражение «старые добрые времена» было в доме миссис Х. под запретом.

— Да перестаньте, — прерывала она любого, кто пытался восхвалять прошлое в ущерб настоящему. — Не было никогда ни лучше, ни хуже, чем сейчас. Те же взятки, те же любовные интрижки, то же пьянство, то же невежество и те же шутки. Единственная разница — что наши внучки не такие ханжи и злюки, как мы.

В тот вечер, весной 1930 года, когда я ужинал у нее, за столом разгорелся жаркий спор. Присутствовало несколько сенаторов и нью-йоркских банкиров, и им хотелось определить, вынесут ли американцы урок и какой из Великой депрессии 30-х годов.

— Они поймут, что сила нашей страны в жесткой привязанности валюты к золотому стандарту, — сказал известный банкир.

— Они наконец откроют глаза на существование взаимозависимости наций, — сказал публицист, почитаемый соотечественниками за главного пророка Америки.

— Они выйдут из депрессии лучшими гражданами и будут больше уважать конституцию, — сказал краснощекий сенатор.

— Меньше чем за двадцать лет они забудут, что у них вообще была депрессия, — сказала миссис Х. — Не наступит еще сороковой год, как вы снова приметесь сбывать всякий хлам, какой только соберете в Центральной Европе и Южной Америке.

Она кивнула на троицу нью-йоркских банкиров, и те вежливо засмеялись, правда, не слишком весело.

Когда пришла моя очередь говорить, я вежливо отказался. Лгать при миссис Х. мне не хотелось, а заговори я откровенно, слушатели бы меня не поняли. Некоторые из них, как говорят в Америке, «сделали себя сами», сознавали свой триумф и чрезвычайно гордились тем, что выбились из самых низов. Мои идеи их возмутили бы; возможно, они приняли бы их за личное оскорбление.

— Ну же, давайте, — настаивала миссис Х. — Уж вы-то знаете толк в бурях и катастрофах. Выскажите точку зрения европейца.

— С вашего позволения, я лучше подожду.

— Подождете чего?

— Дальнейших подтверждений моей теории.

Я жду уже три года — вырезаю из газет сообщения о банкротствах и собираю сведения о главах исчезнувших компаний. И пусть составить подробный отчет

под силу лишь опытному статистику, имеющиеся у меня данные тем не менее заставляют задуматься. Моя теория проста. Так же проста, как единственный урок, который преподнесла Великая депрессия: не сотвори себе кумира из тех, кто «сделал себя сам»!

Вырезки говорят мне о том, что более девяноста процентов лопнувших банков и закрывшихся заводов были основаны или возглавлялись именно такими людьми. И не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Хетри в Англии, Крейгер в Швеции и Остерик во Франции — эти ставшие сенсацией банкроты Старого Света принадлежали к той же чудесной породе людей, почитаемых в Соединенных Штатах за полубогов. При этом больше всех в Америке досталось кинематографу — индустрии, возникшей стараниями польских и центральноевропейских иммигрантов.

Нет надобности приводить имена или составлять таблицы. Всякому читающему газеты известно, что где бы ни случилось в последние четыре года «сенсационное» банкротство, во главе лопнувшего предприятия обязательно стояли люди, у которых не было ни воспитания, ни профессионального образования, соответствующего их положению.

И пусть большинству американцев это не по душе, всегда была и будет существовать такая вещь, как «традиция». Ротшильды и Мендельсоны стали теми, кто они есть, не потому, что у них сундуки набиты золотом, а потому что они выросли в атмосфере, пропитанной банковскими традициями. Основатели их династий, может быть, и «сделали себя сами», но, во-первых, они жили в начале девятнадцатого века, на заре развития промышленности, а во-вторых, никто из них не разбогател в мгновение ока. Лишь через сто лет стали они «великими» Ротшильдами и Мендельсонами, хотя и самый бесталанный из них смыслил в банковском деле куда больше, чем чудо-банкиры Соединенных Штатов.

Это звучит как азбучная истина: беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. Но так оно и есть. Если б в 20-х годах американцы руководствовались в своих делах азбукой, сейчас в Соединенных Штатах жилось бы гораздо легче. Никто, даже специалисты по связям с общественностью, ухитрившиеся сотворить «национальных героев» из громогласных посредственностей и важных зануд, не в силах найти правдоподобного объяснения тому, что нация, всегда настаивавшая, что лишь «специалист» имеет право прописать больному касторку, позволила портным, пастухам и скорнякам заправлять финансами.

Я говорю о банках и банкирах, потому что в Америке это дело больше любого другого было пущено на самотек, и почитание «сделавших себя» людей стало единственным законом Уолл-стрита.

— В Америке нет банкиров, только торговцы, — сказал в 1893-м Витте, русский министр финансов. В устах «сделавшего себя» человека, начинавшего карьеру скромным чиновником в железнодорожном управлении, это звучало странно. Лишь через сорок лет понял я истинное значение этих слов. Америке же пришлось пережить четыре года горя, страданий и голода, прежде чем понять, что политику надо оставить политикам.

Глава XIV

Обретение

1

Час коктейля давно прошел, и скрипач с печальными глазами вытирает со лба тяжелые капли пота. Весь день он сражался с залитой солнцем, неподвижной пустотой кафе и уже готов был сдаться.

Я сижу и слушаю. Я снова в Европе, в Монте-Карло. Коньяк на моем столе именуется «Наполеон», а песня, которую исполняет оркестр, называется «Веселый Париж». Ни один ресторан не может позволить себе подавать коньяк «Наполеон», а Париж никогда не был веселым, но я только что вернулся из Америки и ничего не имею против забавной лжи.

— Говорю вам, нам только и осталось, что наскрести свои последние гроши и уехать на Таити. Эта депрессия действует мне на нервы. Ни минуты ее больше не вынесу.

Человек за соседним столиком, похоже, оптимист. Или, быть может, он слишком начитался буклетов Кука. Лично я обойдусь без Таити. Я намерен остаться там, где и нахожусь, на Французской Ривьере. Любопытно, что в конце концов я пускаю корни там, где умерли мои отец и сестра, но я вспоминаю их без скорби. Я совершенно счастлив. Я достиг своей цели. Я обрел себя. Может, это произошло и не так, как я ожидал, но мне приятно осознавать, что, прожив жизнь, подобную которой мало кому довелось прожить, я по-прежнему считаю, что вся она, каждый ее миг были прекрасны. Если бы меня расстреляли в восемнадцатом году, я бы умер, сожалея об очень многом. Теперь я ни о чем не жалею. «Делай свое дело и делай его хорошо». Дела, в смысле настоящей работы, у меня никогда не было, и за что бы я ни брался, все выходило плохо, однако Америка излечила меня от дилетантской застенчивости. Я видел великих деятелей в момент серьезного кризиса и теперь рад, что я дилетант. Каким-то образом это не позволило мне поддаться их истерии. Благодаря Америке я понял также, почему Бурбоны «ничему не учатся». Потому что им так и не удалось найти ничего, достойного изучения, ничего, чего бы они уже не пробовали. Потому что в отличие от меня им ни разу за все время изгнания не попалось никого, кто бы действительно по-настоящему знал свое дело.

«Пусть каждый подметет у собственного порога, и весь мир станет чистым». Как доктрина необузданного индивидуализма эти слова умирающего Гёте звучат впечатляюще, но как практический совет они пасуют перед требованиями реальной жизни. Как, спрашивается, человеку подмести на собственном пороге? Запереть общепринятые нормы или вымести их прочь? Я пробовал и то и другое и обнаружил, что мир выглядит мрачнее не придумаешь, если его начисто вымести. Мировая война заставила всех нас выскребать собственные пороги, то же самое делала депрессия. И все-таки...

Скрипач совсем отчаивается. Он жестом приказывает оркестру умолкнуть и играет соло «Quand l'amour meurt». Когда я впервые услышал эту песню, Муссолини был в пленках, а Гитлер еще не родился. Люди Дела. Люди Судьбы. Герои Дня. На ум приходит отрывок из дневника императора Александра I: «Тильзит. 1807 г. Весь день провел с Наполеоном. Простил бы

ему что угодно, кроме того, что он такой ужасный лжец. Как могу я доверять ему?». А может хотя бы кто-нибудь доверять Человеку Судьбы?

«Quand l'amour meurt»... Наверное, у скрипача есть свои причины чувствительного свойства играть эту старую глупую песенку еще раз. В каком именно году я услышал ее впервые? Я прислушиваюсь к мелодии и вспоминаю. 1889-й. Париж. Бар «Америкэн». Как раз то время, когда я познакомился с эрцгерцогом Йоханном Непомуком Спасителем, который желал, чтобы к нему обращались «мистер Джон Орт», и который, сам того не подозревая, удержал меня от сожжения мостов.

2

Когда я в Париже познакомился с Джоном Ортом, его женитьба на Милли Штубель, пятнадцатилетней танцовщице-австрийке, давала основную пищу для сплетен всем придворным бездельникам Европы. Мир был еще молод — это произошло в 80-х. Американские авиаторы еще не пересекали Атлантику, Гитлер и ему подобные еще не приходили к власти, и все, что эрцгерцогу нужно было сделать, чтобы попасть на первые полосы газет, это заметить во время военного парада в австрийском городке Линц хорошенькую девушку, остановить перед ней коня, поднять ее на руки и направиться в ближайшую церковь.

Случись подобное с кем-нибудь другим, брак, вне всякого сомнения, был бы признан недействительным, родители Милли Штубель получили бы хорошие отступные, и через неделю все происшедшее было бы забыто. Однако мой друг был Габсбург — как и его дядя Франц Иосиф. Как ни были живописны их почтенные бакенбарды, они неспособны были скрыть фамильный выступающий подбородок всех Габсбургов, знак непревзойденного упрямства и тщеславия.

Эрцгерцог подозревал, что поступил неразумно, однако не мог вынести, когда на него кричали. Император и сам был когда-то молод, но не терпел, когда ему возражали, будь это даже его собственный племянник. Дело дошло до грандиозного скандала.

Тот, кто был эрцгерцогом Йоханном Непомуком Спасителем, превратился в мистера Джона Орта, джентльмена, изгнанного из Австрии и по пятам преследуемого агентами охраны разгневанного императора. Ему пришлось торопиться: он понимал, что австрийские сыщики могут попытаться похитить Милли Штубель. И он отправился из Австрии в Швейцарию, из Швейцарии в Испанию, из Испании в Англию, из Англии во Францию. Время от времени, устав от этой бесконечной гонки, он проделывал один невинный трюк: выходил из гостиницы, оставив там багаж, встречался с Милли, переезжал в соседний городок и посылал письма своим друзьям на другом конце земли, в Патагонию или Южную Африку, с просьбой переслать их оттуда в Вену.

Газетчики говорили, что он самый загадочный человек в Европе. Его дядя считал его самым черным пятном на гербе Габсбургов.

Наши общие друзья в Париже обещали устроить мне встречу с Джоном Ортом, и я ждал ее с нетерпением. Я приближался к возрасту, когда, согласно традициям российской монаршей фамилии, молодому великому князю

полагалось жениться на германской великой герцогине, которую он ни разу не видел и которая могла оказаться самой отталкивающей женщиной на свете. Было радостно осознавать, что нашелся принц с дерзостью Йоханна Непомука и что, случись худшее, я смогу последовать его примеру...

Он вошел в сопровождении юной девушки. Не нужно было никаких представлений, чтобы понять, что это и есть знаменитая Милли Штубель: ее испуганные глаза и измученное лицо сами рассказывали историю их скитаний. Джон Орт сразу же сказал, что хочет просить меня об одном одолжении. Не согласился бы я поговорить от его имени с императором Францем Иосифом, когда буду в следующем месяце в Вене? Я был озадачен. Почему именно я — юноша, который видит австрийского императора впервые в жизни?

— Мне кажется, — сказал я, — что просить за вас было бы лучше кому-нибудь из ваших братьев или кузенов.

Он покачал головой:

— Они все меня ненавидят, — сказал он резко. — Я прошу это сделать вас, потому что старик еще ни разу вас не видел, и в особенности из-за вашей молодости. Он может смягчиться, видя, что юный русский великий князь просит за другого молодого человека. Скажите ему, что мы очень счастливы. Скажите ему, что мы просим лишь разрешения получать небольшую часть дохода от наших владений. Я не прошу, чтобы мне вернули титул, и не хочу возвращаться в Австрию. Немного денег время от времени — это все, что мне и моей жене нужно. Не правда ли, Милли? Ведь мы счастливы друг с другом?

Она кивнула, но промолчала. Бедняжка явно не верила, что кому-то по силам «смягчить» неумолимого императора.

Мы немного побеседовали, потом они поднялись.

— Если будут хорошие вести, — сказал Йоханн Непомук, — не сообщите ли вы мне о них по этому адресу? Если же нет, не стоит и писать. Я пойму, что означает ваше молчание.

Адрес, написанный на обратной стороне его визитной карточки, гласил: «Для мистера Джона Орта, отель Бауэр-о-Лак, Цюрих, Швейцария».

Мне не довелось больше встретиться с несчастной парой, но я-таки написал им о результатах своего ходатайства в Вене. К сожалению, на это хватило и пяти строк. Не успел я заговорить с императором на злосчастную тему, как он опустил свои водянистые глаза, еще мгновение назад исполненные доброты, и глухо произнес:

— Я не привык прибегать к чьей-либо помощи при разрешении своих семейных трудностей. Надеюсь, что Ваше Императорское Высочество останется довольным пребыванием в Вене.

Никому точно неизвестно, где и при каких обстоятельствах умер Джон Орт. Последнее письмо, полученное его друзьями в Париже, начиналось строкой: «Чатам, Англия, 26 марта 1891 г.», — и извещало о его намерении отправиться в Южную Америку. Предположительно, он умер в Аргентине год спустя, в возрасте тридцати девяти лет. За последние пятнадцать лет в обеих Америках появилось не менее двух десятков самозванцев, выдававших себя за Джона Орта и грозившихся через суд вернуть себе имущество Габсбургов. Обнаружив, что никакого «имущества Габсбургов» больше не существует, поскольку инфляция

в Австрии проглотила его без остатка, предприимчивый пожилой господин обычно возвращался к более прибыльным способам надувательства. Если Милли Штубель еще жива, ей должно быть шестьдесят лет. Надеюсь, ради ее же блага, что ее второй муж не знатного происхождения.

3

Четверть века спустя я стоял перед другим императором и снова ходатайствовал за влюбленного юношу. В случае с Джоном Ортом мною руководили интересы чисто эгоистические: я думал о себе и своем будущем. Теперь же, в кабинете императора Николая II, во мне говорил встревоженный отец. Мои сыновья быстро подрастали, и я чувствовал, что если не пробью эту стену предрассудков, последствия для моей семьи могут быть самыми трагическими. Момент был удобный: к тому времени в царской семье было уже два провинившихся. Старший был дядя царя, младший — его родной брат. Оба были красавцы и всеобщие любимцы. Оба, с разницей в десять лет, женились на женщинах разведенных и безродных. Обоим пришлось покинуть Россию.

— До чего мы дошли, — нервно сказал государь, — если дядя Павел женился на разведенной жене одного из моих офицеров, а Миша и того хуже — на дважды разведенной дочери московского юриста-радикала. Дядя Павел дважды нарушил этикет, а Миша трижды!

Под словами «дважды» и «трижды» он имел в виду то, что не только великий князь не должен был жениться на неравнородной, но и женщины, состоявшие в разводе, не имели права приезжать ко двору.

— Совесть моя спокойна, — добавил он, подумав. — Я сделал все, чтобы удержать Мишу от этого безумного шага.

Я спрятал улыбку. Царь не только в России сделал все, что мог, чтобы помешать этому браку, но и привел в готовность все русские посольства, уведомил все европейские канцелярии, а по пятам за беглой парой следовал отряд тайных агентов; в результате история Мишиной женитьбы читается как детектив.

Служащим маленького немецкого полустанка и в голову не могло прийти, что высоченный молодой человек и его спутница в шляпке с густой вуалью, спрыгнувшие ранним зимним утром с парижского экспресса, — брат императора всероссийского и его будущая супруга. И лишь когда поезд прибыл в столицу Франции, три русских сыщика, отобранных за опыт и бдительность, обнаружили, что их августейшая жертва улизнула. Они кинулись в Канны, на Французскую Ривьеру: накануне они собственными глазами видели телеграмму, отправленную великим князем из Берлина, где тот просил администрацию одной каннской гостиницы забронировать ему «удобный номер на двоих». Они рассчитывали, что рано или поздно великий князь там покажется.

Узнав о новом повороте событий, русский посол в Париже связался с французским министром иностранных дел. Тот был только рад оказать царю услугу. «Не беспокойтесь, дорогой коллега, — успокоил он посла. — Ни один мировой судья и ни один мэр во Франции не ослушаются моего приказа». Так оно и было, и общество С.-Петербурга готовилось встретить блудного великого князя — казалось, что, не сумев получить разрешения на брак в Германии и

Франции, он должен вернуться и просить прощения у своего царственного брата.

Начальник тайной полиции получил от царя благодарность за хорошую работу, и целую неделю во дворце была тишь и гладь. Потом от русского посла в Вене пришла телеграмма: человек, назвавшийся Михаилом Романовым, и женщина, назвавшаяся Натальей Шереметьевской, неделю назад вступили в брак в одном австрийском городке... Так уверен был царь, что его брату и в голову не придет соваться к строгим Габсбургам, что только австрийское правительство не попросил наш двор о «дружеской» помощи!

Нетрудно представить себе состояние императора. Его не послушались и выставили посмешищем — о какой терпимости и снисхождении может вообще идти речь?

— Ты зря теряешь время, — сказал он мне. — Если меня не слушаются родной дядя и брат, чего можно ждать от посторонних?

— Совершенно верно, Ники, — согласился я со всей живостью, на какую был способен при данных обстоятельствах. — Но позволь напомнить тебе одну сцену, при которой мы оба присутствовали еще детьми. Помнишь вечер в Зимнем дворце, когда мы сидели за столом у твоего деда и наши родственники третировали несчастную княгиню Долгорукую? Тебе не было ее жалко? Ты не сочувствовал деду?

— Ну да, конечно, — воскликнул он нетерпеливо, — но мне тогда было тринадцать, а в этом возрасте человек не способен еще понять всей мудрости династических законов.

— Разве это мудрость, Ники, — разлучать людей, которые любят друг друга? Разве это мудрость — заставлять своего брата бросить женщину, с которой он счастлив, и жениться на нелюбимой?

— Слова, слова, слова, — сказал он, махнув рукой. — Мы, монархи, должны думать о своем долге, а не о желаниях и прихотях. Легко тебе бранить наши брачные традиции, а ведь только они не дают нашим детям унаследовать черты простолюдинов.

— И что же это за ужасные черты, Ники? — мягко спросил я, стараясь, чтобы это не звучало слишком иронично.

Ники окинул меня взглядом.

— Их две, — сказал он хмуро. — Желание наслаждаться жизнью. Погоня за личным счастьем. Монарх не может наслаждаться жизнью. Монарх не может быть счастлив. А если будет, — он пожал плечами и посмотрел еще мрачнее, — то что же тогда останется от монархии!

— Ясно, — сказал я. — Ты, судя по всему, веришь в законы наследственности. Но, Ники, как ты тогда объяснишь, что ни Миша, ни дядя Павел не унаследовали этой похвальной решимости быть несчастными? Бог свидетель, у них в роду нет простолюдинов.

— А мне не надо это объяснять, — ответил он сухо. — Мой долг — проследить, чтобы они были как следует наказаны.

И они и впрямь были наказаны. Лишь когда разразилась мировая война и все священные правила показались пустыми и ничтожными, двум великим князьям разрешили вернуться в Россию. Но даже возглавив боевые части, они

по-прежнему не были допущены ко двору, а жен их члены императорской семьи никогда не считали за равных. На письме великого князя Павла, просившего для своей морганатической супруги скромной привилегии стоять на официальных приемах впереди флигель-адъютантов, государь написал размашисто синим карандашом: «Сущая глупость!»

4

Скрипач закончил играть. Все уже ушли. Я один. Я не досажую на себя за размышления о том, что принадлежит далекому прошлому. Джон Орт. Миша. Ники. И правда, «сущая глупость»... Никого из них больше нет. Очень скоро и мне придется уйти. Я повидал на своем веку столько войн, что потерял способность отличать «героизм» от «трусости». Тот, кто пытается быть кем-то другим вместо того, чтобы идти через раскрытые двери — герой он или же трус? Уверен, что не знаю. Однако я знаю, что самые сильные переживания и самые увлекательные приключения в моей жизни казались мне поначалу такой рутиной, таким невезением.

Если я сейчас встану и пойду по улице к железнодорожной насыпи, я, несомненно, припомню многих других, кого уж нет, кого я провожал и встречал когда-то на вокзале Монте-Карло. Отца. Братьев. Сестру. Короля Эдуарда. Когда они были живы, я завидовал им. Теперь мне их жаль. Им так и не представилась возможность испытать то, что испытал я, и взглянуть на себя со стороны. Они умерли, сожалея, что не родились в другой семье, в других условиях. Им не хватило жизни, чтобы понять, что никакого «личного счастья» не существует, что чего-то стоит лишь мечта о Сольвейг, но не сама Сольвейг.

Смеркается. Автомобили, проезжающие перед входом в казино, включают фары. У рулетки меня ждут знакомые, но я устал от прошлого, и мне претит встречаться с призраками казино. Это скверные, второсортные призраки. Они говорят с акцентом бессильной ненависти и мелочной жадности. В своих прежних инкарнациях они, наверное, были политиками. Их стоило давным-давно похоронить.

Я иду домой. У меня есть дом, впервые за шестьдесят семь лет. Не слишком внушительный — как раз для меня и моего будущего.

Р.С. Великий князь Александр Михайлович скончался 26 февраля 1933 года.

Воспоминания великого князя Александра Михайловича

Великий князь

Александр Михайлович

ВОСПОМИНАНИЯ

В ДВУХ КНИГАХ

Редакторы

Л.М.Бурмистрова

И.В.Захаров

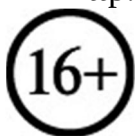
Художник

И.Сакуров

Верстка

В.Ю.Кечкин

Издатель Ирина Евг. Богат
Свидетельство о регистрации
77 № 006722212 от 12.10.2004 г.
121069, Москва, Столовый переулок, д. 4, офис 9
(рядом с Никитскими Воротами,
отдельный вход в арке)
Тел. (495) 697-12-35. Факс (495) 691-12-17
Наш сайт: www.zakharov.ru
E-mail: info@zakharov.ru
<http://www.facebook.com/IzdatelstvoZakharov>
<http://zakharov-publ.livejournal.com>
Подписано в печать 20.01.2014. Формат 84x108/32
Бумага писчая. Усл. печ. л. 27,72. Тираж 1500 экз.
Заказ №
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие
«Правда Севера»
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32
email: zakaz@ippps.ru
<http://www.ippps.ru>





*Мать, великая княгиня
Ольга Федоровна*



*Отец, великий князь
Михаил Николаевич*



Великий князь Александр Михайлович — сидит в первом ряду в центре, справа от цесаревича Николая Александровича — в гостях у короля Дании Христиана IX (стоит слева), рядом его дочь Дагмар, ставшая русской императрицей Марией Федоровной, женой Александра III (сидит справа). Девочка в шляпе (стоит в центре) — дочь Александра III и Марии Федоровны великая княжна Ксения, будущая жена Александра Михайловича. Конец 1880-х годов



*Ксения Александровна, сестра Николая II
и невеста Александра Михайловича. Фото 1892 года*



*Александр Михайлович.
Фото 1896 года*



Большой костюмированный бал в Зимнем дворце в феврале 1903 года.

*Верхний ряд, слева направо: Ксения Александровна,
Александр Михайлович, Елизавета Федоровна, Сергей Александрович.*

Нижний ряд, слева направо:

Николай II, Александра Федоровна, Мария Федоровна



*Члены императорской семьи среди персонала и раненых лазарета
Юсупова на Литейном проспекте, 42, в Петрограде.*

*Слева направо во втором ряду: жена Александра Михайловича
Ксения Александровна, теща Мария Федоровна, зять Феликс Юсупов
и дочь Ирина Юсупова. Это фрагмент фотографии, которую сделал
в 1915 году Карл Булла; полностью она воспроизведена в 1998 году
в прекрасном фотоальбоме «Николай II. Страницы жизни»
петербургского издательства «Лики России»*



*Фото на развороте: Александр Михайлович, Ксения Александровна и их дети Андрей
Ростислав (1902—1978) и Никита (1900—1974). Петербург, 1905.
Фото внизу слева сделано спустя тридцать лет в Париж*



ей (1897–1981), Ирина (1895–1970), Федор (1898–1968), Дмитрий (1901–1980),
год. Через два года рождается их младший сын Василий (1907–1989).
се; на нем нет Александра Михайловича, но есть Василий



*Великий князь Александр Михайлович во Франции
незадолго до смерти в 1933 году.*

*Справа внизу: великая княгиня Ксения Александровна на пороге своего дома
в Хэмптон-корте, Великобритания, незадолго до смерти в 1960 году*